

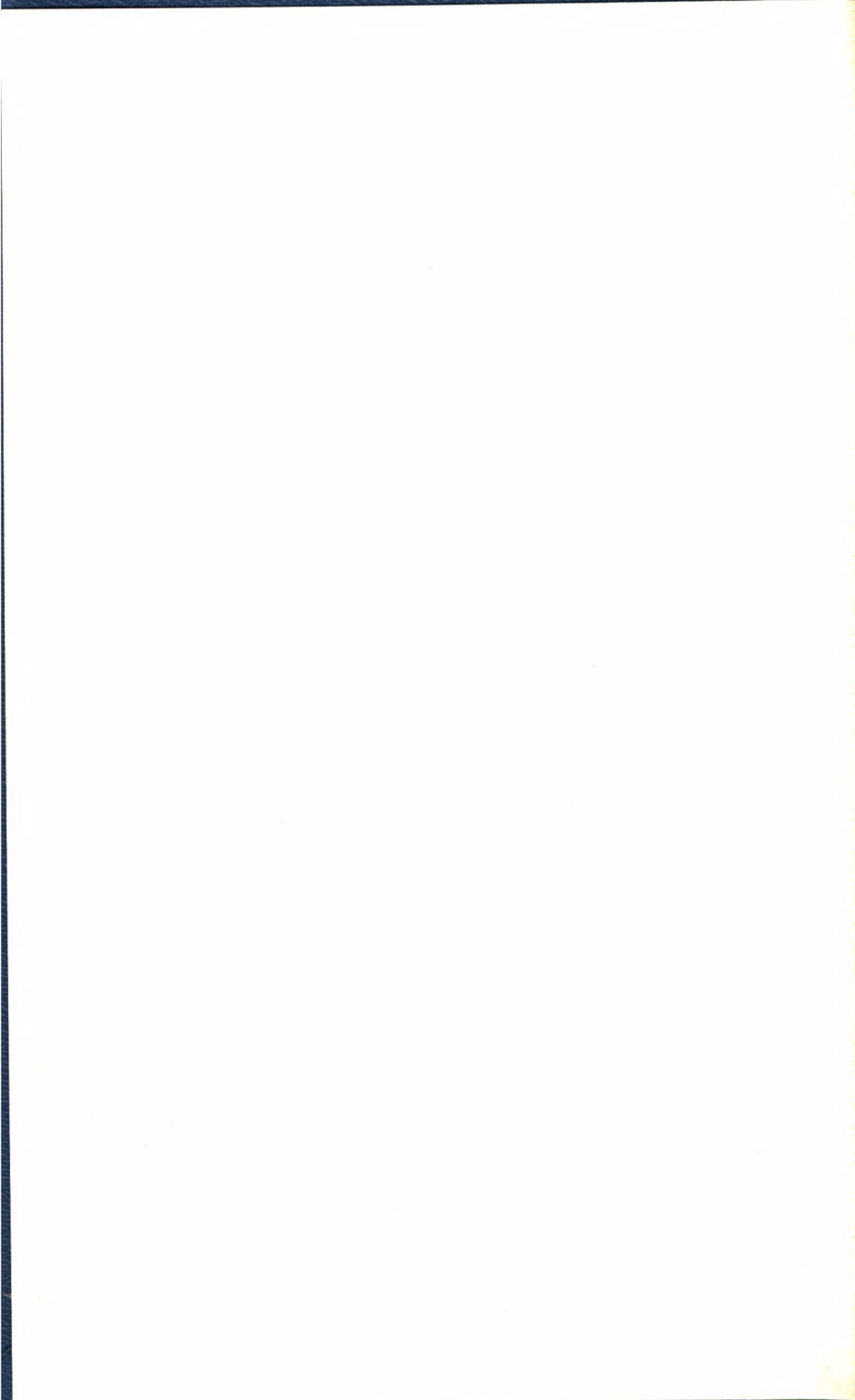
Русская советская сатирико- юмористическая проза

РАССКАЗЫ
И ФЕЛЬЕТОНЫ
20—30-х ГОДОВ









ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Русская советская сатирико- юмористическая проза

Рассказы
и фельетоны
20–30-х годов

Составитель,
автор вступительной статьи
и комментариев —

Л. Ф. Ершов



Ленинград
Издательство
Ленинградского университета
1989

В сборнике представлены наиболее характерные сатирико-юмористические произведения так называемой малой прозы (рассказы, фельетоны, памфлеты и т. д.), написанные или увидевшие свет в 20—30-е годы. Сложная и пестрая картина послереволюционного быта нарисована 18 писателями — как широко известными (М. Зощенко, М. Булгаков, А. Платонов, М. Кольцов, П. Романов и др.), так и малоизвестными теперь (Б. Самсонов, С. Заяицкий, М. Козырев и др.). Попытка охарактеризовать наиболее крупные творческие индивидуальности и раскрыть некоторые закономерности развития жанров сделана во вступительной статье.

Книга может заинтересовать самого широкого читателя.

Рецензенты: д-р филол. наук *Н. А. Грознова* (Ин-т русской лит-ры (Пушкинский Дом) АН СССР), доц. *Г. К. Звягинцева* (ЛГПИ им. А. И. Герцена).

Художники *Л. И. Блинова, В. В. Пожидаев*

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Ленинградского университета

Р $\frac{4702010201-009}{076(02)-89}$ КБ-5-65-1988

ББК 84Р7-4

ISBN 5-288-00187-1

© Составл., вступ. статья, комментарии, оформление
Издательство Ленинградского университета, 1989.

«УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ СТЕКЛО»

Давно замечено, что расцвет сатиры и юмора приходится на революционные эпохи. Не было исключением и первое десятилетие после Октября. Комическое в литературе и искусстве в те годы отличалось огромным разнообразием. Без промаха бьющее писательское слово и обличительная графика, искрометные театральные и эстрадные представления, множество сатирико-юмористических журналов (в 20-е годы их насчитывалось более двухсот) — все это передавало дух эпохи, колоссальную тягу ко всем формам комического — от веселой шутки до язвительного сарказма.

20-е годы — неповторимая пора расцвета политической, бытовой, литературной сатиры. Однако по прошествии лет подчас срабатывает синдром забвения. Память, не подкрепленная систематической заботой о сохранении наследия, начинает давать сбои. Мы порой, сами не замечая этого, проходим мимо накопленного богатства. Характерный пример. В недавно вышедшей книге Бориса Ефимова можно прочесть: «(...) первенцем советской сатирической журналистики суждено было стать (...) возникшему в 1922 году „Крокодилу“»¹.

Широкий читатель, возможно, поверит на слово известному художнику-карикуристу, а специалист только улыбнется живучести устоявшихся стереотипов. Ведь еще без малого три десятилетия назад было документально установлено, что наша сатирическая журналистика возникла на пять лет раньше. Это и журнал «Соловей» (1917), страницы которого украшали знаменитая частушка В. Маяковского («Ешь ананасы, рябчиков жуй...») и сатирические стихи Д. Бедного, и журналы «Гильотина» (1918), «Красный дьявол» (1918), «Красная колокольня» (1918), и армейские сатирические издания периода гражданской войны.

Огромен репертуар и таких массовых жанров, как сатирико-юмористический рассказ и фельетон. Тут сотни книжек, десятки писателей. Вряд ли найдется читатель, не знакомый с творчеством М. Зощенко и М. Булгакова, А. Платонова и И. Ильфа и Е. Петрова, В. Катаева и М. Кольцова. Но ведь в ту пору плодотворно работали и такие мастера, как Арк. Бухов — участник дореволюционного «Сатирикона», с особым

¹ Ефимов Б. На мой взгляд. М., 1987. С. 33.

блеском проявивший свое дарование на страницах «Крокодила», Вяч. Шишков, написавший более ста «шутейных рассказов», А. Зорич — создатель оригинальной формы сказового комического повествования, и многие другие.

В этом же ряду стоит и П. Романов, пользовавшийся широчайшей популярностью в 20-е годы, но потом несправедливо изъятый из истории литературы на десятилетия. Множество превосходных комических рассказов принадлежит перу В. Лебедева-Кумача, которого мы знаем лишь как яркого поэта-песенника 30—40-х годов. А такие сатирики, как М. Волков, С. Заяицкий, М. Козырев, Б. Самсонов, известные лишь узкому кругу специалистов! Между тем их опыт тоже весьма интересен, а талант неповторим и самобытен.

Русская сатирико-юмористическая проза, осваивая после Октября новую историческую действительность, опиралась на богатое национальное наследие. При этом отчетливо выделяются две линии: фольклорно-сказовая, идущая от раешника, анекдота, сатирической сказки, и развивающая традиции литературной классики — от Гоголя до Чехова.

Надо сказать, что малый повествовательный жанр вообще требует филигранной отточенности стиля, четкости сюжетно-композиционного построения, содержательной емкости диалога. Но ведь комическое — искусство как бы двойного отражения, высшей категории трудности. Скажем, зрителя в цирке восхищает высокое мастерство гимнаста и канатоходца, эквилибриста и дрессировщика. Но вот появляется клоун, который неуклюже ходит по проволоке, постоянно попадает впросак, подражая жонглеру и дрессировщику, утомительно жестикулирует, подает смешные реплики, падает и вновь встает, а за всем этим — виртуозное искусство, точный расчет и тонкое понимание психологии зрительского восприятия. Автору комического рассказа мало просто раскрыть противоречие, запечатлеть конфликт. Необходимо выставить явление в смешном виде. Герой сатирического произведения проходит сквозь систему зеркал и, поворачиваясь разными сторонами, предстает перед читателем в совершенно новом, подчас неожиданном освещении.

Рассуждения Гегеля из «Науки логики» об остроумии, законспектированные Лениным в «Философских тетрадах», помогают постичь природу рассматриваемого жанра: «Остроумие схватывает противоречие, *высказывает* его, приводит вещи в отношения друг к другу, заставляет „понятие светиться через противоречие“»².

Сатирико-юмористический рассказ и есть такая материализация остроумных, неожиданных идей и наблюдений, которые отражают конфликтное состояние мира. При этом суждение, вывод художника начинают «светиться через противоречие», переданное посредством комических образов, особых стилистических приемов (игра слов, двусмысленность, пародийно-ироническая интонация, каламбур, смешение речевых стихий и т. п.).

Элемент обличения в сатирическом рассказе неизбежен, но только к нему такой тип произведений несводим. Несводим потому, что сатирик одинаково часто пользуется как гневным осуждением, так и юмором, как сарказмом, так и шуткой. Он отыскивает в социально-исторически отжившем, этически или эстетически несовершенном (порочном, злом, пошлом, безобразном) смешные стороны, комические несообразности. Художник переосмысливает источник отрицательных

² Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 128.

эмоций как источник смеха, логическое переводит в сферу чувственного, образного.

В первые годы после революции многие из этих особенностей жанра либо не соблюдались, либо имитировались чисто внешне. Лубку и агитке соответствовала и упрощенно-обличительная сатира. В ней поживались под ударами бича «хищники мирового капитала» — пузатые буржуи и другие представители свергнутых классов, за которыми закреплялись устойчивые маски-стереотипы, а характер подменяла заданная социологическая схема. Вот почему отрицательный персонаж оказывался внутренне статичным, он не столько действовал, раскрывая свою сущность, сколько демонстрировал известные пороки класса или сословия. Искусством подлинного сатирического изображения еще предстояло овладеть, отойдя от упрощенно-лубочных решений, грубовато очерченных масок отрицательных персонажей.

Смертельный удар такого рода сатире нанесла эпоха нэпа. Резко изменившаяся и усложнившаяся историческая действительность требовала от художников создания соответствующего инструментария. На смену лобовой сатире, прямым обличениям, отражавшим классовое противоборство и антагонизм, приходят ирония, пародия, насмешка, направленные на новых противников нарождающегося строя: нэпмана и кулака, обывателя и бюрократа всех мастей. Объектом сатиры становятся социальная мимикрия, демагогия под видом демократии, взяточничество, подхалимство, расхлябанность и многое, многое другое.

М. Горький в письме «Рабкорам „Правды“» из Сорренто в 1926 г. не одобрял тех, кто в борьбе с негативными фактами любил *«мораль пуцать»*. *«Лучше бейте смегом»*, — советовал он. А в письме рабкору Сапелову (1927) добавлял: *«(…) плохому должна быть объявлена война беспощадная, на уничтожение. На мой взгляд, советская печать делает это отлично и в беспощадности критики ей отказать нельзя»*³.

Как выдающийся сатирик М. Горький заявил о себе в дореволюционный период, создав сатирические рассказы 90—900-х годов, «Город Желтого Дьявола», «Русские сказки» и т. д. Перу писателя принадлежит и одна из первых советских сатирических пьес — «Работяга Слово-теков» (1920), в которой едко высмеивается управдом-бездельник, топящий в потоке слов всякое живое дело. М. Горький активно включается в работу по очищению нового мира от свинцовых мерзостей прошлого. Он создает цикл комических рассказов для детей («Яшка», «Про Иванушку-дурачка»), серию саркастически-ядовитых публицистических миниатюр («Факты» и др.), ряд произведений из деревенской жизни, написанных с грустной юмористической интонацией («Экзекуция», «Шорник и пожар», «Бык»). Особой сатирической экспрессией отмечены рассказы, запечатлевшие бездуховность, прикрытую флером убого понятой просвещенности («Енблема»), а также коренные пороки буржуазного общества потребления («Туман»). Ряд этих произведений включен в сборник.

Своеобразный путь избрали художники, тяготевшие к сказовой манере: М. Зощенко, Вяч. Шिशков, А. Зорич, М. Волков, М. Козырев. Их рассказы, как правило, выдержаны в духе языка и характера того лица, от имени которого ведется повествование. Такой прием позволяет естественно и ненавязчиво проникнуть во внутренний мир героя, показать истинную суть его натуры.

³ Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 262, 299.

На фоне сатиры 20-х годов резко выделилось своей неповторимостью творчество М. Зощенко. Писатель искал и нашел особую интонацию, в которой сплелись воедино лирико-ироническое начало и интимно-доверительная нотка, устраняющая всякую преграду между рассказчиком и слушателем. Этому способствовала и атмосфера предельной искренности, излучаемая его творчеством.

Огромный запас жизненных наблюдений (до того как стать литератором, Зощенко переменял десяток профессий) дополнялся скрупулезной аналитической работой. За каждым произведением — ворох читательских писем, с которыми Зощенко знакомился как сотрудник «Бегемота», «Смехача», «Пушки», «Ревизора» и других сатирических журналов. Он и выступал на страницах этих изданий чаще всего под псевдонимом «Гаврилыч» или «С. Курочкин». К. Чуковский, близко знавший Зощенко в ту пору, вспоминал: «(...) он с утра приходил на Фонтанку в дом „Красной газеты“, где ютился тогда „Бегемот“, (...) присаживался к большому столу, на котором беспорядочной грудой были навалены корявые, дремучие, чаще всего дико безграмотные послания к „Гаврилычу“, полные воплей и жалоб незаконно обижаемых людей. Каждое письмо он прочитывал очень внимательно (...)»⁴.

М. Зощенко присуща особая конкретность при выявлении облика разнообразных носителей зла. Точная деталь, неотразимо смоделированная ситуация, предельно индивидуальный язык персонажа — характерные признаки его произведений. За текстом зощенковских рассказов звучал голос сомнения и тревоги. Да и как могло быть иначе, если вместо духовных, психологических перемен он нередко наблюдал всего лишь перестройку фразеологии! Разрабатывая нарочито обыденные сюжеты, рассказывая частные истории, приключившиеся с ничем не примечательным героем («Баня», «Собачий нюх», «Случай в провинции», «Стакан», «Закорючка», «Гости»), писатель поднимался до значительного социального обобщения.

Таков, например, рассказ «Стакан». История, изложенная в нем, внешне безобидна. Герой приглашен к вдове маляра Марье Васильевне Блохиной помянуть ее покойного мужа. «Маленько неаккуратно» поставив стакан, он «кокнул» его. Безутешная вдова и деверь приходят в ярость и подают в суд. Герой готов уплатить двугривенный, но только если ему непременно вернут стакан с трещиной. Финал рассказа отбрасывает персонажей почти в гоголевские времена, обещая бесконечную и бессмысленную тяжбу.

«На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.

Ничего я на это не сказал, только говорю:

— Передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой задет, — я могу до трибунала дойти».

Насколько опасно мещанство, поведал Зощенко и в других произведениях («Нервные люди», а также «Квартира», «Дама с цветами»). Но особенно страшен герой такого замеса, если он из сферы семейно-бытовой перебирается в служебные покои. Персонаж «Каменного сердца», так сказать, чиновник-интеллектуал, в совершенстве овладевший искусством сживания со света непокорных подчиненных. Если он заду-

⁴ Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. С. 528.

маст напакастить ближнему, то сделает это «весьма тонко и с таким знанием человеческой души, что тут и доказать ничего нельзя».⁵

Несообразности социально-правственного бытия, когда унижение человеческого достоинства становится обычным даже в стенах самого гуманного, лечебного, учреждения, запечатлены в форме едкого гротеска в «Истории болезни». Здесь описаны быт и нравы некоей больницы, в которой посетителей встречает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х», а фельдшер вразумляет больного, которому не нравится это объявление, словами: «Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать».

Медицинская сестра под стать этому «остроумному» эскулапу. На справедливое замечание больного она отвечает в стиле фельдшерского юмора: «Наверно, говорит, вы не выздоровеете, что во все нос суете». Она даже поднимается до своеобразных высот казенно-бюрократической философии, заявляя: «(<...>) я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания».

Все в этой больнице максимально уязвляет человеческое достоинство, причем часто это делается уже бездумно, механически, по раз заведенному порядку. В итоге герой рассказа теперь хворает дома.

Самое страшное, говорит сатирик, случается тогда, когда интеллектуальная изощренность не обремененного образованием чиновника сопровождается полнейшей нравственной глухотой. Отсюда типичные гримасы действительности: спесивое помпадурство и стелющееся лакейство, безделье и паразитизм, прикрытые трескучей фразой, рвачество под сенью вящей заботы о ближнем и многое другое.

Нередко сатирическое произведение писателя строится как простое и безыскусное повествование героя о том или ином эпизоде из его жизни. Рассказ похож на очерк, сценку, репортаж, в которых автор ничего не придумал, а просто, подметив тот или иной эпизод, поведал о нем с прилежностью ироничного и пронизательного хроникера. Вот почему рассказы М. Зощенко в отличие от остросюжетных новелл О. Генри или А. Аверченко строятся не на неожиданном повороте фабулы, а на раскрытии непредвиденных сторон характера.

Критика 20-х годов, отмечая новаторство автора «Бани» и «Аристократки», охотно писала о «лице и маске» Михаила Зощенко, нередко верно постигая смысл произведений писателя, но смущаясь непривычностью взаимоотношений между автором и его комическим «двойником». Рецензентов не устраивала приверженность писателя к статической маске недалекого и грубоватого обывателя. Причем границы между рассказчиком и автором, как казалось, нередко стирались, расплывались, затушевывались.

Разумеется, впечатление это было обманчивым. Отыскивая причины житейских аномалий, Зощенко выступал обличителем духовной окурочины, сатириком нравов. Это не политическая сатира В. Маяковского и Д. Бедного. Писатель избрал объектом анализа малокультурного городского мещанина не как представителя определенного класса или социального слоя (им мог быть и пролетарий, и интеллигент), а в его

⁵ Зощенко М. М. Собр. соч.: В 3 т. Л., 1986. Т. 2. С. 416.

этической ипостаси, мещанина, который из политического противника стал противником в сфере морали, рассадником пошлости.

Зощенко 30-х годов совершенно отказывается не только от привычной социальной маски, но и от выработанной годами сказовой манеры. Автор и его герои говорят теперь вполне правильным литературным языком. Естественно, речевая гамма его произведений несколько тускнеет, но стоит заметить, что прежним зощенковским стилем уже нельзя было воплотить новый круг идей и образов.

Еще за несколько лет до того, как произошла эта эволюция, писатель предугадывал возможность других подходов и решений.

«Обычно думают,— писал он в 1929 г.,— что я искажаю „прекрасный русский язык“, что я ради смеха беру слова не в том значении, какое им отпущено жизнью, что я нарочито пишу ломаным языком для того, чтобы посмешить почтеннейшую публику.

Это неверно. Я почти ничего не искажаю. Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица.

Я сделал это (в маленьких рассказах) не ради курьезов и не для того, чтобы точнее копировать нашу жизнь. Я сделал это для того, чтобы заполнить хотя бы временно тот колоссальный разрыв, который произошел между литературой и улицей.

Я говорю — временно, так как я и в самом деле пишу так временно и пародийно».⁶

Отход от сказа не был формальным актом, он повлек за собой полную структурную перестройку зощенковских произведений. Меняются не только стилистика, но и сюжетно-композиционные принципы, широко вводится психологический анализ. Даже по объему рассказ превышает прежний в два-три раза. Зощенко как бы возвращается к своим опытам начала 20-х годов, но уже на более зрелом уровне, по-новому используя возможности беллетризованных комических жанров.

В 20-е годы широко распространившаяся сказовая манера породила богатство и разнообразие стиливых течений. Вяч. Шишков, М. Волков, М. Козырев, как и Зощенко, охотно прибегали к сказу. Но и по своим истокам (байка — народная шутка), и по языковым особенностям (крестьянская речевая стихия) их творчество заметно отличалось от излюбленной манеры Зощенко.

Если М. Зощенко был непревзойденным мастером городской темы, отражал вращение в новый быт городского мещанина и обывателя, то писатель-юморист Вяч. Шишков самозабвенно отдается деревенской тематике, находя и показывая трагикомические коллизии, характерные для крестьянской среды. По основной направленности своего художественного дарования он всегда больше тяготел к юмору, чем к сатире. Юмор искрится и в таких его эпических полотнах, как «Тайга», «Угрюм-река», «Емельян Пугачев», но особенно полно раскрывается в 150 «шутейных» рассказах, созданных главным образом в период с 1918 по 1926 г. Вяч. Шишков охотно сотрудничал и в популярных сатирико-юмористических изданиях 20-х годов («Красный перец», «Бегемот», «Смехач», «Бузотер»).

Среди «шутейных» рассказов Шишкова встречаются и такие, где господствуют гневные, саркастические интонации. Это «Мистер Веретенкин» — сатира на нравы капиталистической Америки, «Лайка», в которой автор высмеивает величественно-барственных начальников

⁶ Зощенко М. Собр. соч.: В 6 т. М., 1931. Т. 6. С. 60.

и подхалимствующих перед ними ничтожеств, «Холодный душ», где воссоздан образ перерожденца и бюрократа.

Однако в большинстве своем «шутейные» рассказы не претендовали на сколько-нибудь серьезное общественное звучание. Это были чаще всего развернутые анекдоты, неприязательные забавные курьезы (случай с мужчиной, по ошибке надевшим женское платье, или с двумя близнецами, по очереди бреющимися у одного и того же парикмахера, и т. п.).

Примыкают к ним и занятно-лукавые истории про хитрых, про дувных людей, которые, совершив свои проделки, остаются безнаказанными («Поселыга», «Целитель», «Трубка» и др.). Юмор Шишкова в этих рассказах близок стихии комической народной сказки, незатейливой крестьянской побасенки (поселенец «лавчонку свою держал: шило, мыло, всякие вещи — молоток да клещи, да чайник без дна, только ручка одна <...>⁷).

Для воссоздания непринужденно-веселой атмосферы в таких рассказах щедро использовался соответствующий словарь: «спозиция», «мырл», «всеё», «эфтим», «тирнационал», «физиономордия», «схлюздил» и пр. Этому же служили народная этимология (село Либкнехтово мужики переименовали в Липкино), неуклюжие и просто неленые выражения: «недостаток дефицита», «неполное доумение» и т. п. Нагнетание такого рода стилевых примет переводило драматическое по сути повествование в комический план.

И все же ведущими в юмористическом творчестве Шишкова являются «шутейные» рассказы с определенным социальным прицелом. Разумеется, и здесь смех писателя разрешается не гневом, а шуткой. Однако шутейный орнамент не умаляет общественной направленности произведения. Именно в таком ключе созданы рассказы «Спектакль в селе Огрызове», «Смерть Тарелкина», «Редактор», «Режим экономии», «Усекновение». Все они затрагивают важные и злободневные для той поры темы, хотя действие в них и расшито по шутейной канве.

Рассказ «Спектакль в селе Огрызове» не просто юмористическое описание самодельного театрального представления на деревенской сцене. Это праздник социального возрождения, захвативший широкие крестьянские слои. Тут и большие надежды, тут и личные разочарования. Автор видит в жизни и отсталость, и косность, и недоверчивость, и многое другое, но верит в победу добра на обновленной земле.

В иной тональности выдержан рассказ «Смерть Тарелкина». Здесь уже не карнавализованное действо, но судьба одного персонажа, переданная посредством усложненного психологического рисунка, не очень характерного для сатиры. Гротескно-авантюрная ситуация, положенная в основу фабулы, перекликается с сюжетом известной комедии Сухово-Кобылина. «Воскресение» притворившегося умершим бывшего соборного регента Тарелкина, который пожелал лично получить деньги, причитающиеся на его погребение, завершается горестным для него финалом. Корыстолюбивая душа регента, терзаемая страхом разоблачения, не выдерживает, и герой «от страшного испуга по-настоящему, мгновенно» умирает.

Легко обнаруживается опора на фольклорную основу у популярных в 20-е годы юмористов Мих. Волкова и Мих. Козырева. Несколькими изданиями выходили в ту пору «задиристые» рассказы Волкова, написанные от имени лубочно-сказочного деда-балагура дяди Антропа,

⁷ Шишков В. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1929. Т. X. С. 181.

крестьянина-середняка, коренного земледельца. В характере и поведении этого неунывающего старика, с хитрецей наблюдающего новую жизнь, проглядывают черты удачливого героя народной сказки, у которого все выходит легко и гладко: «Да ведь Антроп если уж за что возьмется, так уж возьмется». Задумал для крестьянских детишек ясли устроить — привез из города пужную бумагу, воодушевил деревенских баб и старух, и «дело палادилось» («Садик»). Решил, вдохновленный племянником Васяткой, дать бой религиозным предрассудкам — и осуществил свое намерение («Революция Васильевна»). Большую сатирическую нагрузку в рассказах Волкова несут афористические, в духе народных пословиц и поговорок, оценки болтунов и бюрократов: «Щуке — вода, комитетчику — постановление», «Наговорили там... не только в горшок, в корчагу не уложишь».

Писателю и его герою очень хотелось, чтобы не только вывески на зданиях переменились, но и вся жизнь родного края потекла по иному руслу. А на самом деле многое обстояло сложнее. Огненный ветер лишь опалил лепестки, а сердцевина осталась прежней. Именно об этом поведал в ряде своих произведений Мих. Козырев.

Ядовитой иронией пронизан рассказ «Деловой парень» о некоем Брандукове — речистом бездельнике. Выступлениями его на производственных собраниях залюбуешься, слова он произносит самые что ни на есть распередовые, да и звучат они энергично и напористо. Начальству Брандуков мил, продвигают его по служебной стезе усердно. Вот Брандуков уже член правления, и все тот же словесный поток становится стремительнее и гуще:

«— Товарищи,— говорит он,— этот вопрос необходимо решить в общем и целом. Проработать во всеоюзном масштабе. Согласовать и увязать, и тогда, с одной стороны...

Все слушают, и все в восторге — вот молодец!».

А как только доходит до дела, даже самого небольшого,— все кончается конфузом.

Мастером первостатейной липы заявил себя и культработник Худеков («Отчет»), «компенсировавший» завал работы на селе виртуозным составлением фальшивого отчета. Шаблон, рутина, власть стертых клише и стереотипов высмеяны в рассказе Козырева «Газета». Герой его, некий залетный делец-фельетонист, почитающий себя непревзойденным в искусстве бойкой газетной строки, готов (за немалую мзду, конечно) «спасти» оказавшегося в безвыходном положении редактора городской газеты, заполнив штампами и халтурой страницы местной прессы.

Сатирик умело строит сюжет. Смешная подробность, комическая ситуация существуют не сами по себе, а выявляют черты характера. При этом предпочтение отдается иронии, посредством которой неназойливо и в то же время неотразимо раскрывается контраст между сущностью и видимостью, причиной и следствием, лицом и маской.

Мастером остро сюжетной прозы показал себя С. Заяицкий. Его перу принадлежат пародия на авантюрно-экзотический колониальный роман «Красавица с острова Люлю» (1926) и сатирические повести «Баклажаны» (1927) и «Жизнеописание Степана Александровича Лососипова» (1928). Ловко построенная комическая фабула, отточенные характеристики героев, живая и остроумная манера повествования ярко проявились и в его сатирико-юмористических рассказах.

Особое место в сатирической прозе 20—30-х годов занимает М. Булгаков. Опираясь на выработанное Гоголем восприятие жизни как всеоб-

щей путаницы, как комического смещения абсурдного и реального, призрачного и действительного, он по-своему раскрыл конфликты и противоречия эпоховской действительности. Излюбленными средствами Булгакова как диагноста общественных пороков стали гипербола и гротеск.

В «Похождениях Чичикова» перенесенный из гоголевских времен персонаж оказывается в пореволюционной Москве. Вначале Павла Ивановича настораживают некоторые перемены, новые вывески. Скажем, вместо «Гостиница» висит плакат с надписью «Общежитие № такой-то». Но вскоре недоумение сменяется прежней уверенностью. Везде Чичиков встречает старых знакомцев (Ноздрев, Коробочка, Утеши-тельный), обдывая с их помощью поистине фантастические операции: аферу с пайками или заграничные сделки, умопомрачительные «негоции» с торгово-промышленными предприятиями или покупку и продажу Манежа. В эксцентрической сатирической прозе М. Булгакова (а «Похождения Чичикова» — типичный ее образец) торжествовал принцип гротескной фантастики, сочетающийся со сложно-запутанной фабулой.

Однако писатель охотно прибегал и к другой, более спокойной манере повествования. Таков стиль, например, многочисленных фельетонов и сатирических рассказов Булгакова, опубликованных на страницах газеты «Гудок» в 1924—1926 гг. Его тревожило все, что больно задевало рядового труженика: будь то дрянные сапоги, всученные через рабочий кредит («Сапоги-невидимки»), или никудышная торговля в глубинке, где покупателю предлагались лишь корсеты и омары («Торговый дом на колесах»). Сцепщик, стрелочник, младший агент охраны, машинистка, курьерша — вот кого защищает от сановного равнодушия и административного восторга автор «Гудка».

Интересны поиски и находки Василия Лебедева-Кумача как сатирика и юмориста. Начав сотрудничать в «Крокодиле» со дня основания журнала, он на протяжении 20-х годов поместил на его страницах и в других периодических изданиях несколько сотен рассказов и фельетонов. Среди них было немало таких, которые создавались в обстановке спешной журнальной работы и потому не могли претендовать на что-либо значительное. Однако лучшее в прозе Лебедева-Кумача оставило заметный след в истории жанра.

Сатирико-юмористическое наследие этого многогранного мастера, перепробовавшего в 20-е годы все виды сатиры: от частушки до стихотворной повести и от афоризма до сказки, — заключено в трех сборниках рассказов, заглавия которых удачно передают круг тем автора, его художественные принципы и особенности юмора: «Защитный цвет», «Печальные улыбки», «Квартирный масштаб».

Защитный цвет сатирик учил распознавать еще в пародиях 1923—1924 гг. Позднее он ставил своих героев в такие ситуации, когда они оказывались перед читателем без чиновничьего мундира. Вместе с мундиром отбрасывались и показная идеология, и бойкие лозунги, и весь тот революционный маскарад, который они разыгрывали в служебное время.

В квартирном масштабе, как на походной карте-двухверстке, видны все излучины дремотной обывательской души. Лебедев-Кумач внимательно приглядывается к быту своего героя, скрупулезно его выписывает. Он справедливо полагает, что в семейной сфере, скрытой от постороннего глаза, сохранились во многом нетронутыми обывательские идеалы и устремления. Развенчание этих идеалов сатирик и считает своей главной задачей.

Из семейной среды герои В. Лебедева-Кумача переходят за конторские столы, заполняют учрежденческие помещения. Но многое ли меняется в этих стенах? В превосходном рассказе «Инкогнида» показано одно из таких присутственных мест, готовящееся, как в старые гоголевские времена, принять ревизора. Очарованный любезным обращением, подавленный стерильной чистотой, ревизор уже собирается покинуть здание, но неожиданное столкновение с уборщицей раскрывает ему глаза. Та зло шепчет незнакомому посетителю:

«— Тайком, вишь, ревизию нам решили назначить. И послали какую-то Инкогниду <...> Ну, а наш заведующий, значит, прознал. Он — хитрый, все наперед знает. Вот и повернул все вверх дном. Плевалки наставил, всем служащим работать велел напоказ — вдвое, говорит, заплачу! А какой уж вдвое — тут и втрое не возьмешь <...>

И, вздохнувши, уборщица махнула рукой:

— Мочи больше нету! Хоть бы поскорей эта Инкогнида проклятая приходила. Пойдет опять все по-старому — как хорошо!»

В этом рассказе старый гоголевский мотив дополняется грустной чеховской (рассказ «Шило в мешке») интонацией. Но там, где у Чехова лирико-драматическое развитие сюжета, у Лебедева-Кумача преобладают гипербола и едкая сатира.

В сборнике «Печальные улыбки» В. Лебедев-Кумач исследует причины живучести старинных российских зол. В одном из наиболее характерных его рассказов («Деликатная профессия») перед нами прелюбопытнейшее явление, впервые подмеченное сатириком, — образ штатного отписчика, единственная обязанность которого — посылать в газеты опровержения на сигналы о плохой работе синдиката. Казалось бы, здравый смысл и соображения о пользе дела диктуют необходимость устранить недостатки. Но ведь еще пошехонцы, вместо того чтобы скосить траву, выросшую на крыше, загоняли туда корову. Не зря Салтыков-Щедрин писал о департаментах по завязыванию узелков и развязыванию таковых, как бы предвидя, предостерегая от повторения такой ситуации в будущем. Черты этого въевшегося пошехонья оказались весьма живучими.

Герой рассказа «Деликатная профессия» Иван Диомидыч, поднагоровший на опровержениях, завел уже двух подручных и помышляет о третьем. На вопрос простодушного родственника-провинциала, много ли у него работы, с достоинством отвечает: «Бездна! Океан работы! Ты рассуди сам: у нас в синдикате восемь заводов крупных, да подсобные предприятия, да отделения, да то, да се. И везде рабкоры есть. И все пишут. И всех опровергать надо. Как же работе не быть? <...> Уж я и то стараюсь часть работы механизировать, облегчить».

Повествование об энтузиасте-рационализаторе бюрократического механизма завершается не гневной и резкой сатирической тирадой, а восхищенным восклицанием провинциала Андриуши, подавленного масштабом деятельности тароватого столичного родственника. Но по контрасту именно это-то и создает эффект едкой иронии. Открыто против рабкоров, как бы говорит автор, умные люди нынче не встают. Но разве в самом факте учреждения должности штатного опровергателя не проглядывают черты все того же достолюбезного пошехонья?

Для читателя 20-х и последующих годов стали нарицательными такие понятия, как «зощенковский герой» и «зощенковские рассказы», «шутейные» рассказы В. Шишкова и рассказы «о теплушечном быте» П. Романова. В этом же ряду находится рассказ В. Лебедева-Кумача «Винтик», в котором автор поднимается до обобщения значительной силы.

Перед читателем разворачивается трагикомическая история мелкого служащего, попытавшегося внедрить проект «реорганизации и упрощения всего делопроизводства». Пока Черепанов от сих до сих высиживал в учреждении и не поднимал головы, «не возникал», все шло хорошо. Но стоило ему задуматься о приносимой пользе, об эффективности, как бы мы сейчас сказали, труда, попытаться усовершенствовать работу, ибо «каждый винтик должен понимать, кто он и куда приставлен», как все сдвинулось со своей оси. Ведь чего доброго такой рационализатор добьется сокращения штатов, а там, глядишь, и сам сядет в начальническое кресло! Нет уж, увольте. И под благовидным предлогом Черепанова из учреждения убирают. Без особой натуги винтику указали на его место.

В насыщенной сатирой и юмором атмосфере 20-х годов тянулись к искусству комического и те писатели, для которых эта сфера стала в их творчестве лишь более или менее длительным эпизодом. Так, например, ряд сатирических рассказов, вышедших отдельным изданием в 1925 г., написал беллетрист Л. Никулин. Среди них обращает на себя внимание цикл произведений о чиновно-бюрократическом аппарате. В этой и в то время не новой теме писателю важно было увидеть метаморфозы и трансформации личности в изменившихся исторических условиях.

В рассказе «Щука и Пачкин» взята, казалось бы, давно отработанная ситуация: персона, поднимающаяся по служебной лестнице, «в упор» не видит старого знакомого. Дело в том, что революция, принесшая на своих знаменах идеи социального равенства и справедливости, не обошла и тонкую область человеческих отношений. Однако в этой сфере ветер перемен подчас чувствовался слабее, чем в других, так как перестройка психологии человека — процесс длительный. А пока отшлифованный до блеска канцелярист Пачкин куражится и не признает в грубовато-шумливом бывшем войке Щуке своего начальника времен гражданской войны. Достаточно Пачкину, бывшему кашевару, попасть «из грязи да в князи», и выперло дремучее мурло обывателя, не желающего упустить возможность покуролесить, дать волю полукупеческой, полубарской фанаберии.

Для чиновника нет ничего священнее ритуала, даже если он трижды окостенел, застыл и потому стал бессмысленным. Но голос пещерно-фетишной философии выше элементарных требований рассудка. Не этим ли руководствуется герой рассказа Л. Никулина «Управдел Драдедамов» в повседневной жизни? Для него неважно, где он — на службе или дома, кто перед ним — сотрудник, проситель, жена или малолетний сын. Главное — неизбежность канцелярско-бюрократических устоев. Вот почему даже малолетнему сыну Мишке предназначается такая тирада: «Тов. Михаилу Драдедамову. Ввиду неоднократных пропусков и манирования вами школы второй ступени, довожу до вашего сведения, что мною будут приняты меры взыскания вплоть до снятия штанов и порки включительно». На службе Драдедамов «купается в исходящих и входящих», и было бы по меньшей мере неприлично, если бы дома он изменил этой привычке. Вот почему сей рыцарь чиновничье-бюрократической музыки так обращается к жене за обедом: «Благоволите отпустить мне еще одну тарелку борща с приложением к оному достаточного количества сметаны...»

Рассказы Б. Самсонова примыкают по своему содержанию к этой тематике. В чиновничьем мирке, воссозданном в его миниатюрах, есть где разгуляться лести, подхалимству, самовлюбленному позерству и гипертрофированной мнительности. Не эти ли черты воплощены в образе

ответственного работника Аркадия Ефимовича («Неврастеник»)? Вынужденный по случаю ремонта домашней ванны посетить общие бани 1-го класса, он терзается то страхом уронить себя в глазах «конторской мелочи», то быть обвиненным в эксплуатации банщика. Вконец расстроенный, он направляет свои стопы в Кисловодск, чтобы подлечить расшалившиеся нервы. Под стать ему и председатель Шпандырев («Критический случай в Запущырске»), почувствовавший после сытного обеда «непреодолимое желание высечься» — внедрить в подведомственном ему аппарате для «пользы службы» критику, которая, впрочем, вянет на корню по инициативе угодливых подчиненных.

Крупный представитель сатирико-юмористической прозы 20—30-х годов А. Зорич начал свою деятельность корреспондентом ряда газет, но вскоре все чаще выступает как фельетонист и рассказчик (сборники «О зонтиках, о рапирах и прочем», «О цветной капусте», «Буква закона», «Министр из Геджаса»). Избрав своей темой в 20-е годы борьбу с «темным и тяжким деревенским бытом», А. Зорич пишет рассказы и сценки, порою бессюжетные зарисовки деревенских нравов.

Воссоздавая медлительное, неторопливое течение деревенской жизни, автор прибегал к большим, несколько тяжеловатым словесным периодам, нередко пронизанным иронией, тоже приземленной, стилизованной под весь строй повествования. К 1925 г. окончательно сложилась оригинальная манера А. Зорича, ее стали даже пародировать, а это признак незаурядного мастерства.

А. Зорич скрупулезно выписывает картины быта и ход события, детализирует черты характера героев. Он любит подчеркнуть качественную определенность предмета, выявить его фактуру. В результате канва повествования расширяется узорами из подробных деталей, не несущих подчас комического смысла, но необходимых для создания эмоционального фона, в котором преобладали скорбные или трогательные тона. «*⟨...⟩ Мало привести отрицательный факт, — говорил А. Зорич, — нужно рассказать о нем так, чтобы рассказ этот взял читателя за живое*»⁸. И писатель порою нарочито сгущает краски, заостряет и драматизирует ситуацию.

В любом случае: повествует ли он с усмешкой о мелочной, но затянувшейся ссоре между святыми отцами («Вендетта»), или о немислимых «испытаниях» на прочность, которым крестьяне подвергают американскую пилу-автомат («Пила»), либо о грандиозной подготовке уездных властей к встрече руководителя из столицы («Товарищ из центра») — автор мог бы воскликнуть: «Эх, товарищи, Гоголя на нас нет!» (фельетон «Дело о звуке»).

Значительный резонанс в читательской среде 20-х годов вызвало творчество Пантелеймона Романова. И не только как создателя широкого эпического полотна «Русь», но и как своеобразного, отличавшегося тонкой аналитической манерой сатирика. Избранные рассказы П. Романова выходили в «веселых библиотеках» наиболее популярных сатирико-юмористических изданий («Бегемот», «Смехач» и др.). В 20-е годы именно рассказ доминирует среди остальных жанровых пристрастий прозаика.

Тематика сатирико-юмористических произведений писателя обширна и разнообразна: бюрократизм и головотяпство, бесхозяйственность и приспособленчество, равнодушие, тупоумие, лень... Нарочитая незатейливость сюжетов как раз и служит тому, чтобы полнее раскрыть

⁸ Зорич А. Я за «краски» // Журналист. 1926. № 11. С. 8.

пружины неблагоприятных деяний. Перед читателем проходят не законченные злодеи и не носители вполне извинительных человеческих слабостей, но натуры, искривленные превратно понятым стремлением шагать в ногу с прогрессом, жить по букве спущенных сверху инструкций («Инструкция», «Художники», «Экономия»).

Ведомственная неразбериха, ворох противоречащих друг другу реляций произвели нравственно-психологические перекосы, умалили чувство ответственности, породили индифферентность. И то сказать, как быть, например, рабочим, которым предстоит ремонтировать дом, предназначенный на слом («Экономия»). Может быть, следствием именно ведомственной вакханалии и является принцип «после пас хоть потоп». И это потому, что поощряемой оказалась не инициатива, а слепое исполнение предписаний. «Сломать никогда не поздно», — говорит один из рабочих. «Мы ремонтируем, а ломать другие будут».

П. Романов не казнит и не обличает своих героев. Он высвечивает стимулы их поступков, попутно показывая, что многое у них вывернуто шиворот-навыворот. И это далеко не всегда не осознается рядовыми исполнителями, но... Вот ситуация, изображенная в рассказе «Художники». Поверхностному взгляду покажется, что автор как-то уж больно спокойно живописует любителей бумаготворчества. Такие поэты канцелярских отчетов готовы себя даже художниками величать. И не случайно. Так, продавец писчебумажного магазина признается:

«— (...) Ведь по нашей торговле взять бы нас да по шее. Потому что наторговали всего на два шиша с половиной, а расходу столько, что нас всех, что тут есть, ежели со всеми потрохами продать, того не выручишь. А мы спокойны: ревизия приедет, спервоначалу схватится за голову, пыль поднимет. Один дефицит сплошной. А мы на это: „Извольте отчет поглядеть сначала, а кричать потом будете“. Как выволокешь им вот этакую стопочку, да покажешь, они попрыгают-попрыгают, и сказать нечего. Еще руку пожмут в благодарность за строгий учет».

Оказывается важно, чтобы крутились колесики хорошо отлаженного механизма, а результаты не столь уж много значат. Пускай работа теряет смысл, только б соблюдалась форма, не нарушался предписанный ритуал. Совершенно очевидно, что писателю не по нутру следование омертвевшим догмам, порочная система вольно или невольно складывавшейся круговой поруки. В действительности тех лет разыгрывается «драма абсурда», когда вещи и явления ставятся с ног на голову. И это с наименьшим размахом происходит на селе.

В одном из наиболее глубоких и социально-острых рассказов «Кулаки» деревенские жители жалуются заезжему столяру из Москвы, который, видя кругом разорение и народную беду, спрашивает, как они дошли до жизни такой. Звучит бесхитростный ответ: «(...) прежде сидели, ничего не делали, потому кругом все чужое было. Теперь все кругом наше, а делать опять ничего нельзя».

И все потому, что из воласти регулярно наезжают уполномоченные с портфелями в поисках кулаков. На деревне их давно уже вывели, но неутомимое начальство продолжает гнуть свое. Среди естественных декораций разоренной деревни разыгрывается кощунственное действо: крестьяне по очереди вынуждены играть роль кулаков. Очередь доходит до оборванного бедняка Савушки, от которого мужики требуют, чтобы тот шел на закланье, не принимая его оправданий: «Какой к черту черед, когда я без порток сижу, а вы в кулаки назначаете. Ни самовара, ничего нету».

Однако против логики официозной установки не попрешь. Напрасно возмущаются недоумевающие крестьяне, противопоставляя административному восторгу здравый смысл: «— Да борьбу эту выдумали насчет кулаков. А тут на *местах* на этих так хватили здорово, что не то что — кулаков, а и мужиков скоро не останется. Приезжают — „Кто у вас кулак?“ Говоришь: нету кулаков, мы их всех вывели. — „А кто самый богатый“ — Самых богатых нету. — „А кто лучше других живет?“ — Такой-то... — „А говоришь, — кулаков нету?...“»

Душится любая крестьянская инициатива, даже тень кооперации пресекается на корню. И все с предписанием наперевес.

«— Вздумали кирпич с кумом жечь на продажу; а они приехали — цоп!.. В кулачки, говорят, себе метите? Пчел было развели, они *приехали*, опять — цоп!

— Тут лапти новые наденешь, и то они уж на тебя во все глаза смотрют, норовят в кулаки записать, — сказал худощавый.

— А сначала было плуги завели, веялки эти, чтоб им проваляться.

— Обрадовались?

— Да, — сказал черный мужик, — теперь утихомирились: веешь себе лопаточкой — оно тихо и без убытку.

— И пыли меньше... — подсказал опять худощавый».

Финал рассказа по-щедрински страшен. Ретивый уполномоченный «в кожаном картузе, с портфелем», созерцающая вконец разоренную деревню, изрекает с угрюм-бурчьевской интонацией: «Кажись, доехали сукиных детей. Дальше уж некуда».

Отличительная черта рассказов П. Романова — их динамизм при частом отсутствии экспозиции и концовки. Из потока жизни выхвачено как бы ядро события, и на нем сосредоточено все внимание. Читателя держит в напряжении экспрессивный диалог. Косвенная речь нередко тоже звучит как прямая. По мысли автора, просветительные цели легче всего реализовать именно в форме рассказа-сценки, в котором точно схвачены особенности народной речи. Но главное, чем подкупали рассказы писателя, — это острота видения мира и глубина проникновения в сердцевину отрицательных явлений.

Михаил Кольцов, прошедший как сатирик путь от рядового корреспондента-фельетониста «Правды» до редактора-основателя сатирико-юмористического журнала «Чудак» (1928—1930), не только «раздевал» провинциальную обывательщину, но и с разительной пронизательностью раскрывал эгоистическую натуру столичного мещанина, прослеживая, как постепенно затопляют сумеречную душу такого человека самодовольство, грубость, пошлость и ханжество. Способом создания сатирических ситуаций у М. Кольцова является стилизация под документ. Его рассказы строятся путем сопоставления или противопоставления контрастных, противоречивых фактов либо анализа документа, в результате чего ярко высвечивается алогичная подробность или явная нелепость.

Вот, например, рассказ «К вопросу о тупоумии». Поведана история «об идиотски понятой и головотяпски выполненной телеграфной директиве». По распоряжению и за подписью ответственного кооператора Воробьева в деревни полетела телеграмма: «... усильте заготовку 13 530 воробьев». И на местах стали, не мешкая, заготавливать впрок птиц.

Опирается на документальную основу и фельетон «Душа болит». Засилие бюрократизма и ротозейства в Наркомторге лучше всего иллюстрирует тот факт, что на ответственных должностях подвизаются

малограмотные, но ловкие конторщики. Таков и герой фельетона — авантюрист Воловский.

«Если бы я был фельдшером», «Медвежьи услуги», «Скушная история» — произведения, где под слепящий свет сатиры выведена особая разновидность бюрократизма: тонкого, изощренного, преуспевающего в «искусстве зализывать». Здесь писатель срывал одну из наиболее распространенных в то время масок с ревнителей вицмундирного благочестия — маску строгого законника. «Настоящий бюрократ тот, — пишет М. Кольцов в фельетоне «В дороге», — которого не казнишь на ногте, — он развит и дальновзорок. Он умеет говорить, применять статьи закона, сожалеть, сокрушенно пожимать плечами; говоря о бюрократизме, возмущенно разводит руками; подавать стакан плачущему, любезно и предупредительно направлять в другую инстанцию.

Он умеет писать, отвечать на бумаги без промедления, вернее, перекладывать промедление от себя на соседа.

Он умеет оказывать содействие, любезно проталкивать человека... в пустоту ... <...>

Лукавая и пекная усмешка. Снаружи правильно, а внутри — издевательство. Никому не отказывать. Не надо огорчать людей. Надо согласовать. Надо продумать. Надо проработать. Надо подработать вопрос. Надо выждать. Надо быть осторожным... Бюрократизм двадцать шестого года в нашей стране — уже немаленький. Он видал виды, знает, где раки зимуют, умеет прятаться в нору и выходит на добычу в подходящее время. Опасный зверь, хищный и ласковый»⁹.

Монументальная фигура бюрократа такого типа изваяна в цикле «Иван Вадимович — человек на уровне». В восьми рассказах, объединенных в эту небольшую сатирико-публицистическую повесть, освещены разные грани натуры испытанного демагога и карьериста. За щитом актуальных лозунгов и ловко препарированных тезисов он чувствует себя неуязвимым.

Иван Вадимович развалил работу в учреждении, но чтобы скрыть свой провал и сохранить высокую должность, ухватился за универсальное средство: стал громко кричать о бдительности и необходимости реформ. Фабрику, не выполнившую государственных заданий, Иван Вадимович предлагает немедленно вывести из централизованного промфинплана, ибо «всякие полумеры», по его словам, были бы близорукостью. «Отделить больного от здорового — вот смысл мероприятия!»

30-е годы — сложное время в истории сатирической прозы. И тем не менее в эту пору проявляются новые грани таланта И. Ильфа и Е. Петрова как рассказчиков и фельетонистов. Создает яркие фельетоны и сатирические рассказы М. Кольцов. В полную силу раскрывается дарование Арк. Бухова. Продолжает работу в жанре сатирико-юмористического рассказа В. Катаев.

Особое место в сатирической прозе 30-х годов принадлежит А. Платонову. Как социальный сатирик он выступил еще в 1926 г., опубликовав повесть «Город Градов», где хлестко высмеяны бюрократы новейшей формации, шире — чиновничье-обывательский стиль мышления и поведения. К середине 30-х годов А. Платонов обращается к междunarодной проблематике, к антифашистской теме. В конце 20-х — начале 30-х годов Западная Европа породила и оснастила невиданную ранее и опасную для мира силу — фашизм. Вот почему писатели остро критической направленности таланта избрали новые объекты, подойдя к ним с новыми изобразительными средствами.

⁹ Кольцов М. Избр. произв.: В 3 т. М., 1957. Т. 1. С. 130—131.

В 1934 г. А. Платонов пишет памфлет на гитлеровскую Германию «Мусорный ветер». Композицию произведения организует образ мусорного ветра, дующего над рейхом и поднимающего пыль, хлам и смрад истории. В центре рассказа судьба жителя одной из южногерманских провинций Альберта Лихтенберга — физика космических пространств. Человек передовых, демократических взглядов, он не может равнодушно созерцать, как его родина погружается в смрадный нацистский кошмар, превращается в «царство мнимости». Однако протест Альберта робок и жалок, и его самого утвердившаяся власть постепенно перемалывает в жерновах политических репрессий и концлагерей. Герой теряет разум, оскотинивается, и в конце темного коридора, только в насмешку именуемого жизнью, его ждут окончательный распад и гибель.

Рассказ А. Платонова относится к редкому для 30-х годов жанру памфлета. Правда, «Мусорному ветру» кое в чем была близка повесть М. Зощенко «Керенский» (1937). Но она не достигла уровня яростной и гневной сатиры. Отчасти это объяснялось складом зощенковского дарования, а главным образом — объектом обличения: водевильно-опереточный финал эфемерного премьера (повесть имела и другое заглавие — «Бесславный конец») вряд ли заслуживал применения орудий крупного калибра.

Иное дело — «Мусорный ветер». Здесь сатирик стремился воссоздать и запечатлеть родовые черты злейшей чумы — нацизма: истребление мысли, низведение интеллекта до пещерного уровня, культ «белокурой бестии», поклонение идолу. Символом этого нового порядка выступает памятник «спасителю нации». Создавая портрет Гитлера, писатель не прибегает к гиперболе или гротеску — излюбленным приемам памфлетистов (ср. «Педант» В. Белинского, памфлеты В. Гюго, М. Горького, В. Маяковского). Презрение и издевка являются результатом совмещения в одном стилистическом ряду грубовато-натуралистических деталей и понятий, так сказать, высокого, отвлеченного плана. Вот почему «лицу памятника» приданы «жадные губы, любящие еду и поцелуй», ординарные же щеки «потолстели от всемирной славы, а на обыкновенный житейский лоб оплаченный художник положил резкую морщину, дабы видна была мучительная сосредоточенность этого полутела над организацией судьбы человечества и ясен был его напряженный дух озабоченности». Завершает картину убийственный по силе сарказма пассаж, построенный по знакомому принципу сопоставления-противопоставления предельно конкретного и предельно отвлеченного: «(...) если придать памятнику нижнюю половину тела, этот человек годился бы в любовники девушке, при одном же верхнем полутеле он мог быть только национальным вождем».

Той же цели снижения служит и образ «мусорного ветра», неоднократно повторяющийся в ходе повествования. Лучшие люди Германии умирают, «задохнувшись мусорным ветром». Но где-то в тайниках человеческого сознания зреет надежда, что именно «в океан социализма течет историческое время; фашизм же кончится всемирной насмешкой — это улыбнутся молчаливые скромные массы, уничтожив господство живых и бронзовых идолов». Эта оптимистическая нота вспышкой молнии пронзает сгустившуюся трагическую атмосферу в памфлете А. Платонова, продолжившего традиции Салтыкова-Щедрина, умевшего провидеть звериные лики под маской внешнего благообразия, раскрывать иллюзорность мнимого величия.

Обстановка 30-х годов отнюдь не благоприятствовала расцвету обличительного слова, наоборот, способствовала его умалению, дискре-

дтации. Из многочисленных сатирико-юмористических изданий на русском языке к 1931 г. остался один «Крокодил». Статус сатиры менялся: из жанра необходимого она становилась жанром нежелательным. Уже к середине 30-х годов ее объекты заметно измельчали, задора и злости поубавилось. В рассказах замелькали персонажи, лишенные социальных примет: чудаковатые профессора, безобидные служащие, подвыпившие на вечеринке парни; описывались курьезы в зоосаде, парке, цирке и т. д., и т. п. По мере сил способствовала всему этому и тогдашняя критика, дружно хоронившая сатиру или допускаявшая ее, но лишь в виде сладкой приправы (теория «положительной сатиры» И. Нусинова, Е. Журбиной, С. Цимбала и др.).

Значительность ущерба (утрата большого социального, трагикомического звучания) лишь частично компенсируется некоторыми нововведениями. Происходит изменение самой тональности комической прозы, насыщение ее теплым, лирическим началом. Не случайно в эту пору переживает расцвет лирическая комедия — в кино и на сцене. Такой видный сатирик 20-х годов, как В. Лебедев-Кумач, становится крупнейшим песенником эпохи, в светлой лирике которого почти невозможно узнать прежнего автора «Печальных улыбок».

Разумеется, что-то в этих переменах объяснялось не только объективными, но и субъективными причинами, фактами индивидуальной творческой эволюции. Однако сказывалась и атмосфера тех лет. В диалектически-противоречивой гамме подлинного сатирического искусства: сарказм и лирика, ирония и пафос, печальное и смешное — всячески умалялось первое и поощрялось второе. Подобные тенденции, конечно, искажали естественный процесс литературно-общественного движения, но не смогли заглушить все ростки на благородном древе искусства обличения смехом.

Так, в творчестве И. Ильфа и Е. Петрова по сравнению с периодом 20-х годов даже усиливается собственно сатирическое начало («Саванарыло», «Директивный бантик», «Костяная нога», «Веселящая единица» и др.). Вместе с тем наряду с сатирическими рассказами и фельетонами печатаются произведения, выдержанные в лирико-юмористическом ключе («Чудесные гости», «Тоня» и др.). А со второй половины 30-х годов появляются рассказы с радикально обновленным сюжетно-композиционным рисунком. В традиционную форму сатирического рассказа вводится положительный герой. Разумеется, это не значило, что авторы стали эксплуатировать прием указующего перста: их персонаж казнил дурное и пошлое не прописями, а смехом. Сатира приобретала более сдержанные тона, хотя благодаря таланту авторов не утратила действенности и разящей силы.

И. Ильф и Е. Петров вскрывают новейшие модификации многоликого обывателя и бюрократа, использующих изощренные способы самосохранения и самообороны, многочисленные виды мимикрии. Вот почему жало насмешки направлено на «идейного» мещанина, «выдержанного» совчиновника, барабанного активиста.

Симуляция кипучей деятельности — один из испытанных путей утверждения себя под солнцем. Этим искусством мастерски овладели в учреждении с загадочным названием «КЛООП». Никто из его служащих не в силах ответить, что означает аббревиатура на вывеске. Даже председатель этого добропорядочного заведения, где бешено, но вхолостую крутятся колесики профработы и на недосыгаемую высоту поставлена деятельность бухгалтерии, смущенно чешет в затылке: «Понимаете, вы меня застигли врасплох. Я здесь человек новый, только

сегодня вступил в исполнение обязанностей и еще недостаточно в курсе. В общем, я, конечно, знаю, но еще, как бы сказать...».

«Разговоры за чайным столом» — внешне невинный заговор, настраивающий на лирическую волну. Но авторов тревожит, что вульгарно-социологические методы воспитания калечат юные души уже в начальной школе. Двенадцатилетние ученики, вместо того чтобы учиться, «прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождающиеся реформизма», отдавали все силы на борьбу со своим товарищем, обвиненным в повторении целого ряда деборинских ошибок «в оценке махизма, махаевщины и механицизма», и при этом не позволяли себе ни в коем случае сползти в болото оппортунизма.

И. Ильф и Е. Петров анализировали недостатки и пороки, протекавшие не столько от нашей бедности, сколько от нежелания заниматься своим прямым делом. Внимание сатириков привлекали преимущественно люди, которые форму показного благочиния предпочитали здравому смыслу, превратно понятую идею порядка — естественной целесообразности, а народную инициативу гасили мелочной взвешенной регламентацией. Бездонная пропасть между громким словом и ничемным, порою вредным занятием такого «героя» обусловила их пристрастие к высмеиванию бюрократических лозунгов, р-р-революционных ширм вроде: «Превратим парк в кузницу выполнения решений съезда профсоюзов» или «Превратим реку в незыблемую гранитную цитадель здорового отдыха» («Веселящаяся единица»).

Таким образом, в историко-литературном освещении периода 30-х годов менее всего плодотворен однобокий, предвзятый подход. Реальная картина времени несравненно сложнее и противоречивее.

Например, талант Арк. Бухова, известность которого до революции лишь немногим уступала популярности А. Аверченко и Н. Тэффи, с особой полнотой и силой (и таков далеко не один парадокс эпохи 30-х годов) раскрылся именно в эту пору. Редчайшие качества его дарования — стихийный юмор и неоглядная веселость — обогатились новыми сторонами, насытились остротой социального содержания. Писатель умеет тонко и в то же время неотразимо свести с фальшивого пьедестала обладателя заимной эрудиции («Неосторожный Бимбаев»), с помощью язвительной пародии раскрыть примитивность и убожество реприз модного конференсье («Как я писал для эстрады»), показать непробиваемую амбициозность театрального режиссера, который под видом непримиримости к скороспелкам обрекает актеров в 1847-й раз играть надоевшую всем пьесу, довольствуясь одним зрителем в зале («Нюансы и отзвуки»).

Особой силы достигает критика отрицательных явлений, формалистических изысков в рассказе «Случай в „Театре возможностей“». Автор подает читателю эту историю всего лишь как некий казус, случай, не более того. На поверку выходит не совсем так.

Когда к корифею «Театра возможностей», режиссеру Сенокосову, прибегает молодой человек, жаждущий прикосновения на сцене к прекрасному, его ошарашивают реформаторские починки переперекаемого мэтра: «Старо, — строго остановил его Сенокосов. — Сцена — это прошлое. Оно рухнуло. Актер должен быть вне сцены. Он в публике. Он наверху и под. Понятно?» Развивая свое творческое кредо, Сенокосов вдохновенно витийствует: «Зачем эта традиционная ходьба по сцене и говорение слов. Старо! Отжило! Человек в реальной жизни говорит слова, но хочет стоять на голове. Он ложится спать, но мечтает о том, чтобы сделать двойное сальто на глазах у общественности <...> На сцене надо обнажать внутренние позывы человека. Канат, плюс музы-

кальное оформление, минус сцена — вот подлинное искусство (...)».

Если кто-нибудь подумает, что все это выдумка юмориста, то явно ошибется. В 20-е годы и несколько позднее были широко в ходу футуристические уставки, adeпты которых полемически считали, что «будущий художник будет писать не кистью, а шваброй», прокламировали гибель старого театра и полное упразднение того, что называется сценой. Эти «революционные» призывы отнюдь не оставались неслышанными. И в столице, и на местах режиссеры-«новаторы» рьяно насаждали то, что попало в поле зрения Арк. Бухова.

В 20-е — первую половину 30-х годов незаурядным юмористом проявил себя В. Катаев, печатавшийся под псевдонимами Митрофан Горчица, Оливер Твист, Старик Саббакин и др. Отличительная черта катаевского комического стиля — обыгрывание точно подмеченной, характерной остротой детали (ни Зощенко, ни Лебедев-Кумач, ни Шишков не использовали этот прием как главное средство создания сатирического эффекта). У сатирика смешная подробность, комическая ситуация существуют не сами по себе, а как бы высвечивают черты характера. В. Катаев, напечатавший много рассказов в «Крокодиле», «Красном перце», «Смехаче», «Чудаке», воссоздает ту духовную нищету, которая ежедневно и ежечасно встречается у современных, казалось бы, людей. «Из летописей нашего переулкa» — таким спокойным подзаголовком снабжает писатель рассказ «Вещи». И излагает страшную историю о том, как молодая, патологически жадная до вещей женщина в неудержимом порыве приобретательства готова вогнать в гроб не одного мужа. Сразу же после загса она ведет суженого покупать вещи.

«Оглушенные воплями продавцов, они быстро купили два стеганых, страшно тяжелых, толстых квадратных одеяла, слишком широких, но недостаточно длинных. Одно — пронзительно-кирпичное, другое — погребально-лиловое.

— Калоши теперь, — пробормотала она, отдавая мужа горячим дыханием. — На красной подкладке... С буквами... Чтобы не сперли».

Невозмутимым тоном летописца перечисляются сокровища, которые приобретались со следующих получек. Все это добро складывалось в «кованый сундук лягушачьей расцветки с музыкальным замком». Символом людской пошлости в рассказе является и «непревзойденной красоты большая гипсовая собака-копилка, испещренная черными и золотыми кляксами». Возвратившись домой после очередного вояжа на Сухаревку, Шурка аккуратно укладывает новые вещи в сундук, и «музыкальный замок сыграл хроматическую гамму». Безупречно точно найденная деталь позволяла создать тип зловеще-разбитной мещанки, которая в своем осатанелом вешелюбии готова весь мир пустить под откос, лишь бы пели «хроматическую гамму» замки на пузатых сундуках.

Развивая тему цепкости старого в душах молодых по возрасту людей, писатель проникает и в ту сферу человеческой деятельности, которая не чужда интеллектуальных запросов. Так возникает цикл рассказов о Ниагарове, состоящий из девяти как бы отдельных произведений: «Лекция Ниагарова», «Ниагаров-журналист», «Ниагаров-производственник», «Похождения Ниагарова в деревне», «Ниагаров-радиолобитель» и т. п. Как видим, сами заглавия уже достаточно красноречиво представляют «многогранную» натуру современного Фигаро, лихого и наглого пройдохи. Например, в рассказе «Птичка божья» герой выступает в роли поэта-халтурщика, готового без конца переделывать всем известные стишки о птичке божьей применительно

к новым канонам, лишь бы сорвать гонорар. Здесь фигурируют и «солнце красное» (т. е. социальная революция!), и такие актуальные строки:

«Птичка гласу Маркса внемлет,
Встреппенется и поет».

Меня личины с ловкостью опытного мистификатора, Ниагаров вездесущ и всепроникающ. Но куда бы ни сунул свой нос герой Катаева, изворотливо приспособливающий модную (по сезону и кампании) фразеологию, всюду он влечет за собой, как каторжник ядро, базарное мышление. Он узнаваем, ибо везде источает аромат нахрапистости, пошлости, демагогии. Ниагарову потому доступна любая область труда и творчества, что в его представлении даже самая заветная сфера проявления ума и таланта не более чем грубо размалеванная рыночная вещь, наподобие жуткой гипсовой собаки, пленившей воображение недалекой Шурки.

Однако всего опаснее власть шаблона, когда он из области нравов и психологии проникает в сферу идеологии. Рассказ «Случай с Бабушкиной» как раз и повествует о том, как внешне весьма передовая личность, жонглирующая марксистской фразеологией, в реальной жизненной ситуации оказывается жалкой и беспомощной. Заведующая методической секцией клубного подотдела отправляется на отдых. И в поезде, «удивляясь своей неограниченной свободе и феерическим горизонтам, распахнувшимся перед ней», товарищ Бабушкина предается сладким мечтам: «Теперь на целых две недели я, так сказать, вольный казак. Что хочу, то и делаю. Могу „Эрфуртскую программу“ перечитать, а могу и план клубной работы на второе полугодие детально проработать. А впрочем, могу и второй том „Капитала“ в памяти освежить. Все могу...». Но всемогущий случай устраивает ей незапланированную встречу с «вполне законченным хулиганом», едущим в том же вагоне. Напичканная книжной премудростью и отвлеченными принципами, Бабушкина решает заняться перевоспитанием некультурного пассажира: «Сначала надо проработать план. Установить, так сказать, степень развития, затем заронить в молодую душу семена любознательности. Гм... Затем можно в кратких чертах обрисовать историю классовой борьбы. Ну, там коснуться Маркса... И отпуск использую, и хорошее дело сделаю...». Финал рассказа предугадать нетрудно.



Сатира и юмор — самые сильные и неотразимо действующие средства самокритики. Широкое развитие русского сатирического рассказа в 1920—30-е годы подтвердило справедливость этого наблюдения. Именно в то ставшее уже далеким время были заложены основы жанра, лучшие образцы которого в наши дни вошли в сокровищницу отечественной классики.

Л. Ершов



ЯШКА

Сказка

Жил-был мальчик Яшка, били его много, кормили плохо, потерпел он до десяти лет, видит — лучше не жить ему, захворал да и помер.

Помер,— и хоть были у него кое-какие грешки, однако очутился Яшка в раю.

Смотрит Яшка — невиданно хорошо в раю: посреди зеленого луга, на золотом стуле, сидит господь Саваоф, седую бороду поглаживает, озирается всевидящим оком, райские цветы нюхает, райское пение слушает; везде — во цветах, на деревьях — херувимы с серафимами осанну поют¹, а по светлому лугу, по веселым цветам святые угодники хороводом ходят и мучениями своими хвастаются.

— Господи,— говорят,— ты гляди-ко, батюшко, как мы измучены, как изувечены, а все — имени твоего ради! Кожица у нас ободрана, тельце наше истрепано, ручки-ножки изломаны, ребрушки наружу торчат, а все — славы твоея ради!

Слушает господь,— немножко морщится.

— Да уж ладно! — говорит.— Уж слышал я это, ведь вы почти две тысячи лет одно и то же поете. Ну,— пострадали, помучились, покорно вас благодарю за это, только — спели бы вы хоть разок веселое что-нибудь, а?

А святые угодники опять свое:

— Господи,— кричат,— миленький ты наш, погляди-ко: ножки у нас переломаны, ручки вывихнуты, ведь

как мы страдали! И жгли нас, и давили, и голодом морили, и чего только с нами не делали, а все тебя, господи, ради!

Вздыхает господь, соглашается:

— Верно, братцы! Прославили вы меня мученьем, да обошли весельем!

А святые угодники опять свое тянут.

Смотрит на них Яшка из-за райской яблони, — тощие они все, темненькие, кои прихрамывают, кои на карачках ползут, у одних — глаза выколоты, у других — головы отрублены, — угодники божии под мышками держат их, как арбузы. В сторонке шестнадцать тысяч святых девственниц лежат, сохнут, в поленницы сложены. Варвара Великомученица пред Пантелеймоном Целителем кровавыми ранами хвастает, Екатерина Иоанну Воину о своих муках рассказывает², а серафимы с херувимами все осанну поют, и некоторые, от усталости, фальшивят.

Слышит Яшка — говорит господь тихонько апостолу Петру:

— Много у меня, Петр, праведников, а — скушновато мне с ними! Напускал ты их в рай — чрезмерно...

Отвечает апостол Петр:

— Ты сам, господи, знаешь, я готов изменить, да — ведь как теперь изменишь? Это — Павлово дело, он, лысый, интернационал этот устроил...

— Эх, Павел, Павел! — вздыхает господь. — И сыну моему он евангелие испортил, и мне от него житья нет...

Смотрит Яшка, слушает, не все ему понятно, а что скушно в раю, это он прекрасно чувствует: ни есть, ни пить не хочется, играть тоже неохота, и на душе смутно, как будто он клюквенным киселем объелся.

«Чего они побоями-то хвастают? — думает Яшка, глядя на святых. — Меня не меньше били, да я вот молчу! У нас, на земле, друг друга как бьют, кости в крошечки дробят, а — ничего!»

И стало Яшке жалко бога, — какая у него жизнь? Все вокруг ноют, никто побоев не стыдится, а еще в честь и заслугу терпение свое ставят себе.

И вот, когда ангелы сняли солнце с неба, спрятали его под престол господень и наступила ночь и праведники спать улеглись, — вышел Яшка из-за яблони, подошел к престолу и говорит:

— Господи, а господи!

Поглядел на него господь, спрашивает:

— Ты откуда?

— Из Петербурга.

— Чего рано помер?

— Да-а, — сказал Яшка, — рано! Другой бы на моем месте еще раньше подох...

— Али трудно жилось? — ласково спросил господь.

Екнуло сердце Яшкино, хотел он рассказать богу о своей тяжелой жизни, да вспомнил, как святые угодники жаловались, и — сдержался, только крикнул.

И вместо того деловито сказал:

— Слушай-ко, господи, вернул бы ты меня на землю!

— Зачем? — спросил господь.

— Да что мне тут делать? Скушно здесь. Вот и сам ты апостолу говорил, что скушно...

— Чудак! — усмехнулся господь. — Да ведь тебя там опять колотить будут!

— Ничего! — сказал Яшка. — Поколотят за дело — не пожалуюсь, а зря будут бить — не дамся!

— Храбрый ты! — усмехнулся господь.

— Слушай-ко, — деловито сказал Яшка, — ты вот что сделай, ты меня верни назад на землю, а я там выучусь на балалайке играть, и когда второй раз помру, так буду тебе веселые песни петь с балалайкой, — ладно? И тебе веселее будет, и я недаром стану в раю торчать.

Поглядел на него господь из-под густых бровей, погладил бороду седую и тихонько спросил:

— Али тебе, Яшка, жалко стало меня?

— Жалко! — сказал Яшка. — Надоедны больно угодники-то твои!

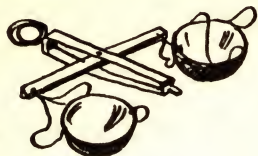
Тогда Саваоф дотронулся до головы его легкой рукой и сказал:

— Ну, спасибо тебе, друг мой милый, — за все века ты первый пожалел меня! И — верно ты надумал, — с твоим сердцем в раю делать нечего; иди, милый, на землю, в ее скорби и радости, иди — жалея всех людей земных, служи им верою, как богу, помогай им в трудах, утешай в горе, весели в печалих — тут тебе и награда будет! Иди, дружок, живи во славу людям!

И повелел господь Петру-апостолу открыть двери рая, а херувимам снести Яшку на землю.

— Прощай! — сказал Яшка, кивнув головой господу. — Не скучай, я скоро вернусь!

1919



ЕНБЛЕМА

...Осенний ветер треплет голые кусты, прутья гнутся, но не шумят, хотя, покрытые ржавой пылью, кажутся железными и, качаясь, должны бы скрежетать. Свинцовый туман плотно окутал и скрыл все вокруг маленькой степной станции; около почти невидимой водокачки устало вздыхает и шипит локомотив, звенят бандажы под ударами молотка³; все звуки приглушены осенним унынием. Над моей головой призрачно висит плоская рука семафора. Тощий мокрый козел тоже, как призрак, стоит в кустах и скучно смотрит, как пятеро служащих станции пытаются втащить в дверь товарного вагона тяжелый длинный ящик.

Погрузкой руководит старичок в клеенчатом пальто; под башлыком трясется розовое от холода круглое личико с длинными усами; усы и ястребиный нос старичка очень напоминают портрет одного из гетманов Украины.

— Что это вы грузите?

— Енблему.

Вежливо касаясь ручкой башлыка, старичок отвечает не по-старчески звонко и не по-осеннему весело.

— Енблема, — объясняет он, — статуя из мраморного камня итальянской работы; она изображает идола справедливости — женщину с мечом в руке, а другая рука — в ней весы были — отстрелена по недоразумению. В древнее время римляне почитали эту женщину за богиню, называемую Енблема.

Слово явно нравится старичку, он повторяет его со вкусом, с удовольствием.

Погрузив ящик, ожидая пассажирского поезда, он сидит в грязном зале станции и, покуривая немецкую фарфоровую трубку, рассказывает любезно:

— Привез ее из-за границы дедушка теперешних господ, и, может быть, не менее ста лет красовалась она на клумбе, перед домом; это вещь очень великолепная, из лучшего материала; на зиму ее даже войлоком кутали и покрывали деревянным футляром. Она стояла бы

и еще неизвестное время, да вот господин Башкиров — слышали? — Известнейший фабрикант? — Совершенно так, этот самый. Он, четыре года тому назад, для отдыха души и по причине своей старости, купил усадьбу господ моих и вообразил, что Енблема ему угрожает. Некоторый смысл воображение его имело, потому что статуя искусной работы и в лунные ночи принимала вид оживленности, как бы даже движения по воздуху, невзирая на то, что она — камень. К тому же основание под нею покосилось от собственной ее тяжести, и это дало ей наклон вперед, как будто она хочет спрыгнуть со своей высоты.

— Господин Башкиров сразу ее невзлюбил, стал жаловаться: «От нее, говорит, у меня бессонница. Ночью взгляну в окно — торчит в воздухе не то сестра милосердия, не то — черт ее знает кто такая? И что значат весы в руке у нее? Торговала, что ли, чем?» Господин Башкиров, несмотря на свое богатство, человек слабо образованный и даже, в некотором роде, дикий. Я, конечно, объяснил ему, что это римский идол справедливости, потом он еще у священника справился и в городе у кого-то насчет ее назначения, но после этого невзлюбил Енблему того хуже и начал даже палкой ей грозить, походит по парку, подойдет к ней и грозит... А однажды ему вообразилось, что она в окно лезет, в спальню к нему, тут он начал из револьвера стрелять, метко отшиб ей руку и живот выщербил.

— Говорит мне: «Дуре этой, Покровский, место на кладбище, а не здесь». Меня он очень уважал и любил весьма подробно расспрашивать о моей жизни. Я, видите ли, сын диакона, но к духовной карьере пристрастием не заразился, а пошел в учителя, но вскоре усмотрел, что это дело не моей души. К дрессировке детей надо иметь природное пристрастие и строгость, а у меня характер оказался мягкий, и укротителем детских наклонностей я не мог быть. Шалостей детских — не люблю, бессмысленная шалость! Когда взрослые шалеют — этому всегда заметна причина, а у детей... Я даже и собственную жизнь прожил холостым...

— Ах да, господин Башкиров. Он был по натуре шалый. Он мне не нравился. Хотя человек уважаемый, но личность темная и, что называется, с легендой.

Осторожно выковыривая какой-то ложечкой перегар из трубки, старичок объяснил:

— Легенда, конечно, не всегда правда, а все-таки родня ей. О господине Башкирове ходил слух, что у него были разные женские истории жестокого характера, и даже со вмешательством окружного суда. Вообще — человек нечистоплотный и подозрительного ума. Пил, конечно, во вред своему здоровью. Мне с ним было неприятно, я — двадцать три года садовник, цветовод, у меня другой вкус. Однако цветы он любил. Издали любовался ими; стоит, смотрит и жует бороду; борода у него была роскошная. Посмотрит на цветы, погрозит палкой Енблеме и удаляется в беседку лимонад с коньяком пить. Да, цветы он любил. «Ты, говорит, Покровский, синеньких больше разводи». Предлагал мне жалования прибавить, но сам же себе и возражает: «Зачем тебе деньги, ты — одинокий. Я вот тоже одинок. Деньги, Покровский, в этом случае нисколько не помогают, на пятак дружбы не купишь».

Дали звонок — повестку пассажирскому поезду.

— Умер он?

— Умер. В одночасье. Он не лечился, а только коньяк с доктором пил.

— Куда же вы отправляете статую?

Доставая что-то из кармана брюк, Покровский сказал:

— В сумасшедший дом.

И, видимо, заметив мое удивление, любезно объяснил:

— Господин Башкиров подарил ее доктору для развлечения безумных больных. Доктор в парке поставить Енблему эту хочет, при сумасшедшем доме очень хороший парк.

Покачиваясь важной походкой павлина, садовник Покровский пошел к кассе, сказав мне любезно:

— Будьте здоровы!

1926



ФАКТЫ. I

В часы, свободные от занятий в Трахтресте, ходит Иван Иванович Унывающий по улицам, посматривает на подобных ему совчеловеков и, выковыривая из дей-

ствительности все, что похуже, мысленно поет весьма известный романс:

Скажи, Россия, сделай милость,
Куда, куда ты устремилась?

А в душе его тихо назревал розовый прыщик надежды...

Погуляет, сладостно насытится лицезрением злодеяний Советской власти и, зайдя к тому или иному из сотоварищей по тихому озлоблению, рассказывает ему вполголоса:

— Окончательно погибают! Зашел, знаете, в гастрономический магазин, главный приказчик, очевидно, чей-то знатный родственник и потому — глухонемой, помощники его в шахматы играют, а на улице — длиннейшая очередь голодного народа за яйцами, чайной колбасой, маслом, сыром; вообще — анархия! Спрашиваю: «Это — какой сыр?» Бесстыдно лгут: «Швейцарский!» — «Позвольте, — говорю, — как же у вас может быть швейцарский сыр, когда нет у вас никаких отношений со Швейцарией? И не может быть у вас ни сукна аглицкого, ни духов французских, ни обуви американской и ничего настоящего, а торгуете вы только имитациями и репродукциями общечеловеческих товаров, и сами вы отнюдь не настоящие культурные люди, а тоже имитации, и весь ваш карьеризм — тоже неудачная имитация европейского социал-демократизма, против которого я... впрочем, имею честь кланяться!» Иронически засмеялся и ушел, знаете...

Сотоварищ по озлоблению не верит ему, но сочувственно мычит:

— Мужественный вы человек...

А Иван Иванович хорохорится:

— Вот увидите, я им скажу правду! Скажу прямо в глаза, за всех нас скажу! Потому что я уже не только надеюсь, но и верю!

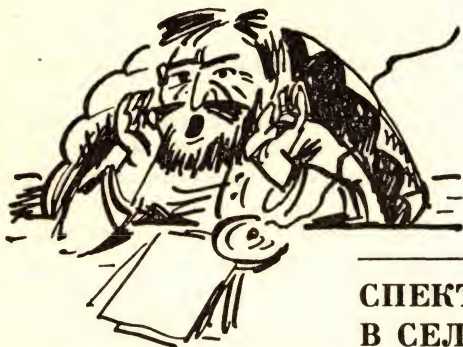
И ведь действительно — сказал.

Как-то, находясь в состоянии глубокой задумчивости и нежно лелея прыщик сладкой надежды своей, зашел Иван Иванович в магазин — лимон хотел купить — и на вопрос приказчика:

— Что желаете, гражданин? — ответил искренно:

— Мне бы — термидорчик!⁴

Самокритик Словотеков.



СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Николай вешний, Троица, Духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И, недолго думая, образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, даже древние старцы и старухи.

Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. — Подай мои селедки, что по закону причитается... Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс,

крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.

Сам же Павел Мохов к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на солдатских спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами из револьвера. И уж всегда, бывало, грохнет момент в момент.

Здесь он точно так же ограничил себя этой, на взгляд, малой, но все же ответственной ролью.

Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть. На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель, Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась домой в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием *«Удар пролетарской революции, или Несчастливая невеста Аннушка»*. Пьеса со стрельбой... Поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.

Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.



Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: *«Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке»*.

Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей

холсты для декораций, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок. Даже поповна умудрилась стянуть в церкви маслица лампадного.

Неутомимый Павел изготавливал огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение: «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение ходынки»¹. И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».

В конце каждого плаката было: «С почтением автор Мохов».

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи. Будет сногшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтобы пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.



В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести человек, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: заайкала — и ее унесли.

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший парод:

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша... Мы где ни то с краюшку... На яичек... на маслица.

Передние ряды заняты мальчишками. Павел, с ядреной перебранкой, согнал их и усадил людей почтенных, а принесенное от священника кресло для городского гостя перевернул вверх ножками.

— В антракте залезем, братцы, не горюй, — утешались мужики, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть!



Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородатый, а тут — здравствуйте, пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попечение матери, а сам — скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.

Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.

Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спектакль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла:

— Промнешься, соколик, дак пожуюшь.

Второй звонок подавать медлили.

В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценою крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип, — получается черт знает что: петух мычит

коровой, а ребенок плачет так, что испугается медведь.

— Тьфу! Фефёла... — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул: — А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!

Меж тем стрелка подходила к семи часам. От духоты и нетерпения зрители взмокли. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта:

— Ну, и пригожий... Ах, патретик городской...

Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:

— Здравствуйте, товарищ! — и протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.

— Пойдемте, барышня, освежимся! — и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.

Девушки завздыхали, завозились, парни стали кричать и подкашливать, кто-то даже свистнул.

Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ваянтка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.

— Ужаси, в нашем месте скука какая. Одна необразованность, — вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.

— А вы что же, в городе жили?

— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазки. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы женились когда-нибудь гражданским браком? — и полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.

— Как вам сказать. И да, и нет... Случалось, — весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела: — Этакая вы пышка, Танечка...

— Ах, право... мне стыдно. Какой вы, право, комментчик! Ах, как вы пахнете хорошо... Ой, вы мне сомнете кофточку!

Гость и Таня торопливо шли по огороду, вдоль цветущих гряд.

Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.

В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.



— Товарищи! — появился перед занавесом Павел Мохов. — Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где... Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать... То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю.

А ему вдогонку:

— По новому, так по новому... Начинай скорее, Пашка!.. Другие с утра сидят... Животы подвело.

И еще кричали:

— Это мошенство! Подавай мой творог! Подавай мои яйца назад!

Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, он самолично помчался отыскивать суфлера.

Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.

Павел подбежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню.

И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.

— Зарезал ты меня! Зарезал!.. — затопал, завизжал Павел Мохов.

Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.

— Павлуха, ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат...

— Спектакль! Старый идиот!! Спектакль ведь.

— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил: — Ах-ах-ах-ах...

— Запарился?

Федотыч нырнул головой в рубаху.

— Башку-то ополосни! В мыле.

— Ах-ах-ах... А я, собачья лапа, в лес по ягоды ходил... Ах-ах-ах-ах...



Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья.

Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу — впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины тучной и очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, впереплет и с вывертом переступал Филат.

— Африканская свиньища на ходулях, — шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.

Таня фыркнула, а попадья, вилия задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.

— Вот так хлещет! — завистливо кто-то крикнул в задних рядах.

— Угости-ка нас!..

— Мамаша! Мамаша! — выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка. — Как вам не стыдно жрать водку?! Та откашлялась и сказала сиплым басом:

— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касаясь поведения своей собственной матери.

В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек... А Павел Мохов за кулисами заткнул уши и весь от злости позеленел.

— Ах, так? — звонко возразила Аннушка. — Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат... Я — коммунистка. Знайте!

— Что, что?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек... Я тебе дам коммунистку! — загремела басом попадья и забегала по сцене: ворона и кусты тряслись.

Павел Мохов тоже с места на место перебегал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:

— Что ты, харя, таким быком реवेशь! Тоньше, тоньше!..

Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова вы-

скочили из памяти и, что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.

Растерялась и Аннушка.

— Уйду, уйду,— повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча.

Попадья крикнула для прочистки глотки и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:

— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество твое имя!

— Позор, позор! Паршивый черт!..— змеинное шипенье Павла Мохова секло сцену вдоль и поперек.— Я тебе в морду дам!

— Позор, позор! — всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.

— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам! — загремела и попадья — Филат.

Федотыч в будке грохнул кулаком, презрительно плюнул: — Ахтеры!..— и вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены пискливый женский голос:

— О дочь моя!.. Я тебя великодушно прощаю,— фистулой выговаривал Федотыч.— Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благослови,— и яростно зашипел: — Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..

Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семена ножками и горестно восклицая: — Я ж говорю вам, что не знаю роли... Я сбилась, сбилась...— она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.

— Благословляй, дьявол! — треснул в пол кулаком суфлер.

— Господь тебя благослови! — как протодьякон пробасила попадья.

Павел Мохов метался за кулисами:

— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы... снова!

Но положение спас буржуй-жених. Он роль знал назубок, на сцену вышел игриво; попадья и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку: из суфлерской будки несло сивухой.

Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.

— Поп, поп! — весело зашумели в зале.— Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.

Несчастную Аннушку стали пропивать: жених с попом устраивают кутеж, гармошка, пляс, попадья впрысядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо: ай люли; хлопают в ладоши — биц-биц-биц — браво! — Аннушка плачет горше. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:

— Я спасу тебя!

— Милый, милый! — бросается ему на шею Аннушка.

Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:

— Она моя. Смерть буржуям!..

Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: биц-биц-биц!



Перерыв длился целый час. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.

У актеров, как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.

— Глотай сырьем, — лечит Федотыч голос кузнеца. — Видишь, у тебя кадык завалило.

Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка — целый десяток проглотил, а толку нет.

— К черту! — волнуется Павел Мохов. — Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!

— Знай глотай... Обмякнет, — хрипит Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.

Из зала густо выходила на свежий воздух публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубаш, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»

Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попovich в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая «будьте добры» да «будьте добры!». Старому Емеле, до ужаса боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.

Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.

Дядя Антип из соседней деревни постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой: — А ну их к ляду и с комедью-то... — закинул на загорбок казенный стул и, озираючись на густые сумерки, пошагал, благословясь, домой: — Ужо в воскресенье еще приду.

— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот — делается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях и — больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!



Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза.

Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп, тот же самый — грива, борода; только ряса по колено и ходули-ноги, длинные, в обмотках.

В публике смех, возгласы:

— Пошто попадье ноги обрубил?

— А ну-ка, бабушка, спляши!

— Эй, полтора попа!!

Изрядно наспиритовавшийся Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивление ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.

Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадила ему в самый нос.

Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).

Он говорит:

— Это ребенок коммунистический, — и поет басом колыбельную:

Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю...
Ты лежи, лежи, лежи
И погами не дрожи...

— Достукалась, притащила ребеночка,— злобствует попадья.— А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят...

— О, горе мне, горе!..— восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком монолог. Она влипла глазами в будку, там чернохвостый огонек дымит, а Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.

— О, горе мне, горе!.. Сиротинушка моя!..

Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: — Ччих! — а огонек погас.

Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:

— Эй, Пашка! Дайте-ка скорей огонька... У меня жилову... А-п чих!.. жировушка погасла.

За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.

— О, горе мне, горе!.. — безнадежно стонет Аннушка.

— Погоди ты... Го-о-ре!.. — кряхтит, вылезая из будки, Федотыч.— У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жировушка погасла.

Он подполз к краю сцены и забодался:

— А-п чхи!.. Товарищи... А-п чхи!.. Тьфу, пятнай ты черти!.. Нет ли серянок у кого?

Публика с веселостью и смехом:

— На, дедка. На-на-на!..

И снова как по маслу.

Аннушка так натурально убивалась над младенцем и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы засморкались, мужики сопели, как верблюды.

Офимьюшкин Ванятка подрядился, вместо Филата, за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:

— Дай ему титьку!

И баба:

— Поди заплакался ребенчишко-т...

Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:

— Дядя ты мне или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться! Таковую, дьявол старый, устроил полемику с своей жировушкой...



По селу пели третьи петухи.

За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, очень для Тани оскорбительную.

— Эй, ахтеры! — кричали в зале. — Работайте поскорейча... Которые уж спят давно.

Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.

Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толчок и встряхивал нечеловеческий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядреной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.

Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое — пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороха: грохнет, как из пушки.

Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.

Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красоти Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.



Елки и сосны. Берег реки. Аннушка с ребенком сидит на камне.

— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи. Чу, коровушка мычит. Чу, собачка взлаяла. А как птички-то чудесно распевают. Чу, соловей...

Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой.

Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свищет соловей, крикают утки, квакают лягушки, мычит корова.

— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость... — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями. Которые сутки я голодная иду.

Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья.

— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!

Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткойной поясницы в пышный зад.

Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.

Наступила трагическая минута.

Павел Мохов взвел за кулисами курок.

— Ах, вот где моя изменщица! — и жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!

Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.

Лицо буржуа красное, осатанелое. Он схватил ребенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.

Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.

— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.

Павел Мохов выставил в щель дуло своей фузеи.

— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны, — вся трепеща, сказала Аннушка.

— Ничего подобного... Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная! — и жених направил пистолет в грудь Аннушки.

— Ах, прощай, белый свет!.. — закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.

Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.

Зал разинул рот и перестал дышать.

— Умри, несчастная!! — свирепо крикнул жених.

— Ах, прощай, белый свет!.. — отчаянно простонала Аннушка и закачалась.

Павел Мохов трясущейся рукой всунул новый пистон, но самопал опять дал осечку. Ругаясь и шипя, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.

Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки:

— Умри, несчастная!!

Кто-то крикнул в зале:

— Чего ж она не умирает-то!

— Ах, прощай, белый свет!..—третий раз простонала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку.

Дыбом у Павла поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: — Тыфу! — и, ругаясь, удалился.

Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять, — наконец, закачалась и упала.

— Занавес! Занавес давай! — суетились за сценой.

Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.

Весь зал подпрыгнул, ахнул.

Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул, подняв на голове будку. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.

Аннушка убежала, и занавес плавно стал задерживаться.



— Товарищи! — быстро поднялся на стул Васютин. — Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культгитпросвета...

Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:

— Жалаим!

— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски...

— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза обращается в народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: автора, автора, автора!

И зал, ничего не понимая, загремел за товарищем Васютиным.

Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.

Васютин нырнул за сцену и в недоумении остановился.

— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдете скорей.

Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел, где-то остановился. Из полумрака впились в него сотни горящих глаз.

А Федотыч, меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.

— Товарищи! Вот пред вами автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались... Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Браво! Браво! — захлопал Васютин в ладоши, за ним сцена, за ней — весь зал.

— Бра-в-во! Биц-биц-биц! Браво! Молодец, Пашка! Ничего... Жалаим... Павел, говори! Чего молчишь?..

— Почтим от всех присутствующих! Ура!! — надрылся Васютин.

Федотыч плюнул в кулак и, крикнув, стиснул зубы.

Павел взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:

— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель... — но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.

— Я те дам, как дядю за грудки брать! — крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч. — Я те почту от всех присутствующих!..



На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красотка Таня. В школе же после «Безвинной смерти Аннушки» не досчитались семи казенных стульев.



Павел Мохов от превратного удара судьбы долго потягивал горькую совместно со своим двоюродным дядей Федотычем. Пили они в овине, в том самом, за цветущими грядками, за школой.

— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее прирезал, — шамкал пьяненький Федотыч. — А вот ежели такие теятеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.

1923



ЗУБОДЕРКА

Приемный покой в сельской больнице. Пятница — зубодерный день.

Фельдшер Быкообразов, с мясистыми, оголенными по локоть руками, просовывает крепколобую голову в дверь, кричит:

— Эй, чья очередь!

Больных зубами много, у всех от страха сосет под ложечкой: фельдшер не лечит зубы, а рвет. Первая очередь старика Науменко, у него щека подвязана красным огромным платком, он безостановочно, монотонно и размеренно охает.

— Иди, дедка, иди... — подбадривают его больные.

Науменко усердно перекрестился: — Ох-ох-ох-ох!.. — и, шоркая старыми ногами, входит, как на лыжах, в кабинет.

— Рот! — командует фельдшер. — Ширше! Еще ширше... Открывай на полный ход!

Клещи хватают за больной клык. Дерг-дерг — на месте, крепко. Фельдшер недовольно крикнул. Дерг-дерг-дерг. Старик закатил глаза, затопал, как в барабан, в пол пятками.

— Не грызи струмент! Ты конь, что ли...

Фельдшер вновь тужится, на воловьем лбу наливаются жилы.

— Тыфу! — плюет он и бросает клещи. — Это не зуб, а свая. Конечно, я мог бы рвануть еще сильнее, но тогда совместно с зубом вся скула вылетит. Ф-у-у-у...

Старик, заохав, хватается за щеку, мотает, как пудель, головой и не торопясь подвязывает платок.

— Ох, ох, ох... К седьмому к тебе, кормилец, к седьмому. В Харьков ездил, шестеро тянуло... Ау, не взять. Ну, и зубище по грехам моим бог послал. Ох, ох, ох, ох...

Фельдшер посмотрел ему вслед сконфуженно-удивленным взглядом и крикнул в приемную:

— Следующий!

Держась за руки, как в хороводе, вошли три девушки.

— Зубы у нас... Дырки... Как соленое попадет в рот, аминь. Кронька с фабрики толковал, быдто заделать можно дырки-то...

— Ну, уж извините, — развел Быкообразов руками, пригнув голову к левому плечу. — Я не спец, чтобы с вашими дырками валандаться. Пускай выписывают дантиста, сто разов им говорено. А я по своей специальности: нарыв вскрыть — пожалуйста, брюхо схватило — милости прошу, глиста ежели — и глисту долой. Что касемо зубов — рвать и никаких. Садись в порядке живой очереди!

Маньке высадил зуб легко, даже прозевала крикнуть и заорала, когда зуб уже валялся на полу. Таня же стала кричать спозаранку, когда Быкообразов засучил повыше рукава и взял в руки клещи. Несчастной Ксюше по ошибке вырвал ядреный крепкий зуб, сказав:

— Эх, черт... Осечку дал, темно. Ну, не ори, новый вырастет. Этот, что ли? — второй зуб высадил легко.

— Следующий!

Очередь за рыжебородым местным торговцем Пантюхиным, но он страха ради заявил, что пойдет последним, и, забившись в угол, тянул коньяк.

Пред фельдшером стоял весь прокоптивший слесарь:

— Зубы у меня здоровецкие, гвоздь перекушу, вот какие зубы. А в двух зубах, действительно, дырочки чуть-чуть. Ноют, анафемы, хошь стой, хошь падай. Нельзя ли пломбы сделать, чтобы форменно...

— Садись, садись... Пломбы. Много я смыслю в пломбах.

Слесарь сначала кукарекал, как петух, потом взревел мартовским кошачьим мяком. Уходя, зализывал языком пустые средь зубов места и сквозь слезы раздраженно бросал в приемной:

— Ну, и дьявол... За этот год пять зубов у меня выхватил... Тьфу! После такого озорства в роте голо будет, как у младенца в пазухе...

К концу приема фельдшер был окончательно измучен; хромоногий старик Вавилыч, сторож, два раза выносил в помойку вырванные зубы.

— Пожалуйста, Лука Григорыч... Чем могу служить? — учтиво и улыбчиво сказал фельдшер, обращаясь к жирному Пантюхину.

Пантюхин был совершенно пьян. Он запыхтел, заохал:

— Отец родной, ангел... То есть в революцию был под пулеметным огнем, и то нипочем. Ну, теперича не приведи бог, боюсь...

— Что вы, что вы!.. Самые пустяки... Пажалте... Сто-рож, подсоби господину купцу сесть.

Колченогий Вавилыч цепко облапил купца за обширную талию.

Купец совался носом во все стороны и возил на себе маленького Вавилыча.

— Легче! — кричал тот. — Лапу отдалил... Неужто не видишь, где зубной кресел упомещается?

Купец, что-то бормоча, повалился в кресло.

— Ну, вот, — сказал фельдшер и щелкнул клещами, как парикмахер ножницами.

От вида блестящей стали купец едва не лишился чувств: лицо его исказилось ужасом, он замотал головой, замычал и, упираясь пятками, отъехал вместе с креслом прочь.

— Ой, милай... Дорогой... Христом-богом прошу, лучше убей меня, — и рыжебородый детина, скосоротившись, пьяно завсхлипывал. — Бо... бо... боюсь... Стра... страшно...

В это время в приемную ввалилась копной широкая присадистая тетка. Большие, навывкате глаза ее измучены и злы, как у черта. Она заохала басом и стала разматывать шаль.

В кабинете, за дверью, раздался душераздирающий рев и матерная брань. Это — купец. Тетка сразу схватилась за щеку и заохала пуще.

Но вот открылась дверь; в сопровождении фельдшера вышел, покачиваясь, купчина, он нес на растопыренной ладони трехпалый зубище и, радостно посмеиваясь, говорил улыбающемуся фельдшеру:

— Ах, до чего приятно... До чего легкая у тебя рука, понимаешь... Ах...

Тетке вдруг стало тоже радостно, она поклонилась фельдшеру в пояс.

— Иди, — сказал тот, — хотя я ужасно устал, но для тебя, Мироновна, готов... Но только чур — самогончой своего разлива уважь... Чуешь, где ночуешь?

Фельдшер на этот раз орудовал, очевидно, ловко на особицу и очень расторопно, потому что купец Пантюхин еще не успел выбраться на открытый воздух, как мимо него, словно царь-пушка, прогромыхала самокатом вниз по лестнице толстобокая тетка.

Она молча понеслась вдоль вечерней безлюдной улицы, отчаянно суча локтями. Глаза ее вытаращены и безумны, из крепко стиснутого рта торчала, как рог, стальная загогулина.

За теткой, задыхаясь и пыхтя, гнался фельдшер Быкобразов, за фельдшером, угловато подпираясь согнутой ногой, — Вавилыч.

— Тетка, тетка... Мионовна! — зывал фельдшер. — Струмент отдай!.. Казенный... Тетка!

Ополоумевшая тетка, добежав до середины моста, выплюнула закусенные клещи и на весь свет истошно:

— Ка-ра-уууул...

1923



В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Ваша очередь, пожалуйста, гражданин! Подравнять прикажете и побриться? В момент. Ну, знаете, стриг я вашего Драбкина, он хотя и большой начальник, а борода у него неважная, прямо второй сорт бороденка. А впрочем, какие теперь и начальники-то? Так, мечтание одно: ни выправки у них, ни сановитости, даже никакого трепета возле них не ощущаешь. С прежними никогда уравнивать нельзя.

А ведь раньше в мою парикмахерскую вся знать ходила. Князья, генералы, графы, пажы. И швейцар уже знал: «Ваше сиятельство, ваша светлость!» Да и мы из выражений не выходили. Всегда уж, бывало: «Окажите милость, ваша честь», или: «Доставьте честь, ваша милость». И бороды у них супротив теперешних ку-у-да! Волос, я вам доложу, как проволока, заграничный волос, аглицкий. Преешь-преешь над ним, прямо ломовая работа. И уж такие были заслуженные, страсть! Но при всем том образованности у них элементарной все-таки не было, чтобы посредством высших наук...

Например, приходит ко мне генерал: крест на кресте, даже плюнуть на грудь некуда, и требует остричь

сухим бобриком при несмоченной голове. А при нем мой помощник, Родионов, пьяница такой, все фиалковый корень жует, а от самого все-таки тухлой щукой всегда пахло.

Родионов и говорит:

— Сухим бобриком не могу, у меня чересчур кривое горло.

Генерал как крикнет, как топнет:

— Плевать я в твое горло-то хотел!

Тогда Родионов стал генерала стричь. Я же, освободившись, начинаю читать генералу общедоступную лекцию при всей вежливости речи:

— Извините, говорю, ваше превосходительство, но я, как будучи профессор по своей специальности, то мне приходилось встречать всевозможные случаи, в том числе и человеческие горла. Есть, говорю, на передней части мужской шеи одна история, называется, ваше превосходительство, кадык, особенно у пьяниц или церковных певчих из октав. И притом, имею, говорю, в виду, кадыки бывают обоюдных комбинаций: нутряные и наружные. Ежели кадык нутряной, его и не видать, получается *прямое горло*, и кадык сидит в горле, как пробка в бутылке. Но коль скоро кадык выкатывается на улицу, это называется *кривое горло*, ваше превосходительство. А стрижка же сухим бобриком самая опасная: это обозначает все торчком: спереди, сзади, на висках, чтобы полный круг был, и при такой деликатной механике ужасно мелкий волос летит, как пыль, и все отскакиваемые волосинки неопровержимо попадают при кривом горле в легкое, отчего влечет чахотка. А вы извольте взглянуть, ваше превосходительство, на этого субъекта Родионова, у него, между нами говоря, чересчур кривое горло, и кадык самый неестественный. Вот по этому по самому, ваше превосходительство, Родионов поупорствовал, но, снисходя к вашим заслугам, он изволил приступить к стрижью, приняв весь риск чахотки на свою личную ответственность.

Генерал поморщился и протянул так, знаете ли, иронически:

— Мм-да-а,— а потом как пустит: — Да за такую мнимую пропаганду вас в окопы, подлецов!

С тех пор ни ногой ко мне. Да и черт с ним.

Или, например, разные дамы из высших аристократок. Подъедет в карете какая-нибудь барышня рюрюрю,

капризного воспитания, — беда, я вам доложу, хоть плачь. «Ах, щипцы горячи! Ах, бандо не умеете класть! Ах, профиль мне испортили! Ах, какие руки у вас не очень чистые!» До того прыгаешь над ней, что не только рубаха, а и сапоги-то взмокнут.

Ну, а теперь на этот счет, в направлении, то есть, женского пола, нам с новым режимом большое облегчение вышло. Коммунисток, например, случается стричь — одна приятность. Ее чем короче обкорнаешь, тем лучше: картуз надела, трубку закурила и пошла. Очень ей надо локоны пускать да всякие рюрюрю, раз у нее одни заседания на уме.

Но коль скоро дело коснулось нового режима, я скажу. Можете себе представить, что было после революции. Тут уж черт знает что... Советские парикмахерские открылись, народ повалил толпами, неизвестно откуда и взялся. Ведь, кажется, подыхали все от голода, а стричься да бриться — огромные хвосты: конечно, всякому лестно на дармовщинку-то. Ну, надо правду сказать, теперь уж дело прошлое: обращались парикмахеры безобразно, потому — мастера озлоблены, голодные, холодные, заработков лишились, на учете все, — поэтому стригли с остервенением. Иного так оболванят, тошно смотреть. Подойдет стриженный субъект к зеркалу и попытается в полном затруднении себя признать. Зато в три минуты: цырк-цырк-цырк — и готово.

И волос этих бывало да шерсти человеческой с бород прямо невероятные размеры: каждый божий день по двуспальному матрацу можно бы набивать. Но, конечно, мы не американцы.

Или не угодно ли такую хронику. Заведующим в нашей коммунальной парикмахерской был ротный цурульник из солдат коронной службы. Такой стервец оказался, страсть! Например, без двух минут шесть — можете себе представить — садится к нему в порядке живой очереди какой-то товарищ, этакий волосатый, знаете, черный, и предлагает стричь. Заведующий, не торопясь, взял под машинку весь затылок и правую часть головы от уха. А часы как раз бьют шесть. Так можете себе вообразить — парикмахер кладет машинку и снимает фар-тук. Клиент в ужас, в крик. А тот:

— Мы, товарищ, закрываем по декрету ровно в шесть. Вот объявление, а вот перед вашим взглядом часы. Завтра пожалуйста, dokonчим.

И так сколько раз. Но уж такого грандиозного безобразия над свободной личностью я не признаю и всегда оказывал снисхождение: хоть плохо — цырк-цырк-цырк, а оболванишь.

Освежить прикажете? Нет? Тогда извольте, я усы брильянтином подмахну, у нас теперь товар самый лучший, заграничный, из Петрожиртреста, собственного изготовления. Ну, вот-с, пожалуйста. Мальчик! Обчисти гражданина...

1923



СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА

— К черту, — сказал сам себе Петр Иванович Тарелкин, прикултыхав домой с трудповинности, и бросил в угол лопату. — Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга... Хуже! Это хождение преподобной Феодоры по мукам². Хуже...

Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню: так и есть, большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны, и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью кацавейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на больную ногу.

— Ха, транспорт... Вози им песок из карьера, балласт... — бубнил он, тараща озлобленные мутные глаза. — А зимой дрова заготовляй на железку, для общественных портомоен проруби долби, окопы рой... Тьфу! Черт бы их драл.

Петр Иванович остановился и так свирепо потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, взлохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дьякона.

В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел.

— И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще десять лет такую волюнку тянуть придется... Это с больным-то сердцем.

Но настроение его вдруг резко изменилось: по испытому длинному лицу проползла улыбка, большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе.

— Гениально! Гениально! — радостно воскликнул Петр Иванович и ударил себя ладонью в лоб.

Отворилась дверь. Петр Иванович поспешно придал лицу вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза.

— Петруша! Да что ж ты, голубчик, развалился-то, — чуть гнусавя, сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль, — хотя бы рассаду полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал. Милицейский с бумажкой приходил.

— Не пойду, — равнодушно сказал Петр Иванович и густо, но без всякого выражения сплюнул. — Я — бывший соборный регент, а не батрак. К черту!.. Я им больше не слуга... Арестант я, что ли?

Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело.

— Да, никак, ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!

— Как это меня могут расстрелять, раз я умру, — загробным голосом проговорил Петр Иванович.

Жена испуганно задвигала бровями.

— Как, Петрушенька, умрешь?

— А очень просто: вот вытяну ноги и умру... Вон какие перебои в сердце.

Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустила на стул.

— Нет, довольно! — вскричал Петр Иванович басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как коростель.

— Вместо того чтобы этак мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью.

Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому ножу, по веревке, по здоровенному крючку, где висела лампа «молния», и враз замелькали перед ней хрипящие призраки.

— Ты не имеешь права умирать!.. Ты не смеешь руку на себя накладывать! — И лицо ее перекосилось от ужаса.

«Очень любопытно, черт возьми», — едва сдерживая смех, подумал Петр Иванович.

Но ему стало жаль жену, и он сказал:

— Дурочка... Фелицата Николаевна... Я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. «Смерть Тарелкина»-то смотрели, пьесу-то, помнишь?³ Недаром и фамилия у меня такая же — Тарелкин.

Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.



На другой день она заявила в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости.

Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурком.

— Вам, гражданка, что?

Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки.

— Извиняюсь, товарищ, — начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь. — Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить.

Юноша засопел, лицо его стало как укус.

— Ха!.. Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно... Садитесь, гражданка... Ваш адрес? Я сейчас пошлю арестовать его.

Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась.

Фелицата Николаевна впилась руками в край стола.

— Что вы, товарищ!.. У него понос, холера у него. Он вот-вот умрет.

— Холера? — Брови молодого человека взлетели вверх. — Тогда его немедленно надо в заразные бараки. Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню. — И рука его потянулась к телефону.

— Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала, просто я от неприятности вся трясусь. — Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей. — Он нес дрова, упал и разбил себе голову... Теперь в беспамятстве, сорок два градуса жару.

Лицо юноши стало как горчица, потом — как игристый квас.

— Не упали ль вы сами, гражданка, на голову? — Губы его кривились в улыбке. — И что вам наконец от меня угодно?

Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода.

— Товарищ! — вышла она из оцепенения. — Извиняюсь, товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти.

Она выходила на цыпочках и косолапо, барышники провожали ее улыбками, а когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском:

— Ненормальная дура.



Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на одиноком пустынном огороде. Петр Иванович было разделал пять гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйста, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу?!

Петр Иванович на третий день благополучно умер.

Фелицата Николаевна, в черном платочке, двое суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых.

Петр Иванович целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скворешнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке.

Эх, как это прелестно, что Петр Иванович умер! Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь знай работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия. Отлично, гениально!

Как-то попала Петру Ивановичу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали.

— Да ведь мы — чурбаны, колпаки! Мы прозевали изрядную выдачу... Не угодно ли: на саван столько-то аршин. На траур столько-то... Гроб из заготовительного склада; в случае отсутствия такового — выдается денежная себестоимость. Срок получения десятидневный. Боже мой, сегодня последний день!..

А Фелицата Николаевна, как на грех, уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иванович немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди, Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, от-

хватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным жениным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш — недаром всю ночь вошь снилась, — корыстолюбиво зашагал по пыльной улице.

«Господи, как бы не влопаться», — с ноющим чувством подумал он.

Но когда поднялся в присутствие и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло: ни одного знакомого человека.

Заявление его все инстанции прошло благополучно: двенадцать виз с росчерками и печатями так исполосовали все свободные места бумаги, что негде клонуть курице, и вот, в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав:

— Бегите скорей вон к тому оконцу... Без двух минут четыре... Может, успеете.

Петр Иванович совсем по-молодому, — даже приподнял темные, нарочно надетые очки, — подъехал, как на лыжах, к загородке и сунул в оконце ордер:

— Ради бога... Вот!..

Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дружеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес:

— А, Петр Иванович!.. Здравствуйте, милый человек.

И обе головы, одна перепуганно, другая любопытно, так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались.

Петр Иванович в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились, и, словно в тяжком сне, он прирос к месту.



Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего.

— Однако что же это такое? Вы, должно быть, хворали, вас нельзя узнать, Петр Иванович! А?

— Вы ошибаетесь... Я совсем не Петр Иванович... Петр Иванович Тарелкин помер... Вы ошибаетесь. Я — Антон Огурцов — дядя.

Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой.

Петр Иваныч словно окунулся в ледяную воду.

— Позвольте мне обратно ордер, — забормотал он. — Тут ошибка... Ради бога, ордер...

— Ордер? Он регистрируется... Сейчас, сейчас... Кто ж у вас умер, Петр Иваныч? Уж не супруга ли?

Голова унынула за решетку и близоруко стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся ижицей, брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались.

— Гм!.. — зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце. — Гражданин Тарелкин!..

Но на том месте, где стоял Петр Иваныч, была совершеннейшая пустота.

Вечер. Покойник с собственной вдовой, только что вернувшейся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его тряслись. Не переставая, он курил махру.

— Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют, — говорил он. — И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в отъезде был. Бывший кабатчик, в коммунисты записался, перевертень, черт. Такие самые злобные. Боюсь я... И надо ж было так влопаться... Тьфу!

— Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать... Ох, хоть бы ноченьку-то переночевать благополучно!

— Я так полагаю, надо обриться мне...

Вдруг раздался стук в дверь.

Оба вздрогнули и открыли рты. Занавески на окнах спущены, горела лампа.

— Скорей в подполье!.. Пропал я, пропал... — зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь.

Мигом спустились в подполье; Петр Иваныч залез в мешок и сел в угол.

— Заслони меня чем-нибудь... Вот ящиком... Вот еще мешком с углями...

Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь.

— А-а, — протянула она и сразу обозлилась. — Ульяна Сидоровна!.. И откуда это вы приперлись?

— А уж я думала, тебя зарезал кто, — пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно, белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы. — Фу-у-у!.. А я из бани к тебе... Дай, думаю, навещу вдовуху, божью сироту. Почитай, с полден пошла, да ишь как... Очередь с версту... Тьфу ты! Что и за жизнь — и когда эти большевичишки сквозь землю-то провалятся...

Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом салона потное свое лицо.

— А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то зачем?.. А табачищем-то как разит. Дым как на пожаре. Неужто куришь?

— Курю, — сказала вдова, и уши ее покраснели. — После покойника осмущечка осталась... С горя.

— Фу-фу... Да. Посетил господь. С чего это он? Вот те и Петр Иванович!. Царство ему небесное... Э-эх!.. Ну-ка, налей чайку.

— Извиняюсь, — растерянно и не без раздражения начала вдова. Зубы ее выбивали дробь. — Извиняюсь, Ульяна Сидоровна... Я вас никак не могу угостить чаем... Пожалуйте в другой раз, Ульяна Сидоровна.

— Почему это не можешь? — гостья сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие, безбровые глазки ее засверкали.

— Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна... Я должна завтра чем свет встать, чтоб к заутрени на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку...

— Чудесно, — перебила гостья, — я у тебя ночую. И я с тобой на панихидку пойду.

Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее подался вперед.

— Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна!

— Я пятьдесят пять лет Ульяна Сидоровна! Ошалела, что ли, ты... Как это невозможно? — и стала цедить из чайника в чашку. — Я вот на кушетке и прикорну... Не бойся, не объем, у меня кой-что захвачено... Ой, и пить захотелось, прямо душа горит.

Гостья, крихтя, нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба.

— Эх, хорошо бы еще луковку.



А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом.

— Погиб... погиб...

Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света и перед покойником кто-то задышал.

— Петруша...

Из дыры на мгновение блеснул колющий глаз, на смену ему подъехал рот.

— Кто? Облава? — прошипел рот и тотчас же уступил место уху.

Раздался чей-то голос и скрип ступеней.

Ухо, глаз, рот ушли вниз, покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать.

— И куда вы лезете?! Куда лезете!.. — раздраженно бросала хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов. — Не сидится вверху-то вам!..

Все смолкло.

Ухо, потом глаз подъехали к дыре: тишина и темень.

Петр Иваныч облегченно передохнул, перекрестился: «Кажись, ушли», — и его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.



Прошел битый час. Что за оказия, почему не приходит жена, уже не арестовали ль ее? Петр Иваныч вылез из мешка и, расшарашив во тьме руки, тыкался в открытые плесенью углы.

Он взобрался на лесенку и приткнул глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки, чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна. И самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава, и ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо ждать.

— Пей, — говорит старуха, придвинув чашку хозяйке.

— Не много ли будет, — отвечает та хмельным голосом, — с непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то...

— За упокой души... Хоть и не стоит он того... Ну, превечный ему покой, — говорит старуха и пьет.

Петр Иваныч сплюнул и прошипел:

— Чтоб те самой сдохнуть без покаяния!

— А ты не хнычь,— говорит старуха.— Слава богу, что и помер-то. Пьяница, царство ему небесное, был...

— Нет, извиняюсь, он хороший,— возражает вдова и пьет.

— Хороший? Первый поножовщик был покойничек... Первый пьяница. Все певчие пьяницы. Я сызмальства знаю его. Подзаборник, кабацкая затычка, не тем будь помянут...

Петр Иванович стиснул зубы и сжал кулак.

«Ну и чертова старушка!» — подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жадной выпить. Взор его был зорок и хищен, как у ястреба.

— Он мне, каторжная душа, семь с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек!.. Уж раз подход, превечный покой его головушке, то скажу тебе, сирота. Как-то говорит мне пьяненький: «Ох, говорит, Ульяна Сидоровна! Жена, говорит, мне наскучила, подыщи ты мне вальжную даму из купеческого или епархиального сословия».

Петр Иванович ударился теменем в крышку люка и проскорготал:

«Ну, только бы революция окончилась, я тебя, дьявольскую старушку, изуведу».

Хозяйка прижала к глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке.

«Ах, выжрет все»,— с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив две чашки, оставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую.

— Давайте скорей ложиться спать,— сквозь слезы сказала хозяйка.

Петр Иванович замерз, запрокинутая голова его кружилась, затекла спина. И ужасно хотелось выпить самогону. Ну, положеньице! Черт его сунул умереть! Сидя на ступеньке под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал.

А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтоб выбраться наверх.

Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом. С хриплым лаем, визгом, криком мимо него толстобоко потряслась старуха.

И все сорвалось с мест и понеслось: стол, самовар, окошки...

Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь, за ней — мертвец. Старуха ухнула, упала. С маху на нее упал мертвец.

— Ульяна Сидоровна! Душечка!.. Это я, Тарелкин... Самогону, дайте самогону!..

Старуха рывкнула и заорала, и с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть.

— Ульяна Сидоровна!.. Ангел!.. — и сгреб старуху за глотку.

Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела.

«Бежать... Скорей...»

Мертвец метнулся и — по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики:

— Держи, держи!..

Все опрокинулось и завертелось: капуста, гряды, глазастый месяц, орущая толпа людей — и красный конь пронесся с хохотом.

Петр Иванович в сенцах. Схватил тяжелый топор-колун и притаился: пропадать так пропадать.

И первому — раз по голове, другому — раз... Свалили, вяжут.

— Ребята, к стене его!

— Как, без суда?

— Без суда... Он мертвый...

Морды, морды, морды, тыща ружей в грудь.

— Пли!! — залп.

С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иванович, он кувырнулся в пустой, из-под капусты, чан, враз проснулся и от страшного испуга по-настоящему, мгновенно умер.

1923



РЕДАКТОР

Скажу несколько теплых слов в защиту редакторов. А то все ругают их, и, по-моему, напрасно.

Не знаю, как в столицах, у нас же в городе Те-

терькине редактор замечательный и, в виде исключения, женского пола, притом — высокого ума. Она совершенно молодая и со стороны внешней формы — очень стройная, сюжет развернут вполне, фабула тоже обработана. Нецензурно выражаться воспрещает.

Хорошо-с. Однажды приношу ей рассказ из крестьянского быта, под заглавием *«Женская порка»*.

Она прочла и стала меня энергично крыть. То есть так крыла в смысле идеологии, что по всему моему телу пошли пупырышки, как у щипаного индюка. Будучи сознательным, я выскочил на двор и стал глубоко вдыхать свежий воздух.

Надышавшись как следует, вновь подхожу к ее столу.

Она сидит, ничего не говорит и даже не смотрит на меня, а занимается маникюром. Брови наморщены.

А рассказ мой вкратце таков. Прибегает в сельсовет маленького роста мужичок с заплывшим глазом и кричит, что его избила жена, контрреволюционерка. Тогда всем комсоставом пошли брать эту скандалистку-бабу, которая сидела в избе, крепко запершись. Первый полез в окно председатель сельсовета, очень лохматый. Только он лег брюхом на подоконницу и закорючил ногу, как проклятая баба сгребла его за бороду и стала лупить ухватом по загривку, ругая Советскую власть. Председатель кричит: «Тяните скорей обратно за ноги! Убьет!» Словом, короче говоря, бабу взяли с бою и поволокли на площадь, затем согнали всех замужних женщин для образца наказания, затем оголили контрреволюционерку-бабу и стали производить дискуссию вожжами. Сначала сознательный муж драл, потом били содоклады и от прочих доброхотов. Скандалистка орала, остальные женщины поучались, смиренно говоря: «Мы будем тихие».

Это вкратце. Кончался же рассказ буквально так:

«Закат пылал. И вся пышная природа как бы созерцала подобный финал. Прохожий старик остановился, взглянул на истерзанное контрреволюционное бабье сидячее место, воскликнул: „Боже правый!“ — и заплакал».

Я говорю:

— Как же так, Софья Львовна, вы бракуете такой потрясающий рассказ? Сюжет развернут, фабула обработана.

Она говорит:

— Да, все прекрасно. Но у вас кулацкая идеология.

— Никак нет,— говорю,— вожжами драли, а не кулаками.

Она опять начала меня крыть. Так крыла, так крыла, что у меня даже золотой зуб заныл.

Я вновь выбежал на улицу и сожрал две порции мороженого, удивляясь, до чего сознательны редактора.

Хорошо-с. Являюсь вновь к столу.

— Вы меня, Софья Львовна, режете. Мне аванс надо. Я Мишке Сусленникову два с полтиной должен. Я...

— Почему у вас тошнотворное слово «боже» с большой буквы? — перебила она.

— Потому, что это новая строка.

— Пустая отговорка,— сказала она.— Переставьте слова, напишите: *«Правый боже!»* — воскликнул старик.

— Так никто не восклицает, тем более на старости лет,— сказал я.— А всегда восклицают: боже правый.

Она говорит:

— Я, знаете, человек подначальный, должна стоять на страже. Я человек партийный.

— Я тоже человек сознательный,— сказал я, вставил папиросу в янтарный мундштук и закурил, пуская дым самыми маленькими, деликатными колечками.

— А скажите, товарищ Моськин, вы в данном расказе на стороне мужиков-насильников или...

— Никогда! — возмутился я.— Всецело на стороне угнетенных женщин! — и вновь пустил дым самым маленьким колечком, вроде обручального.

— Ну, тогда другое дело,— ласково сказала она.— А почему вы не женитесь?

— Да как вам сказать,— замялся я.— Некогда жениться-то. Все рассказы пишу... Так разве, на скорую руку... это... как его... — потупил я глаза.— А во-вторых, где ее, невесту-то, взять?

— Ну,— улыбнулась она, прищуривая свои очаровательные глазки.— За вас всякая пойдет... Вы очень симпатичный... Очень, очень!..

— Извиняюсь... А вот почему вы замуж не выходите, такая красота? — осмелел я и чувствую — страшно заклубилась кровь во мне.

Она тоже замялась, склонила голову набок и ужасно обольстительно улыбнулась мне.

Тут совершенно вылетело у меня из головы, что она редактор: я усиленно задышал, в то же время обдавая ее двусмысленным любовным взглядом.

— Итак, ваш рассказ пойдет, — вдруг проворковала она; голос ее дрожал, пышная грудь вздымалась, сначала медленно, потом быстрее, быстрее.

— Неужели пойдет?! — трагически заломил я руки. — Без всяких изменений? Ни одной строчки?!

— Да, да, не волнуйтесь. Ну, может быть, какое-нибудь словцо и придется перевернуть. Не забывайте, что я женщина ответственная, одинокая...

— Софья Львовна! Софья Львовна! — и у меня впервые потекли обильные слезы радости прямо на пол.

Я вышел с высоко поднятой головой, громко сморкаясь и, на этот раз, пуская во все стороны огромные кольца дыма. В сердце моем горела сильная, глубочайшая к ней любовь.

И, будучи сознательным, я твердо решил: если, действительно, рассказ пройдет, женюсь на ней, женюсь...

И вот рассказ вышел.

Все было на своем месте, все, все, дословно, даже те строки, где баба ругала Советскую власть.

Лишь в самом конце рассказа, и то на законном основании, согласно идеологии, восклицание проходящего старика, а именно: «Боже правый», было заменено:

«Боже левый».

1926



РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Режим экономии кому полезен, а кому и вреден. Иной от этого режима удавиться может. Например, вот вам фактик небольшой.

Было дело в голодное время. А сам я — мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уже некогда угодников мазать, да и негде: даже попы нуждаться стали.

И вот пришла мне в голову идея:

— А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням, — внушаю сам себе, — будешь с богатых мужиков морды малевать.

В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом — клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый, черт.

— Ладно,— говорит,— рисуй по очереди всех. Пото-му — по-благородному желаю жить: чтобы все на стенках висели, форменно, да.

Стали торговаться. Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит: пиши за харч, жрать будешь и — довольно.

— Это грабеж,— говорю ему,— вы, гражданин, искусство не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по три тысячи золотом за портрет берет.

— Начхать мне на твоего Репина! Он — Репин, а я — Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай струмент и — дальше.

И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адова, то есть такая жара — шесть собак на деревне очумело. Я посадил его, подлеца, у ворот, на самый солищепек, и велел шубу с шапкой надеть.

— Пошто! Рисуй в красной рубахе, при часах.

— Нет,— говорю,— в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся.

Он сидит, пот градом с него, а я в холодок устроился. Разглядываю его, а он пыхтит: тучный, дьявол, жирный.

— Что же ты, живописец, не малюешь?

— Я физиономию вашу изучаю, очень величественная у вас физиономия, как у воеводы.

Он бороду огладил, приосанился. Я ему:

— Нет, Митрий Титыч, шевелиться нельзя.

— Ну?! Неужто нельзя?.. А меня клоп кусает.

— И разговаривать нельзя. И мигать нельзя: кривой будете, вроде уроды. Замрите, начинаю,— и стал подмалевывать.

А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прямо живьем сожрал бы ее, а нельзя.

Я говорю:

— Пожалуйста, не обращайтесь на нее внимания: поползает, поползает да улетит. А то портрет испортите, снова придется.

Гляжу — он губы скривил чуть-чуть и подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не

любит ветерок, взяла да и поползла на правый глаз. Мужик моргнул да ланищей как хлопнет. Муха и душу богу отдала.

— Ну вот,— сказал я,— портрет испорчен. Снова.

— Господин живописец,— взмолился он,— нельзя ли в холодок? Шибко жарко, и глазам очень трудно на солнышко глядеть.

— Нет, нет,— сказал я.— Замрите окончательно.

Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил:

— Мишка, подбирай! — и, не стыдясь баб, оголился, да ну, как тюлень, нырять да гогочет.

Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем да думаю: «Я те, анафеме, покажу настоящий режим экономики, ты у меня взвоешь».

— А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки,— спросил Огурцов.

— Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется.

— Да ведь ты пуд просил?

— Меньше двух пудов не могу. В шапке ежели — пуд. Не желаете, тогда до свиданья. Я — художник самый знаменитый: всех великих князей писал, двух митрополитов, Гришку Распутина⁴...

— Патрет мне шибко нравится,— сказал Огурцов.— А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый. Так и быть, рисуй без шапки.

После обеда хозяин выпил восемь стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел:

— Идем, что ли, черт тебя задави совсем. Только ты не серчай на меня, голубок...

Жара была еще сильнее. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц. Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него: шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный.

— Вот до чего упарился... Аж в сапогах жмыхает.

— Ничего,— говорю,— терпите. Великие князья с митрополитами тоже потеют.

Через час у него кровь из носу пошла. Через два часа он вдруг побелел, простонал:

— Кваску бы...— и упал.

Я только написал одну голову. Сходство поразительное, даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит:

— Дюже правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень...

— Дорого, — говорю, — пять пудов.

Он ошетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал:

— Рисуи, сволочь!

Я потребовал плату вперед, посадил брюхана в холодок — в красной рубахе он, при часах, с медалью — и стал со всем старанием писать. Пишу да говорю:

— Один великий князь для прохлады позировал у меня в подштанниках. Ну, за это я дорого взял...

Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака два месяца. Мучицы заработал и денег.

На прощанье кулак встал и сказал:

— А ты все-таки — жулик... Ловко нагрел меня.

Я ответил:

— Другой раз не жадничайте... Вы — человек богатый.

Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку, ради режима экономии, песку подсыпал.

1926



УСЕКНОВЕНИЕ

В село Нетоскуй прибыл знаменитый, с двадцатью тремя медалями, фокусник. А село большое, на четыре улицы, и в каждой улице по настоящему кулаку сидело, богатей.

В самой же маленькой избенке, на краю села, Мишка Корень жил, парень головастый, хотя и рябой весь, но очень грамотный: чуть что, вроде кулацкого засилья, например, так в газете и прохватит, потому — селькор, а подпись — «Шило».

Кулакам Мишка Корень — как чирий на сиденье, кулаки искали случая стереть его с лица земли.

Вот тут-то фокусник и пригодился.

Объявил фокусник, что желающему из публики он будет топором голову срубить, потом опять приставит, человек снова оживет.

Неужто верно? Да, да, да, милости просим убедиться.

Посоветовались кулаки между собою, и лавочник Влас Львов пригласил фокусника к себе на угощение.

Вдвоем пили, взаперти.

— Да, гражданин фокусник, туго нашему брату и с богатством теперича,— печально помотал бородой Влас Львов.— И вот в чем суть... Ежели, допустим, коснувшись вашего рукомеса, вы оттяпали человеку голову, что же, неужели он умирает тут?

— Без сомненья, умирает,— ответил фокусник, бритенький и юркий, во рту золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит.

— Так, так... Кушайте во славу. Пожалуйте уточку... Ах, какая утка примечательная... Просим коньячку... По личности сразу видать, что вы очень умный, просто полюбил я вас совсем. Ну, так. А потом, ежели голову приставить, опять срастется? Ока-а-а-зия... До чего наука достигает... Страсть... Милай! Друг! А позволь тебя, андель, спросить... Например, ежели оттяпаешь, а тут в тебе головокружение, захвораешь нечаянно и на пол, вроде обморока? Тогда как? Ведь не станет же человек без башки полчаса дышать, умрет. Правильно, иль нет?

— Без сомнения, правильно,— пободался фокусник широким лбом и потянул из стакана коньячок.— Тогда, без сомнения, умрет так ловко, что хоть пять голов приставь, не воскреснет. Но я в обморок никогда не падаю.

— Жаль,— мрачно вздохнул хозяин.— Шибко жаль. Только со всяким несчастья бывают. И по суду, ежели коснется, тебя завсегда оправдать должны... А мы тебе... хе-хе-хе... сотняшку рубликов пожертвовали бы. Чуешь? Ну это — промежду прочим, к слову. С глазу на глаз мы. Великая тайна, значит.

Фокусник допил коньяк, ухмыльнулся и по-дьявольски хитро подмигнул хозяину:

— Понимаю... Идет. Какого цвета волосы?

— Хых-ты, андель, херувим! — схватил хозяин гостя в охапку, целовал его в уши, в лоб, в глаза.— Ах, до чего догадлив ты! Лохмы светлые у паршивца, как лен. Такая гадюка, страсть... То есть, ах... Одно слово, ухо-

рез, пагуба для всего правильного хрестьянства. Вот тебе в задаток два червончика. Ну, только, чтобы верно. Понял? Вот, вот. Достальные — после окончанья. Прибавка будет. Озолотим.



А вечером кулацкий элемент предупреждал крестьян на сходе:

— Смотрите, братцы, своих парнишек не пущать башки оттяпывать. Боже упаси. Заезжему прощелыге с пьяных глаз — фокус, а человеку может приключиться смерть с непривычки.



Народный дом густо набит зеваками.

Фокусы были замечательные. Вырастали цветы в плошках на глазах у всех, исчезал из-под шляпы стакан с водой, фокусник изрыгал фонтаны пламени и дыма, в гроб клали девушку-помощницу, закрывали, открывали при свидетелях и — вместо девушки лежал скелет.

Зрители пыхтели, впадая в обалдение, старики и бабы отплевывались, крестились, призывая всех святых. Ребята широко открывали рты и не дышали.

После перерыва фокусник еще проделал много разных штук и в конце заявил ошалевшей толпе, что он хворает и поэтому отрубание головы отменяется. Народ вдруг взбунтовался, зашумел.

Громче всех, подзуживая зрителей, буянил кулацкий элемент:

— Ага, ишь ты! Руби, руби! — шумел народ. — А нет, мы те самому башку оторвем!! — Толпа была возбуждена, раздувались ноздри.

— Идя навстречу желанию публики, — начал фокусник, — и благодаря угрозам убить меня, я, конечно, как будучи беззащитен против сотни зрителей, соглашаюсь. Но предупреждаю: операция может закончиться печально, потому что я утомлен и близок к обмороку.

Кулацкий элемент многозначительно переглянулся: «Клюнуло. Все как по маслу... Так».

— Согласны на таких условиях? Я всю ответственность перепошу на вас.

— Жалаим!.. Просим! Сыпь!!

Кулацкий элемент радостно заерзал на скамейках.

— Желающие, пожалуйста на плаху! — озлобленно крикнул фокусник и покачал широким топором.

Никто не шел. Все оглядывались по сторонам, шептались, подбивая один другого. В углу уговаривали древнего старца — ведь это ж не взаправду, а ежели выйдет грех, деду все равно недолго жить. Старец тряс головой, плевался, а когда его подхватили под руки, загайкал на весь зал:

— Караул! Грабят!

И вот раздался голос, очень похожий на голос Власа Львова:

— Пускай Мишка Корень выступает! Он — комсомол, не боится ничего.

Минуто было тихо. Потом, рассекая полумрак, взвились насмешливые крики, как бичи:

— Ага, Миша! Боишься?! Вот тебе и нету бога! Тут тебе, видно, не митинги твои... Ха-ха!.. Попался?!

Селькор Мишка Корень, сидевший на первой скамье, вдруг встал, весело швырнул слова, как горсть звонких бубенцов:

— Сделайте ваше одолжение, сейчас! — и быстро заскочил на эстраду.

— Не бойтесь? — спросил фокусник громко, чтоб все слышали, и, скосив глаза, строго осмотрел жизнерадостного, в белых вихрах, юношу.

— А чего бояться? — так же громко ответил тот. — Без головы не уйду.

— Ну, смотрите... Чур, после не пенять. Давайте завяжу вам глаза, а то страшно будет. Граждане! Я за последствия не отвечаю...

В задних рядах девочка, сестра Мишки, с ревом сорвалась с места и кинулась домой предупредить отца:

— Мишку резать повели!

Фокусник завязал лицо юноши белым платком по самый рот и усадил его возле стола с плахой.

Юноша не знал, что заговорщики, затаив дыхание, ждут его конца, ему и в ум не приходило, что фокусник — продажная тварь, предатель, он не чувствовал сердцем, что его сейчас убьют, поэтому так доверчиво, с улыбкой он положил на плаху свою голову.

На сцене — полумрак. Фокусник засучил рукава и ухватился за топор. Весь зал с шумом поднялся на ноги, вытянул шеи, замер. Зал верил и не верил.

Сверкнул топор, зал ахнул, голова с хрястом отделилась от туловища, тело Миши сползло со стула на пол.

Фокусник взял в руки белокурую, с завязанным лицом, голову и показал народу. Из горла свисали жилы, струилась кровь.

С визгливым криком несколько женщин лишились чувств. Зал оцепенел. Мертвящей волной пронесся мгновенный холод. Зал копил взрыв гнева и тяжко, в сто груди, передохнул.

Фокусника охватила жуть, он увидел звериные глаза толпы, побелел и зашатался.

«Сейчас упадет», — мелькнуло в голове торгаша Власа Львова, но вместо радости, что Мишка Корень мертв, в его душу вполз неожиданный ужас и раскаянье.

«Упокой, господи, душу раба твоего», — мысленно взмолился он.

Толпа враз пришла в себя и с гвалтом, опрокидывая скамьи, топча упавших, зверем бросилась вперед: — Убийец!! Подай Мишку!

Толпу охватило яростное пламя мести, крови:

— Ребята, бей!! Души!!

Но вдруг толпа с налету — стоп! — как в стену: из-под стола с хохотом поднялся казненный Мишка Корень и в гущу взъерошенных бород, перехваченных ревом глоток звонко закричал:

— Да здравствует Советская власть! Урра!

Весь зал взорвался радостными криками: «Ура, браво, биц-биц-биц!!»

— Товарищи! — надрывался фокусник. — Это же в моих руках голова куклы. Это же ловкость рук! Прошу занять места... Сейчас будут объяснены все фокусы!

Тут вздыбил на скамьи весь кулацкий элемент. Очнувшийся Влас Львов громогласно заорал:

— Жулик ты! Обманщик!.. Тыфу, твои паршивые фокусы!! — И озверевшим медведем стал продираться к выходу. — Хорошенькие времена пришли! Ни в ком правды нет... Ни в ком!! — по-своему философствовал он, источая из сердца желчь и злобу.

Фокусник, юркий, бритенький, улыбнулся ему вслед. Во рту фокусника золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит...



АРИСТОКРАТКА

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:

— Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

— Да, — отвечает, — действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну, а раз она мне и говорит:

— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сажу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным вьюсь вокруг ее и предлагаю:

— Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крикнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет,— говорит,— мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи,— говорю,— взад!

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи,— говорю,— к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас,— говорит,— за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как,— говорю,— за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

— Нету,— отвечает,— хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

— Как,— говорю,— надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось,— народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте, говорю, гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай,— говорит,— я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:
— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездят с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

1923



СОБАЧИЙ НЮХ

У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.

Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.

— Шуба-то, — говорит, — больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.

И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этаким человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища — коричневая, морда острая и несимпатичная.

Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону — и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пускает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.

— Да, — говорит, — попалась. Не отпираюсь. И, говорит, пять ведер закваски — это так. И аппарат — это действительно верно. Все, говорит, находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.

— А шуба? — спрашивают.

— Про шубу, — говорит, — ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное — это так. Ведите меня, казните.

Ну, увели бабку.

Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел.

Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.

Побледнел управдом, упал навзничь.

— Вяжите, — говорит, — меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, говорит, за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И тербит его за штаны.

Побледнел гражданин, свалился перед народом.

— Виноват, — говорит, — виноват. Я, говорит, это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!

Растерялся народ.

«Что, — думает, — за такая поразительная собака?»

А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту.

— Уводи, — говорит, — свою собачищу к свиньям собачьим. Пушай, говорит, пропадает енотовая шуба. Пес с ней...

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.

Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.

Заблекотал купец, побледнел.

— Ну, — говорит, — бог правду видит, если так. Я, говорит, и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, говорит, братцы, не моя. Шубу-то, говорит, я у брата своего зажил. Плачу и рыдаю!

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих — кто подвернулся — и держит.

Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом ткнул, третий такое сказал, что и передать неловко.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.

И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.

— Кусайте, — говорит, — меня, гражданка. Я, говорит, на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру...

Чего было дальше — неизвестно. Я от греха поскорее смылся.

1924



ХОЗРАСЧЕТ

На праздниках бухгалтер Горюшкин устроил у себя званый обед. Приглашенных было немного.

Хозяин с каким-то радостным воплем встречал гостей в прихожей, помогал снимать шубы и волочил приглашенных в гостиную.

— Вот, — говорил он, представляя гостя своей жене, — вот мой лучший друг и сослуживец.

Потом, показывая на своего сына, говорил:

— А это, обратите внимание, балбес мой... Лешка. Развитая бестия, я вам доложу.

Лешка высовывал свой язык, и гость, слегка сконфуженный, присаживался к столу.

Когда собрались все, хозяин, с несколько торжественным видом, пригласил к столу.

— Присаживайтесь, — говорил он радушно. — Присаживайтесь. Кушайте на здоровье... Очень рад... Угощайтесь...

Гости дружно застучали ложками.

— Да-с, — после некоторого молчания сказал хозяин, — все, знаете ли, дорогонько стало. За что ни возьмись — кусается. Червонец скачет, цены скачут.

— Приступу нет, — сказала жена, печально глотая суп.

— Ей-богу, — сказал хозяин, — прямо-таки нету приступа. Вот возьмите такой пустяк — суп. Дрянь. Ерунда. Вода вроде бы. А нуте-ка, прикиньте, чего эта водичка стоит?

— М-да,— неопределенно сказали гости.

— В самом деле,— сказал хозяин.— Возьмите другое — соль. Дрянй продукт, ерунда сушая, пустяковина, а нуте-ка, опять прикиньте, чего это стоит.

— Да-а,— сказал балбес Лешка, гримасничая,— другой гость как начнет солить, тык тока держись.

Молодой человек в пенсне, перед тем посоливший суп, испуганно отодвинул солонку от своего прибора.

— Солите, солите, батюшка,— сказала хозяйка, двигая солонку.

Гости напряженно молчали. Хозяин со вкусом ел суп, добродушно поглядывая на своих гостей.

— А вот и второе подали,— объявил он оживленно.— Вот, господа, возьмите второе — мясо. А теперь позвольте спросить, какая цена этому мясу? Нуте-ка? Сколько тут фунтов?

— Четыре, пять осьмых,— грустно сообщила жена.

— Будем считать пять для ровного счету,— сказал хозяин.— Нуте-ка, по полтиннику золотом? Это, это на человека придется... Сколько нас человек?..

— Восемь,— подсчитал Лешка.

— Восемь,— сказал хозяин.— По полфунта... По четвертаку с носа минимум.

— Да-а,— обиженно сказал Лешка,— другой гость мясо с горчицей жрет.

— В самом деле,— вскричал хозяин, добродушно засмеявшись,— я и забыл — горчица... Нуте-ка, прикиньте к общему счету горчицу, то, другое, третье. По рублю и набежит...

— Да-а, по рублю,— сказал Лешка,— а небось, когда Пал Елисеевич локтем стеклице выпер, тык небось набежало...

— Ах да! — вскричал хозяин.— Приходят, представьте себе, к нам раз гости, а один, разумеется нечаянно, выбивает зеркальное стекло. Обошелся нам тогда обед. Мы нарочно подсчитали.

Хозяин углубился в воспоминания.

— А впрочем,— сказал он,— и этот обед вскочит в копейчку. Да это можно подсчитать.

Он взял карандаш и принялся высчитывать, подробно перечисляя все съеденное. Гости сидели тихо, не двигаясь, только молодой человек, неосторожно посоливший суп, поминутно снимал запотевшее пенсне и обтирал его салфеткой.

— Да-с,— сказал наконец хозяин,— рублей по пяти с хвостиком...

— А электричество? — возмущенно сказала хозяйка.— А отопление? А Марье за услуги?

Хозяин всплеснул руками и, хлопнув себя по лбу, засмеялся.

— В самом деле,— сказал он,— электричество, отопление, услуги... А помещение? Позвольте, господа, в самом деле, помещение! Нуте-ка — восемь человек, четыре квадратные сажени... По девяносто копеек за сажень... В день, значит, три копейки... Гм... Это нужно на бумаге...

Молодой человек в пенсне заерзал на стуле и вдруг пошел в прихожую.

— Куда же вы? — закричал хозяин.— Куда же вы, голубчик, Иван Семенович?

Гость ничего не сказал и, надев чьи-то чужие каалоши, вышел не прощаясь. Вслед за ним стали расходиться и остальные.

Хозяин долго еще сидел за столом с карандашом в руках, потом объявил:

— По одной пятой копейки золотом с носа.

Объявил он это жене и Лешке — гостей не было.

1924



СЛУЧАЙ В ПРОВИНЦИИ

Многое я перепробовал в своей жизни, а вот циркачом никогда не был.

И только однажды публика меня приняла за циркача-трансформатора.

Не знаю, как сейчас, а раньше ездили по России такие специалисты-трансформаторы. Они, скажем, выходили на эстраду, почтительнейше раскланивались публике, затем, убравшись на одно мгновение за кулисы, снова появлялись, но уже в другом костюме, с другим голосом и в другой роли.

Вот за такого трансформатора однажды меня и приняли.

Это было в революцию, в двадцатом или двадцать первом году.

Хлеб был тогда чрезвычайно дорог.

За фунт хлеба в Питере запрашивали два полотенца, три простыни или трехрядную гармонь.

А потому однажды осенью поэт-имажинист Николай Иванов, пианистка Маруся Грекова, я и лирический поэт Дмитрий Цензор выехали из Питера в поисках более легкого хлеба.

Мы решили объехать с пестрой музыкально-литературной программой ряд южных советских городов.

Мы ехали своим чистым искусством заработать кусок ржаного солдатского хлеба.

И в конце сентября, снабженные всякими мандатами и документами, мы выехали из Питера в теплушке, взяв направление на юго-восток.

Ехали долго.

В дороге подробно распределили свои роли и продумали программу. Решено было так. Первым номером выступает пианистка Маруся с легкими музыкальными вещицами. Она дает, так сказать, верный художественный тон всему нашему вечеру. Вторым номером — имажинист. Он вроде как усложняет нашу программу, давая понять своими стихами, что искусство не всегда доступно народу.

Засим я — с юмористическими рассказами. И наконец лирический поэт Дмитрий Цензор. Он, так сказать, лаком покрывает всю нашу программу. Он создает впечатление легкого, тонкого вечера.

Программа была составлена замечательно.

— Товарищи! — говорил имажинист. — Мы первые в Советской России на верном пути. Мы сознательно снижаемся до масс, мы внедряемся в самую гущу. Этой программой мы докажем, что чистое искусство не пропадет. За нами стоит народ.

Пианистка Маруся молча слушала и, для практики, пальчиками на своих коленях разыгрывала какой-то сложный мотив.

Я покуривал махорку с чаем и печально сплевывал на пол зеленую едкую слюну.

А поэт Дмитрий Цензор говорил мечтательно:

— Чистое искусство народу необходимо... Нам понесут

теплые душистые караваи хлеба, цветы, вареные яйца... Денег мы не возьмем. На черта нам дались деньги, если на них ничего сейчас не купишь...

Наконец двадцать девятого числа мы приехали в небольшой провинциальный дождливый город.

На станции нас приветливо встретил агент уголовного розыска. Он долго и внимательно читал наши мандаты, потом взял под козырек, шутливо приветствуя этим русскую литературу.

Он нам по секрету сообщил, что он сам из интеллигентных слоев и что он в свое время кончил два класса местной женской прогимназии и что поэтому он и сам не прочь между двумя протоколами побаловаться чистым искусством.

На наш литературный вечер он обещал непременно прибыть.

Мы остановились у Марусиных знакомых.

Первые дни прошли в необыкновенных хлопотах и в беготне.

Нужно было достать разрешение, получить зал, осветить его и сговориться с устроителем.

Устроитель был тонкий и ловкий человек. Он категорически уперся на своем, говоря, что чистая поэзия вряд ли будет доступна провинциальной публике и поэтому необходимо разжижить нашу программу более понятными номерами — музыкой, пением и цирком.

Это, конечно, очень портило нашу программу. Однако спорить мы не стали — иного выхода не было.

Вечер был назначен на завтра в бывшем купеческом клубе.

Тридцатого сентября, в восемь часов вечера, мы, взволнованные, сидели за кулисами в специально отведенной для нас уборной.

Зал был набит до последнего предела.

Человек сто красноармейцев, множество домашних хозяек, городских девиц, служащих и людей всевозможных свободных профессий ожидали с нетерпением начала программы, похлопывая в ладоши и требуя поднятия занавеса.

Первым, как помню, выступило музыкальное трио. Затем жонглер и эксцентрик. Успех у него был потрясающий. Публика редела, гремела и вызывала его бесконечно.

Затем шли наши номера.

Маруся Грекова вышла на эстраду в глухом черном платье.

Когда Маруся появилась на сцене, в публике произошло какое-то неясное волнение. Публика приподнялась со своих мест и смотрела на пианистку. Многие хохотали.

Маруся с некоторой тревогой села за рояль и, сыграв короткую вещицу, остановилась, ожидая одобрения. Однако одобрения не последовало.

В страшном смущении, без единого хлопка, Маруся удалилась за кулисы.

За ней почти немедленно выступил имажинист.

Гром аплодисментов, крики и одобрителный гул не смолкали долго.

Польщенный таким вниманием и известностью даже в небольшом провинциальном городе, имажинист низко раскланялся, почтительно прижимая руку к сердцу.

Он прочел какие-то ядовитые, но неясные стихи и ушел в сильном душевном сомнении — аплодисментов опять-таки не было.

Буквально не было ни единого хлопка.

Третьим, сильно напуганный, выступил я.

Еще более длительные, радостные крики раздались при моем появлении.

Задняя публика вставала на скамейки, напирала на впереди сидящих и рассматривала меня, как какое-то морское чудо.

— Ловко! — кричал кто-то. — Ловко, братцы, запущено!

— Ах, сволочь! — визгливо кричал кто-то с видимым восхищением.

Я, в сильном страхе, боясь за свою судьбу и еле произнося слова, начал лепетать свой рассказ.

Публика терпеливо слушала мой лепет и даже подбадривала меня отдельными выкриками:

— Ах, сволочь, едят его мухи!

— Крой! Валяй! Дави! Ходи веселей!

Пролепетав рассказ почти до конца, я удалился, с трудом передвигая ноги. Аплодисментов, как и в те разы, не было. Только какой-то высокий красноармеец встал и сказал:

— Ах, сволочь! Идет-то как! Гляди, братцы, как переступает нарочно.

Последним должен был выступить лирический поэт.

Он долго не хотел выступать. Он почти плакал в голос и ссылаясь на боли в нижней части живота. Он говорил, что он только вчера приехал из Питера, не осмотрелся еще в этом городе и не свыкся с такой аудиторией.

Поэт буквально ревел белугой и цеплялся руками за кулисы, однако дружным натиском мы выперли его на сцену.

Дикие аплодисменты, гогот, восхищенная брань потрясли весь зал.

Публика восторженно гикала и редела.

Часть публики ринулась к сцене и с диким любопытством рассматривала лирического поэта.

Поэт обомлел, прислонился к роялю и, не сказав ни одного слова, простоял так минут пять. Затем качнулся, открыл рот и, почти неживой, вполз обратно за кулисы.

Аплодисменты долго не смолкали. Кто-то настойчиво бил пятками в пол. Кто-то неистово требовал повторения.

Мы, совершенно потрясенные, забились в своей уборной и сидели, прислушиваясь к публике.

Наш устроитель ходил вокруг нас, с испугом поглядывая на наши поникшие фигуры.

Имажинист, скорбно сжав губы, в страшной растерянности сидел на диване, потом откинул свои волосы назад и твердо сказал:

— Меня поймут через пятьдесят лет. Не раньше. Мои стихи не доходят. Это я теперь вижу.

Маруся Грекова тихо плакала, закрыв лицо руками.

Лирический поэт стоял в неподвижной позе и с испугом прислушивался к крикам и реву.

Я ничего не понимал. Вернее, я думал, что чистое искусство дошло до масс, но в какой-то странной и неизвестной для меня форме.

Однако крики не смолкали.

Вдруг послышался топот бегущих ног за кулисами, и в нашу уборную ворвалось несколько человек из публики.

— Просим! Просим! — радостно вопил какой-то гражданин, потрясая руками.

Мы остолбенели.

Тихим, примиряющим голосом устроитель спросил:

— Товарищи... Не беспокойтесь... Не волнуйтесь... Все будет... Сейчас все устроим... Что вы хотели?

— Да который тут выступал,— сказал гражданин.— Публика очень даже требует повторить. Мы, как делегация, просим... Который тут сейчас с переодеванием, трансформатор.

Вдруг в одно мгновение все стало ясно. Нас четверых приняли за трансформатора Якимова, выступавшего в прошлом году в этом городе. Сегодня он должен был выступать после нас.

Совершенно ошеломленные, мы механически оделись и вышли из клуба.

И на другой день уехали из города.

Маленькая блондинка пианистка, саженного роста имажинист, я и, наконец, полный, румяный лирический поэт — мы вчетвером показали провинциальной публике поистине чудо трансформации.

Однако цветов, вареных яиц и славных почестей мы так и не получили от народа.

Придется ждать.

1924



ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК

Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси — все, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.

Мой сосед, не старый еще мужчина с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:

— А что, товарищ, это заседание пленарное будет или как?

— Пленарное, — небрежно ответил сосед.

— Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.

— Да уж будьте покойны, — строго ответил второй. — Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался — только держись.

— Да ну? — спросил сосед. — Неужели и кворум подобрался?

— Ей-богу, — сказал второй.

— И что же он, кворум-то этот?

— Да ничего, — ответил сосед, несколько растерявшись. — Подобрался, и все тут.

— Скажи на милость, — с огорчением покачал головой первый сосед. — С чего бы это он, а?

Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:

— Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо скажу, последнее время отнюдь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это, — возразил первый. — Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и отчета, с точки зрения, то — да, индустрия конкретно.

— Конкретно фактически, — строго поправил второй.

— Пожалуй, — согласился собеседник. — Это я тоже допускаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...

— Всегда, — коротко отрезал второй. — Всегда, уважаемый товарищ. Особенно если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не обещаться...

На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог

помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил:

— Это кто ж там такой вышедши?

— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

Оратор простер руку вперед и начал речь.

И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!

1925



БАНЯ

Говорят, граждане, в Америке бани отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет — мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

— Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают — стирное и глаженое. Портянки небось белее снега. Подштанники зашиты, заплатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку),—

дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать — некуда. Карманов нету. Кругом живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпускает.

— Ты что ж это, — говорит, — чужие шайки ворует? Как ляпну, говорит, тебе шайкой между глаз — не зарадешься.

Я говорю:

— Не царский, говорю, режим шайками ляпать. Эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю, и другим помыться. Не в театре, говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же, — думаю, — над его душой. Теперича, думаю, он нарочно три дня будет мыться».

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался — не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться — какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся — опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки — мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один.

«Ну их, — думаю, — в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу — все мое, штаны не мои.

— Граждане, — говорю. — На моих тут дырка была. А на этих звон где.

А банщик говорит:

— Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают — номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.

— По веревке, — говорит, — не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревки — польт не напа-сешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется — выдам, какое останется.

Я говорю:

— Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касася пуговиц, — то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впускают.

— Раздевайтесь, — говорят.

Я говорю:

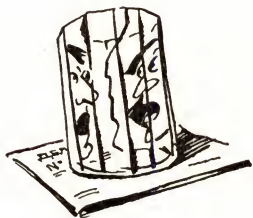
— Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла. Не дают.

Не дают — не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.

1925



СТАКАН

Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикник устроила.

И меня пригласила.

— Приходите, — говорит, — помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас, говорит, не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте, сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.

Я говорю:

— В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.

— Ну, — говорит, — приходите тем более.

В четверг я и пошел.

А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.

А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чайшко неважный, надо сказать, — шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.

Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.

Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.

Вдова отвечает:

— Никак, батюшка, стакан тюкнули?

Я говорю:

— Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.

А деверь нажрался арбуза и отвечает:

— То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.

А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.

— Это, — говорит, — чистое разорение в хозяйстве — стаканы бить. Это, говорит, один — стакан тюкнет, другой — крантик у самовара начисто оторвет, третий — салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?

А деверь, паразит, отвечает:

— Об чем, говорит, речь. Таким, говорит, гостям прямо морды надо арбузом разбивать.

Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:

— Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям, три стакана и одну кружку разбить — и то мало.

Тут шум, конечно, поднялся, грохот.

Деверь наиболее других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко от ярости.

— У меня, — говорит, — привычки такой нету — швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр, говорит, Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я, говорит, щучий сын, не оставлю вас так после этого.

Ничего я на это не ответил, только говорю:

— Тьфу на всех, и на деверя, говорю, тьфу.

И поскорее вышел.

Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.

Нарсудья дело рассматривает и говорит:

— Нынче, говорит, все суды такими делами закрючены, а тут еще, не угодно ли. Платите, говорит, этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.

Я говорю:

— Я платить не отказываюсь, а только пушай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.

Вдова говорит:

— Подавись этим стаканом. Бери его.

На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.

Ничего я на это не сказал, только говорю:

— Передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой задет, — я могу до трибунала дойти.

1925



МУЖ

Да что ж это, граждане, происходит на семейном фронте? Мужьям-то ведь форменная труба выходит. Особенно тем, у которых, знаете, жена передовыми вопросами занята.

Давеча, знаете, какая скучная история. Прихожу домой. Вхожу в квартиру. Стучусь, например, в собственную свою дверь — не открывают.

— Манюся, — говорю своей супруге, — да это же я, Вася, пришедши.

Молчит. Притаилась.

Вдруг за дверью голос Мишки Бочкова раздается. А Мишка Бочков — сослуживец, знаете ли, супругин.

— Ах, говорит, это вы, Василь Иванович. Сей минуту, говорит, мы тебе отопрем. Обожди, друг, чуточку.

Тут меня, знаете, как поленом по башке ударило.

«Да что ж это, думаю, граждане, происходит-то на семейном фронте — мужей впускать перестали».

Прошу честью:

— Открой, говорю, курицын сын. Не бойся, драться я с тобой не буду.

А я, знаете, действительно не могу драться. Рост у меня, извините, мелкий, телосложение хлипкое. То есть не могу я драться. К тому же, знаете ли, у меня в желудке постоянно что-то там булькает при быстром движении. Фельдшер говорит: «Это у вас пища играет». А мне, знаете, не легче, что она играет. Игрушки какие у ей нашлись! Только, одним словом, через это не могу драться.

Стучусь в дверь.

— Открывай, говорю, бродяга такая.

Он говорит:

— Не тряси дверь, дьявол. Сейчас открою.

— Граждане, говорю, да что ж это будет такое? Он, говорю, с супругой закрывшись, а я ему и дверь не тряси и не шевели. Открывай, говорю, сию минуту, или я тебе сейчас шум устрою.

Он говорит:

— Василь Иванович, да обожди немного. Посиди, гово-

рит, в коридоре на сундучке. Да копилку, говорит, только не оброни. Я тебе нарочно ее для света поставил.

— Братцы, говорю, милые товарищи. Да как же, говорю, он может, подлая его личность, в такое время мужу про копилку говорить спокойным голосом?! Да что ж это происходит!

А он, знаете, урезонивает через дверь:

— Эх, дескать, Василь Иванович, завсегда ты был беспартийным мещанином. Беспартийным мещанином и скончаешься.

— Пушай, говорю, я беспартийный мещанин, а только сию минуту я за милицией сбегаю.

Бегу, конечно, вниз, к постовому.

Постовой говорит:

— Предпринять, товарищ, ничего не можем. Ежели, говорит, вас убивать начнут или, например, из окна кинут при общих семейных неприятностях, то тогда предпринять можно... А так, говорит, ничего особенного у вас не происходит... Все нормально и досконально... Да вы, говорит, побегите еще раз. Может, они и пустят.

Бегу назад — действительно, через полчаса Мишка Бочков открывает дверь.

— Входите, говорит. Теперь можно.

Вхожу побыстрее в комнату, батюшки светы — накурено, наляпано, набросано, разбросано. А за столом, между прочим, семь человек сидят — три бабы и два мужика. Пишут. Или заседают. Пес их разберет.

Посмотрели они на меня и хохочут.

А передовой ихний товарищ, Мишка Бочков, нагнулся над столом и тоже, знаете, заметно трясется от хохоту.

— Извиняюсь, говорит, пардон, что над вами подшутили. Охота нам было знать, что это мужья в таких случаях теперь делают.

А я ядовито говорю:

— Смеяться, говорю, не приходится. Раз, говорю, заседание, то так и объявлять надо. Или, говорю, записки на дверях вывешивать. И вообще, говорю, когда курят, то проветривать надо.

А они посидели-посидели — и разошлись. Я их не задерживал.



НЕРВНЫЕ ЛЮДИ

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазковой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттапали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провалился совсем, не разжигается.

Она думает: «С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провалился совсем!»

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является это Иван Степаныч и говорит:

— Я, говорит, ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум, и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, — говорит, — за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пущай, говорит, нога пропадает! А только, говорит, не могу я теперича уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.

«Вот те, — думают, — клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?»

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет.

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался — прописал ижицу.

1925



СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например. Карусель. Или какая-нибудь студия с музыкой.

Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской.

И, действительно, граждане, взять для примера хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Коленкорова. Человек пропадал буквально и персонально. И вообще жил, как последняя курица.

По будням после работы ел и жрал. А по праздникам и по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался. И в пьяном виде дрался, вола вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа возвращался.

И уж, конечно, за всю неделю никакой культработы не нес этот Петр Антонович. Разве что в субботу в баньку ходит, пополощется. Вот вам и вся культработа.

Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались. Стращали даже.

— Петр, — говорят, — Антонович. Человек вы квалифицированный, не первой свежести, ну, мало ли в пьяном виде трюхнете об тумбу — разобьетесь же. Пейте несколько полегче. Сделайте такое семейное одолжение.

Не слушает. Пьет по-прежнему и веселится.

Наконец нашелся один добродушный человек с места. Он, знаете ли, прямо так и сказал Петру Антоновичу:

— Петр, говорит, Антонович, отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголя. Ну, говорит, попробуйте вместо того

в театр ходить по воскресным дням. Прошу вас чеством и билет вам дарма предлагаю.

Петр Антонович говорит:

— Ежели, говорит, дарма, то попробовать можно, отчего же. От этого, говорит, не разорюсь, ежели то есть дарма.

Упросил, одним словом.

Пошел Петр Антонович в театр. Понравилось. До того понравилось — уходить не хотел. Театр уже, знаете, окончился, а он, голубчик, все сидит и сидит.

— Куда же, — говорит, — я теперича пойду, на ночь глядя? Небось, говорит, все портерные закрыты уж. Ишь, говорит, дьяволы, в какое предприятие втравили!

Однако поломался-поломался и пошел домой. И трезвый, знаете ли, пошел. То есть ни в одном глазу.

На другое воскресенье опять пошел. На третье — сам в местком за билетом сбегал.

И что вы думаете? Увлёкся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишу — дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенес на четверг.

А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не пошел. Это было единственный раз за весь сезон, когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью небось поправится и пойдет. Потому — захватило человека искусство. Понесло...

1925



ПРОТЕКЦИЯ

Ванюшка-то Леденцов работу получил. Истинная правда. В тресте теперь работает.

И кто бы мог подумать! У человека, то есть, ни протекции, ни особых знакомств или ячеек — ничего такого не было. И вот поди ж ты! Работает.

А говорят, что всюду кумовство и протекции и чужому человеку будто внедриться куда-нибудь трудно. Ай врут!

У Ванюшки Леденцова во всем, то есть, тресте ни единого знакомого человечка не было. Не только, скажем, какого-нибудь крупного ответственного знакомого, а вообще никого не было. Был один беспартийный грузчик, да и тот поденный. А много ли может сделать поденный грузчик?

А пришел Ванюшка Леденцов раз однажды к этому грузчику. Поставил ему пару пива и говорит:

— Вот что, друг! Протекций у меня, сам знаешь, нету, в ячейках я не состою — подсоби по возможности.

Грузчик говорит:

— Навряд ли, милый человек, подсобить смогу. Не можно ведь так, тяп-ляп, без протекции. Сам понимаешь.

Но так складно все случилось. В прошлом годе грузчик мебель перевозил трестовскому бухгалтеру.

— Так и так, говорит, уважаемый товарищ бухгалтер. Мебель я вам в свое время перевозил. Ничего такого не сломал, исключая одной ножки и умывальника. Ткните куда ни на есть Ванюшку Леденцова. Протекции у него, у подлеца, нету. Ничего такого нету. В ячейках не состоит. Ну прямо парень гибнет без протекции.

Бухгалтер говорит:

— Навряд ли, милый человек, можно без протекции. Прямо, говорит, не могу тебе обещать.

Но такая тут Ванюшке удача подошла. Планета такая ему, подлецу, выпала.

Назавтра, например, приходит бухгалтер к коммерческому директору, подкладывает ему бумажонку для подписи и говорит:

— Знаете, товарищ директор, нынче без протекции прямо гроб.

— А что? — спрашивает директор.

— Да так, — говорит бухгалтер, — есть тут, мотается один парнишка без протекции, так и не может никуда ткнуться. А и нам-то навряд ли можно его пихнуть.

— Да уж, — говорит директор, — без знакомства как его, дьявола, пихнешь. Худо ему без протекции.

А тут директор-распорядитель входит.

— Об чем, говорит, речь?

— Да вот, говорят, товарищ директор-распорядитель, парнишка тут есть один, Леденцов фамилия, никакой протекции у него, у подлеца, нету, не может никуда ткнуться, все мотается.

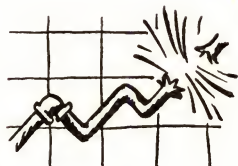
Директор-распорядитель говорит:

— Ну пускай к нам придет. Посмотрим. Нельзя же, граждане, все по знакомству да по знакомству. Надо же человечка и без протекции уважить.

Так и уважили.

А говорят — всюду кумовство и протекции. Вот бывает же...

1926



РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Как в других городах проходит режим экономии, я, товарищи, не знаю.

А вот в городе Борисове этот режим очень выгодно обернулся.

За одну короткую зиму в одном только нашем учреждении семь сажен еловых дров сэкономлено. Худо ли!

Десять лет такой экономии — это десять кубов все-таки. А за сто лет очень свободно три барки сэкономить можно. Через тысячу лет вообще дровами торговать можно будет.

И об чем только народ раньше думал? Отчего такой выгодный режим раньше в обиход не вводил? Вот обидно-то! А начался у нас этот самый режим еще с осени.

Заведующий у нас — свой парень. Про все с нами советуется и говорит, как с родными. Папироски даже, сукин сын, стреляет.

Так приходит как-то этот заведующий и объявляет:

— Ну вот, ребяташки, началось... Подтянитесь! Экономьте что-нибудь там такое...

А как и чего экономить — неизвестно. Стали мы разговаривать, чего экономить. Бухгалтеру, что ли, черту седому, не заплатить, или еще как.

Заведующий говорит:

— Бухгалтеру, ребяташки, не заплатишь, так он, черт седой, живо в охрану труда смотается. Этого нельзя будет. Надо еще что-нибудь придумать.

Тут, спасибо, наша уборщица Ньюша женский вопрос на рассмотрение вносит.

— Раз, говорит, такое международное положение и вообще труба, то, говорит, можно, для примера, уборную не отапливать. Чего там зря поленья перегонять? Не в гостинной!

— Верно, — говорим, — нехай уборная в холоде постоит. Сажень семь сэкономим, может быть. А что прохладно будет, так это отнюдь не худо. По морозцу-то публика задерживаться не будет. От этого даже производительность может актуально повыситься.

Так и сделали. Бросили топить — стали экономию подсчитывать.

Действительно, семь сажень сээкономили. Стали восьмую экономить, да тут весна ударила.

Вот обидно-то!

Если б, думаем, не чертова весна, еще бы полкуба сээкономили.

Подкузьмила, одним словом, нас весна. Ну, да и семь сажень, спасибо, на полу не валяются.

А что труба там какая-то от мороза оказалась лопнувши, так эта труба, выяснилось, еще при царском режиме была поставлена. Такие трубы вообще с корнем выдергивать надо.

Да оно до осени свободно без трубы обойдемся. А осенью какую-нибудь дешевенькую поставим. Не в гостинной!

1926



КИНОДРАМА

Театр я не хаю. Но кино все-таки лучше. Оно выгодней театра. Раздеваться, например, не надо — гривенники от этого все время экономить. Бриться опять же не обязательно — в потемках личности не видать.

В кино только в самую залу входить худо. Трудновато входить. Свободно могут затискать до смерти.

А так все остальное очень благородно. Легко смотреться.

В именины моей супруги поперли мы с ней кинодраму глядеть. Купили билеты. Начали ждать.

А народу многонько скопившись. И все у дверей мнутя.

Вдруг открывается дверь, и барышня говорит: «Валайте».

В первую минуту началась небольшая давка. Потому каждому охота поинтересней место занять.

Ринулся народ к дверям. А в дверях образовавшись пробка.

Задние поднажимают, а передние никуда не могут.

А меня вдруг стиснуло, как севрюгу, и понесло вправо.

«Батюшки, думаю, дверь бы не расшибить».

— Граждане, кричу, легче, за ради бога! Дверь, говорю, человеком расколоть можно.

А тут такая струя образовавшись — прут без удержу. А сзади еще военный на меня некультурно нажимает. Прямо, сукин сын, сверлит в спину.

Я этого черта военного ногой лягаю.

— Оставьте, говорю, гражданин, свои арапские штучки.

Вдруг меня чуть приподняло и об дверь мордой.

Так, думаю, двери уже начали публикой крошить.

Хотел я от этих дверей отойти. Начал башкой дорожку пробивать. Не пускают. А тут, вижу, штанами за дверную ручку зацепился. Карманом.

— Граждане, кричу, да полегче же, караул! Человека за ручку зацепило.

Мне кричат:

— Отцепляйтесь, товарищ! Задние тоже хотят.

А как отцеплять, ежели волокет без удержу и вообще рукой не двинуть.

— Да стойте же, кричу, черти! Погодите штаны снимать-то. Дозвольте же прежде человеку с ручки сняться. Начисто материал рвется.

Разве слушают? Прут...

— Барышня, говорю, отвернитесь хоть вы-то, за ради бога. Совершенно, то есть, из штанов вынимают против воли.

А барышня сама стоит посиневши и хрипит уже. И вообще смотреть не интересуется.

Вдруг, спасибо, опять легче понесло.
Либо с ручки, думаю, снялся, либо из штанов вы-
нули.

А тут сразу пошире проход обнаружился.

Вздохнул я свободнее. Огляделся. Штаны, гляжу, тут.
А одна штанина ручкой на две половинки разодрана
и при ходьбе полощется парусом.

Вон, думаю, как зрителей раздевают.

Пошел в таком виде супругу искать. Гляжу, забили
ее в самый то есть оркестр. Сидит там и выходить
пугается.

Тут, спасибо, свет погасили. Начали ленту пущать.

А какая это была лента — прямо затрудняюсь сказать.
Я все время штаны зашпиливал.

Одна булавка, спасибо, у супруги моей нашлась. Да
еще какая-то добродушная дама четыре булавки со своего
белья сняла. Еще веревочку я на полу нашел. Полсеанса
искал.

Подвязал, подшпилил, а тут, спасибо, и драма кон-
чилась. Пошли домой.

1926



МОНТЕР

Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важней
в театре — актер, режиссер, или, может быть, театраль-
ный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя
говорят.

Дело это произошло в Саратове или Симбирске, од-
ним словом, где-то недалеко от Туркестана. В город-
ском театре. Играли в этом городском театре оперу.
Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре,
между прочим, монтер — Иван Кузьмич Мякишев.

На общей группе, когда весь театр в двадцать
третьем году снимали на карточку, монтера этого пих-
нули куда-то сбоку — мол, технический персонал. А в
центр, на стул со спинкой, посадили тенора.

Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это хамство не сказал, но затаил некоторую грубость.

А тут такое подошло. Сегодня, для примеру, играют «Руслан и Людмила». Музыка Глинки. Дирижер — маэстро Кацман. А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами приперлись — неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу — посмотреть на спектакль. Монтер говорит:

— Да ради бога, медам. Сейчас я вам пару билетов сварганю. Посидите тут, у будки.

И сам, конечно, к управляющему.

Управляющий говорит:

— Сегодня вроде как выходной день. Народу пропасть. Каждый стул на учете. Не могу.

Монтер говорит:

— Ах так, говорит. Ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важнее и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать.

И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет к чертовой бабушке, замкнул на все ключи будку и сидит — отчаянно флиртует.

Тут произошла, конечно, форменная обструкция. Управляющий бегаёт. Публика орёт. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не уперли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший завсегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором:

— Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно — я уйду. Мне, говорит, голос себе дороже. Пушай сукин сын монтер поет.

Монтер говорит:

— Пушай не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пушай одной рукой поет, другой свет зажигает. Дерьмо какое нашлось! Думает — тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету!

Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором.

Вдруг управляющий является, говорит:

— Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, корова их забодай!

Монтер говорит:

— Вот они, чертовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.

Дал он сию минуту свет.

— Начинайте, говорит.

Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль.

Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.

1926



МЕЩАНСКИЙ УКЛОН

Этот случай окончательно может доконать человека.

Василия Тарасовича Растопыркина — Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного черт знает с какого года — выкинули с трамвайной площадки.

Больше того — мордой его трахнули об трамвайную медную полустойку. Он был ухватившись за нее двумя руками и головой и долго не отцеплялся. А его милиция и обер-стрелочник стягивали.

Стягивали его вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров.

Конечно, слов нет, одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в пять часов шабашит и сразу домой прет. Он, может, маляр. Он, может, действительно как собака грязный едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает и ходить пешком ему трудно.

И не может он, ввиду скромной зарплаты, автомобиль себе нанимать для разездов и приездов. Ему автомобиль не по карману. Ему бы на трамвае проехаться — и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились!

А пошабашил Василий Тарасович в пять часов. В пять часов он пошабашил, взял, конечно, на плечи стремянку и ведрышко с остатней краской и пошел себе к дому. Пошел себе к дому и думает:

«Цельный день, думает, лазию по стремянкам и разноцветную краску на себя напущаю и не могу идтить пешком. Дай, думает, сяду на трамвай, как уставший пролетарий».

Тут, конечно, останавливается перед ним трамвай № 6. Василий Тарасович просит, конечно, одного пассажира поддержать в руке ведрышко с остатней краской, а сам, конечно, становится на площадку стремянку.

Конечно, слов нет, стремянка не была сплошной чистоты — не блестела. И в ведрышко — раз в нем краска — нельзя свои пальцы окунать. И которая дама сунула туда руку — сама, дьявол ее задави, виновата. Не суй рук в чужие предметы!

Но это все так, с этим мы не спорим: может, Василий Тарасович, действительно верно, не по закону поступил, что со стремянкой ехал. Речь не об этом. Речь — о костюме. Нэпманы, сидящие в трамвае, решительно взбунтовались как раз именно насчет костюма.

— То есть, говорят, не можно к нему прикоснуться, совершенно, то есть, отпечатки бывают.

Василий Тарасович резонно отвечает:

— Очень, говорит, то есть, понятно, — раз масляная краска на олифе, то отпечатки завсегда случаются. Было бы, говорит, смертельно удивительно, если б без отпечатков.

Тут, конечно, одна нэпманша из кондукторов трезвонит, конечно, во все звонки, и вагон останавливается. Останавливает вагон и хамским голосом просит сойти Василия Тарасовича. Василий Тарасович говорит:

— Трамвай для публики или публика для трамвая — это же, говорит, понимать надо. А я, говорит, может, в пять часов шабашу. Может, я маляр?

Тут, конечно, происходит печальная сцена с милицией и обер-стрелочником. И кустаря-пролетария Василия Тарасовича Растопыркина сымают, как сукина сына, с трамвайной площадки, мордой задевают об полустойку и выживают. Со стремянкой уж и в вагоне проехаться нельзя! До чего докатились!

1926



ЛИМОНАД

Я, конечно, человек непьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало — так, приличия ради или славную компанию поддержать.

Больше как две бутылки мне враз нипочем не употребить. Здоровье не позволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела, я четверть выкушал.

Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли.

А теперь старею.

Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал.

— У вас, говорит, полная девальвация. Где, говорит, печень, где мочевой пузырь, распознать, говорит, нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились.

Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему.

«Дай, думаю, сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь».

Врач никакой девальвации не нашел.

— Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, говорит, вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца — очень еще отличное, даже, говорит, шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться.

А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа сорок три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. «Надо, думаю, в самом деле пить бросить». Взял и бросил.

Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую.

Покушал суп. Начал вареное мясо кушать — охота выпить. «Заместо, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче — нарзану или же лимонаду». Зову.

— Эй, говорю, который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.

Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт! Налил остатки — самая настоящая водка.

— Неси, кричу, еще!

«Вот, думаю, поперло-то!»

Приносит еще.

Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось — самая натуральная.

После, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал.

— Я, говорю, лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?

Тот говорит:

— Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим — потреби-теля нету.

— Неси, говорю, еще последнюю.

Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.

1926



ГОСТИ

Конечно, об чем говорить! Гость нынче пошел ненормальный. Все время приходится за ним следить. И чтоб пальто свое надел. И чтобы лишнюю барашковую шапку не напялил.

Еду-то, конечно, пушай берет. Но зачем же еду в салфетки заворачивать? Это прямо лишнее. За этим не

последидишь, так гости могут в две вечеринки все имущество вместе с кроватями и буфетами вывезти. Вон какие гости пошли!

У моих знакомых на этой почве небольшой инцидент развернулся на этих праздниках.

Приглашено было на рождество человек пятнадцать самых разнообразных гостей. Были тут и дамы и не дамы. Пьющие и выпивающие.

Вечеринка была пышная. На одну только жратву истрачено было около семи рублей. Выпивка — на паях. По два с полтиной с носу. Дамы бесплатно. Хотя это, прямо сказать, глупо. Другая дама налижется до того, что любому мужчине может сто очков вперед дать. Но не будем входить в эти подробности и расстраивать свои нервы. Это уж дело хозяйское. Им видней.

А хозяев было трое. Супруги Зефиоровы и ихний старик — женин папа — Евдокимыч.

Его, может, специально пригласили на предмет посмотреть за гостями.

— Втроем-то, говорят, мы очень свободно за гостями доглядеть можем. Каждого гостя на учет возьмем.

Стали они глядеть.

Первым выбыл из строя Евдокимыч. Этот старикан, дай бог ему здоровья и счастливой старости, в первые же пять минут нажрался до того, что «мама» сказать не мог.

Сидит, глазами играет и дамам мычит определенные вещи.

Сам хозяин Зефиоров очень от этой папиной выпивки расстроился и огорчился и сам начал ходить по квартире — следить, как и чего и чтоб ничего лишнего.

Но часам к двенадцати от полного огорчения и сам набрался до полного безобразия. И заснул на видном месте — в столовой на подоконнике.

Впоследствии обнаружилось, что ему надуло фотографическую карточку, и три недели он ходил с флюсом.

Гости, пожрав вволю, начали играть и веселиться. Начались жмурки, горелки и игра в щеточку.

Во время игры в щеточку открывается дверь, и входит мадам Зефиорова, бледная как смерть, и говорит:

— Это, говорит, ну, чистое безобразие! Кто-то сейчас выкрутил в уборной электрическую лампочку в двадцать пять свечей. Это, говорит, прямо гостей в уборную нельзя допускать.

Начался шум и треволение. Папаша Евдокимыч, конечно, протрезвился вмиг, начал беспокоиться и за гостей хвататься.

Дамы, безусловно, визжат, не допускают себя лапать.

— Хватайтесь, говорят, за мужчин, в крайнем случае, а не за нас.

Мужчины говорят:

— Пушай тогда произведут поголовный обыск.

Приняли меры. Закрыли двери. Начали устраивать обыск.

Гости самолично поочередно выворачивали свои карманы, и расстегивали гимнастерки и шаровары, и снимали сапоги. Но ничего такого предосудительного, кроме нескольких бутербродов и полбутылки мадеры, двух небольших рюмок и одного графина, обнаружено не было.

Хозяйка, мадам Зефирова, начала горячо извиняться — дескать, погорячилась и кинула тень на такое избранное общество. И высказала предположение, что, может быть, кто и со стороны зашел в уборную и вывинтил лампу.

Однако момент был испорчен. Никто играть в щеточку не захотел больше, танцы под балалайку тоже расстроились, и гости начали тихонько расходиться.

А утром, когда хозяин продрал свои очи, все выяснилось окончательно.

Оказалось, что хозяин из боязни того, что некоторые зарвавшиеся гости могут слимонить лампочку, выкрутил ее и положил в боковой карман.

Там она и разбилась.

Хозяин, видимо, круто налег на нее, когда заснул на подоконнике.

1927



КОЛПАК

У нас в коммунальной квартире в передней колпак разбился. На электрической лампочке.

Один из жильцов, сукин сын, явился домой под мухой и начал что-то со столиком делать, играть, что ли. Под-

кидывать, что ли, начал. И сбил колпак. Хороший такой был, плоский, матовый колпачок.

А после, не желая платить за этот колпак, съехал с квартиры.

Целый год жильцы собирали деньги на колпак. И когда собрали, то единогласно поручили мне приобрести эту вещь.

Вчера я пошел покупать. А знаете, как нынче покупать? Горе!

Зашел в один магазин — нету колпаков.

Зашел в другой — есть колпаки, но уличные. Со столбами.

В третьем магазине работник прилавка подает мне небольшой, как будто подходящий колпак, но усталым голосом заявляет, что этот колпак взят с выставки, с витрины, и потому не продается.

В пятом магазине сказали:

— На что вам, товарищ, колпак? Купите выключатель. Или вот эту люстру. В крайнем случае на ней можно повеситься...

В седьмом заведывающий сердито махнул на меня рукой, когда я проник в магазин, и сказал, что сегодня продажи не производится по случаю переучета украденных вещей за текущий месяц.

Девятый и десятый магазины были закрыты по случаю годового учета.

В тринадцатом магазине произошел такой исторический разговор:

Я говорю:

— Нет ли у вас...

Заведывающий уныло высморкался в рукава и сказал:

— Нету...

— Позвольте, говорю, я же еще не сказал, что мне нужно.

— Да нету, — сказал заведывающий. — Ну что вы в самом деле — маленький, что ли!

Тогда, не заходя в четырнадцатый магазин, я отправился прямо в древтрест и купил на собранные деньги небольшую подставку для палок и зонтиков.

Жильцы, между прочим, даже обрадовались.

— Оно, говорят, и к лучшему. А то опять кто-нибудь наклюкается и сковырнет этот хрупкий предмет.

И если подумать глубже и философски, то на черта человеку сдался колпак?



ЗАКОРЮЧКА

Вчера пришлось мне в одно очень важное учреждение смотаться. По своим личным делам.

Перед этим, конечно, позавтракал поплотней для укрепления духа. И пошел.

Прихожу в это самое учреждение. Отворяю дверь. Вытираю ноги. Вхожу по лестнице. Вдруг сзади какой-то гражданин в тужурке назад кличет. Велит обратно спускаться.

Спустился обратно.

— Куда, говорит, идешь, козлиная твоя голова?

— Так что, говорю, по делам иду.

— А ежли, говорит, по делам, то прежде, может быть, пропуск надо взять. Потом наверх соваться. Это, говорит, тут тебе не Андреевский рынок. Пора бы на одиннадцатый год понимать. Несознательность какая.

— Я, говорю, может быть, не знал. Где, говорю, пропуска берутся?

— Эвон, говорит, направо в окне.

Подхожу до этого маленького окна. Стучу пальцем. Голос, значит, раздается:

— Чего надо?

— Так что, говорю, пропуск.

— Сейчас.

В другом каком-нибудь заграничном учреждении на этой почве развели бы форменную волокиту, потребовали бы документы, засняли бы морду на фотографическую карточку. А тут даже в личность не посмотрели. Просто голая рука высунулась, помахала и подает пропуск.

Господи, думаю, как у нас легко и свободно жить и дела обдывать! А говорят: волокита. Многие беспочвенные интеллигенты на этом даже упадочные теории строят. Черт их побери! Ничего подобного.

Выдали мне пропуск.

Который в тужурке говорит:

— Вот теперича проходи. А то прет без пропуска. Этак может лишний элемент пройти. Учреждение опять же могут взорвать на воздух. Не Андреевский рынок. Проходи теперича.

Смотался я с этим пропуском наверх.

— Где бы, говорю, мне товарища Щукина увидеть? Который за столом подозрительно говорит:

— А пропуск у вас имеется?

— Пожалуйста, говорю, вот пропуск. Я законно вошел. Не в окно влез.

Поглядел он на пропуск и говорит более вежливо:

— Так что товарищ Щукин сейчас на заседании. Зайдите лучше всего на той неделе. А то он всю эту неделю заседает.

— Можно, говорю. Дело не волк — в лес не убежит. До приятного свидания.

— Обождите, говорит, дайте сюда пропуск, я вам на ем закорючку поставлю для обратного прохода.

Спускаюсь обратно по лестнице. Который в тужурке говорит:

— Куда идешь? Стой!

Я говорю:

— Братишка, я домой иду. На улицу хочу пройти из этого учреждения.

— Предъяви пропуск.

— Пожалуйста, говорю, вот он.

— А закорючка на ем имеется?

— Определенно, говорю, имеется.

— Вот, говорит, теперича, проходи.

Вышел на улицу, съел французскую булку для подкрепления расшатанного организма и пошел в другое учреждение по своим личным делам.

1927



ТЕРПЕТЬ МОЖНО

Конечно, об чем говорить, каждая профессия имеет свой брак.

Взять хотя бы такое мелкое и глупое дело — парикмахерское. И то без брака там не обходится. Другой озверевший парикмахер в выходной день до того об-

работает своего пассажира, что после родная мама его не узнает.

Или, обратно, стекольщики. Газеты пишут, будто эти славные ребята имеют на круг пятнадцать процентов брака.

То есть, для примеру, произвели стекольщики сто графинов. Так из этих ста стеклянных вещей — пятнадцать вовсе невозможно пустить в продажу. Остальные проценты тоже, собственно говоря, не следовало бы пускать на прилавок, но приходится. Надо же чем-нибудь торговать. Тем более покупатель — он купит. Действительно, будет плакать, отбиваться и морду отворачивать, но купит.

Или, обратно, повара и доктора. Они также имеют свой брак. Говорить об этом не приходится. Каждый кушал и после к врачам заходил.

Одним словом, какую профессию ни возьми — везде есть брак.

И только есть одна профессия. Она не имеет брака. Это, прямо скажем, — почтовое дело.

Ну, сами посудите, сами раскиньте своим воображением. Ну, какой может быть брак в этом культурном деле? Что ли, вместо марки на ладонь штемпель ставить? Или заказные письма проглатывать?

Прямо не может быть у них брака.

А это, может быть, очень обидно показалось почтовым начальникам.

То есть, говорят, каждый комиссариат имеет льготы, а мы вроде и не люди, а собаки.

Неизвестно, как в Сибири к этому отнеслись, но Средне-Волжское управление, утомленное такой несправедливостью, поправило это дело. Оно выработало свои нормы брака.

Эти святые строчки можно петь на мотив «Две гитары за стеной»:

Средне-Волжское управление связи выработало нормы брака для корреспонденции. Этими нормами разрешалось безнаказанно терять двенадцать процентов писем, шесть процентов заказных писем, четыре процента телеграмм...

Одним словом, почтовики кое-как уравнились с другими профессиями. Нормы допущены подходящие. Не зверские.

Другое бы управление, дорвавшись до такой полноты власти, махнуло бы сразу: «Теряй, робя, пятьдесят про-

центов на нашу голову». А это такие деликатные мальчики попались. Обдумали, чего сколько терять. И, заметьте, как глубоко продумано. Например, четыре процента телеграмм. Не три и не пять, а четыре. Тонкость какая, замечаете?

При такой тонкости надо бы, я извиняюсь, и про денежные переводы чего-нибудь намекнуть, а они ни гугу. Помалкивают в тряпочку. Ну, надо полагать, тоже не свыше пятнадцати процентов.

Одним словом, терпеть можно. Пальто не снимают. Извиняюсь за обидное сравнение.

1929



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Во время знаменитого крымского землетрясения жил в Ялте некто такой Снопков.

Он сапожник. Кустарь. Он держал в Ялте мастерскую. Не мастерскую, а такую каменную будку имел, такую небольшую халупку.

И он работал со своим приятелем на пару. Они оба-два приезжие были. И производили починку обуви как местному населению, так и курсовым гражданам.

И они жили определенно не худо. Зимой, безусловно, голодовали, но летом работы чересчур хватало. Другой раз даже выпить было некогда. Ну, выпить-то, наверное, время хватало. Чего-чего другого...

Так и тут. Перед самым, значит, землетрясением, а именно, кажется, в пятницу одиннадцатого сентября, сапожник Иван Яковлевич Снопков, не дождавшись суботы, выкушал полторы бутылки русской горькой.

Тем более он кончил работу. И тем более было у него две бутылки запасено. Так что чего же особенно ждать? Он взял и выкушал. Тем более он еще не знал, что будет землетрясение.

И вот выпил человек полторы бутылки горькой, не-

множко, конечно, поколбасился на улице, спел чего-то там такое и назад к дому вернулся.

Он вернулся к дому назад, лег во дворе и заснул, не дождавшись землетрясения.

А он, выпивши, обязательно во дворе ложился. Он под крышей не любил в пьяном виде спать. Ему нехорошо было под потолком. Душно. Его мучило. И он всегда чистое небо себе требовал.

Так и тут. Одиннадцатого сентября, в аккурат перед самым землетрясением, Иван Яковлевич Снопков набрался горькой, сильно захмелел и заснул под самым кипарисом во дворе.

Вот он спит, видит разные интересные сны, а тут параллельно с этим происходит знаменитое крымское землетрясение. Домишки колышутся, земля гудит и трясется, а Снопков спит себе без задних ног и знать ничего не хочет.

А что до его приятеля, так его приятель с первого удара дал тигалья и расположился в городском саду, боясь, чтоб его камнем не убило.

Только рано утром, часов, может, около шести, продрал свои очи наш Снопков. Проснулся наш Снопков под кипарисом и, значит, свой родной двор нипочем не узнает. Тем более ихнюю каменную будку свалило. Не целиком свалило, а стена расползлась и забор набок рухнул. Только что кипарис тот же, а все остальное признать довольно затруднительно.

Продрал свои очи наш Снопков и думает:

«Мать честная, куда ж это меня занесло? Неужели, думаю, я в пьяном виде вчера еще куда-нибудь зашел? Ишь ты, кругом какое разрозненное хозяйство! Только не понять — чье. Нет, думаю, нехорошо так в дым напиваться. Алкоголь, думаю, чересчур вредный напиток, ни черта в памяти не остается».

И так ему на душе неловко стало, неинтересно.

«Эва, думаю, забрел куда. Еще спасибо, думаю, во дворе прилег, а нуте на улице: мотор может меня раздавить или собака может чего-нибудь такое отгрызть. Надо, думаю, полегче пить или вовсе бросить».

Стало ему нехорошо от этих мыслей, загорюнился он, вынул из кармана остальные полбутылки и тут же от полного огорчения выкушал.

Выкушал Снопков жидкость и обратно захмелел. Тем

более он не жрал давно, и тем более голова была ослабши с похмельюги.

Вот захмелел наш Снопков, встал на свои ножки и пошел себе на улицу.

Идет он по улице и с пьяных глаз нипочем улицу не узнает. Тем более после землетрясения народ стаями ходит. И все на улице, никого дома. И все не в своем виде, полуодетые, с перинами и матрацами.

Вот Снопков ходит себе по улице, и душа у него холодеет.

«Господи, думает, семь-восемь, куда же это я, в какую дыру зашел? Или, думает, я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло? Эвон народ ходит раздевшись, все равно как в тропиках».

Идет, пьяный, и прямо чуть не рыдает.

Вышел на шоссе и пошел себе, ничего не признавая.

Шел, шел и от переутомления и от сильного алкоголя свалился у шоссе и заснул как убитый.

Только просыпается — темно, вечер. Над головой звезды сверкают. И прохладно. А почему прохладно — он лежит при дороге раздетый и разутый. Только в одних подштанниках.

Лежит он при дороге, совершенно обобранный, и думает:

«Господи, думает, семь-восемь, где же это я обратно лежу?»

Тут действительно испугался Снопков, вскочил на свои босые ножки и пошел по дороге.

Только прошел он сгоряча верст, может, десять и присел на камушек.

Он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мыслей он никаких подвести не может. И душа и тело у него холодеют. И жрать чрезвычайно хочется.

Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал, как и чего. Он у прохожего спросил.

Прохожий ему и говорит:

— А ты чего тут, для примеру, в кальсонах ходишь?

Снопков говорит:

— Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?

Ну, разговорились. Прохожий говорит:

— Так что до Ялты верст, может, тридцать будет. Эва куда ты зашел!

Ну, рассказал ему прохожий насчет землетрясения, и чего где разрушило, и где еще разрушается.

Очень Снопков огорчился, что землетрясение идет, и заспешил в Ялту.

Так через всю Ялту и прошел он в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился.

После подсчитал Снопков свои убытки: уперли порядочно. Наличные деньги — шестьдесят целковых, пиджак — рублей восемь, штаны — рубля полтора и сандалии почти что новенькие. Так что набежало рублей до ста, не считая пострадавшей будки.

Теперь И. Я. Снопков собрался ехать в Харьков. Он хочет полечиться от алкоголя. А то выходит себе дороже.

Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?

Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи — землетрясение и то могут проморгать.

Или как в одном плакате сказано: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!»

И очень даже просто.

1929



ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома.

Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои невероятные страдания.

Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось.

Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х».

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит — и вдруг приходится читать такие слова.

Я сказал мужчине, который меня записывал:

— Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать.

Фельдшер, или как там его, — лекпом, — удивился, что я ему так сказал, и говорит:

— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рта не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.

Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39 и 8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал:

— Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы.

Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замаял разговор. И тут сестричка подскочила.

— Пойдемте, — говорит, — больной, на обмывочный пункт.

Но от этих слов меня тоже передернуло.

— Лучше бы, — говорю, — назвали не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивей и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтоб меня обмывать.

Медсестра говорит:

— Даром что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверно, говорит, вы не выздоровеете, что во все нос суете.

Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться.

И вот я стал раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверно, из больных.

Я говорю сестре:

— Куда же вы меня, собаки, привели — в дамскую ванну? Тут, говорю, уже кто-то купается.

Сестра говорит:

— Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайтесь внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и пабуричим вам свежей воды.

Я говорю:

— Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне.

Вдруг снова приходит лекпом.

— Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему, нахалу, не нравится, и это ему нехорошо. Умиравшая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока температура, и она ничего в расчет не принимает и все видит, как сквозь сито. И, уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания.

Тут купающаяся старуха подает голос:

— Вынимайте, говорит, меня из воды, или, говорит, я сама сейчас выйду и всех тут вас распатрону.

Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться.

И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть.

И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купанья они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это — нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубашках, а большие — в маленьких.

И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубашке больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство.

Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить.

А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные. А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи шляли по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем.

Я говорю сестрице:

— Может быть, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я, говорю, каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар.

Та говорит:

— Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?

Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание.

Только очнулся я, наверно, так думаю, дня через три.

Сестричка говорит мне:

— Ну, говорит, у вас прямо двужильный организм. Вы, говорит, скрозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, говорит, вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением.

Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем.

Сестричка говорит:

— Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули.

В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: «Перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет».

А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить. То, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит:

— У нас такое переполнение, что мы прямо не успеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят.

Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой. Супруга говорит:

— Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».

Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтоб с кем-нибудь там побраниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел.

И теперь хвораю дома.



ТОРГОВЫЙ ДОМ НА КОЛЕСАХ

Молчаливая обычно станция «Мелкие Дребезги» энской советской дороги загудела, как муравейник, в который мальчишка воткнул палку. Железнодорожники кучками собирались у громадного знака вопроса на белой афише. Под вопросом было напечатано: «ОНА ЕДЕТ!!!»

— Кто едет?! — изнывали железнодорожники, громясь друг на друга.

— Кооперативная лавка-вагон!! — отвечала афиша.

— Го-го, здорово! — шумели железнодорожники.

И на следующий день она приехала.

Она оказалась длинным товарным вагоном, испещренным лозунгами, надписями и изречениями:

«Нигде, кроме как в нашем торговом доме!»

«Сони, Маши и Наташи, летите в лавку нашу!»

«Железнодорожник! Зачем тебе высасываться в лавке частного паука, когда ты можешь попасть к нам?!»

— Ги-ги, здорово! — восхищались транспортники. — Паук — это наш Митрофан Иванович.

Станционный паук Митрофан Иванович мрачно глядел из своей лавчонки.

«Транспортная кооперация путем нормализации, стандартизации и инвентаризации спасет мелиорацию, электрификацию и механизацию».

Этот лозунг больше всего понравился стрелочникам.

— Понять ни черта нельзя, — говорил рыжебородый Гусев, — но видно, что умная штука.

— Каждый, кто докажет документом, что он член, получает скидку в $83\frac{1}{2}\%$, — гласил плакат, — все не члены получают такую же!!

В кассе взаимопомощи наступило столпотворение. Транспортники стояли в хвосте и брали заимообразно совзнаками и червонцами.

А в полдень облепленная народом кооплавка начала торговать.

Три приказчика извивались, кассирша кричала «сдачи нет!», и пер станционный народ штурмом.

— Три фунтика колбаски позвольте, стосковались по колбаске. У паука Митрофан Ивановича гнилая.

— Колбаски-с нет. Вся вышла-с. Могу предложить вместо колбаски омары в маринаде.

— Амары? А почему?

— Три пятьдесят-с.

— Чего три?!

— Известно-с — рубля.

— Банка?!

— Банка-с.

— А как же скидка? Я член...

— Вижу-с. Со скидкой три пятьдесят, а так они шесть двадцать.

— А почему они воняют?

— Заграничные-с.

— Ремней в данный момент не имеется, могу предложить взамен патентованные брюкодержатели «Дуплекс» — лондонские с автоматическими пуговицами «Пли». 7 руб. 25 коп. Купившим сразу дюжину дополнительная скидка — 15%. Виноват, гражданин. Он на талию надевается.

— Батюшки, лопнул!!

— Уплатите в кассу 7 руб. 25 коп.

— Ситцу нет, мадемуазель. Есть портьерная ткань лионская, крупными букетами. Незаменима для обивки мебели.

— Хи-хи. У нас и мебели-то нету.

— Жаль-с. Могу предложить стулья «комфорт» складные для пикников....

— А вам что, мадам?

— Я не мадам, — ошеломленно ответил Гусев, поглаживая бороду.

— Пардон, чем могу?

— Мне бы ситцу бабе в подарок.

— Миль пardon, ситец вышел. Для подарка вашей почтенной супруге могу предложить парижский корсет на шелку с китовым усом.

— А где ж у него рукава?

— Извиняюсь, рукава не полагаются. Ежели с рукавами, возьмите пижаму. Незаменимая вещь в морских путешествиях.

— Нам по морям не путешествовать. Нет, уже позвольте карсетик. Вещица прочная.

— Будьте покойны, пулей не прострелишь. Номер размера вашей супруги?

— У нас по простоте, не нумерованная,— ответил стыдливо Гусев,— известно, серость...

— Pardon, тогда мы на глаз. Рукой обхватить можно?

Гусев подумал:

— Никак нет. Двумя, ежели у кого руки длинные...

— Гм. Это порядочный размер. Супруге вашей диета необходима. Так мы предложим вам № 130, для тучных специально.

— Хорошо,— согласился покладистый Гусев.

— 11 руб. 27 коп... Что кроме?

Кроме Гусев купил бритвенное зеркало «жокей-клуб», показывающее с одной стороны человека увеличенным, а с другой стороны уменьшенным. Просил мыла, а предложили русско-швейцарский сыр. Гусев отказался за неимением средств и, подкрепившись у Митрофан Ивановича самогоном, явился к супруге.

— Показывай, что купил, пьяница? — спросила Гусева супруга.

— Вишь, Маша, выбор в лавке у них заграничный, ни черта нету,— пояснил Гусев, вскрывая сверток;— говорят, тучная ты № 130...

— Ах, они, охальники! — супруга всплеснула руками.— Что они, мерили меня, что ли? И ты хорош: про жену такие слова!

Она глянула в зеркало и ахнула. Из круглого стекла выглянула великанская физия с обвисшими щеками и волосами, толстыми как нитки.

Супруга повернула зеркало другой стороной и увидала самое себя с головой маленькой, как чернильница.

— Это я такая? № 130?! — спросила супруга, багровея.

— Тучная ты, Ма...— пискнул Гусев, присел, но не успел закрыться. Супруга махнула корсетом и съездила

его по уху так, что шелк лопнул и китовый ус вонзился ему в глаз.

Через две минуты Гусев, растопыбив ноги, сидел у входа в свое жилище и глядел заплывшим глазом в хвост поезду, увозившему кооперативную лавку.

Гусев погрозил ей кулаком.

Встал и направился к Митрофан Ивановичу.

1924



ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь, с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж.

Пролог

Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница.

Манилов в шубе, на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фетинья...

А самым последним тронулся он — Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты...

I

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

— Чтoб ему набежалo, дьявольскoму сыну, пoд oбoими глaзaми пo пyзырю в кoпну величинoю! Испакoстил, изгaдил репутaцию тaк, чтo нeкyдa нoсa пoкaзaть. Вeдь, eжели yзнaют, чтo я — Чичикoв, нaтyрaльнo, в двa счeтa выкинут к чертoвoй мaтeри! Дa eщe хoрoшo, кaк тoлькo выкинут, a тo eщe, хрaни бoг, нa Лyбьянкe нaсидишьсe. A вce Гoгoль, чтoб ни eмy, ни eгo рoднe...

И рaзмышляя тaким oбрaзoм, вьeхaл в вoрoтa тoй сaмoй гoстиницы, из кoтoрoй стo лeт тoмy нaзaд выeхaл.

Вce рeшитeльнo в нeй былo пo-прeжнeмy: из щeлeй выглaдывaли тaрaкaны и дaжe их кaк бyдтo бoльшe сдeлaлoсь, нo были и нeкoтoрыe измeнeньицa. Тaк, нaпpимeр, вмeстo вывeски «Гoстиницa» висeл плaкaт с нaдписью «Oбщeжитиe № тaкoй-тo» и, сaмo сoбoй, гpязь и гaдoсть былa тaкaя, o кoтoрoй Гoгoль дaжe пoнятия нe имeл.

— Кoмнaтy!

— Oрдeр пoжaлтe!

Ни oднoй минyты нe смyтилcя гeниaльный Пaвeл Ивaнoвич.

— Упpавляющeгo!

— Трaх! — упpавляющий стaрый знaкoмый: дядя Лысый Пимeн, кoтoрый нeкoгдa дeржaл «Aкyлькy», a тeпeрь oткрыл нa Твeрскoй кaфe нa рyсскyю нoгy с нeмeцкими зaтeями: aршaдaми, бaльзaмaми и, кoнeчнo, с пpocтитyткaми. Гoсть и упpавляющий oблoбызaлись, шyшyкнyлись, и дeлo yлaдилoсь вмиг бeз вcякoгo oрдeрa. Зaкyсил Пaвeл Ивaнoвич, чeм бoг пoслaл, и пoлeтeл yстpaивaтьсe нa слyжбy.

II

Являлся всюдy и вceх oчaрoвaл пoклoнaми нeскoлькo нaбoк и кoлoсcaльнoй эpyдициeй, кoтoрoй вceгдa oтличaлся.

— Пишитe aнкeтy.

Дaли Пaвлy Ивaнoвичy aнкeтный лист в aршин длинны, и нa нeм стo вoпpocoв сaмыx кaвeрзныx: oткyдa, дa гдe был, дa пoчeмy?..

Пяти минyт нe пpocидeл Пaвeл Ивaнoвич и исписaл aнкeтy кpyгoм. Дpoгнyлa тoлькo y нeгo рyкa, кoгдa пoдaвaл ee.

— Ну, — пoдyмaл, — пpочитaют сeйчac, чтo я зa co-кpoвищe, и...

И ничего ровно не случилось.

Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.

Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.

III

А дальше пошло легче и легче. Прежде всего оглянулся Чичиков и видит, куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит:

— Знаю я вас, скалдырников: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую, мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!

Глянул — Собакевич.

Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой — дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный. Слопал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех хриstopродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек — делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!

Дали академический.

Чичиков лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху-мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.

А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения, получать места.

Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на

детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И, наконец, до того доврался, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.

Когда же зять его Мижухов выразил сомнение, обружал его, но не Софроном, а просто сволочью.

Одним словом, надоед Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.

Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.

IV

Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах.

И в самом скором времени очутились у него около пятисот апельсинов капиталу¹.

Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.

В учреждении только рты растегнули — выгода, действительно, выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется — Пампуш на Твербуле. Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.

— Подайте техническую смету.

У Чичикова смета уже за пазухой.

Дали в аренду.

Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует:

— Аванс пожалте.

— Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.

Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.

— За заведующего — Неуважай-Корыто, за секретаря — Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии — Елизавета Воробей.

— Верно. Получите ордер.

Кассир только крикнул, глянув на итог.

Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.

А затем в другое учреждение:

— Пожалте подтоварную ссуду.

— Покажите товары.

— Сделайте одолжение. Агента позвольте.

— Дать агента!

Тыфу! и агент знакомый: ротозей Емельян.

Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит несметное количество продуктов.

— М-да... И все ваше?

— Все мое.

— Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а трильонщик!

А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь:

— Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота с сапогами едет? Так это тоже его сапоги.

А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает:

— Видишь магазины? Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы, — все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?.. Его. Видишь? Видишь?

И вертит его во все стороны.

Так что Емельян взмолился:

— Верю! Вижу... только отпусти душу на покаяние. Поехали обратно в учреждение.

Там спрашивают:

— Ну что?

Емельян только рукой махнул.

— Это, — говорит, — неописуемо!

— Ну, раз неописуемо — выдать ему $n + 1$ миллиардов.

V

Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой издохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «все разрешено», пожелала недвижимость приобрести; он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вежи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — трильонщик. Учреждения начали рвать его к себе на расхват в спец. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампире».

VI

Но вдруг произошел крах.

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.

Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва.

А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.

А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и

откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой злое-
вещее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось
в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания... Ко-
миссия построения в комиссию наблюдения, комиссия
наблюдения в жилотдел, жилотдел в Наркомздрав, Нар-
комздрав в Главкустпром, Главкустпром в Наркомпрос,
Наркомпрос в Пролеткульт и т. д.

Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все
знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить
ни в одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил
по всем пунктам.

Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду
несуществующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит
причины, почему бы не взять, ежели все берут? На
вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, от-
ветил, что шпион и что его недавно хотели даже рас-
стрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не
делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что
делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной
ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство
хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру
в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых зна-
ков на 18 миллиардов и при этом на два дня раньше,
чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опе-
чатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фаль-
шивые знаки с настоящими, так что потом сам черт
не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие
настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои
миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу,
Ноздрев ответил, что это правда и что он сам взялся
помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он,
ничего бы и не вышло.

После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело
всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое
Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось,
если бы не нашелся среди всей компании один. Правда,
Гоголя он тоже, как и все, и в руки не брал, но обладал
маленькой дозой здравого смысла.

Он и воскликнул:

— А знаете, кто такой Чичиков?

И когда все хором грянули:

— Кто?!

Он произнес гробовым голосом:

— Мошенник.

VII

Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу — нету. К регистраторше. — Откуда я знаю? У Иван Григорьича.

К Иван Григорьичу:

— Где?

— Не мое дело. Спросите у секретаря и т. д. и т. д.

И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг — она.

Стали читать и обомлели.

Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то, ни се, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому — неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает.

Собственноручная подпись? Обмокни!!

Прочитали и окаменели.

Крикнули инструктора Бобчинского:

— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может там что откроется!

Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.

— Чрезвычайное происшествие!

— Ну!!

— Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а «Ара».

Тут все взвыли:

— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!! Выходит, теперича, ловить его надо!

И стали ловить.

VIII

Пальцем в кнопку ткнули:

— Курьера.

Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.

— Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.

Петрушка сказал:

— Слушаю-с.

Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял.

Позвонили Селифану в гараж:

— Машину. Срочно.

— Чичас.

Селифан встрепнулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, зашвистел, загудел и полетел.

Какой же русский не любит быстрой езды?!

Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной терции времени избрал второе, от трамвая увернулся и, как вихрь, с воплем: «Спасите!» въехал в магазин через окно.

Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:

— Уволить обоих к свиньям!

Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедешь. А дело тем временем кипело дальше!

— Авансовую ведомость!

— Извольте.

— Попросить сюда Неуважая-Корыто.

Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два тому назад вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.

— Кувшинное Рыло?

Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.

Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета!

Прицепились к машинистке:

— Вы?!

— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот...

И в слезы. Оставили в покое.

А тем временем пока возились с Воробьем, право-

заступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл.

И напрасно гоняли машину по адресу: поворота направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.

Рядом, правда, поворота налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то Подстега Сидоровна и, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но даже и своего собственного.

IX

Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева с электрификацией, Коробочкина покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то Панама с пайками Собакевича. И пошла писать губерния.

Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц), и проч., и проч. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт:

— Миллиарды были и исчезли.

Наконец, встал какой-то Дядя Митяй и сказал:

— Вот что, братцы... Видно, не миновать нам следственную комиссию назначить.

X

И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:

— Поручите мне.

Изумились:

— А вы... того... сумеете?

А я:

— Будьте покойны.

Поколебались. Потом красным чернилом:

— Поручить.

Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!).

Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов:

— Не угодно ли чего?

А я им:

— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.

Набрал воздуха и гаркнул так, что дрогнули стекла:

— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

— Помилуйте-с... что вы-с... Сию... хе-хе... минутку... Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!

В два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева — машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофейкин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, что их назначил, — тоже! Схватить его! И его! И этого! И того! Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал... В минуту! В секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его каналью!! Со дна моря достать!!

Гром пошел по пеклу...

— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!

А я:

— Чичикова мне сюда!!

— Н...н...невозможно сыскать. Они скрымшились...

— Ах, скрымшились? Чудесно! Так вы сядете на его место.

— Помил...

— Молчать!!

— Сию минуточку... Сию... Повремените секундочку. Ищут-с.

И через два мгновения нашли!

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.

— Мать?! — гремел я, — мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

— Все?

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.

И я по телефону:

— Чисто.

А мне в ответ:

— Спасибо. Просите, чего хотите.

Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня:

«Брюки... фунт сахару... лампу в 25 свечей...»

Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:

— Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке.

И... бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь!

Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рывкнул:

— Ура!

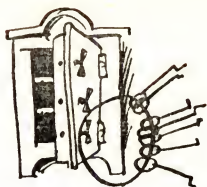
И...

Эпилог

...конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное, ни Гоголя...

— Э-хе-хе, — подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.

1925



ТАЙНА НЕСГОРАЕМОГО ШКАФА

Маленький уголовный роман

1. Трое и Хохолков

Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем, второй — в пенсне и с портфелем, третий — с повышенной температурой и тоже с портфелем.

— Ревизионная комиссия, — отрекомендовались трое и добавили: — Позвольте нам члена месткома товарища Хохолкова.

Красивый блондин Хохолков привстал со стула, пожелтел и сказал:

— Я — Хохолков, а что?

— Желательно посмотреть профсоюзные суммы, — ответила комиссия, радостно улыбувшись.

— Ах, суммы? — сказал Хохолков и подавился слюной. — Сейчас, сейчас.

Тут Хохолков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ ничего не открыл.

— Это не тот ключ, — сказал Хохолков, — до чего я стал рассеянным под влиянием перегрузки работой, дорогие товарищи! Ведь это ключ от моей комнаты!

Хохолков сунул второй ключ, но и от того пользы было не больше, чем от первого.

— Я прямо кретин и неврастеник, — заметил Хохолков, — сую, черт знает, что сую! Ведь это ключ от сундука от моего.

Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул третий ключ.

— Мигрень у меня... Это от ворот ключ, — бормотал Хохолков.

После этого он вынул малюсенький золотой ключик, но даже и всовывать не стал его, а просто сухо плюнул:

— Тьфу... от часов ключик...

— В штанах посмотри, — посоветовала ревизионная

комиссия, беспокойно переминаясь на месте, как тройка, рвущаяся вскачь.

— Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром сегодня, чай когда наливал, наклонился, он и выпал. Сейчас!

Тут Хохолков проворно надел кепку и вышел, повторяя:

— Посидите, товарищи, я сию минуту...

2. Записка от труп

Товарищи просидели возле шкафа 23 часа.

— Вот черт! Засунул же куда-то! — говорила недоуменно ревизионная комиссия. — Ну уж, долго ждали, пождем еще, сейчас придет.

Но он не пришел. Вместо него пришла записка такого содержания:

«Дорогие товарищи! В припадке меланхолии решил покончить жизнь самоубийством. Не ждите меня, мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует, а тело, т. е. то, что некогда было членом месткома Хохолковым, вы найдете на дне местной реки, как сказал поэт:

Безобразен труп ужасный,
Посинел и весь распух,
Горемыка ли несчастный
Испустил свой грешный дух...

Ваш уважающий труп Хохолкова».

3. Умный слесарь

— Попробуй, — сказали слесарю.

Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил:

— Разве мыслимо? У нас и инструмента такого нету. Местную пожарную команду надо приглашать, да и та не откроет, да и занята она: ловит баграми Хохолкова.

— Как же нам теперича быть? — спросила ревизионная комиссия.

— Специалиста надо вызывать, — посоветовал слесарь.

— Откудова же тут специалист? — изумилась комиссия.

— Из тюремного замка, — ответил слесарь, ибо он был умен.

4. Месье Майорчик

— Ромуальд Майорчик, — представился молодой, бритый, необыкновенного изящества человек, явившийся в сопровождении потертого человека в серой шинели и с пистолетом, — чем могу быть полезен?

— Очень приятно, — неуверенно отозвалась комиссия, — видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии, вместе с ключом.

— Которая касса? — спросил Майорчик.

— Как которая? Вот она.

— Ах, вы это называете кассой? Извиняюсь, — отозвался Майорчик, презрительно усмехаясь, — это — старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов. Касса, дорогие товарищи, — заговорил месье Майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу, — действительно хорошая была в Металлотресте в Одессе, американской фирмы Робинзон и К°, с 22 отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанная на пожар с температурой до 1200 градусов. Так эту кассу, дорогие товарищи, мы с Владиславом Скрибунским по кличке Золотая Фомка вскрыли в семь минут от простого 120-вольтного провода. Векселя мы оставили Металлотресту на память, и он по этим векселям не получил ни шиша, а мы взяли две с половиной тысячи червей.

— А где же теперь Золотая Фомка? — спросила комиссия, побледнев.

— В Москве, — ответил месье Майорчик и вздохнул, — ему еще два месяца осталось. Ничего, здоров, потолстел даже, говорят. Он этим летом в Батум поедет на гастроль. Там в Морагентстве интересную систему прислали. Германская, с двойной бронировкой стен.

Комиссия открыла рты, а Майорчик продолжал:

— Трудные кассы английские, дорогие товарищи, с тройным шрифтом на замке и электрической сигнализацией. Изящная штучка. В Ленинграде Костанжогло, он же графчик Карапет, резал ее 27 минут. Рекорд.

— Ну и что? — спросила потрясенная комиссия.

— Векселя! — грустно ответил Майорчик. — Пищестрест. Они потом гнилые консервы поставили... Ну, что же с них получить по векселям? Ровно ничего! Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, любуетесь ею полчаса. И как возъ-

мете в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно. А это что же? — и Майорчик презрительно похлопал по кассе. — К-калоша. В ней и деньги-то неприлично держать, да их там, наверно, и нет.

— Как это нету? — сказала потрясенная комиссия. — И быть этого не может. Восемь тысяч четыреста рублей должно быть в кассе.

— Сомневаюсь, — заметил Майорчик, — не такой у нее вид, чтобы в ней было восемь тысяч четыреста.

— Как это по виду вы можете говорить?

Майорчик обиделся.

— Касса, в которой деньги, она не такую внешность имеет. Эта касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную дамскую шпильку обыкновенного размера.

Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме. Майорчик вооружился ею, закатал рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцами, затем согнул шпильку и превратил ее в какую-то закорючку, затем сунул ее в скважину, и дверь открылась мягко и беззвучно.

— Восемь тысяч четыреста, — иронически усмехался Майорчик, уводимый человеком с пистолетом, — держи шире карман, в ей восемь рублей нельзя держать, а вы — восемь тысяч четыреста!

5. Загадочный документ

Действительно, никаких восьми тысяч четырехсот там не было. Потрясенная комиссия вертела в руках документ, представлявший собою угол, оторванный от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова:

«Мар...
золот...
1400 р...»

— Позвать эксперта, — распорядилась комиссия.

Эксперт явился и расшифровал документ таким образом:

— Марта — такого-то числа... золотой валютой... 1400 рублей.

— Где же остальные семь тысяч? — стонала комиссия.

6. Тайна документа разгадана

У Хохолкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и было на ней написано следующее:

«...уся, милая, бесценная,
...ая, целую вас
...аз и непременно приду сегодня вечером.
Ваш Хохолков».

Сложили обе половины. И тогда комиссия взвыла:

— Где же все восемь тысяч четыреста? Поганец труп, куда же он задевал профсоюзные деньги?! И куда он сам девался, и почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?!

7. Страшное явление

И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком.

— С нами крестная сила! — воскликнула комиссия и стала пятиться.

И было от чего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как две капли воды похожий на покойного Хохолкова. Вовсе он не был посиневшим и не распух...

— Позвольте, да ведь это Хохолков!

— Ей-богу, это не я! Я просто похож, — ответил незнакомец, — тот Хохолков потонул, вы про него и забудьте. Моя же фамилия — Иванов, я недавно приехал. Оставьте меня в покое!

— Нет, позволь, позволь, — сказала комиссия, держа Хохолкова за фалду, — ты все-таки объясни: и у тебя родинка на правой щеке, у тебя глаза бегают и у Хохолкова бегают. И пиджак тот самый, и брови те же самые, только кепка другая, ну, так ведь кепка же не приклеенная к голове. Объясни, где восемь тысяч четыреста?!

— Не погубите, товарищи, — вдруг сказал незнакомец хохолковским голосом и стал на колени, — я вовсе не тонул, просто бежал, мучимый угрызениями совести, и вот ключ от кассы, а восьми тысяч четырехсот не ищите, дорогие товарищи. Их уже нет. Пожрала их гадина Маруся, местная артистка, которая через день делает

себе маникюр. Оторвался я от массы, дорогие товарищи, но, принимая во внимание мое происхождение...

— Ах, ты, поросенок, поросенок, — сказала ревизионная комиссия, и Хохолкова повели.

8. Благополучный конец

И привели в суд. И судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с Майорчиком. И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзных денег, доверенных ему массою, на чем и назидательному уголовному роману конец. Точка.

1926



ЗАЩИТНЫЙ ЦВЕТ

Секретарь совсем было собрался уходить, когда задержал его и осторожно притворил дверь кабинета:

— Сергей Семеныч, дорогой... Вы... это... обратили бы внимание на свой костюм.

— А что такое?

— Да уж очень вы... того... Вон цветная жилетка, пиджак в рюмочку, платочек из кармана... Прямо лорд Керзон какой-то... Я, конечно, понимаю, человек вы молодой. Но... кстати, читали в газетах статьи по поводу роскоши? О партийцах в особенности говорится.

— Александр Данилович, да ведь я...

— Знаю, знаю, дорогой! Но все-таки примите к сведению. У нас — учреждение. И учреждение рабоче-крестьянское. Поняли? Надо соблюдать известную грань. Кстати, было бы очень хорошо, если бы вы внушили и там, в канцелярии... так, слегка, понимаете... насчет одежды. Ведь у нас в комнате машинисток прямо какое-то ателье мод. Нельзя же все-таки!

— Александр Данилович, да ведь я...

— Понимаю, понимаю! Отлично понимаю! Вы хотите сказать, что учреждение наше, так сказать, не приходит в непосредственное соприкосновение с массами? Так? Это не имеет значения. Пора оставить эту казовую сторону. Надо внедрить побольше скромности вообще в наш быт. Посмотрите фотографии наших вождей: Чичерин, например, принимает послов в простом красноармейском костюме. И мы должны, так сказать... Ну,

само собой разумеется, что вне службы и вы, и все прочие могут одеваться, как им заблагорассудится... Но в учреждении... в учреждении... мм... Кстати, что это за одеколон, которым от вас постоянно пахнет?

— Это «Свит-Пи». Душистый горошек. Я... я теперь буду употреблять простой... тройной...

— Нет, зачем же? Запах совсем не плохой... «Свит-Пи», вы говорите?.. Что я хотел еще сказать?.. Ах, да! Так вы распорядитесь там...

— Слушаю.

И секретарь, слегка покрасневший, выскользнул из кабинета, чтобы тут же шепнуть несколько слов заведующему канцелярией. Завканц в свою очередь сейчас же вызвал старшего делопроизводителя и имел с ним продолжительную беседу. А к концу занятий машинистки, собираясь домой, усиленно перешептывались:

— Мусенька, у меня есть шуба старая-пре-ста-рая. Хотите, я вам уступлю?

— Спасибо, я выверну мамино пальто.

— Я ни за что не хочу ломать этот маскарад. Неужели придется душиться этими противными пачулями? Ни за что!

— А вы слышали, что он сказал?

— Что?

— Он определенно сказал: со-кра-тят! Поняли?



Через месяц зав, просматривая бумаги, заметил секретарю:

— Сергей Семеныч, дорогой... Может быть, это и не мое дело, но позвольте сказать вам отечески...

— Что такое?

— Обратите вы внимание на свой костюм! Ведь это позор! Манжеты — в бахромах, рукава протерты, жилетка закапана, сапоги какие-то неуклюжие, скрипят... Ведь вы получаете приличную ставку...

— Александр Данилович... Да я...

— Знаю, знаю, дорогой! Если мало, мы прибавим вам. Ведь вы человек молодой, стыдно вам... А к тому же... читали в газетах? Там говорится о том, что пора нам бросить глупое мнение, что коммунист должен быть обязательно вахлаком, нищим и оборванцем. Мы должны не только догнать, но и обогнать Европу...

— Александр Данилович... Да ведь я...

— Понимаю, понимаю! Отлично понимаю! Заранее знаю все ваши возражения. Но ведь мы — учреждение. И учреждение государственное, рабоче-крестьянское. Мы должны быть... ээ... на высоте, чтобы каждый проходящий чувствовал... Ведь у нас и иностранцы бывают. Пора нам оставить эту глупую полунищенскую казовую сторону... Тут я видел фотографию: прием посла. Так там все наши советники и референты одеты с иголочки... И мы должны, так сказать... Ну, разумеется, дома и вы, и все прочие могут одеваться, как им угодно... Но на службе... Кстати, вы не намекнете так, слегка там в канцелярии... Ведь у нас там прямо деревня какая-то... овчинные полушубки! Пахнет псиной... Неудобно... Да и у вас от ног, простите, пренеприятно пахнет. Рекомендую вам особый порошок — гальманин. Стоит пустяки... Н-ну-с... Вот и все... Так вы примете к сведению?

— Хорошо...

И секретарь, густо покрасневший, выскользнул из кабинета, чтобы тут же шепнуть несколько слов завканцу...



А еще через полтора месяца зав пришел в смазных сапогах со скрипом и...

1926



ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ

Иван Прокофьевич Мизюрин, проходя по Сухареву рынку в надежде купить зимнее пальто взамен украденного, вдруг остановился как вкопанный и едва перевел дух. В одном из ларьков на видном месте лежало его пальто, то самое, которое у него украли неделю тому назад в одном из учреждений.

— Может быть, я ошибся... Бывают похожие вещи...

Он подошел к ларьку вплотную и с показным равнодушием повертел в руках пальто. На подкладке, около воротника, виднелась знакомая метка: вышитые шелком «И. М.». Сомневаться дальше было глупо.

Иван Прокофьевич сразу крепко вцепился рукой в пальто, как бы боясь, чтобы оно не исчезло волшебным образом, и нелепо вытаращил глаза на изумленного приказчика, готовясь сказать язвительную речь:

— Потрудитесь ответить... м-м... гражданин торговец... Это что за пальто?

— Пальто знаменитое! Не извольте беспокоиться! Если бог приведет, мы с вами сойдемся, вы будете иметь хоть что-нибудь особенное, с боярского плеча!

Иван Прокофьевич сразу потерял свою следовательно-скую язвительность и ядовитость и закричал, брызгая слюной:

— Что-о?! Если бог приведет?! Это мое пальто, и я его забираю.

И, схватив пальто в охапку, он крепко прижал его к груди. Приказчик обалдело залебезил:

— Гражданин! Ежели пальто вам нравится, мы ничего не имеем против... Другим не продадим... В цене сойдемся... На том и стоим — угождать покупателям... Тридцать пять червонцев... Дешевка... А пальтецо — в размер... Вы примерьте... Как на вас шито!

Иван Прокофьевич побагровел:

— Да оно на меня и шито! Это мое пальто! Понимаете — мое! Неделию тому назад его у меня украли... А вы... вы — скупщики краденого! Поняли? Я вам покажу тридцать пять червонцев!

И, выпалив все это одним вздохом, Иван Прокофьевич забрал пальто и, ожидая долгого сопротивления и отпирательства, приготовился к самообороне. Каково же было его изумление, когда приказчик, быстро пошептавшись с хозяином, сказал, приветливо улыбаясь:

— Пожалуйста, гражданин... Мы охотно вам верим... В торговом деле всякое бывает... Просто небольшая недоразумения вышла... Вам завернуть прикажете или на себя наденете?

— Да я вам платить не буду! Понимаете! Это мое пальто.

— Пожалуйста, пожалуйста... Какая тут может быть речь о плате... Ошибочка произошла... Будьте любезны...



Минуту спустя, с завернутым пальто под мышкой Иван Прокофьевич размышлял радостно и злорадно:

— Ишь, черти, как засуетились... «Пожалуйста, пожалуйста»... Небось, все вещи краденые... Боятся... Разве донести на них? Пойду и заявлю... Канителью, правда, ну да черт с ними... Это мой гражданский долг. Если мы все будем так халатно относиться к этим жуликам, так от них житья не будет. Мы должны подавать пример гражданственности.

И, записав в книжечку фамилию хозяина ларька, Иван Прокофьевич прямо с базара отправился в милицию.

В милиции пришлось ждать долго и сонный помощник комиссара, составив протокол, попросил оставить пальто.

— Без этого никак нельзя: вещественное доказательство.

— Товарищ комиссар! А, может быть, можно так как-нибудь?.. Без этого?.. Холодно ведь... Вы понимаете...

— Гражданин. Не беспокойтесь! Дело пойдет в срочном порядке, и ваше пальто вам доставят в целости и сохранности.

Когда Иван Прокофьевич вышел из комиссариата, в душу его сквозь сознание исполненного гражданского долга просочилось беспокойство.

— Черт возьми... Зря, пожалуй, связался я с этим делом. Надел бы сейчас пальто, и... дело с концом.

Но постепенно гражданский долг победил:

— Ладно! Денька три-четыре — не расчет. Зато этих мошенников припекут. Надо же кому-нибудь этим заняться...



Прошло два месяца, холодных и знобких. Иван Прокофьевич кашлял, чихал, ставил на ночь горчичники, пил аспирин и упорно ходил в легком пальто, отвечая на все увещания жены:

— Смешно покупать зимнее пальто, когда оно у меня есть.

— Да где оно есть-то? Связался ты с этим делом! Вгонит оно тебя в могилу! Смотреть тошно!

А дело двигалось туго. В милиции Иван Прокофьевич для пущей важности дал свой служебный адрес

с указанием должности. И, приходя на службу, он почти ежедневно встречал на своем столе повестку или уголовного розыска, или нарсуда с требованием «указать домашний адрес И. П. Мизюрина» или «явиться такого-то числа в качестве свидетеля по делу об утайке краденного».

Иван Прокофьевич чувствовал, что эти повестки мало способствуют укреплению его авторитета среди сослуживцев, и для реабилитации неоднократно пробовал рассказать историю своего злосчастного пальто.

Сослуживцы сочувственно кивали головами, но в глазах у них Иван Прокофьевич читал недоверие.

Наконец, уже весной Ивана Прокофьевича вызвали для окончательного разбирательства дела.

Прождав своей очереди в течение четырех часов, Иван Прокофьевич выслушал резолюцию суда:

«Ввиду недостаточности количества улик, дело прекратить»...

Через месяц Иван Прокофьевич угрюмо рассматривал свое пальто со свалывшимся, лезущим воротником и изъеденным молью верхом. Была весна, и на улице весело сверкало весеннее солнце.

1926



ДВА ДРУГА

Семен Александрович Козоногов сидел в своем кабинете и грустно просматривал судебный отдел газеты, напевая:

— Что день грядущий мне готовит?

В дверь постучали.

— Это я, Сема! Я! Налетов!

— А... Входи, входи... Тебе можно!

— Занят? Помешал? А? Я только на минутку!

— Пожалуйста, пожалуйста. Располагайся, я не спешу. Чайку, может, хочешь?

— Нет, нет. Я к тебе, собственно, по делу.

— По делу? По какому?

— Так, пустяки... Заранее извиняюсь за беспокойст-

во. Я, так сказать, хе-хе... к твоему прокурорскому авторитету.

— К прокурорскому?

— Да, да! Тут, понимаешь, историйка одна вышла.

— Постой! Я хочу тебя предупредить...

— Да ты выслушай сначала. Можешь ты меня выслушать?

— Выслушать я готов, но только хотел сказать...

Налетов заерзал еще больше и разразился высоким деланным смехом.

— Стой! Подожди! Выслушать ты меня успеешь. Прежде нужно исполнить поручение... Совсем было забыл! На днях я встретил Алексея Федоровича Прокофьева. Помнишь Алешу?.. Ну, так вот. Он просил меня передать тебе небольшой должок!

— Не помню, чтобы я ему давал в долг.

— Ну, уж это не мое дело. Можешь спросить его самого... Хотя он, кажется, вчера уехал в Екатеринбург... А теперь слушай! Ведь ты прокурор нашего района?

— Видишь ли, я не хочу вводить тебя в заблуждение...

— Знаю, знаю... Честь, долг, ответственность и... прочая ерунда! Но со мной-то уж можно говорить по-приятельски. Дельце-то пустяковое... Выеденного яйца не стоит! Видишь ли, меня обвиняют в даче и приеме... этих... как их... ну, взятки вообще. Ты читал, вероятно, у нас в управлении ревизия была?

Козоногов утвердительно кивнул головой.

— Ну, так вот... Я один почему-то попался... то есть это... как сказать... подвернулся. Ты понимаешь?

Козоногов поморщился и свистнул:

— Скверное дело! Не одним годом пахнет! И я тебе ничем, понимаешь, ничем не смогу помочь!

— Ну, не хитри, брат. Что со старым приятелем хитрить! Прокофьеву помогал, а мне не можешь! Скажи лучше — не хочешь!

— Да я сам сейчас в таком положении, что...

Налетов перебил:

— Т-с-с... Кто это там играет? Дочка?

— Да.

— Очаровательно! Кстати, ты, помнишь, говорил, что хочешь купить рояль? А то у меня есть чудесный Беккер...

— Мне теперь не до роялей. Да у меня и денег-то нет...

— Что? Пустяки! Я могу подождать! Надо мной не каплет! Так решено! Рояль я сегодня же пришлю. А теперь бросим это и к делу. Значит, я могу на тебя рассчитывать? Правда?

Козоногов встал и нервно зашагал по комнате:

— Кузьма Антонович! Я не хочу тебя обманывать. Имей я только возможность...

Налетов вскочил и подхватил Козоногова под руку:

— Ну, вот! Ну, вот! Да если бы ты не имел возможности, стал бы я тебя просить? Ты, хитряшка, наверно, уж мое дело прочел? А? Сознайся?

— Не мог я прочесть твоего дела. Вот уже две недели, как я...

— Перегружен работой? Знаю, знаю! Оплот республики! Хе-хе! Ну, ладно... Значит, решено!

Козоногов рассердился:

— Что решено? Что решено, черт возьми? Ты мне слова сказать не даешь!

— И не дам, господин сердитый прокурор! И не дам! Ты где сегодня обедаешь?

— Нигде я не обедаю. Я уж две недели, как отстранен от должности! Понял? Ну?

Налетов побледнел, как полотно, и бессильно брякнулся на стул:

— За... за что? Ты... не врешь?

— По подозрению во взяточничестве!

Дикий вопль раздался в кабинете Козоногова. Когда жена в испуге прибежала на крик, она увидела Налетова верхом на своем муже. С налитыми кровью глазами Налетов орал:

— Жулик! Обманщик! Отдай деньги, мерзавец! Отдай!

Козоногов хрипел и отбивался.

1926



СЛАВА И КОНЕЦ ПАКЛИНА

Кто в Листвянах не знает Паклина? Маленький, веснушчатый, на левую ногу прихрамывает, усы — как ку-сочек половой щетки, брюки сзади и пиджак на лок-

тях блестят как зеркало. Никудышный, одним словом, человек.

А вот поди ж ты: полгода, а то и больше был в городе главной душой общества. Другие из кожи вон лезли: на парижский манер чуть не до колен обрезали брюки, и ботинки из Москвы наложенным платежом выписывали, и фабрились, и фиксатуарились, черт-те что из себя устраивали, — а Паклина перешибить не могли. До того он всех забил — прямо сказать нельзя! Только и слышно отовсюду: Паклин да Паклин... На разные падежи-склонения его спрягают... А всего и взял-то, как объяснилось, хитростью...

Вот как все началось. Собралось листвянское общество повеселиться в пользу беспризорных. Ну, конечно, поставили там спектакль «Красный генерал», «Жан-Поль Марат» из французской революции и «Тещу выкуривают».

После спектакля — бал, а до бала — промежуток времени. Вот этим-то промежутком Паклин и воспользовался. Сидят все, скучают. А Паклин из-за угла, этак скромненько, вдруг заявляет:

— А знаете, через некоторое время холода будут. Метеорологическая станция определенно сообщает. Ожидается большой антициклон в средней России.

Тут его, Паклина, Сергей Авдеич из финотдела перебивает:

— Виноват, говорит, товарищ Паклин, в газетах этого нет. Может быть, вы прошлогодною какую нашли?

Все засмеялись, а Паклину хоть бы что.

— Этого, говорит, и не могло быть в газетах. Это только будет. Денька через четыре губернские газетки получите и прочтете. Кстати, и еще могу предсказать... Мозговал я своим умишком и насчет политики... Так вот — Эррио французский¹ неминуючи подаст в отставку.

Уставились все на Паклина: человек беспартийный, уж не с ума ли сошел? Ну нет, смотрит Паклин безболезненно и даже улыбается.

— Веселые, говорит, тут, кстати, я частушки сочинил. Если желательно, продекламирую...

И начал припевать... И что вы думаете? Прекрасные частушки: и про политику, и про все. Смешно — мы прямо животики надорвали.

Сергей Авдеич из финотдела трет себе лоб.

— Ни в одном, говорит, журнале я не читал этих частушек... а я все читаю... Ужли же сам он выдумал?

А Паклина уже барышни окружили, еще просят.

Паклин и еще спел. Потом рассказ веселый рассказал. Поговорили насчет музыки — дескать, «Садко» очень необыкновенная опера — и два мотивчика даже насвистал.

Ну, местные души общества сидят все, словно воды в рот набрали, один Паклин изливается... Даже с танцами из-за него запоздали.

А стали танцевать — на Паклина прямо хоть в очередь записывай. Даже дочка возрожденного нашего нэпа — купца Аникеева — и та с Паклиным фокстротный падеспань танцевала...

С этого вечера все и пошло. Начал Паклин все события наперед за несколько дней предсказывать. Стал некоторых девиц без книг обучать эсперанто.

— Я, говорит, по своим старым запискам.

Лекции целые читал по международным вопросам, о сельском хозяйстве и есть ли бог.

Наши листвянцы просто с ума сбились: на глазах такое превращение. Из простого счетовода при конторе «Хлебопродукт» — и вдруг культурный центр города с таким умом и знанием. И ведь сразу — чик и готово! Другой человек!!!

Пошел Паклин в гору. Общественные лица стали к нему за советами ходить, девицы в него влюблялись пачками... Даже на службе повысили его на два разряда.

И уж совсем было на мази была свадьба Паклина с купеческой дочерью нэпа — Олечкой Аникеевой. Девушка прямо в безумие пришла.

— Мне, говорит, наплевать, что усы, как щетка. Мне, говорит, наплевать, что брюки блестят. У него, говорит, голова блестит — он самый интересный человек в городе!

А тут все и объяснилось.

Заземный из губернии техник проходил мимо паклинского дома, поглядел на крышу да и скажи:

— Ах, говорит, и у вас уже радио появилось! Давно, говорит, пора! Да-а-вно!

Тут все листвянцы и хлопнули себя по лбу:

— И как это раньше не догадались! До чего народ мы провинциальный!

Ну, конечно, сразу впал тут Паклин в ничтожество. Потому что... гляньте-ка в окно: как сети рыбацкие висят по улице нашей антенны.

И аникеевская дочь Паклину публично в глаза метила плюнуть, да промахнулась.

1926



«ИНКОГНИДА»

С самого же начала Досекин был неожиданно и приятно изумлен. В справочном столе, куда он прежде всего обратился, его приняли как родного, назвали «дорогим товарищем», ни разу не фыркнули, не крикнули, ответили на все вопросы и даже дали провожатого, чтобы провести его на пятый этаж в нужный отдел.

На лестницах царила чистота: ни окурка, ни плевочка, ни клочка бумаги! На каждой площадке были поставлены свежевыкрашенные урны и чистенькие плакаты над ними приглашали вежливо и решительно: «Плюйте сюда!»

Никто не толпился на лестнице, не кричал, не махал никакими бумагами и никто не умолял никакую Катю обязательно прийти завтра в кино «Волшебные грезы».

Досекин изумлялся все больше и больше.

И когда в консультации быстро и ясно написали ему ответ на заявлении, а в общем отделе в десять минут напечатали и протасили по всем журналам бумажку — к его изумлению и восхищению начал примешиваться оттенок досады. Заговорило профессиональное чувство:

— Черт знает, что такое! Просят тебя произвести внезапную ревизию, говорят, что тут волокита, грязь, безобразие, неразбериха. Ты приходишь инкогнито, лазишь по всем этажам, отрываешь людей от дела... И что же? Оказывается, что здесь все просто образцово поставлено! Зря потерянное время! Даже обидно — хоть бы пустяк какой был в неисправности! Хоть бы что-

нибудь!.. Стой! Пройдем-ка к самому главному — может, тут самая волокита-то и есть.

Но и здесь Досекина ожидало разочарование. На двери кабинета «самого главного» висел скромный и уютный плакатик:

ПРИЕМ ЕЖЕДНЕВНО.
ВХОД БЕЗ ДОКЛАДА

Досекин остановился у двери и прислушался. Из комнаты доносился мягкий, бархатный, рокочущий басок «самого главного»:

— ...А если вам кто-нибудь где-нибудь будет чинить задержки или препятствия — безо всякого стеснения обращайтесь прямо ко мне. Когда хотите. Я всегда рад вас видеть. И от всей души желаю вам успеха. Успех вашего Козьдебродского объединения есть вместе с тем и наш успех!

— Тьфу, черт! — сплюнул Досекин. — Прямо даже до противности вежливо! С непривычки даже коробит. Такой сироп — что ни в какой Европе не найдешь!

И едва он успел отскочить от двери, как из нее вышел проситель, крестьянин в плешивых валенках, с лицом, испуганным от радости. Взглянув на Досекина, он плотно прижал к груди бумажку, как бы боясь, чтобы ее вдруг не отняли, и радостно осклабился:

— Вот дела-то какие, сынок! Три месяца ходил — хучь бы хны. Замерзла бумажка — ни тпру, ни ну! А тут вдруг — враз все готово! Чу-де-са!

Досекин проводил глазами крестьянина, подумал и решительно направился к выходу:

— Действительно, чудеса! В других местах по три месяца тянут, а тут сразу! Вместо протокола ревизии придется похвальную статью писать. Прямо примерное учреждение, на всю республику примерное. Удивляюсь, какой идиот выдумал, что тут волокита и беспорядки?

У самого выхода Досекин столкнулся с уборщицей, старательно подбиравшей с полу сиротливый окурок. Уборщица ворчала.

— Ты что ворчишь? — спросил Досекин без всякой определенной цели.

И вдруг уборщица подняла на него красное, потное, усталое и злое лицо:

— А как же не ворчать-то! Шестой день этак-то вот маемся! Как кто плюнет — подтирай, спичку бросит — подметаай! Да еще фартук не замажь, а то, говорят, назад будем брать, так чтобы чистый был, а то увольним. И служащие тоже все злые стали как собаки. У себя-то там ходят на цыпочках, улыбаются, а на меня прямо ногами топают — душу отводят. И то сказать, и им нелегко приходится, попробуй-ка целый день поработай да поулыбайся! Уж поскорей бы эта самая Инкогнида приходила! Мочи больше нет!

— Кто? Кто? — изумленно переспросил Досекин.

— Инкогнида какая-то там. Тайком, вишь, ревизию нам решили назначить. И послали какую-то Инкогниду. И фамилия-то какая противная. Ну, а наш заведующий, значит, прознал. Он — хитрый, все наперед знает. Вот и повернул все вверх дном. Плевалки наставил, всем служащим работать велел напоказ — вдвое, говорит, заплачу! А какой уж вдвое — тут и втрое не возьмешь. Барышня наша, Анна Лексевна, секретарша, надясь мне жаловались. Прежде, говорит, придет какой мужик военный, скажешь ему: нет! — и конец. А теперь бумаги его грязные рассмотри, да пойми, что куда, да ответь, да еще улыбайся. И все вот так-то! Шестой день плачем, а улыбаемся.

И, вздохнувши, уборщица махнула рукой:

— Мочи больше нету! Хоть бы поскорей эта Инкогнида проклятая приходила. Пойдет опять все по-старому — как хорошо!

1927



ДЕЛИКАТНАЯ ПРОФЕССИЯ

Иван Диомидыч горделиво подмигнул гостю, приехавшему из провинции брату жены, чокнулся и самодовольно расправил усы.

— Так ты спрашиваешь, дорогой Андрюша, какую я должность занимаю у себя в синдикате? Должность,

брат, моя тонкая и деликатная. И хоть числюсь я обыкновенным секретарем, но работа моя совершенно особенная. Ювелирная, можно сказать, работа. Работаю я, милый Андрюша, по литературной части.

Гость с почтительным изумлением посмотрел на Ивана Диомидыча и даже поперхнулся:

— По литературной части? Да какая же может быть в синдикате литературная часть?

Иван Диомидыч снисходительно улыбнулся:

— Есть, брат, такая.

— Что же... рекламы, что ли, какие сочиняете? Или что?

— Какие там рекламы! Подымай выше! Я, брат, во всех газетах и даже в журналах свои произведения помещаю.

— Так вы, выходит, писатель?

— Вроде того.

— А при чем же синдикат? За что же вы там-то деньги получаете?

— А вот за это самое! За мои писания!

Андрюша развел руками, покачал головой и весь обрattился в недоумевающий и недоверчивый вопросительный знак, к вящему удовольствию Ивана Диомидыча, который захохотал так весело и громко, что даже посуда звякнула на столе:

— Что? Загадал, брат, я тебе загадку? А? Ну, ладно уж, не буду тебя больше запутывать! Так и быть, открою тебе тайну своей службы. Служу, брат, я в синдикате штатным опровергателем. Понял?

— То есть... как?

— А так. Очень просто. Ты знаешь, что такое опровержение? Посмотри — в любой газете можешь найти! «Уважаемый товарищ редактор! В ответ на заметку такую-то, помещенную в № таком-то вашей уважаемой газеты, правление синдиката считает себя вынужденным заявить нижеследующее...» Ну и так далее. Читал? Так вот, это моя работка! Я, знаешь, еще с детства питал пристрастие ко всяким таким литературным упражнениям. И характер у меня тоже подходящий — с ехидцей, и уколоть люблю, этак поддеть на крючок. Пробовал я в юмористические журнальчики кое-что пописывать — не приняли, сорвалось. И я было совсем от литературы отбился. А тут вдруг подвезло. Написал одно опровержение — понравилось, другое — тоже. И попал, брат, я на

свою линию! Теперь, брат, у меня двое подручных, третьего собираюсь заводить. Вот если бы ты немножко был поразвязней...

Андрюша вздохнул:

— Куда уж... А работы, говорите, много?

— Бездна! Океан работы! Ты рассуди сам: у нас в синдикате восемь заводов крупных, да подсобные предприятия, да отделения, да то, да се. И везде рабкоры есть. И все пишут. И всех опровергать надо. Как же работе не быть? Захлебываемся, прямо, в работе! Уж я и то стараюсь часть работы механизировать, облегчить. Есть, понимаешь, дела серьезные. Это если рабкор пошлет материал какому-нибудь фельетонисту, а тот возьмет да фельетон целый и бабахнет. Тут, конечно, простой бумажкой не отделаешься. Тут на фельетон свой фельетон писать приходится. Это уж художественное произведение. Это уж я сам сочиняю.

— И что же — за своей подписью?

— Нет, конечно! Подписывает начальство. А иногда так здорово напишешь, что прямо больно начальству на подпись давать. Так и хочется самому подмахнуть... Ну, да что делать — служба! Да... Так это с серьезными делами такой порядок. А с заметками маленькими — у нас проще. Тут я даже особый трафарет выработал двух образцов. В первом образце все факты заметки опровергаются: все, что написано в заметке, пишется наоборот. И потом, конечно, несколько строк возмущения. «Удивляемся, мол, как редакция помещает безответственные измышления несознательных элементов» и так далее. Это первый образец. А второй — тоньше. Второй пишется тогда, когда фактов в заметке сам черт не опровергнет. Все правильно, и даже придаться ни к чему нельзя. Тут я делаю так. В первой части опровержения подтверждаю полностью все, что написано в рабкорской заметке, а во второй пишу, что, несмотря на это, сам тон заметки грубый и беспардонный и подрывает, мол, доверие к руководителям и вообще, мол, не оправдывается мелкими недочетами, на которые указывает автор.

Андрюша восхищенно посмотрел на Ивана Диомидыча:

— Здорово! Ну, и что же? Помещают опровержения? Всегда?

Иван Диомидыч вдруг поблек:

— Нет! Совсем не всегда! Хорошие времена прошли. Мало стали помещать. Все фактического материала требуют. А где его взять?

И вдруг, махнув рукой, он снова повеселел:

— А мне что? Помещают, не помещают — я свое дело делаю! И не маленькое дело! Зря хлеб не ем!

1927



ВИНТИК

У письмоводителя Черепанова два дня сильно болел живот. На третий день Черепанов не смог даже пойти на службу и остался лежать в постели.

Читать было нечего, в окно глядело серое, скучное небо, над головой монотонно тикали часы, спать не хотелось.

И, лежа с закрытыми глазами, Черепанов отдался занятию, которому в обычное время мешала служба, свидания и ссоры с Верочкой, кино, примус и просто лень.

Черепанов думал.

И мысли его с самого начала приняли совсем необычное направление. Он думал не о предстоящей получке, не о разрыве с Верочкой и женитьбе на Тане, не об отпуске, даже не о выигрыше ста тысяч, — словом, совсем не о том, о чем имел обыкновение думать в свободные минуты. Мысли Черепанова были неожиданные для него самого — отвлеченные и возвышенные.

— Кто я такой, — думал Черепанов. — Я — гражданин Советского Союза, письмоводитель треста Госпромцветмет. Я — винтик огромной государственной машины. Пусть маленький, незаметный, но винтик! Сегодня — этот винтик — не работает. Один только день — и уже у меня на службе, на моем столе лежит стопочка незарегистрированных, не разнесенных по папкам и по журналам бумаг... Может быть, часть моей работы сделает за меня Варвара Петровна. Но как сделает? И потом

у меня в столе есть бумаги, направление которых знаю только я. И ключ от стола — только у меня. Значит, без винтика не обойдешься. Нет!

Черепанов открыл глаза и закурил папиросу. Сегодняшние мысли были ему приятны и вызывали гордость.

— Д-да!.. Я — винтик. И о винтике — думают, о винтике заботятся. Вот сегодня утром квартирная хозяйка позвонила на службу, что я болен — и уже был врач... Он — тоже винтик. И сейчас в аптеке — еще другие винтики — готовят мне микстуру, мне — винтику Черепанову, письмоводителю общего отдела, временно вышедшему из строя по болезни живота.

И вдруг какое-то умиленное просветление наполнило черепановскую душу. Ему представился весь дом, в котором он живет, потом вся улица, вся Москва и, наконец, туманно и с трудом — весь Союз, с разными реками, горами и озерами, с разными Кир, Баш, Нем и Татарскими республиками².

И всюду живут маленькие и большие винтики! И каждый винтик делает то, что ему, винтику, полагается. Согласно своему положению и тарифной сетке. Все вместе, так сказать, поддерживают друг друга и составляют одну машину... А рассыпь эти винтики, уложи их всех в постель — и пропала вся машина. Все останется: и железные дороги, и канцелярии, и трамвай...

Черепанов крепко затыкнулся и вдруг серьезно сдвинул брови.

— Да...а... И каждый винтик должен понимать, кто он и куда приставлен. Я, например... Сколько раз из-за этой Верки возьмешь и удерешь на полчаса пораньше. А бумажки лежат. И другой какой-нибудь винтик без них работать не может. Или просто лень нападет — сидишь и баклуши бьешь. Что, мол, оно такое — служба? Черт с ней, со службой-то! Все равно пятнадцатого жалование заплатят — работай или не работай. Надо, мол, главным образом о себе думать, а не о службе... А бумажки лежат, подлые, лежат... А за ними люди ходят, ходят... Эх! Бессознательные мы люди! Как где стать, в очереди ждать — так на дыбы! А сами — не понимаем, что и мы тоже в очередях виноваты. Потому — винтики!..

Часы над головой били уже несколько раз. Черепанов не замечал их боя — он курил, открывал и закрывал глаза, ворочался с боку на бок — и до самого вечера был занят своими мыслями.



Проболевши четыре дня, Черепанов вернулся на службу и сразу поразил всех сослуживцев. Он стал неразговорчив и сух, все время копался в своих бумагах и не хотел отвечать ни на один вопрос, не имеющий отношения к его прямым обязанностям. Приходить он стал раньше всех и уходил всегда последним. С посетителями был чрезвычайно вежлив и обходителен, зато с сослуживцами усвоил себе какой-то странный тон: упрекал их в опоздании, в безделье и все время упоминал о каких-то винтиках.

Сослуживцы переглядывались, пожимали плечами, презрительно улыбались и шушукались за спиной Черепанова:

— Что ему нужно? Что он — тайный агент Эр-Ка-И³, что ли? Всюду сует нос, всех поучает — просто безобразие. Если так дальше пойдет — с ним просто работать нельзя! Поговорить бы с Алексеем Степановичем — нельзя ли его убрать или перевести, что ли, куда?

— Попробуй, переведи! Может, он действительно каким-нибудь тайным ревизором назначен. Я вчера из-за него, черта, лишних полчаса просидел. И делать было нечего, а просидел. Боюсь я его.

— Ну, вот еще! Нашли кого бояться. По-моему, он просто свихнулся после своей болезни! Больше ничего. Вы слышали, он все про винтики какие-то говорит — вот, очевидно, у него у самого винтика и не хватает. Я демонстративно буду уходить на полчаса раньше.

— Так ведь вы, Варвара Петровна, и прежде уходили...

— Ну, что же? Прежде просто уходила, а теперь буду уходить демонстративно! На зло этому идиоту!

— Погодите, может, у него это скоро пройдет. Ведь прежде же он не был таким.

Но Черепанов с просветленным лицом, усталый и похудевший, продолжал работать за троих, завел у себя какую-то новую ускоренную систему регистрации и неодобрительно поглядывал на неисправимых сослуживцев.

Старший делопроизводитель, Алексей Степанович, вначале очень сочувственно поддерживавший черепановское рвение и защищавший Черепанова от нападок остальных, под конец сам заколебался.

А когда Черепанов как-то в коридоре рассказал ему свой проект реорганизации и упрощения всего делопроизводства, Алексей Степанович не на шутку перепугался и сразу решил, что письмоводитель метит на его место.

— Тонкая штучка, черт его дери! Хорошо еще, что он мне сначала рассказал свой проект! А то пойдет прямо к заведующему — и крышка. Выдвинут, посадят на мое место, а меня по шапке! Не-ет, брат, шалишь! Не на таковского напал. Я, брат, и свои меры могу принять.

И Алексей Степанович сразу резко изменил свое отношение к Черепанову.

А через два дня на докладе у заведующего отделом он гордо доложил черепановский проект как свой и получил горячую благодарность начальства.

Собирая бумаги и готовясь выйти из кабинета заведующего, Алексей Степанович заметил вскользь:

— Да... Кстати, товарищ Андреев... В связи с моим проектом у нас, конечно, возможно будет сокращение штатов...

— Прекрасно!

— Так вот я думал бы сократить между прочим этого... мм... письмоводителя Черепанова... неподходящий он человек... Вы как?

— Сокращайте кого вам будет угодно, милый! Я не понимаю даже, зачем вы меня об этом спрашиваете. Я ведь у вас никого не знаю!

— Слушаю-с!

И Алексей Степанович вышел, ликуя:

— Эр-Ка-И! Какой он к черту Эр-Ка-И!.. Просто мальчишка, сопляк! Выдвинуться захотел! Ну, мы его и выдвинем!



Через неделю Черепанова сократили. И никто не заметил, что в общем отделе треста не хватает винтика.



СЛУЧАЙ С ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ

За огромным столом с тремя телефонами сидела розовая, лысая личность в роговых очках и, наморщив остатки бровей, деловито чертила карандашиком кружочки на розовом листе промокательной бумаги.

Ключарев вошел в кабинет и кашлянул.

Розовая лысина поднялась от розовой бумаги, и роговые очки блеснули в упор на Ключарева.

Ключарев засмутился и протянул вперед огромную трубку чертежей.

— Вот, товарищ... Меня направили к вам. Я насчет турбины внутреннего сгорания... Тут меня просили дополнительно кое-какие чертежики...

Розовая личность слегка поморщилась и небрежно указала пальцем на боковую дверь.

— Обратитесь в соседнюю комнату!

И когда Ключарев, благодарно улыбнувшись, шмыгнул в указанном направлении, личность вновь склонила розовую лысину над розовой промокашкой, предварительно проворчавши:

— Ох, уж эти мне доморощенные Эдисоны! Принес какую-то ерунду величиной с подзорную трубу — и еще улыбается!..

В соседней комнате стояло два стола, но за ними никто не сидел. И Ключарев остановился в недоумении, не зная, вернуться ли назад, к розовой личности, или ждать здесь. Вдруг кто-то тронул его за плечо.

— Вы, товарищ, кажется, с чертежами?

Ключарев обернулся. Из дальнего угла комнаты к нему подошел маленький человек, которого он при входе не заметил.

— Да, товарищ... У меня тут чертежи турбины внутреннего сгорания. Я уже был тут. Два раза.

Маленький приветливо улыбнулся.

— Ну? Тут такая волокита, что не раз и не два

побывать придется. А у вас, говорите, турбина внутреннего сгорания? Это страшно любопытно!

Ключарев растаял. Маленький человек был так любезен, так вежлив и вместе прост, что он сразу почувствовал себя как дома.

— Вы давно работаете над этим изобретением?

— Года... полтора.

— Ну как?

— Да, в общем, вполне закончил. Теоретически, конечно. Очень бы хотелось попробовать на модели — да денег нет.

— А много потребуется?

— Да тысячи полторы всего.

Маленький человек сочувственно вздохнул.

— Да... Для такого изобретения — деньги небольшие. А все-таки трудно будет получить. Ну да, может быть, как-нибудь выцарапаете.

Ключарев с надеждой уставился на маленького.

— А вы... вы не могли бы как-нибудь посодействовать, протолкнуть? А?

— Отчего же... я с удовольствием! Все, что могу — пожалуйста! Кстати, давайте представимся — моя фамилия Лапкин.

— Ключарев!

— Очень приятно. Я ведь и сам думал о вашей турбине. Только я больше по гидравлике работаю... А кстати, — не будете ли вы так любезны...

— Чертежи? Да я уж давно собирался их вам показать!

И Ключарев поспешно начал разворачивать трубку.

«Какой милый человек этот Лапкин! А говорили, что тут сидят чиновники, сухари, бюрократы! Оказывается — ничего подобного! Вон — он сам изобретатель! И даже не глядя — помочь обещал!»

Чертежи были очень большие — и Ключарев засуетился, не зная, куда их пристроить.

— Да вы без смущения! Прямо на пол! — весело заметил Лапкин. — А я вам и кнопочек дам... Вот так!

— Спасибо вам! Мне, право, так неудобно...

— Э, что там! — И Лапкин, ползая на коленях, принялся помогать Ключареву прикалывать чертежи.

И снова Ключарев подумал:

«Изумительное здесь отношение! Сразу принял, сам

помогает прикалывать, интересуется... Отец родной, а не чиновник! И никакой волокиты!»

А когда все чертежи были наконец размещены и Лапкин начал рассматривать их любовно и почти благоговейно — Ключарев даже раскраснелся от восторга и радости. Захлебываясь, давал он объяснения:

— Это — деталь. Здесь вы ее не рассмотрите. Вы посмотрите вот на этот чертежик! Вот! Видите?

Лапкин слушал объяснения, ползал по всему полу, разглядывал, изумлялся, восторгался. Ключарев сиял и думал:

— Какой милый, какой замечательный человек этот Лапкин! Что, если бы во всех учреждениях сидели такие живые, настоящие люди! А в газетах еще недавно писали, что здесь безобразное отношение к изобретателям! Любят эти газетчики приврать! Ох, любят!..

Наконец осмотр чертежей был закончен.

Лапкин приподнялся с полу, встал на цыпочки и порывисто обнял Ключарева.

— Поздравляю вас! Ваше изобретение произведет целый переворот! Это — такое достижение для нашего Союза...

Ключарев даже прослезился от волнения.

— Верьте... я... я... не ожидал! Такой прием, такой братский прием... Я напишу во все газеты! Я... Ведь вы поможете мне? Правда?..

— Всем, чем могу! Весь к вашим услугам! И Лапкин горячо тряс ключаревские руки...

Дверь соседней комнаты отворилась. В дверях выросла знакомая розовая личность в роговых очках.

— Что за шум? Вы мешаете людям работать!

Личность помолчала, пожевала губами, посмотрела на пол, на чертежи и вдруг рассердилась.

— Что это такое?! Надо все-таки быть поаккуратней, граждане изобретатели! Нельзя же так! Здесь все-таки учреждение! Да-с! Сейчас же уберите все это! И потом... потом я не понимаю, чего вы, собственно, ждете? Сейчас — уж полпятого. Если товарищ Невельский до сих пор не пришел, значит, его сегодня не будет! Ясно?

Ключарев изумленно взглянул на личность, потом на Лапкина, потом снова на личность.

— Я вот показывал товарищу Лапкину чертежи... И он одобрил...

— Можете показывать в другом месте. Здесь не клуб! Вам еще так или иначе простительно, вы новичок! А товарищ Лапкин надоедает нам своим насосом уже четвертый год. Пора бы ему знать порядки!

Лапкин сразу как-то весь съежился, посерел, потух и стал еще меньше. И только тут Ключарев заметил, что лапкинский пиджак продран в локтях, а на брюках висит бахрома, такая же, как у него самого.

— Так вы... — обратился он к Лапкину.

— Просто изобретатель! — закончил Лапкин. — Такой же изобретатель, как вы. Четвертый год хожу! А вы думали, я здешний? Чиновник? Ха-ха-ха! Вот чудак!

И вдруг, ставши рядом с розовой личностью, он снова развеселился.

— Ну, посмотрите, — разве мы похожи?

Ключарев поглядел — и грустно улыбнулся: сходства, действительно, не было никакого.

1927



СТЕНГАЗЕТА ПОМОГЛА

Новый номер стенгазеты «Красный рупор» был торжественно водворен на обычное место — в коридоре между доской объявлений месткома и пожелтевшим плакатом выигрышного займа.

Машинистка Сонечка, пробегая по коридору, задержалась у стенгазеты и с видимым интересом стала шарить по ней глазами. Ей еще раньше сообщили, что в этом номере «Красного рупора» будет что-то про нее.

Действительно, в отделе «Ехидные вопросы» была помещена заметка о том, что машинистка С. Крестовская регулярно опаздывает на работу, на полчаса каждый день, и в контрольной ведомости за нее расписываются друзья-приятели. Заметка кончалась статистикой: «За три года своей работы Крестовская „сэкономила“ примерно 450 рабочих часов, т. е. два с половиной месяца работы. Недурненький отпуск с сохранением содержания!»

Сонечка прочла и презрительно скривила губы:

— Вот идиоты! И как они не понимают, что я живу ужасно-ужасно далеко. Один трамвай чего стоит. И потом нужно же одеться — не могу же я ходить такой растрепой, как Илюхина! А вставать в пять часов утра — покорно благодарю! И так целый день зеваешь.

И удовлетворившись этим мысленным опровержением, Сонечка уже готова была отойти от «Красного рупора», как вдруг ее взгляд привлекла заметка с крупным и интригующим заголовком:

АЛЕХИН-СЧЕТОВОД — ПОСТАВЩИК ДАМСКИХ МОД

Пора прекратить спекуляцию в стенах нашего учреждения. Счетовод Алехин — на все руки мастер. Он вам и радио устроит по дешевой цене, и электрическую печь может починить. Но, кроме того, он еще и спекулянт. Он получает каким-то путем заграничные товары в большом количестве: фильдеперсовые и шелковые чулки, носки, дамские джемперы, духи, одеколон, пудру, ботинки и множество других предметов. Цены у него вне конкуренции. Кроме того, — он спекулирует и русскими товарами. Выбор у него огромный, а если чего-нибудь нет — вы можете заказать — и он достанет. Когда же это кончится?

Сонечка перечла заметку несколько раз и, забыв про то дело, по которому она шла с полотенцем в руке, бросилась в бухгалтерию.

Через пять минут, возбужденная и сияющая, она бомбой влетела в комнату машинисток и, задышав, зашептала что-то на ухо рядом сидящей Залесской — громко говорить было нельзя: в комнате был управдел. Залесская бросила работу и недоверчиво уставилась на Сонечку:

— А вы не врете?

И Сонечка ответила быстрым свистящим шепотом:

— Не верите — прочтите сами. В стенгазете все написано. Я уж заказала. Уйму всего. И чулки, и кофточку. И духи, и... и подвязки! Завтра жалованье дают — так я раскутилась! Наплевать! Идите скорей.

Залесская быстро сорвалась с места и, хлопнув дверь, исчезла под недоумевающим взглядом управдела.

А когда управдел ушел, Сонечка, все еще возбужденная, во всеуслышание выпалила распивавшие ее новости.

Все машинки разом перестали стучать. Все машинистки разом заговорили, закричали и бросились к двери. Даже пожилая и прихрамывающая Анна Андреевна потянулась за всеми, оправдываясь на ходу:

— Дочка у меня. Так я для дочки, для Зиночки. Вернувшись, Залесская подлила масла в огонь:

— Он просил приходить поодиночке. И с перерывами. И только до двух часов. А то у него работа.

Поднялись споры из-за очереди: кому когда идти и кому идти первой. Работа была забыта...

Волнение, внезапно охватившее комнату машинисток, передалось в канцелярию, в экспедицию и в общий отдел. Вскоре оно охватило все учреждение, вернее — всю женскую часть его. Хотя нельзя сказать, чтобы и мужская часть оставалась вся сплошь и до конца равнодушна.

По лестнице весь день необычно быстро и в огромном количестве бегали сотрудники, и на площадке у отдела бухгалтерии целый день крутился женский водоворот.

Стол личного состава едва успевал давать справки о местожительстве счетовода Алехина.



Вечером, после работы, счетовод Алехин сидел в пивной с сослуживцем, конторщиком Демидовым, смотрел на Демидова признательными глазами и усиленно подливал ему в стакан. Демидов пил, пьянел и с виноватым недоумением поглядывал на Алехина:

— Вы уж простите меня, Сергей Сергеевич! Я не знал, что вы такой душа-человек. Знамо дело — я бы ни за что не стал писать этой заметки. Это меня Рыкунов подбил. Надо, говорит, бороться со спекулянтами. Ты, говорит, в стенгазете работаешь — чего не напишешь? Я и написал с его слов. А вы уж меня простите. Если вы такой хороший человек, какое мне дело — спекулянт вы или нет? Я так, по глупости, заметку эту написал. Больше не буду.

Алехин весело улыбнулся:

— Больше и не надо. Пей, милый! А за эту заметку я несколько не сержусь. И в доказательство готов поить тебя хоть целый месяц. Заметка — правильная. Хорошая заметка.

И вдруг, весело расхохотавшись, он хлопнул недоумевающего Демидова по плечу:

— Это, брат, знаешь, как называется? Это называется: стенгазета помогла!



МУЧЕНИК ИДЕИ

Заводская контора. Щелкают счеты, трещит «ундervуд», бегают люди с бумажками.

За столом, сплошь заваленным папками, книгами и книжечками, сидит, согнувшись, испитой тщедушный конторщик Кротов. На носу неуклюжие очки, за очками усталые выпуклые глаза. И когда он вытягивает из широкого ворота длинную тонкую шею — он похож на черепаху. Но перо и костяшки счетов бегают под его руками совсем не по-черепаший. Кротов спешит.

Около кротовского стола, покачиваясь на каблуках, дожевывает бутерброд другой конторщик, Замойский, изящно оттопырив мизинец. Он доволен собой, своей новой цветной жилеткой и даже бутербродом. Ему хочется говорить и красоваться.

— Удивляюсь я вам, Иван Петрович, — говорит он Кротову. — Просто удивляюсь! Человек вы молодой, моих же лет, а такой отсталый. Уж не говорю о внешности... Возьмем самую работу... Сейчас всюду, можно сказать, в самый центр поставлен вопрос об экономии времени, о поднятии производительности труда, выражаясь фигурально — о НОТе... А вы? Вы работаете по старинке! Вот, например, эта ведомость, которую вы составляете... Дайте-ка ее сюда на минутку!..

— Не трогайте, пожалуйста!

— Ну, вот! Напрасно вы ее вырвали. Я хотел вам только показать, что в будущем для такой ведомости вы потратите промежуток в две-три минуты. Правда, мы еще далеки от этого, но... надо же, наконец, учиться.

И бросив очаровательный взгляд на притихшую на секунду машинистку, Замойский продолжает:

— Или возьмите, например, ваши расчетные книжки. Вот беру наудачу первую попавшуюся... Научная организация труда...

— Идите вы к черту с вашей организацией! Положите книжку на место и... и не мешайте, пожалуйста!

Замойский высоко вскидывает брови:

— Я мешаю. Как вам это понравится? Я — мешаю! Сразу видна ваша отсталость. Разве действительно занятому человеку может что-либо мешать? Надо только найти установку... э-э-э... уметь сосредоточить все свое внимание... э-э-э... в работу... Человек должен работать под гром пушек, при любых обстоятельствах...

— Ну и катитесь вы к вашим пушкам! Семьдесят один на четырнадцать, плюс... О, черт! Опять сбился! Да уйдете вы наконец от стола или нет?

Замойский разводит руками и расшаркивается:

— Ну вот! Вот вам яркий пример. Вы сердитесь, нервничаете, а между тем основное состояние при работе это... это я бы сказал... э-э-э... активное спокойствие. Никакой спешки, злобы, нервности. Если вы сердитесь — крышка! Вы не работник!

Кротов бросает перо и беспомощно хватается за холодный стакан чая. Чай холоден как лед, и на перламутровой поверхности его — не то пыль, не то пепел.

— О, черт! Даже горло промочить нечем!

Замойский хитро прищуривается:

— Вот видите, дорогой! Вам не удастся даже выпить чаю, а подумали вы: отчего, мол, это? Подумали вы, в чем причина? Почему, мол, Замойский пьет и Вера Константиновна пьет, а я не успеваю? В чем, мол, дело?

Кротов захлебывается воздухом и вскипает:

— А в том дело, что сегодня в шесть выдача жалованья! Срочно! Поняли? Директор приходил! Поняли? К празднику! Поняли? И не мешайте! Поняли? Чертова кукла вы! Поняли?

Замойский сразу теряет апломб и внушительность. Он забыл даже обидеться.

— Жалованье... Значит, мы тоже сегодня получим?... Иван Петрович!..

Кротов молчит.

— Иван Петрович! Вы и на служащих ведомость готовите? Иван Петрович!.. Ива...

Кротов бросает перо и безмолвно глядит на Замойского. Во взгляде его такая отчаянная, неприкрашенная человеческая злоба, что Замойский умолкает и невольно отводит взор.

Замолкает машинистка, стихают перья регистраторов, насторожился курьер у двери. И в общей тишине звучит свистящий глухой гневный шепот Кротова:

— Так ты, сукин сын, так-то? Так ты нас всех без жалованья оставил! Учитель чертов! Агитатор! Три часа тут змеей у стола вился — а у самого ведомость не сделана... Так ты...

Замойский беспомощно кидается к столу, нелепо двигает ящиками, ерошит пробор, щелкает раза два на счетах и снова подбегает к Кротову:

— Иван Петрович! Дорогой! Миленький! Прости, ну прости! Бросьте вы там вашу дурацкую ведомость. Помогите, а? Мы сейчас в две минуты! А? Как же без денег? Я же не могу без денег! В ваших же интересах! А? Иван Петрович?

Машинистка бросает на Замойского взгляд, полный гадливости и презрения.

Часы показывают без четверти шесть...

1927



ДЕРЕВЕНСКИЙ РАССКАЗ

Павел Матвеевич Кострицын робко жался в уголке редакционной комнаты, стараясь улучшить минутку, чтобы поговорить с секретарем. Секретарь никак не хотел замечать Павла Матвеевича, а Павел Матвеевич никак не мог заметить, чем собственно занят секретарь. Наконец, Кострицын кашлянул так неестественно громко, что секретарское упорство было сломлено.

— Товарищ, вы, кажется, ко мне? В чем дело?

Павел Матвеевич засуетился:

— Видите... Я тут рукопись оставлял... Сегодня обещали ответить... Деревенские рассказы называется... Там их три... Один там «Егор Темный», а другие...

— А-а-а... Да, да! Помню, помню... Три рассказа... Вот они. Видите ли, товарищ, они нам не подходят. Вы понимаете... У нас журнал крестьянский, мужицкий, так сказать... и...

— Ну, так ведь и рассказы у меня деревенские... Я нарочно к вам...

— В том-то и дело, дорогой товарищ, что вы, очевидно, совершенно не знаете деревни... Не знаете... э-э-э... быта, уклада, не знаете народного деревенского языка. Это чувствуется...

— Я не знаю деревни? Вы говорите, что я не знаю?..

— Да, да! Я это утверждаю. У вас есть выдумка, но одной выдумки мало. Деревню надо знать, надо знать, чем она живет, чем дышит... Вот у меня, например, сейчас есть прекрасный, настоящий деревенский рассказ... Вот и автор его здесь...

И секретарь, расплескавшись улыбочкой, кивнул головой в сторону рядом сидящего толстого лысого человека в английском пальто и модных ботинках.

— Илья Львович, вы разрешите прочесть кусочек? Толстяк пыхнул сигарой:

— Пож-жалуйста!

Секретарь вкусно чмокнул губами, точно готовясь съесть что-то сладкое, и вонзил нос в рукопись:

— Вот... Слушайте и учитеесь... «Поземка взъяривалась повдоль буераков, оврагов, распластывалась, расплестывалась, расплескивалась по сусекам, по засекам, чуя рьяный привол. Будто вышла она позубатиться, позудить, позыбать всю землю вихревой своей позыбью»... Чувствуете? Каких-нибудь три строчки — и вся деревня, как на ладони!.. А вот слушайте дальше... разговор... Вот! — «Ты, Савватий, перетопчивее воска. Растопорщишься, разъерепенишься, разгомозишься, а потом отойдешь вешней ростепелью, мать твою!.. Эх ты меня подтенетил! Будет тебе подтафонничать, подтаранчивать, подталдыкивать... Времена, браток, не те... Эх, мать-сыра земля, революция огневая!» Чувствуете? Настоящий, крепкий, народный язык! Настоящая деревня! А у вас что? «В избе теплился огонек... Николай шел в волость на сход...» Разве это язык? Разве это деревня? Кому это нужно?

И секретарь презрительно протянул рукопись Костицыну:

— Надо работать, дорогой! Илья Львович десятки лет над крестьянским языком работает. У него, не глядя, можно взять рассказ. Он знает деревню, любит ее, ею живет. А вы... Вы, наверно, и в деревне-то никогда не были? А? Признайтесь!

Павел Матвеевич большими, жилистыми, дрожащими от волнения руками нервно скатал рукопись и выпалил, задохнувшись:

— Я... я... десять лет... безвыездно в деревне... Я сельский учитель!.. Приехал на неделю по делам... А то, что вы читали,— это не деревня... Так крестьянин не говорит!.. Это конфета сусальная!

И, не сказав больше ни слова, Кострицын вышел.

Секретарь после его ухода долго молчал. Молчал и толстяк, нервно вертя сигару. Потом встал и протянул руку секретарю:

— Всего хорошего!.. Но как вам нравится этот нахал? Конечно, он никакой не учитель, а просто безграмотный человек! Неудачник!.. Уже мне ли не знать деревню — я, можно сказать, ею живу!

1927



УПРАВДЕЛ ДРАДЕДАМОВ

День начинается рано.

Едва проснувшись, управдел Драдедамов обращается к жене Аглае Карловне:

— С получением сего вам надлежит отправиться на вольный рынок на предмет продовольственных заготовок по хозяйственным на сумму один рубль двадцать копеек в червонном исчислении... Подпись Драдедамов, секретарь...

Без двадцати десять, уходя на службу, он замечает мирно спящего на диване сына Мишку. Останавливается и говорит весьма сухо:

— Тов. Михаилу Драдедамову. Ввиду неоднократных пропусков и манкирования вами школы второй ступени, довожу до вашего сведения, что мною будут приняты меры взыскания вплоть до снятия штанов и порки включительно.

На улице он говорит «Моссельпрому» с лотком папирос:

— Прошу отпустить мне двадцать пять штук папирос, так называемых «Посольских», уведомив меня о причитающихся с меня наличных знаках.

Настоящее блаженство для него начинается в служебном кабинете, на дверях которого написано:

«Управляющий делами А. И. Драдедамов. Прием от трех до четырех. Без доклада не входить».

Здесь он купается в исходящих и входящих.

«При сем препровождаю», «ибо», «дабы», «к исполнению», «в порядке инстанций», «во избежание», «срочно», «лично», «спешно»...

Дома за обедом опять начинается тоскливая жизнь, озаренная изредка:

— Благоволите отпустить мне еще одну тарелку борща с приложением к оному достаточного количества сметаны...

Заметив, что дочери нет за столом, Драдедамов сухо говорит жене:

— Предлагаю информировать меня о причинах отсутствия дочери моей Драдедамовой, Людмилы. Подпись: Драдедамов.

Узнав, что дочь — у подруги, он заодно раздражается:

— Ставится вам на вид замеченная мною явная недоброкачественность мясных продуктов, что может отразиться на моем пищеварении.

После обеда он спит до семи. Вечером посыльный приносит ему письмо следующего содержания:

«Папа. Жить с вами я больше не могу. Задыхаюсь. Хочу любви и искусства. Ухожу навсегда из дома. Люблю Котю Гиенова, ученика киностудии. Людмила Драдедамова».

Драдедамов чешет затылок и затем пишет на углу цветным карандашом: «Гражданке Драдедамовой, Аглае. На распоряжение». Ставит подпись и число.

Вечером — скучно. Жена ушла к Будкиной поделиться новостью. В доме тихо. Не с кем обменяться отношением.

В одиннадцать часов вечера Драдедамов, не выдержав, подходит к телефону.

— Алло! Квартира Будкиной? Примите телефонограмму. Номер такой-то. Предлагаю жене моей, Драдедамовой, Аглае, прибыть в мое распоряжение. Передал Драдедамов. Кто принял?..

Ровно в двенадцать, засыпая, он блаженно и тихо шепчет в подушку:

— Управделами Драдедамова — рапорт. Сего числа отхожу ко сну, о чем уведомляю для отдания в приказе. Драдедамов.

1925



ЩУКА И ПАЧКИН

Пачкина, Бориса Викентьевича, будят без четверти десять. Чашка какао, английские бисквиты (возит по знакомству дипкурьер). После холодного душа — бритье. После бритья — газеты. Ввиду перегруженности читает только «партийную жизнь» и зрелища. Впрочем, перед проверкой подчитал из марксистских классиков. У подъезда — машина. Рукопожатие — шоферу — так, чтобы видели товарищи из дома Советов. Ровно без одной минуты десять легкой походкой мимо курьеров в кабинет.

Учреждение — что надо. Натертый мастикой паркет, дорожки. Особенно дорожки. Чтобы без следов и по линейке. Затем кабинет, трехсаженный стол, телефоны, два кожаных кресла — симметрия — порядок — блеск. Пачкин щупленький, но в меру, прическа не то чтоб в порядке, не то чтоб в беспорядке. То же и костюм. Блуза, но со вкусом. Хорошо жить. В меру трещат телефоны, в меру рокочут машинки. Глаза в делах, а дела в секретарских холеных руках. Только и делов, что толстым малиновым карандашом: «К исполнению», «Отклонить», «По инстанции», «На заключение такому-то», «Координировать», «На распоряжение», и вдруг лязг, грохот каблучков по полу, густой кашель и зык:

— Ах, туды твою!.. Какой он есть Пачкин?.. Он самый!.. Борис Викентьевич! Здоров, братишка!

Похолодело внутри. Не успел опомниться. Нос прижат к кожаной холодной куртке. Широкая грудь. Сверху пахнет не то пивом, не то...

— Не узнал?.. Распрогроб твою... Да я ж... Щука. Степана Щуку не узнал... Ну, брат ты мой, у вас и порядок... Что и говорить...

В любимых креслах, локтями на стол красного дерева — ражий детина в кожах.

— Да, братишка, четыре года... Небось, вспомнил Щуку... Вспомнил начальника. Вспомнил, сука... В кашеварах у меня ловчился... а теперь... возьми его за рупь... Эх, под Киевом бывало...

Зычный хохот, отдающийся в высоком потолке. Пачкин подымает руки к вискам, и лицо у него точь, как в часы, когда он пьет слабительное.

— Председатель... Не подступись, хе-хе... Не вычисти-ли пока что... Ну и ловчило!.. — секретарь вращает в пол, прикрывает ладошкой рот и отворачивается.

— А меня, брат, вышибли... Вышибли. Я, брат, не кто-нибудь. А «дисциплинированный, склонный к эксцессам». Эксцессы... Его, сукиного сына, иначе как эксцессом не возьмешь. Под суд, скажем, или трибунал... Я, брат, своим судом... Как дал раза... Вот мой трибунал...

Тяжелый кулак о стол. Пирамида ручек и карандашей валится на зеленое сукно. Пачкин бледнеет и ежится в кресле.

— Ты что молчишь, шляпа? Вышибли меня... Вот к тебе пришел... Приятелями были. Выручи... Местикшко одно подвернулось на конском заводе... Я, брат, лошади-ник-спец. Дай рекомендацию... Один ты у меня знакомый... Пиши, брат, то, мол, и то... «Знаю товарища Щуку»...

Лицо Пачкина меняется. Это — прежний Пачкин. Он поворачивается в профиль к Щуке и весь уходит в разглядывание диаграмм на стене. Затем ласковый, бархатный голос на низах:

— Полагаю, что *вам* должно быть известно мнение парткома о рекомендациях, каковые выдавались без достаточных оснований многими неосмотрительными товарищами и следствием коих были...

— Да ты что — охалпел?

— Виноват, гражданин, я не кончил... Кроме того, рекомендации даются товарищами через ячейку в установленном порядке, от кого я, как дисциплинированный член партии, не отступлю.

Недолгое молчание.

— Тэк-с... В порядке, значит... ну-ну...

Пачкин перебирает дела.

— Я, брат, еду... Ты где живешь?.. Может, зайду.

— Весьма сожалею, но завтра партийный день.

— Ну, в четверг, что ли?..

— В четверг?.. В четверг у меня доклад... ответственное выступление. Весьма жаль...

Когда Пачкин поднимает голову, Щука, тяжело передвигая ноги, идет к двери. У самого выхода он выразительно плюет в сторону Пачкина и хлопает дверью.

Пачкин трижды звонит курьеру и говорит обычным приказательно-просительным тоном.

— Товарищ Зайкина... Потрудитесь тщательно вытереть вот это...

И палец Пачкина упирается в плевок на блестящем паркете.



Еще неделя — и Степан Щука в пивной «Уголок» раскрывает газету и сразу попадает на строки, имеющие для него некоторый интерес:

«Постановление контрольной комиссии:

Пачкин, Борис Викентьевич, член партии с 1920 года, интеллигент, бывший помощник присяжного поверенного, за бюрократизм, подхалимство и использование служебного положения ради личных выгод».

1925



БЛЕСТЯЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Известно, что при каждом добропорядочном учреждении имеется комиссия по режиму экономии. Но далеко не все знают, что за последнее время работа этих комиссий стала чрезвычайно затруднительной. Дело в том, что ряд юмористических журналов бесповоротно осмеял единственное мероприятие, на которое были способны все эти комиссии, а именно — сокращение курьерши. Лишившись своего излюбленного метода, комиссии теперь бесплодно ворочают мозгами, изыскивая неведомые пути к режиму экономии.

Ворочание комиссионными мозгами пока ни к чему другому не приводит, кроме как к истреблению неисчислимого количества чая и бутербродов с чайной колбасой.

Почему же комиссии существуют? Почему же их не уничтожат?

Еще в древности было сказано: «Если в грешном городе живет хотя бы один праведник — город уничтожению не подлежит». Так и с комиссиями. Среди них нашлась одна комиссия при Наркомпочтеле, которая после тяжелых трудов и размышлений изыскала средство для экономии, помимо сокращения курьерши. Это средство — сбор использованных пломб от ценных посылок.

Блестящее открытие, сделанное наркомпочтельцами, не только дает возможность дальнейшего существования всех комиссий, но имеет для них и показательное значение; и поэтому мы хотим здесь в общих чертах дать описание дальнейшего развития указанной реформы.



После первых восторгов, охвативших комиссию по случаю высиженного открытия, наступили будни практической работы.

— Предлагаю, — сказал председатель, — первым делом организовать центральное управление по сбору пломб, а также областные и губернские отделы, для чего исходатайствовать надлежащую сумму...

— При исходатайствовании суммы, — предложил другой член комиссии, — не забыть бы вставить в смету потребную ассигновку на постановку отчетности, статистики и учета опыта.

— Вы забываете главное! — воскликнул третий член комиссии, человек крайне молодой, прыткий, но отлично умеющий углублять и прорабатывать. — Отчетность, статистика — все это, конечно, необходимо. Но этого мало. Нам нужен революционный подход к делу! Нужна, товарищи, рационализация!!

— Совершенно верно, — сказал председатель, давно мечтавший о какой-нибудь рационализации. — Я об этом уже думал. Я еще только не разработал конкретных мер. У вас есть какие-нибудь предложения?

— Что за вопрос? Конечно, есть! В первую очередь я предлагаю организовать центральные и губернские курсы по подготовке инструкторов для обучения почтово-телеграфных работников искусству выпрашивания пломб.

— Правильно!

— Затем — издание еженедельного органа «Красная пломба» и организация общества друзей почтовых посылок... Затем — проведение во всесоюзном масштабе агиткампании «Неделя свинцовой пломбы».

— Можно будет производить сбор пломбы не только в почтовых учреждениях, но и на дому...

— Это я уже предусмотрел. По городу во время кампании будут разъезжать грузовики и собирать по квартирам пломбы. Я уверен, что у беспечных обывателей из десяти квартир в одной безусловно найдется заброшенная пломба.

— Будьте покойны! Хорошо бы для отыскания заброшенных пломб выписать из-за границы собак-ищеек...

— Это, товарищи, шаблон. Я имею в виду более рациональное предложение. Надо объявить конкурс на спе-

циальный прибор, вроде пылесоса, втягивающий в себя из всех металлов только свинец.

— Очень хорошо!

— Но мы были бы, товарищи, отсталыми лежебоками, если бы ограничились только этим.

— А что же нужно еще?

— Как что? А заграничная командировка для членов нашей комиссии на предмет ознакомления с вопросом.

— В самом деле! Как же это мы упустили?!

— Да, товарищи... Без заграничной командировки дело на должную высоту не поставишь. Но и командировка должна быть проведена рационально. По-моему, необходимо посетить, обследовать и изучить как крупные столичные центры, вроде Парижа, Вены и Берлина, так и провинциальные пункты, как, например, Ницца, Монте-Карло, Биарриц, в которых население особенно охотно и часто получает ценные посылки из указанных центров.

— Превосходный план! Запишите в протоколе! Не забудьте зафиксировать мелкие провинциальные пункты — Ниццу, Монте-Карло и Биарриц...

К сожалению, мы протокола и вообще каких-либо официальных документов вышеупомянутой комиссии не имеем в своем распоряжении. Поэтому при описании дальнейшего развития вполне реального и опубликованного в газетах решения Наркомпочтеля о сборе старых пломб мы пользовались только одним материалом, а именно — собственной фантазией. Но это вовсе не плохо. Мы уверены, что описанные нами проекты и планы любая комиссия сочтет не только приемлемыми, но просто идеальными и весьма для себя заманчивыми. Но мы не простачки. Если наркомпочтельевская комиссия таких планов и проектов не делала, то, естественно, они являются плодом нашего творчества. А если так, то мы заявляем на них, как на свое изобретение, охранительный патент и никому, без особого нашего разрешения, не позволяем ими пользоваться. В том числе и Наркомпочтелю!



НЕВРАСТЕНИК

По случаю ремонта домашней ванны Аркадий Ефимович — вполне ответственное лицо — вынужден был посетить общие бани 1-го класса, на дверях коих еле сохранилась облезлая надпись «дворянские».

«Это в конце концов не лишено известного интереса, — рассуждал по этому поводу Аркадий Ефимович. — Ездил же Лев Толстой в третьем классе, почему же мне не удовлетвориться хотя бы первым классом».

В первом классе вопреки ожиданиям Аркадия Ефимовича публика оказалась вполне приличная; все же раздеваться на людях было как-то неудобно.

«Черт его знает: может быть, на меня смотрит кто-нибудь из нашей конторской мелочи?»

Но никто не обращал никакого внимания на Аркадия Ефимовича, и он, раздевшись, поспешил в мыльную, на ходу конфузливо прикрываясь мочалкой.

В мыльне от говора и стука шаек стоял сплошной гул вроде того, какой бывает на общем собрании, когда выступает незначительный оратор. Все мылись весьма усердно, точно на сдельщине. Первые же попытки Аркадия Ефимовича заняться мытьем встретили ряд препятствий: не было свободного места и неизвестно, где надо было брать шайку.

«Возьму банщика, — решил Аркадий Ефимович, — ничего в этом зазорного нет. Банщик — спец, и было бы спецеесдством не пользоваться его услугами. Сам я все равно как следует не вымоюсь и только нерационально израсходую воду, топливо и жировые вещества, из коих приготовлено мыло. К тому же рабочие, занятые банным промыслом, получают лишний заработок и улучшат свое материальное положение».

— Вы свободны? — спросил он мрачного и сырого банщика.

— Свободны, — ответил тот и при этом остервенело

шлепнул горячей водой из шайки на мраморную скамью, — пожалте!

«Это он иронически сказал — „свободны“, — подумал Аркадий Ефимович намыленной головой. — Нечего сказать — свободны: мой за полтинник чужую голову. Помещение сырое, спецодежды нет, сплошная эксплуатация. Я тоже хорош: заставляю человека работать. Если бы я его не нанял, он отдыхал бы. Это он со злости так больно меня корябает ногтями».

Банщик скатил Аркадия Ефимовича нестерпимо горячей водой, давая этим понять, что мытье головы окончено и надо лечь на лавку.

«Ишь, гад, сварил меня совсем! Небось, и меня считает эксплуататором. Если бы знал, что я партийный, небось, не шпарил бы».

Горячая мочалка, окутанная целым облаком мыльной пены, проворно забегала по телу Аркадия Ефимовича, деликатно нажимая на наиболее ответственных местах. С усилением кровообращения и мысли Аркадия Ефимовича забегали в голове усиленно.

«А если он узнает, что я партийный, так это еще хуже. Вот так, мол, коммунист! Пользуется наемным трудом, эксплуататор, рабовладелец! Это еще пустяки, а каково, если он сам окажется партийным? Член партии трет спину члену партии за пятьдесят копеек. Позор! А он, каналья, наверное, член партии. Может быть, даже — член бюро своей ячейки или даже член районной контрольной комиссии. В раздевалке, наверное, уже вытащили у меня из кармана партбилет и скажут ему про меня. Завтра, конечно, вызовут в контрольную комиссию. Скажут: „Что же это вы, дорогой товарищ, окончательно обросли и оторвались: членов контрольной комиссии спину заставляете тереть? Под видом рационализации тешите свою плоть, все равно как замоскворецкий купчина? Исключить его за мелкобуржуазный уклон и склонности!“ А мой банщик внесет поправку: „Я над им, идилом, — скажет, — испотел весь. Все трудящиеся моются ядровым мылом, а он, ренегат, „Четырьмя королями“. Да мало его исключить. За это его надо расстрелять!“ Вот ведут меня расстреливать... Жена плачет. Елена Андреевна, моя милая Леля, тоже. Я сорвал повязку с глаз. Командир взвода спрашивает: готово?»

— Готово-с, — неожиданно прервал воспаленные мысли Аркадия Ефимовича банщик, обливая его нестерпи-

мо горячей водой в знак того, что мытье окончено.— Как раки стали...

«Тьфу, черт! Какая ерунда лезет в голову. Что со мной?»



Когда Аркадий Ефимович приехал из бани домой, то первыми его словами были:

— Ну, Мусенька, у меня; кажется, опять нервы не в порядке. Позвони Нарывкину, чтобы все устроил; на этой же неделе поедem в Кисловодск.

1928



КРИТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В ЗАПУПЫРСКЕ

Запупырск — городишко маленький, ничтожный. Однако он весьма гордится своими двумя достопримечательностями, а именно: обилием налимов в речке Запупырке и отсутствием событий. Последнюю свою достопримечательность запупырцы однажды чуть не утратили.

Приехал к ним новый председатель, тов. Шпандырев. Первым делом, конечно, поинтересовался достопримечательностями. Обе достопримечательности признал удовлетворительными и, имея от природы пытливый и любознательный ум, заказал на обед уху из налимьей печенки.

До самого обеда деятельность тов. Шпандырева была вполне закономерной. Он написал анкету и автобиографию для заведения личного дела и даже успел произвести немаловажную реформу в Запупырске, издав приказание о подшивке бумаг суровыми нитками вместо подклеивания.

После же обеда случилось нечто неопределенное, нечто такое, что могло лишить Запупырск его второй достопримечательности — полного отсутствия событий.

Кухарка, приготовлявшая тов. Шпандыреву уху из налимьей печенки, в целях увеличения последней, взяла

и высекла налима, согласно кулинарным правилам. Печень огорченного налима, действительно, увеличилась, но зато она при этом приобрела совершенно нежелательные качества.

Как только тов. Шпандырев откусал огорченной печенки высеченного налима, он немедленно почувствовал непреодолимое желание высечься. Но, разумеется, поскольку он отличался от первобытного налима более высокими культурными запросами, то высечься он пожелал не в буквальном смысле этого слова, а иносказательно. Ему захотелось критики...

Тотчас же после обеда он устроил заседание и сказал небольшую речь, в которой отметил, что для пользы службы требуются не только беззаветная преданность и самопожертвование, но и критическое отношение к делу, и, в частности, критика его, тов. Шпандырева, деятельности. Введение критики в служебный обиход товарищ Шпандырев сделал в весьма категорической форме, граничащей с приказом.

Собравшиеся, конечно, оробели, но возражать не решились. Во исполнение предложения первым выступил тов. Зазебров. По новизне дела он полез, что называется, напролом, словно медведь сквозь чащу, не подозревая совсем, что начальство надо критиковать малочувствительно и приятно — вроде того, как чешут пятки.

— Товарищи! — сказал Зазебров. — Я считаю распоряжение о подшивке бумаг суровыми нитками вместо подклеивания крайне непрактичным. Его мог издать только человек, совершенно незнакомый с нашими экономически-бытовыми условиями и характером местного населения.

При этих словах тов. Шпандырев почувствовал себя не лучше, чем тот самый налим, которого кухарка секла ради увеличения печенки. Печень тов. Шпандырева тоже стала вспухать.

— Посудите сами, товарищи, — продолжал неопытный Зазебров, — нитки, да еще суровые — предмет самого широкого домашнего потребления! Если мы и клею не могли наготовиться, то суровых ниток и подавно. Их всегда будут уносить домой регистраторы. Да и не только регистраторы! А бумаги в результате останутся неподшитыми. Смелые реформы — вещь хорошая, но надо и учитывать жизненные условия, а этого как раз и не было сделано. Я, товарищи, кончил!

Печень тов. Шпандырева увеличилась до крайних пределов, и неизвестно, что было бы с ней дальше, если бы не выступил тов. Подначкин, стяжавший в Запупырске славу умницы и дипломата.

— Товарищи! — начал скорбно Подначкин. — Мне очень больно было слушать слова предыдущего оратора. Нам было дано здесь задание выступить с деловой критикой последних распоряжений тов. председателя, а мы вместо этого стали свидетелями неслыханных демагогических выпадов против личности уважаемого всеми нами Капитона Флегонтовича.

— Это вы разводите демагогию! — крикнул тов. Зазевров, — а вовсе не я!

— Не мешайте мне, тов. Зазевров, — кротко ответил Подначкин, — я не мешал вам, когда вы говорили. А насчет того, кто именно из нас занимался здесь демагогией, — мы увидим впоследствии.

При этих словах тов. Подначкин взглянул на тов. Шпандырева, одобрительно кивнувшего головой.

— Я думаю, товарищи, — продолжал ободренный Подначкин, — что, вместо демагогии и подрыва, мы должны были обратить внимание уважаемого нашего председателя на некоторую преждевременность его распоряжения о введении в делопроизводство критического метода. Никто из нас, конечно, не сомневается, что тов. Шпандырев имел самые благороднейшие намерения поднять самосознание подведомственных работников до себя. Но по своей скромности тов. Шпандырев совершенно не пожелал учесть того вреда, который может нанести неумелая и, скажу прямо, бестактная критика, вроде зазевровской. Такая критика может только возбуждать у критикуемого мрачное настроение и раздражение. Мрачный же и раздраженный начальник подобен, как известно, бурной стихии, способной только карать и разносить, а не мирно созидать.

— Правильно! Правильно! — загудело собрание.

— Исходя из всего сказанного, — закончил свою речь тов. Подначкин, — я предлагаю вынести резолюцию, в которой и просить тов. Шпандырева об отмене распоряжения о введении критики.

— Принять! Принять! — поддержали присутствующие...

К этому времени скушанная тов. Шпандыревым налимья печенка окончательно переварилась, и он вместе

со всеми собравшимися тоже почувствовал преждевременность своего приказа о критике. Поэтому, когда резолюция была поставлена на голосование, то ее приняли единогласно. Справедливость требует отметить, что при голосовании выше всех держал руку тов. Зазевров.

Ввиду того что прессе, в лице «Запупыринского серпа и молота», выписки из протокола решено было не посылать, событие осталось в своем кабинетном масштабе, и слава Запупырскa, не имеющего в своей истории никаких событий, не поколебалась ни в малейшей степени.

Жизнь Запупырскa по-прежнему пошла спокойной колеей, а тов. Шпандырев, в целях сохранения этой колеи, теперь уже избегает кушать за обедом налимяу печенку, разрешая себе таковое лакомство только за ужином на ночь, что вполне гарантирует от нежелательных последствий, вроде вышеизложенного.

1928



ЛЮБОПЫТНЫЕ СЮЖЕТЦЫ

Так как все кругом было занято, он попросил разрешения сесть за мой столик и в благодарность решил угостить меня пивом.

— Тройное золотое! Расплавленные червонцы! Золото внизу остается, а бумага всплывает в виде пены! Эмблема для Госбанка! Гениально!

Он оглядел пивную.

— Мало интеллигентных лиц! Все больше первый и второй убийца! Вы, вероятно, служить изволите по просвещению?

— Я — литератор.

— Скажите! И так мило одеты? А у меня с детства литература в воображении сочетается с заплатами... Впрочем, о tempora, о mores, или, как у нас один на экзамене перевел, «что город, то норов». Сюда ходите, вероятно, на предмет вдохновения?

— Да нет, знаете, просто приятно в жару бутылочку...

— О, разумеется. И учтите, что нынче в пивных гущина быта. А если подойти к иному да расспросить... Гофман, Эдгар По! Романтика такая, что беги домой, успевай записывать!

— А вы тоже писатель?

— Ни в какой степени. Вдохновения хватает только на поэму такого рода: «В ответ на отношение ваше за номером... от числа... настоящим сообщаю»... Но наблюдать обожаю и любопытен, как любимая жена шаха персидского. Вот, например, сидит в углу парочка. Она — порождение времени. Обратите внимание на юбку. Встре-

ки закону тяготения ползет вверх без посторонней помощи. На один миллиметр в секунду. Зато чулки, сами видите, не из мочалы. Но она — это чепуха! Героиня водевиля «Лёгковерный муж, или Жена зарабатывает»... Но он... Вы и не угадаете никогда. В Рогожско-Симоновском районе нищий есть, весь в дырах, головой трясет, как известного рода игрушечные слоники. На груди чашечка и надпись: «Подайте никогда не выдавшему солнца». Недурно? Так вот это и есть «никогда не выдавший солнца». Удивлены? Еще бы... Пиво и то от удивления вспенилось.

— Тут, видите ли, тонкая психологическая штука. Весь год нищенствует, в ночлежке спит, из мусорной ямы добывает себе пропитание. Ничего не имеет, кроме некоего таинственного запертого ящика. Триста шестьдесят четыре дня унижается и головой трясет. На триста шестьдесят пятый день из таинственного ящика достает самый этот дымчатый костюм, шляпу, ботинки, галстук — одним словом, человеческий облик — и на накопленные деньги в течение суток царствует... Веселье, любовь, во всяком случае все, что при любви полагается. Даже нищим, можете себе представить, подает! В этом районе никто его не знает! А завтра опять: подайте никогда не выдавшему солнца! Целый год в один день втискивает! Махровая затея! Когда-то, говорят, был художник, то есть не то что художник, а ценитель всего прекрасного!

Человек в углу пощелкал по бокалу, положил и разгладил на скатерти серенькую бумажку, сдачу не взял, вместе с дамой растаял во мгле двери. Оркестр румын послал им вслед несколько чувствительных вздохов. Со-бутыльник мой задумчиво озирает пивную.

— Но если угодно вам прослушать поистине удивительную историю... гражданин человек! Еще пару пива!.. Извините, это мое дело, я угощаю. Так вот! Сплошной Альфонс Доде! Изволите видеть этого красавца, который на эстраде сейчас изображает всякие штуки? Все представляет, начиная от гудения примуса и кончая голосом любого из публики! Ничего не поделаешь. Жена, дети! Подрабатывает. Так с ним случилось недавно необычайное происшествие. Вы, может быть, недовольны, что я похищаю у вас время, а следовательно деньги?

— Пожалуйста, наоборот, очень приятно!..

— Даже приятно? Тем лучше! Правда, сюжеты пре-любопытные.

— После сеанса, когда пивная почти уже опустела, подходит к нему некий человек такого княжеского вида и предлагает пива... очень, говорит, высоко ценю ваше искусство. Сели. Выпили. Вдруг этот самый князь и говорит: «Хотите, говорит, заработать сто золотых монет? Не бумажных, а настоящих, с изображением Николая Кровавого?» Еще бы не хотеть! Мой артист еще из ума не выжил. Князь ему говорит: главное, иметь желание заработать. Желание есть? Отлично. Дело, говорит, в следующем: у меня есть отец, впавший в слабоумие на почве потери горячо любимого сына. Убит на деникинском фронте — белый офицер. Отец после смерти моего брата не ест и не пьет, все ждет переворота. Уверен, что тогда и сын его вернется.

Артист в недоумении: «Я-то тут при чем?»

— При очень даже многом! Перед самой революцией отец в нашей усадьбе бывшей зарыл в землю ящик и в нем три тысячи небезызвестных каждому желтых кругляков. Знаем, что зарыл около одной липы, но лип там до пятидесяти с каждой стороны аллеи... Парк не вспашешь! Колхоз засел. Старик же никому сказать не хочет. Это, говорит, для Пети, Петя вернется после переворота и все получит. Вы, говорит, предатели, вы, говорит, из моей подкладки бантиков понаделали (мой отец генерал отставной), а Петя голову хотел сложить за монархическую идею! Теперь взгляните на эту карточку.

Мой артист посмотрел — он сам! Только усы длинные и гусарская форма.

— Понимаете, в чем дело? Мы вас оденем в гусарскую форму старую, подгриммируем, и вы явитесь к отцу... А мы подготовим почву относительно переворота, чтобы старик не слишком потрясся. Врите что угодно! А потом намекайте относительно денег. Нужны, мол, для поддержания престола и отечества. Он скажет, где, что, мы и откопаем. От Москвы двадцать верст... Управляющий знаком.

Артист, конечно, взволновался. Заманчиво. Сто золотых при растущей дороговизне и падении знаков! Поразмыслил — как будто подлость! Попросил двести. Сошлись на полутора ста.

Артист всю ночь не спал. С женой полтора ста золотых переводил и на фунты, и на доллары, и на дензнаки. Всю бумагу исписали в доме. На другой день является по указанному адресу (между прочим, князь

оказался князем только с виду, но все-таки обстановочка старинная, кресла с завиточками и всякая фарфоровая дребедень)... Встречают его с волнением. Вчерашний соблазнитель и супруга. Переодели в гусарскую форму; от волнения забыли, что при даме переодеваться неприлично. Орден нацепили с мечами и с бантом. Усы подклеили, прибор пригладили. Живой портрет.

— Голос,— говорит,— у брата был совсем как мой. Изобразить можете?

— Еще бы! Любого из публики изображаем.

Оказывается, старику уже вчера вечером наметнули на события. Объявили, что в Москве неспокойно. Он всю ночь не раздевался — молился. Утром позвал сына и невестку и рассказывал, как Плевну брал. С балкона на Кремль смотрел, нет ли штандарта. Артиста оставили в соседней комнате, а сын пошел к отцу. За стеной слышно:

— Ну, папа! Не знаю, как тебе и сказать.

— Ну, ну!..

— Уж очень хорошо...

— Говори, говори...

— Власть переменялась...

— А...

— Только ты не волнуйся... Петя...

Тут, по словам моего артиста, в соседней комнате раздался такой вопль радости, что от стыда у него все лицо покрылось холодным потом. Старик, стуча клюкой, бегал по комнате.

— Где он? Где он?

И тут невестка втокнула гусара прямо в комнату. Маленький старикашка, плюгавый, жалкий, кинулся было к нему, потом остановился вдруг и крикнул:

— Дети, творца возблагодарим!

На колени стал, и за ним все. Прочел «Отче наш», начал было еще что-то — не выдержал, обнимать кинулся.

— Петичка вернулся, Петичка, и с орденом... Смотрите, Владимир с мечами!..

А Петины косточки, небось, где-нибудь в степи, в общей могиле. Спрашивает, а отвечать не дает. Мой артист молчит, будто от радости. А сын за спиной у отца подмигивает: про деньги, мол, спроси. Язык не поворачивается... Наконец, собрался с духом:

— Папочка,— говорит,— бедна Россия, нужны деньги для поддержания престола.

Старик просиял.

— Есть у меня деньги, есть!

У сына и у невестки от волнения красные пятна по лицу.

— Где же они, папочка?

— Помнишь наши «Листвяны»?.. Ну, так слушай...

И в этот миг вдруг за окном оркестр военный как грянет — Интернационал!..

Старик замер, затрясся... Невестка кинулась дверь балконную затворять. Оттолкнул, кинулся сам. А по улице шапки остроконечные, красные звезды:

«Мы наш, мы новый мир построим»...

Старик перегнулся через перила, вскрикнул, вдруг перевесился как-то странно, будто кукла, — и с пятого этажа на мостовую.

У красных офицеров кони шарахнулись...

— Да-с! Так вот у каждого из людей за спиной такая фантастика, что, говорю, беги домой, успевай записывать... Извиняюсь... Я выйду на улицу на одно мгновение. Плохое сердце... От духоты головокружение... За шляпой моей последите... Читали, что в газетах пишут по поводу выставки?

Он вышел. Я не стал читать газету. Румыны заиграли отрывочный танец. Мне вспомнились бесконечные ночные степи... Пивной хмель плавал над головами людей серыми дымными змеями. Он не возвращался. Я поднял газету. Моей шляпы не было. Я полез в карман. Бумажника не было. Я полез в другой — часов не было.

Он отнял у меня и время и деньги. Новую шляпу заменил старой.

Шесть пустых бутылок ожидали расчета.

Фантастика!

Через два дня по почте пришли документы.

Деньги же были удержаны.

За любопытные сюжетцы.



ГАЗЕТА

Редактировать газету, да еще в глухой провинции, — сущее наказание.

Живешь на вырезках, работников нет, а если и есть, то почему-то все — горькие пьяницы. Да и что там работники, если во всем городе за целый день ни одного порядочного происшествия! А тут еще со всех сторон наседают — давай местную жизнь.

А местная жизнь у меня один раз вот как обернулась.

У секретаря редакции жена заболела, единственный репортер запил, да еще поезд с газетами где-то в пути снегом занесло, и телеграммы запоздали. Сiju я в редакции черт чертом — один, наборщики работы ждут, а у меня ничего нету. Прямо хоть вешайся!

И вот открывается дверь, и в мой кабинет прет молодой человек, — ну, как его описать? — нечто среднее между клубным арапом доброго старого времени и профессионалом-оратором по текущему моменту не менее доброго нового времени, — кепка на нем заграничного фасона с широкими полями, на шее пуховый шарф, на носу пенсне, а в руке, несмотря на зимнее время, тросточка с костяным набалдашником.

— Наверное, думаю, из столицы.

Он влетает в кабинет, расшаркивается:

— Байкальский... Фельетонист. Пятьдесят рублей авансом...

Правильно, что из столицы.

— Погодите, говорю, товарищ. Я, может быть, и сотни не пожалею.

И все положение дела ему объяснил.

Он сбрасывает с шеи шарф, с плеч пальто — садится к столу.

— Я не из таких положений выходил. Сейчас оборудуем. Где у вас вчерашний номер?

Подая ему номер, а сам наблюдаю: что дальше?

Он берет ножницы, вырезает передовицу:

— Вот вам и передовая...

— Второй раз!..

— Ну, так что же? Положим, если вы боитесь, можно немножко переделать. Тут у вас в конце абзац начинается: «Пусть знает международный капитал, что...» — мы его поставим в начало. А в конец — первый абзац: «Наши враги должны оставить мечты о торжестве...» А середина...

— Заметят! Что вы делаете!

— А кто же передовую читает? Впрочем, как хотите. Вы пишете об английских делах, мы их переделаем на итальянские... Дайте карандаш...

Я, подчиняясь гипнотическому влиянию неожиданного помощника, передаю ему карандаш. Он, не торопясь, заменяет в статье слова «английский» словами «итальянский».

— Видите, совсем новая статья. Даже кому вздумается прочесть, ничего не заметят. Теперь телеграммы.

Быстро скользя близорукими глазами по вчерашнему номеру газеты, он вырезает десяток телеграмм...

— Мы так сделаем: «Предательство социал-вождей» перенесем из Германии, ну, скажем, в Бельгию... «Забастовку в металлургической промышленности» — в Германию... Во Франции устроим снежный занос...

— Позвольте...

— Чего там позволять. Что вы думаете, вашу газету будут во Франции читать? Вот вам первая страница. На эту страницу вниз — фельетон. Я сам сейчас напишу... Впрочем, зачем писать — у меня в кармане десяток... О местном базаре... правда, города Тулы, — ну, да и у вас такой же.

Я сидел, моргая глазами, и на все соглашался. На вторую страницу вклеили старую речь Молотова, на третью — отчет о каком-то съезде не то нынешнего, не то прошлого года, причем мой помощник ежеминутно уверял меня, что прошлогоднее всегда свежее.

— Ну, а местная жизнь? — ехидно спросил я.

— Местная жизнь? — не задумываясь, ответил он: — Да ведь это самый легкий отдел! Мы его так составим, что он заиграет... Есть у вас телефонная книжка?

Я молча подал ему телефонную книжку. Он быстро перелистал ее, останавливаясь на названиях заводов, фабрик и мастерских.

— Прачечная Завитушкина — пишите, а я буду диктовать:

«Долго ли наши хозяйчики будут эксплуатировать трудовые пот и кровь рабочего класса в виде прачек, задыхающихся от условий охраны труда... заставляет работать по шестнадцати часов в сутки, а на наши заявления отвечает: „Выброшу вас на улицу — будете знать“. Подпись: „Прачка Кузьмина“»... Нет, лучше просто — «Работница»...

— Позвольте, — возразил я, отрывая карандаш от бумаги, — а если...

— Что если?.. Вы думаете, что ваш Завитушкин такой уж замечательный человек, что не эксплуатирует рабочих?.. Пусть почешется, ничего. Ситценабивная фабрика имени товарища Калинина... Заголовок: «Когда же исправят вентиляторы... В таком-то отделении» — сделайте пропуск для отделения, после справимся — «рабочие задыхаются от пыли... где исправить прежде всего вентилятор — в таком-то отделении или голове старшего мастера...» Видите, даже с крепким рабочим юмором замечка...

— А если у них... — пытаюсь слабо возразить я.

— Пусть почешутся... «Металлургический завод... бак с кипяченой водой»... — «Хороши также порядочки в механической мастерской в отношении снабжения инструментом... купленные администрацией», — спросите у наборщика, что именно там может быть куплено, — «оказались негодными, и в то же время заплачена такая цена»... Вот вам и рабочая жизнь. Теперь коротенькие заметки под названием «В три строки». Ну, тут уже мелочи. «Когда же прекратится хулиганство у пивной номер два»... «Клубная работа хромает на фабрике»... «Следует заглянуть санназору в столовую номер четыре».

И на мои сомнительные покачивания головой неизменно возражал:

— Пусть почешутся... Вы против того, чтобы санназор заглянул в столовую? А еще редактор... Да вас

завтра на руках будут носить... Успех будет... небывалый...

Я, признаться, побаивался небывалого успеха. А он все строчил и строчил.

— «Жизнь деревни»... «На праздниках»... Посмотрите календарь... «В нашей волости зарезано трое...» — «Преследование селъкоров». «Пришли машины, а запасных частей нету... винтика в головах»... — грубый крестьянский юмор. Подпишите: «Селъкор Глаз».

Через двадцать минут и четвертая полоса была закончена, не забыт даже отдел происшествий, причем на Глазовской улице оказался раздавленный мальчишка, а на Пролетарке кража вещей из квартиры. Объявления, подписать ответственного редактора — и газета готова.

Неожиданный помощник исчез с пятьюдесятью рублями в кармане и с неизменным:

— Пусть почешутся...

А я остался один со своими горькими размышлениями. Но что лучше, думал я, не выйдет газета совсем или выйдет в таком виде? Если не выйдет — скандал, а если выйдет... опять скандал? Почему я не смогу сослаться на репортера? Пьяница известный... Пусть почешется...

Ночь я спал очень плохо. Мне снились всякие неожиданности. Администрация фабрики привлекает меня за клевету в печати, комитет рынка, который я обвинил в нерадении к очистке мусора, тоже жалуется на меня в исполком, все эти многочисленные хулиганы с фамилиями Иванов или Петров тоже стоят под окнами редакции и грозят мне кулаками:

— Мы тебе...

Ранним утром я вбежал в редакцию и, сидя в кабинете, чутко прислушивался к телефонным звонкам. Позвонят из губкома о прошлогодней речи вождя, позвонят еще там откуда о телеграммах из-за границы.

Деять часов. Газета уже получена подписчиками. Сейчас начнутся звонки... Десять часов... звонок. Я чуть не в обмороке хватаюсь за телефонную трубку.

— Алло. Редакция... Ситценабивная фабрика.

Я в ужасе. Я еле стою на ногах. Директор фабрики — видный коммунист...

— Напишите в отделе «Газета помогла»... Вентилятор исправлен...

Слава тебе... Прошло...

Опять сижу и жду. Двенадцать. Час. Два. Никаких звонков. В три заходит знакомый.

— Сегодня у вас интересная газета... Главное — густота. Местная жизнь...

Я молчу. Четыре часа. Сейчас конец — больше никто не позвонит. И ровно в четыре тревожный вопрос из местной милиции:

— Почему у вас мальчик раздавлен не на той улице?
1928



ШЕФ

Ответственный работник Хошьнехошьтреста Абрам Еремеевич Шпарин проводил время отпуска в доме отдыха, верстах в пятидесяти от города. Отдыхать хорошо день, хорошо отдыхать два дня, а потом становится и скучновато.

— Дай-ка, я с деревней ознакомлюсь, — решил Шпарин. — Изучу! Наши бюрократы сидят тут же рядом, а не догадаются. Польза-то какая! Докладик можно составить. Назначеньице новое получить... Платная комиссия какая-нибудь сейчас тебя: «Вы, Абрам Еремеич, специалист...» Хорошо...

Не откладывая дела в долгий ящик, Абрам Еремеич немедленно начал изучать деревню.

С одним потолковал:

— Сохой, небось, пашете? Машины бы завели, — сказал он.

— А ну их, машины! — ответил мужик. — Завели было да сидим с ними, маемся... Поломали с непривычки-то, а чинить некому. Из города мастеров звать — никто не поедет, в город машины везти — накладно...

Абрам Еремеич тотчас же догадался: «Тут бы шеф мог помочь. Что для него стоит мастера на день-другой прислать? Пустяки. На то он и шеф».

— Есть у вас шеф? — спросил он.

— А кто ж их знает, может, и есть. Да нам-то от этого не легче...

С другим потолковал:

— Дороги-то у вас, небось, плохие? Починили бы.

— И починили бы, да нас какой-то фрукт отговорил. Городской фрукт. «Мы, говорит, вам поможем. Мы, говорит, вам все устроим». Почитай, два года ждем, а он и весточки не шлет...

— Шеф, что ли?

— Известно, — они все такие... Ненашенские...

«Вот тебе и материал для доклада, — сообразил Абрам Еременч, — о работе шефов... Что бы шеф мог сделать и чего он не делает...»

В волость зашел.

— Шеф! Как же, как же, у нас шеф имеется... Что мы, некрещеные, что ли, без шефа жить. Как люди, так и мы...

— Нельзя ли его увидеть?

— А на что он вам? Он, слава те, у нас редко бывает. Все больше в городе сидит. Да и лучше. Придет в ВИК — и давай приставать: «То у вас не так, это не эдак». Беспокойный человек. А прогнать нельзя — он в амбицию: «Я, говорит, вам должен помогать в вашей работе... Я, говорит, представитель шефотделения. Я, говорит, к вам командирован. Я, говорит, за это жалование получаю...»

«Эге, — подумал Абрам Еременч, — шефкомиссии посылают в волость негодный элемент, по-бюрократически понимающий свою задачу», — составлял он в уме проект будущего доклада.

— А любопытно узнать, кто у вас шефствует... Какое учреждение?

Все делопроизводители ВИКа занялись в спешном порядке отыскиванием названия этого учреждения. Не больше чем через полчаса название это было найдено:

— Хошьнехошьтрест!

Абрам Еременч рот раскрыл от удивления.

— Наши же голубчики... Ну и ну!.. Уж и подтяну же я их! Уж я с ними посчитаюсь!



По приезде в город Абрам Еременч первым делом взялся за шефкомиссию.

— Есть у нас такая?

— Как же, — ответили сотрудники, — есть. Каждый

месяц мы взносы делаем... Кабы комиссии не было, не делали бы взносов... Значит, есть.

— А кто в нее входит? Где тот человек, который взносы собирает? Позвать сюда!

Взносы собирал курьер.

— Я что ж, — сказал он, увидев сердитое лицо начальника, — я свое дело делаю... Соберу деньги и куда надо сдам... Вот и квитанции...

— Я не про то, — возразил Абрам Еремеич. — Собирается когда ваша комиссия?

— Собиралась в прошлом году, а теперь нет. Значит, не надо, что ли... А я уж это сам от себя стараюсь. Тамошний я — надо же помочь...

— А кто у вас председатель? Он почему не работает?

Курьер замялся, посмотрел на сердитое лицо Абрама Еремеича и тихонечко прошептал:

— Не знаю...

— Не знает! — возмутился Абрам Еремеич. — Он не знает... Кто же знает тогда? Сейчас же выяснить.

Курьер на минутку вышел из кабинета, о чем-то пошептался с приятелем, причем Абрам Еремеич сам слышал, как приятель громко сказал: «А тебе чего! Скажи!»

— Знает, а не хочет сказать, — думал Абрам Еремеич, — только скажи! Уж я этого председателя и подтяну! Уж я ему и настрочу!.. Шутка ли, послал какого-то дурака в волость, а сам хоть бы палец о палец! Будет он знать!.. Уволю!.. Прогоню!..

Курьер нерешительно вошел в кабинет.

— Что? Узнали?

— Извините, — еле слышно пролепетал курьер. — Так что я могу сказать, извините... Что председатель, извините, комиссии... вы... извините...

— Я?!

Абрам Еремеич побагровел:

— Я! — продолжал он громовым голосом. — А что же вы смотрели? А что же вы не сказали мне до сих пор, что я председатель? Для чего же вы тут сидите? Жалованье за что получаете? А? Да я вас! Да я вам!

Курьер стоял ни жив, ни мертв и только чуть слышно шептал:

— Да я думал, вы заняты... Да вы же в прошлом году сказали: некогда...

— Вы, вы! — передразнил его Абрам Еремеич. — Завыкался. Идите, уж...

И про себя прошептал:

— Тоже, насажают тебе тут всяких бюрократов, а ты за них отвечай...

1928



ОТЧЕТ

Илья Худеков, культработник села Тетюши, с тяжелой после вчерашней свадьбы головой, сидит за столом и составляет месячный отчет о работе. Работа не клеится.

— Первое число на носу, а что напишешь? — думает он. — А тут еще голова трещит...

И было отчего трещать голове, так как на свадьбе, хотя женился местный избач, и притом по советскому обряду, было выпито целое ведро чистейшего первачу. Да голова головой — написать отчет особенной головы не требуется, а дело в том, что вообще Худеков в этом месяце основательно завертелся. Уж не говоря о свадьбе, которая заняла всю последнюю неделю, на прошлой неделе приезжал к Худекову старый приятель, тоже культработник, только из соседней волости. Встретились, поговорили, а очнулся Худеков в соседнем селе и опять с тяжелой головой...

Худеков перебирал день за днем, восстанавливая в памяти все дела и события минувшего месяца. Да, выезжал с докладом, только слушателей было раз-два и обчелся, пришлось доклад отменить.

— Почему не пришли? — спросил Худеков.

— Свадьбу пошли смотреть, наш кулак дочку замуж выдает.

«Вот она, кулацкая-то опасность!» — подумал Худеков и сказал:

— Товарищи, с кулаками бороться надо, а вы их свадьбы смотрите. Нехорошо!

План составлен на весь месяц. Выполнить план не удалось, зато этот план на другой месяц пригодится. А все-таки надо писать отчет...

Худеков то вставал из-за стола, прохаживался по комнате, то опять садился за стол, а отчет не шел дальше первых слов:

«В текущем месяце мною были сделаны шаги к введению начал плановости в культурную работу, в каком смысле и составлено календарное расписание...»

— А дальше что? Выезд с докладом?.. Но ведь доклад не состоялся!

Худеков прошелся по комнате, посмотрел в зеркало, отразившее заспанное, помятое лицо, посмотрел на календарь:

— Тридцатое число, не отвертись... А впрочем, все равно. Напишу.

Он оживился, и перо быстро запрыгало по бумаге:

«Во исполнение намеченного плана устроен был доклад и собеседование, которое было сорвано местным кулацким элементом, что дало мне повод развернуть собеседование о борьбе с кулачеством, встреченное довольно сочувственно...»

За стеной заиграла гармошка. Худеков вышел в коридор и закричал:

— Эй, кто там! Мне работать мешаете!

Гармошка умолкла.

— Что же все-таки дальше?.. Да, встретился с приятелем... Выпили... Нельзя же об этом писать... А почему, собственно, нельзя?..

Перо опять запрыгало по бумаге.

«В целях согласования планов культработы вошел в контакт... (очень хорошо — контакт) с работниками соседней волости, причем употребил три дня на поездку, за каковые следовало бы выдать суточные, а равно и возместить произведенные расходы...»

— Здорово! — удивился своей находчивости Худеков. — Чуть не половину жалованья на эту поездку ухлопал, хоть бы что-нибудь получить... А дальше?.. Дальше свадьба... Как ты про нее?.. Но ведь свадьбу устраивал избач и по советскому обряду, отчего ж не написать?

Перо опять расходилось.

«Четвертое: проделан опыт внедрения (вот хорошо, именно — внедрения) начал нового быта в вековой и

мрачный уклад деревни, что и выразилось в устройстве красной свадьбы, для каковой была произведена увязка (отлично — увязка) с местным же избачом... В-пятых...»

Он призадумался. Вспомнилось, что на свадьбе он поругался с дьяконом, который тоже был в числе приглашенных, как родственник невесты, и дело дошло до того, что их пришлось разнимать...

— А почему об этом не написать?..

Получилось совсем не плохо:

«В-пятых... в целях рассеяния деревенской темноты, в смысле антирелигиозной пропаганды, вступил в дискуссию с местным священнослужителем, не сочувствовавшим красной свадьбе...»

Опять застыло перо. Тут бы хорошо шестой пункт — и вся страница заполнена, отчет готов. Только где возьмешь этот пункт?

В соседней комнате завозились ребяташки.

— У, черти, мешают!

Худеков опять выскочил в коридор:

— Эй, вы! Чем бы книжки читать, что вы делаете?

Потише!

И тотчас же взялся за перо:

«И, кроме того, во внеплановом порядке вел беседу с детьми школьного возраста, предлагая им заменить бессмысленные развлечения широкой культурной работой над самообразованием в смысле внедрения (очень хорошо, второй раз — внедрения) начал ленинизма...»

Теперь только подписаться, поставить число — и отчет готов.

1928



ДЕЛОВОЙ ПАРЕНЬ

Первый раз Брандуков выступил на производственном совещании. Речь в то время шла о сокращении накладных расходов; дело было сравнительно новое, и ораторов записалось порядочное количество. Человек десять до Брандукова высказалось: один предлагал штаты сокра-

тить, другой указывал на автомобили, третий на канцелярские принадлежности. Одним словом, у каждого свое.

Тут-то и выступил Брандуков:

— Товарищи,— говорит,— вопрос, которым мы сейчас заняты,— это огромной важности вопрос.. И подходить к нему надо не с точки зрения своей колокольни, а в общем и целом, поскольку он и поднят во всесоюзном масштабе. Надо, говорит, его проработать, товарищи. Где надо — там увязать, где надо — там согласовать. И тогда мы увидим, что, с одной стороны, накладные расходы высоки, а с другой стороны...

Одним словом, это была первая серьезная речь.

— Деловой парень! — говорили слушатели.

— Деловой,— сказало и начальство.— Как это мы его раньше просмотрели — такого человека и выдвинуть не мешает.

Брандукова выбрали в производственную комиссию. Там он опять себя показал. Рассматривался вопрос о расширении производства — высказалось опять десять ораторов, и каждый — свое.

Брандуков слово берет. На него все как на пророка смотрят.

— Вот что, товарищи,— говорит Брандуков.— Вопрос, которым мы заняты,— огромный вопрос. И подойти, говорит, надо к нему в общем и целом. Во всесоюзном масштабе этот вопрос надо решить, проработать его основательно. Вы, конечно, понимаете, что это значит: где надо — увязать, где надо — согласовать, и тогда у нас, с одной стороны, получится, что надо расширить, а с другой стороны...

— Ну и деляга же, этот Брандуков! Вот это сказал, так сказал!

Брандуков — член правления. К Брандукову теперь без доклада не входи. На каждом заседании после всех высказывается Брандуков.

— Товарищи,— говорит он,— этот вопрос необходимо решить в общем и целом. Проработать во всесоюзном масштабе. Согласовать и увязать, и тогда, с одной стороны...

Все слушают, и все в восторге — вот молодец!

Так бы и работал Брандуков, все возвышаясь и возвышаясь, с пользой для дела и во славу нашей республики. Но у каждого человека есть враги, которые, даже без пользы для себя, норовят погубить человека.

У Брандукова тоже оказался такой враг. Как-то на совещании Брандуков сказал по своему обыкновению, что это, мол, важный вопрос, что надо его в общем и целом согласовать, увязать и проработать, а враг тут как тут.

— Может быть, вы бы, товарищ Брандуков, проработали? Докладик бы приготовили?

Брандуков сконфузился, а все-таки сказал:

— Отчего же... Можно...

Три заседания прошло, а доклада все нет как нет.

— Не успел еще. Не приготовил...

Наконец, дольше ждать было нельзя.

— Ваше слово, товарищ Брандуков... Вопрос срочный...

Брандуков раскрыл свой портфель, достал оттуда папку, развернул бумагу и начал, довольно-таки деловито:

— Вы,— говорит,— товарищи, понимаете, что этот вопрос огромного значения... Что к нему с точки зрения колокольни подходить нельзя, а надо взять в общем и целом...

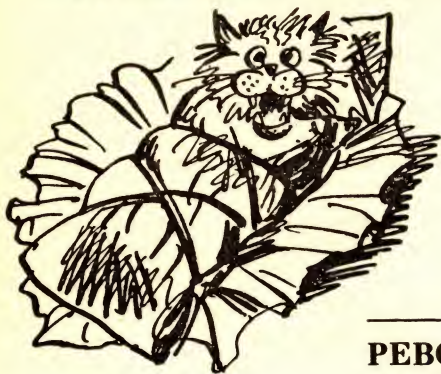
Замолчал, беспомощно захлопал глазами, посмотрел по сторонам:

— Знаете ли,— говорит,— надо этот вопрос увязать... Нельзя без того, чтобы не увязать. Как же так, без увязки... Или согласование, например, взять... И согласовать надо... Проработать надо... И тогда, с одной стороны...

Опять посмотрел по сторонам, ища поддержки.

— С другой стороны...

Сконфузился и сел на свое место.



РЕВОЛЮЦИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Васятка кумы Матрены — парнишка жуклистый. Пристанет, бывало: «Дядя Антроп, отчего звездочки на небе горят, почему покойники озорничают?»

И рад бы ему сказать, всей душой бы рад, да шут их знает, отчего они горят, горят и пускай себе на здоровье горят, мне не мешают.

А пораздумаешь, выходит и позаправду покойники озорничают; взять хотя бы, к примеру, Нефеда: при жизни был мужик — воды не замутит, ни за какое дело без божьего благословения не примется, а как опился самогоном и зачудил, да так зачудил: мимо кладбища ночной порой лучше не ходи.

Вот поди ж ты, тебе и в голову не придет, а мальчонке втемяшилось.

Зыкнешь на него — больше для острастки зыкнешь. Спусти — так, пожалуй, уваженье к старшим потеряет. Отойдет — надуется; подуется, подуется и опять за свое: почему, отчего?

Парнишка до всего дошлый: змей запустить — запустит под облака, да еще с трещоткой, мельницу али тележку какую — в момент смастерит.

Кончил училище с похвальным. Время на сторону в ученье отдавать — не век же на материной шее сидеть, пора и на свои ноги становиться. Иван Иванович, слесарь, в подручные к себе взял.

Проводили Васятку на сторону, ровно в воду канул; год проходит, другой идет, третий миновал, четвертый наступил. После пятого счет на другую руку перешел, и на другой руке все пальцы обошел, о Васятке ни гугу.

Год от году больше и больше горбится кума Матрена: земля ли к себе тянет, революция ли к земле пригибает, господь-те знает. Да и самому приходится в бороде серебро уже не мелочью, а горстями отсчитывать...

Вдруг Васятка — письмо: «пролетарием стал»...

Вот до каких чинов дослужился!

Тогда я еще говорил: «Будет толк из мальчонки, будет».

Может, и ума-разума от меня набрался.

Антропу только ходу нету, а то бы Антроп...

Дальше в письме: «Народилась дочь Революция»...

Ну, Васятка, не ожидал от тебя...

Эх, Васятка!..

Еще: «в деревню приеду»...

Милости просим.

Только у кумы Матрены сомненье:

— Чтой-то за Революция у Васятки народилась?

Признаться сказать, огорошила кума: сколько революций было — и Февральская и Октябрьская — обе сестры родные, вот тут и разберись, которая из них Васяткино рождение. Да Антропу себя ронять не приходится — этак строго:

— Что ж, ты революцию не чуешь?

На лице кумы будто месяц взошел:

— Так эта самая революция Васяткина и есть?

Кума — месяц, а я — солнышко!

— Во-во, она самая.

Антроп себя не уронит.

Месяц за тучку:

— Кабы знала да ведала — выкинула бы Васятку недоноском...



Прикатил Васятка сам-третей: он, жена и ребенок. С приездом, как и полагается, самоварчик взогрели, кума самогоночки раздобыла.

Спасибо, пригласили и меня...

За чайком тары-бары растабарываем, а как самогонкой прополоснули брюха, и по душам разговорились.

— Вася, милый ты человек!

— Дядя Антроп, земляная твоя душа!

Кума ворчит:

— Что вам пасха что ли пришла... ишь расхристосовались!

— Кума, Васятка-то!..

Не похвастаюсь, но скажу: в деревне Антроп в мирских делах — голова, и сознаюсь: перед Васяткой — пятка.

Хоть и обидно, да ну, уступаю.

И порассказал же Васятка — столько всякой всячины насказал, верится и не верится... Да, пожалуй, и соврать так не придумаешь. После Васяткиных разговоров нынешняя жизнь, как яичко, от скорлупки облупленное, выявилась. А больше всего Васятка удивил: имена, говорит, теперь пошли не в честь святых, а в честь революции, и крестят-де теперь не в церкви, а на фабрике... Трудовое, значит, крещение...

Куму Матрену точно обухом ошарашил: мигать — мигает, а язык ни бе, ни ме.

Насилу-насилу в себя пришла, а как очухалась:

— Ты и дитё в церковь не носил?

— Не носил.

— А неровен час, господь дитё приберет, и быть ему, некрещеному, у водяного в подщекотниках.

— Эх, мать, мать... пойми, что ни обряд — только попам наклад...

И пошел и пошел...

Васятка будто не говорит, а цветной ниткой по канве вышивает, он и про обряды свадебные, похоронные помянул, оказывается, куда ни кинь — все к попу клин выходит.

Я и согласиться не прочь бы, да слеза кумы с толку сбивает.

Известно, у мужика голова — у баб слезы.



Куме Матрене спать не спится, есть не естся, пить не пьется.

Лежит на печи, на улицу глаз не кажет: «Революцией» застряли, так застряли, что иной раз готова Революцию за ножки да и о печку.

Лежит Матрена на печи, Революция в зыбке заливается.

Хоть и некрещеная душа, коли ревет — все же дитё: жалость берет. Слезет с печки, губами почмокает, а Революция: агу, агу... Ножонками сучит...

Ну, просто сердце кровью обливается, гляючи.

Кума к батюшке: так и так.

Батюшка руками всплеснул, очи на иконы, устами молитву зашептал.

— Да, времена наступили... Дитё некрещеное... Да... За некрещеное дитя не токмо что родители — и сродственники до седьмого колена ответ богу отдадут.

Матрена закрестилась.

— А я, батюшка, ответчица тож?

— Ты горше... ты горше всех примешь муки адовы...

— За что же я муки-то принимать буду?

— Почто сына не вразумила!

— Да нешто он послушает, такой збойливый?

— Да, народ нынешний пошел, аки филистимляне нечистивые... Мм... Ты вот что... тайно принеси дитё в церковь, и окрестим... Разумеешь?

— Батюшка!

— О приношении господнем помни.

Матрена ко мне.

— Вот что, кум, крестить дитё хочу... Только Васятке ни-ни...

Подумал я: крестить ладно, и не крестить нужды нет, да кто ее знает, может, лучше окрестить — кашу маслом не испортишь.

Пока мы в мозгах жерновами думу перемалывали, пока духу набирались, входит Васятка, ухмыляется — не подслушал ли, стервец? Да скоро из избы отлучился. Мы не зевали: схватили дитё, как было в зыбке спеленатое, только в одеяльце завернули, да и к церкви: Матрена на рысях, я впритруску — не догонишь.

Кума к батюшке, я за водой в купель.

Батюшка наспешку: гыр, гыр — молитвы. Потом: «Развяжите, — говорит, — ребенка окунуть надо»... Кума свивальник распутывает, я помогаю, батюшка торопит. Не успели мы как следует распеленать — батюшка руки протянул, берет, а сам: «Крещается раба божия»... Да вдруг неладом как заорет, заорет и руку под ризу. Глядим, черный кот в пеленках зубы оскалил. Кума со страху пеленки с одеяльцем на пол уронила и закрестилась «свят, свят»... Я закрестился: «Да воскреснет бог»... Батюшка крест с аналая вознес: «Сгинь, лука-

вый...» А кот уселся на полу, шерсть — ершом, глаза — огонь, и неладом зарычал. Порычал, порычал, как фыркнет в дверь и был таков.

Батюшка перст кверху и в поученье:

— Сии козни дьявольские, неверующих достойные.

...Как до избы докатились — не помним.

А скажу тебе, Антроп и перед десятком кулаков не робел... Да ведь кулаки у людей, а у оборотня что? Копыта да когти.

Только дверью в избу хлопнули, скорее к зыбке, смотрим: Революция молочко из рожка причмокивает.

Матрена:

— Оборотень!

— Глядим — дитё, как есть дитё, на ручках, ножках — ноготки, а не коготки, на спинку повернули — без хвостика.

Вошел Васятка да по избе смех словно горох рассыпал.

— Что, окрестили?

Кума зашипела:

— Убирай свое бесовское отродье. Убери лучше от греха!

— Чего ты, мать, ерепенишься-то... Кота ведь я завернул...

— А дитё где было?

— К тетке Соломониде отнес.

— Ой ли?..

— Ступай спроси...

Кума к Соломониде-соседке.

Васятка мне, как дело оборудовал, рассказал.

Вернулась кума — мы за животики держимся, смехом надорвались.

Кума на печь.

— Больше я перед богом за вас не ответчица!

Васятка мне левым, я Васятке правым глазом, и оба — фырк.

Кума с печки:

— Ты бы хоть своей седой бороды постыдился!

...Разугар-парень Васятка.

1925



НЕЧИСТЬ

В Лисьих Горах церковь древняя-предревняя.

Егоровна-богомолка, начетчица, рассказывает, будто построил праведный Ной в честь чудесного избавления от потопа.

Все может случиться...

В церкви, у правого клироса, стоит чудотворная икона иерусалимской божьей матери.

На всю округу гремит икона чудесами.

Недаром со всех сторон церковь опутана паутиной тропок.

Недаром чудотворная образками обвешана, полотенцами опутана — бабьи приношенья.

Перед ней и лампада неугасимая теплится, и молебны акафистные хваленьями не иссякают.

А чудес, что милостивица сотворила, порасскажут — в короб не уложишь.

Ближе всех к ней предстоит отец Асаф — ему и первое чудо.

Стригут мужики овец раз в году — отец Асаф стрижет круглый год. Острижет к пасхе гладко-нагладко, глядь, к троице уже шерстка подросла — острижет и на троицу, к Николе² снова поднялась — опять стриги.

Ветха церковь, зато нов дом отца Асафа.

Раскинулся он по улице двумя десятиаршинными прирубам, из зелени палисадника, как гриб-мухомор, крышей алеет.

В доме постоянно пасхальный перезвон: гудит басок отца Асафа, трезвонит матушка, подголосят попята.

Да ведь не всегда ведро — бывает и ненастье.

Творила-творила чудотворица чудеса и вдруг перестала.

Случился у отца Асафа падеж на овец: что ни день, то овца падает.

Бывает, говорят, и на старуху проруха: людям во-рожит, а к своей беде ума не приложит.

Из всего стада отца Асафа осталась только одна овечка, Егоровна-богомолка, да что в ней мозгу — и клока шерсти не настрижешь.



За домом отца Асафа нахлюпилась избушка Митревны. Одна-одинешенька живет Митревна.

Хоть и одна живет Митревна, но нельзя сказать, чтобы хозяйство убого вела: на дворе есть кому и поржать, и помычать, и поблеть. Да беда вся в том, что не взлюбил дворовый у ней скотину. Она ль его не ублажает, она ль его не уважает: во Фролов день — лошадей праздник — хлеб-соль ему с поклоном низким на двор выносит; в Егорьев день³ три яйца в хлебе запекает; животиной масти пестрой сорочьей глаз ему не мозолит.

Нет, не любит «хозяин» ее животину.

Слушает Митревна — на дворе только грохот идет: дворовый скотину по двору гоняет.

Накинула Митревна шубейку, выскочила на двор, а он как повернется к ней: такой шерстистый, мохнатый, да как кулаком погрозит, а кулак с лошадиную голову.

Митревна не помнит, как на печь забралась: по-человечьи ли, по-рачьи ли.

Посетовала соседям, научили добрые люди: покучить-ся дворовому хлебом-солью.

Положила Митревна на ночь на плетюху каравай, а на хлеб горкой соль.

А сама поясно кланялась, приговаривала:

— Батюшка дворовый, моим хлебом-солью не обес-судь...

Не погнушался дворовый ее хлебом-солью: утром на плетюхе — ни крошечки, ни солинки.

Ночью скотину не тревожил, не было слышно ни брыка, ни мыка.

Прослышали, должно, соседские дворовые про житье-бытье у Митревны вольготное, тоже заартачились.

У Ниловны на дворе — неладно, у Селуяновны — нехорошо, а Петровну и совсем за горло взял:

— Хлеба давай!..

Положит хлеба — тихо-мирно, не положит — дым ко-ромыслом.

А в то время все сидели на пайке.

Сами впроголодь, а тут еще дворовые нахлебниками явились.

Разоренье.

Сегодня впроголодь, завтра недосыта — дело дрянь выходит.

Как ни уважали, как ни почетили дворовых, все-таки с жалобой на них в комитет бедноты пошли.

Так и так: или дворовых уймите, или паек на них выдайте.

Комитетчики сразу в декреты. Прошлись по декрету от начала до конца, от конца к началу вернулись.

— Нет, говорят, про паек дворовым нигде не значится.

— Как же быть?

— Обсудим...

Обсудили комитетчики и постановление на каждом дворе вывесили:

«...Дворовым предписывается покинуть Лисьи Горы в двадцать четыре часа.

За неисполнение будет поступлено, как с кулацким элементом...»

Председатель (*подпись*)

Секретарь (*подпись*)

И печать.

Все честь честью...

Дворовые пуще взбеленились, такую кутерьму подняли, хоть иконы из избы выноси.

Опять в комитет.

— Уймите, ради Христа... Житья не стало...

— Ладно, — говорят комитетчики, — уйдем.



Днем нечисть по укромным местам затаивается, а чуть деревня в храпки — ей и раздолье привольное.

Из-под шестка домовый ползет, на постель постельник навалится, из подполья — подпольник выглядывает, на дворе — дворовый, из бани — банник.

Боится нечисть крика петушиного.

Ох, как боится!

Первый петух еще не прокричал, по деревне волчий вой завыл.

Вмиг вся деревня на ногах.

По вою к двору Митревны собрались.

На дворе мычит скотина, а вой воем завывает.

Заглянут во двор: кто труса дает — назад к воротам, кто храбрый казак — и к яслям шагнет.

У яслей в капкане дворовый завяз.

Кузнец Михей с ружьем пришел.

— Пропустите, братцы, нечисть только солдатской пуговицей и застрелить можно.

Кузнецу ли не знать, он сам дела с нечистью имел — от дурного глазу отговор вел.

— Стреляй, Михей, стреляй!..

Прикинул кузнец ружье к плечу.

— Посторонись, бабы, бахаю!..

Комитетчик...

Легок на помине!

— Стой, Михей, не было постановления стрелять.

Щуке — вода, комитетчику — постановление.

Михея в сторону.

Ногу дворового — из капкана. Вывороченный тулуп долой.

Все так и ахнули:

— Вот так дворовый!..

— Поощадите, православные... Голод довел...

— Вот что, братцы, — говорит Михей, — правильно пообает: без хлеба не житье... А без работы хлеба не бывает... Дадим, значит, и попу работу... Найдем за место пастуха...

— Правильно!..

Комитетчики одобрили:

— Мы супротив работы не перечим...



Осенял отец Асаф свое стадо крестом, теперь же стадо деревенское кнутом осеняет.

1925



САДИК

Да што ты, голова, как времена-то меняются...

Скажи на милость, кто бы подумать мог, что Антоп в чины пойдет!

Прежде чины все дворянству отваливались, кой-то когда побалуют купечество, были и духовные чины, толь-

ко Антропу один чин: держись, Антроп, крепче за матушку Андреевну да глубже землю ковырай.

А теперь на тебе!..

Антроп организатором стал.

Жаль, что кокарды отменили.

Что бы как Антроп с кокардой на шапке по деревне прошелся, а?

Ни одной головы не увидел бы — одни лишь спины.

Дда-а!..

И чин-то получил, почитай, дуром, все равно что с неба свалился.

Дело было так.

...Косили мирскую на Пронином лужке. Пронин лужок!.. Кто не знает Пронин лужок: пни да кочки, траву не косой — руками рви. Как на грех пай мне достался — из рук вон плох. Обидно! Главное и размеривал-то сам, а при жеребьевке хуже всех попал... Принялся косой махать да так с сердцов-то размахался. Слышу осьмашники кличут: «Дядя Антроп, чем ты косишь-то?» Отправил их на третий ярус. Досадно! Посуди сам: бог обошел, да еще и люди зубоскалить станут!.. Опять слышу: «Дядя Антроп, погляди на косу-то!» Глянул, и впрямь машу одним косьем, косы как и не бывало. Назад по следу, коса в кочке сверкает. Что делать? К одному, другому сунулся — ни у кого лишней косы нет. Делать нечего, скорее сивка в телегу и ну в город нахвастывать.

Еду полями.

Вокруг — словно не поле, а желтое море волнистой ржи.

В волнах ныряют спины жниц.

Иногда за крестцом снопов надрывается писк: ав-ав...

На миг на поверхность вынырнет голова жницы, почмокает губами:

— Алексе-юшка-а, чшш...

И снова утонет в волнах.

Писк, точно подпилком, меня по сердцу царапает.

— Молодайка, ты бы хоть мальчика-то покормила.

— Ништо!.. Глянь-ка, солнышко-то где!

А сама ныряет и ныряет, малец ревя-ревет.

И так это меня жалость захватила: за што, думаю, ребятенки-то страдают, ну мы хоть за дело — по грехам, а они...

Взяло меня раздумье, как бы это ребяенок от мук избавить.

Думал-думал, только и одумался, коли телега по мостовой в городе загремела, и ничего путного придумать не смог...

Сивка на постоянный, охапку сена в кормушку, а сам на базар.

Дело летнее, прохладжаться не приходится.

Не успел сивко сена пережевать, уже чересседельник подтягиваю — назад ехать.

Хвостнул сивка, затрясся по мостовой.

Вижу по панели, точь-в-точь кон бабок — ребятишки гнездышками расставлены. Впереди этакая полная мадама, за ней ребятенки воробышками почирикивают. Ребятенки все чистенькие да хольненкие — видно, житьем на бога не гnevаются.

Полюбопытствовал, тпрукнул сивка.

К мадаме подошел — понятно, картуз в руке, не на голове.

Антроп в обращение себя в грязь лицом не уронит.

— Откуда, — говорю, — мадам, такие ребятенки?

— А из детского сада.

— Сада?

— Да, сада.

Вздохнул:

— Кабы наших...

— Отчево ж, можете и в деревне сад устроить.

— Ну, где нам...

— Почему же?.. Если инструкции нужны, зайдите в ОНО...

Подумал: не обругала ли, да нет — как будто по лицу не похоже.

— Чтой-то за оно?

— Отдел народного образования.

— Так, так...

Подумал-подумал: ни зайти, ни нет. И узнать тянет, да вечернюю росу пропустить жалко, не скосишь вовремя — пай замнут.

Махнул рукой, была не была, — и свернул к исполкому.

С лестницы на лестницу, из двери в дверь, от стола к столу, все-таки попал в ОНО.

Наговорили там, господи, твоя воля, не только в горшок — и в корчагу не уложишь.

Хорошо, что пока городом ехал — порядочно пораст-
ряс, а когда выехал в поле — в голове и совсем без-
облачный день, не то бы...

В голове пустота, зато за пазухой топорщится.

— Сивко, тпру!

Из-за пазухи бумагу вон:

«...поручается организовать... Всем учреждениям ока-
зывать содействие...»

Это Антропу-то!

Ну, Антроп, заказывай за здоровье власти благодар-
ственный: честь тебе какая!

Да так всю дорогу: перепутье — сивко, тпру, пере-
кресток — сивко, стой,— думу на бумаге проверить: не
во сне ли снится.

Деревней поехал — встречной «здорово» тебе; ты чуть
волосами тряхнешь — надо же чин доказать.

На задворках председатель подвернулся:

— Дядя Антроп! Ну как, купил косу-то?

И лицо — масленичный блин.

У него масленица, да у меня великий пост.

— Ты не дело-то не говори... Собирай-ка собрание...

— Какие теперь, в рабочую пору, собрания!

— Если приказывают!

— Кто приказывает?

— Кто... Кто!.. Да я приказываю!

— Ты?

— Я!

— Что ты за чин такой, чтобы председателю при-
казывать?

— Чин.

И бумагу ему под нос: «уполномочивается...»

Председатель опешил, замигал-замигал, а я руки
«фертом», ногу «людем», бороду «глаголем».⁴

Помигал-помигал председатель, потом как сорвется,
и сам по деревне под окошками на сходку засту-
кал.

Не спеша — выпряг сивка, повалиться дал, на водо-
пой сводил. Со сходки посыльный:

— Дядя Антроп, мир ждет!

— Обождут.

Не спеша — телегу под навес откатил, тяжи снял,
курок вынул; опять бегут:

— Дядя Антроп, чево ж ты народ моришь!

— Не помрет.

Не спеша — поужинал, чаем побаловался, трубочку выкурил. Весь мир под окошко привалил:

— Дядя Антроп!..

— Ладно.

Вышел и, как полагается, по-начальски:

— Вот что, граждане деревни Лисьи Горы... Меня упол... упол...

Дальше по бумажке: «Уполномочивается организовать детские сады».

Гляжу поверх голов, а ушами в толпе ныряю.

— Антроп-от!.. Мать моя родная!..

Палец под князек.

— Слушайте строгий приказ: каждому домохозяину посадить на лужайке по деревцу, чтобы, значит, детский сад был и чтобы ребятишек в поле не таскать, а пускать в тот сад, чтобы...

— Так тебе дитё и отдадим...

А бабка Соломонида на клюку оперлась:

— И не давайте и не давайте, бабоньки, ребят... Антроп не иначе как бурмицкому королю ребят продал... Всех ребят пожрет бурмицкий король... Помянете мое слово...

— Не отдадим!

На бабуку зыкнул:

— Ты контру разводить!

И бабуку, было, за ворот, бабка клюку на оборону.

Кругом так и загрохотали.

Опять за бумагу: «Оказывать содействие».

— Что ж, мужики, содействие не оказываете?

— А нам-то что...

— Смотрите, ответите!

Бабка наступает.

Спасибо, кто-то унял: бабуку в сторону оттолкнул.

Строго:

— Приказ выполнить!

Ушел.

Погорланили мужики, да ведь сколько не горлань — приказ выполняй.

На то и приказы, чтобы исполнять.

В праздник кто березку, кто осинку на лужке при-
таптыкает. Посадят — в сторону моей избенки плевков.

Вышел.

— Бог помочь, граждане!

Шипенье.

А бабка Соломонида бубнит:

— И-и, родимые, сколь возов с добром-то Антроп от бурмицкого короля привез... И не перечесть... Одного золота, говорят, возов пять будет... Говорят, хоромы хочет строить, полдеревни на снос пойдет...

К бабке.

Бабка от меня, бабы за ней.

Садик как садик.

Полюбовался на садик.

Тыном обнес, воротцы приладил.

На другой день в садике рев: бабы в поле идут — с ребятами прощаются.

Припер калитку садика колышком, сам за снопами поехал.

Повечеру иду за возом. Воз поскрипывает, я «Волною морскою» помурлыкиваю. Поравнялся с садиком, слышу шум, заглянул — там моя старуха за ребятами с прутом носится. Старуха ерепенится, а ребята языки ей кажут.

Смех и горе.

Не вытерпел — раскатился и сам.

Старуха — ястребом на меня, прутом раза два огрела.

— Что ты, белены объелась, что ли?

— Дурак старый, ишь что затеял! Гляди-ка, сорванцы твои что наделали.

— А что?

— Что?! Протри бельма-то, коли не видишь!..

— Ничего не вижу!

— Не видишь!.. Два стекла в избе разбили... Весь огород опустошили... Курице крыло перешибли... Кошку удавили...

Глянул, и позаправду набедокурили: на осине кошка покачивается. Хотел было за вихры, а ребята ко мне:

— Дядя Антлоп, покатай на лосадке.

— Ах, сорванцы!

Делать нечего: усадил всех на воз и к риге поехали.

Увидала бабка Соломонида воз с ребятами, всю деревню всполошила:

— Крау!.. Крау!.. Антроп ребят к бурмицкому королю повез...

В деревне целое светопреставление поднялось: бабы с ухватами к риге бегут.

— Что вы, одурели?

Остановились бабы, в ригу заглянули, а там ребята на соломе возятся.

Бабы и хвосты поджали, на бабку Соломониду напустились:

Ты весь народ зря взбаламутила, старая!..

Разошлись.

Насадил с ребятами ригу. Покурил. Пока курил, надумал: чем старухам на печи лежать да снох грызть, заставить за ребятами доглядывать — все при деле будут.

Постучал к бабке Соломониде, завернул к бабушке Хавронье, а Карповне с внучкой наказал:

— Приходить завтра в сад, за ребятами смотреть!

Бабка Соломонида клюкой погрозилась, бабушка Хавронья клыки оскалила, и зашипели:

— Так тебе и пошли!

— Пойдешь!

Пошипели-пошипели старухи — пришли.

Дело наладилось...

Да ведь Антроп если за что возьмется, так уж возьмется.

И ребятенки привыкли: чуть глазенки продерут, путем не поедят — скорее в садик бегут.

В садике от деревьев одни пенечки остались, да не в деревьях дело: привез песку воз, ребятенки и рады.

Приедешь из поля полдничать, глянешь в садик — сердце радуется: ребятишки, словно пискарики, в песке копошатся; в тени груднячки молочком из рожка причмокивают, около старухи-доголядчицы дремлют.

А меня ребята завидят, так под ноги и кинутся.

— Дядя Антлоп!..

В полях и работа спорее пошла.

Казалось бы, лучше и быть не могло, так нет...

На живых, видно, не угодишь.

Хоть и ниже стали поклоны и дольше после поклона спина не распрямляется, только, думается мне, не от чиста сердца все это делается.

У Антропа душа прямая, косины не выносит.

Как-то на сходке попрекнул:

— Что это, граждане, как будто коситесь на меня?

И вздох — всей сходки вздох.

Прикрикнул:

— Чево ж на месте топчетесь!.. Говорите, что плохого я сделал?

— Оно точно, плохого не видали, только...

— Ну, что?..

— Хороший ты, дядя Антроп, был бы человек, кабы в чины не задавался...

— Да я, православные...

И бумажку с чином — рраз! пополам.

— Чувствуйте!..

Почувствовали: мужики шапки долой, бабы со слезой.

— Дядя Антроп! Спасибо!

Был Антроп в чинах — остался опять в лаптях.

— Э-эх!..

Видно, чины Антропу не к лицу...

Антроп — мирской человек!



ИНСТРУКЦИЯ

Около выхода на платформу, где проверяли на дачный поезд билеты, сперлась толпа пассажиров с коробками и корзинками. В середине стояла женщина с корзинкой и птичкой в клетке.

— Да проходите, что вы там заткнулись-то? — крикнула она.

— Билеты смотрят...

— Тут смотрят, в поезде смотрят, господа батюшка.

— Народ уж очень замысловатый стал, одним разом его и не пройдешь. А теперь еще инструкция такая вышла, чтобы багаж смотрели лучше, а то иной полхозяйства нацепит, полвагона им загородит и везет бесплатно. Казне убыток.

— Мой багаж сколько ни смотри, — сказала женщина, показав на птичку.

— Как придется...

— Ну-ну, после поговоришь, проходи! — крикнул контролер, подняв глаза и посмотрев через очки на очередь. — Билеты предъявляй. Эй, стой! С птицей — куда пошла? Билет.

— Ведь я показывала...

— На птицу билет.

— Как на птицу? На птицу нету.

— Ну, и проезду тебе нету.

— Господа батюшка, да как же это?

— Инструкции читать надо: на мелкий домашний скот должны отдельный билет брать.

— Да какой же он скот? Что ты, ошалел?

— Много не разговаривай. Не дурей тебя люди. При-

равнивается к скоту. Поняла? Что ж на твою птицу отдельный закон, что ли, писать? Отправляйся в багажное отделение, там с тебя взыщут за птицу, квиток на нее дадут, вот тогда и приходи,— сказал контролер.

Он впихнул женщине в руку ее билет и, махнув напутственно рукой в дальний конец платформы, стал опять пропускать народ, боком поверх очков просматривая билеты.

— А как на поезд опоздаешь?

— Поспеешь...

И когда женщина с птичкой, подхватив на руку подол, побежала, он посмотрел ей вслед и сказал:

— Все спешат куда-то, а спроси куда, она и сама не знает.

— Эй, эй, с птицей!.. Куда полезла? В очередь становись.

— Да я на этот поезд. Мне только птичку свешать!

— Все равно. Порядок должна соблюдать. А то ишь, черти, все норовят в обход зайтить.

— Катаются себе с птичками от нечего делать, а тут по делу стоишь часа три!

Женщина ничего не ответила и встала с клеткой в очередь.

— Щегол, что ли? — спросил, заинтересовавшись, морщинистый старичок в больших калошах.

И так как женщина ничего не ответила, он прибавил:

— Я уж вижу, что щегол.

— Ты что тут встала? — сказал усатый носильщик в фартуке с бляхой.— Ведь она у тебя еще не вешана, а ты за квитанцией становишься! Вон куда иди!

Женщина испуганно бросилась к весам, с которых два дюжих парня сваливали свешанные кули с солью.

Человек в двубортном пиджаке хотел взвалить мешки с овсом, но женщина с птичкой подбежала к нему.

— Голубчик, дяденька, уступи мне свою очередь. Мне на этот поезд. Я в одну минуту, мне только птичку свешать. В ней и весу-то всего ничего.

— Ладно, уступи ей, багаж не велик.

Женщина торопливо протискалась к весам. Около весов стоял весовщик и, вынув из-за уха огрызок карандаша, что-то соображал и записывал на изрубленном прилавке.

— Тебе чего?
— Свешать надо...
— Кого свешать?
— Да вот этого вот...
— ...Ты бы еще блоху принесла! Вот черти-то безголо-
вые!

— На господский манер пошли, что-то без птичек уж и ездить не могут,— говорили в толпе, в то время как весовщик, взяв клетку, ставил ее на окованную железом платформу.

— Эй, весы, смотри, не обломи! — крикнул какой-то малый в рваных башмаках, лежавший на мешках с овсом.— Да что ж ты с клеткой-то вешаешь! Ты живой вес показывай.

— Для казны старается...

Весовщик ничего не отвечал и выбирал самые маленькие гири. Подержал их на ладони, посмотрел просительно и бросил обратно.

— Да поскорей, господи батюшка, а то я из-за вас на поезд опоздаю!

— А ты выбирала бы, что везти. А то тащите, что попало, вот и нянчайся с вами, ломай голову... Ну, не тянет, дьявол! — воскликнул он.— На самую последнюю зарубку поставил!

— Ты бы уж вешал вместе с ней, она бы как раз к вашим весам подошла, баба сытая...

— На первую зарубку годится,— подсказал малый с мешков.

— Долго вы меня тут будете мучить? Пропадите вы со своим весом!

— Они долго держат, зато без ошибки получишь,— сказали из толпы.

— Скоро ты там с весами, Кондратьев? Чего застрял?

— Да вот бьюсь тут над этим домовым.

Дверь деревянной загородки отворилась,— подошел другой человек в форменной фуражке и остановился в затруднении перед щеглом, стоявшим на весах.

Щегол, нахохлившись, понуро сидел в клетке и смотрел одним глазом, закрыв другой белой пленкой.

— Больной, что ли, он у тебя? — спросил человек в форменной фуражке.

— Демон его знает, хоть бы вовсе подох...

Ожидавшие своей очереди, видя, что около весов

собрался зачем-то народ, тоже подошли и, окружив весы, молча смотрели на щегла.

— Вот дьявол-то, ничем его не возьмешь! — сказал весовщик, плюнув.

— А на последнюю зарубку ставил?

— Кой черт — на последнюю! Он и без зарубки ничего не тянет. Нету в нем весу.

— Вес должен быть. Без весу ничего не бывает.

— Долго вы меня тут будете морочить?

— Сейчас, подожди. Не тывкай под руку.

— ...А то ошибется пуда на полтора, — свои придет-ся платить, — подсказал опять малый с мешком.

— Может, спросить заведующего, без весу пропустить?

— Не полагается без весу. Инструкция. Да спросить можно... Иван Митрич, — крикнул человек в форменной фуражке, — нельзя ли груз без весу принять?

Из окошечка кассы высунулось удивленное лицо и сказала:

— Что ты очумел, что ли? Читал инструкцию?

— Ну, вот видишь.

— Эй, ты, баба, что ты там сватаешься? Целый гурт скота, что ли, у тебя? — кричали задние. — Что у нее там?

— Птица.

— Много?

— Одна только...

— Так какого же черта она там присохла!

— Вот окайная-то, того и гляди, поезд уйдет...

— Пишут тоже инструкции, — говорил весовщик, — на глаз нельзя, а на весах — ничего не тянет. Успеете, куда прете? Только вот и дела, что ваши мешки вешать... Вот навязался-то демон, ногтем его придавить, а вишь, сколько народу держит, погляди, пожалуйста, уж на улице стоят.

— Ну вот что... вот тебе квитанция, как за пуд багажа, и уходи ты отсюда от греха, а то ты у нас тут все перебуровишь, — сказал человек в форме, отдав женщине квитанцию и махнув на нее рукой.

На платформе загудел паровоз.

— Матушки! — крикнули стоявшие в очереди и, давя друг друга, бросились на платформу.

— Ушел, ушел!

— Ах, сволочь окайная, всех посадила!

— И откуда ее черти принесли?..

— Лихая ее знает. Овечкой прикинулась, пролезла.

— А с чем она была-то?
— С домашним скотом, говорят.
— С каким там скотом, с птицей... И птичка-то пустяковая...

— Пустяковая, — сказал малый с мешков, — таких пустяков с десяток принесть, вот тебе все движение на неделю — к черту...

1924



КУЛАКИ

Мужики сидели на бревнах, ничего не делая и лениво разговаривая. Некоторые слонялись около задворок с таким видом, как будто томились от безделья и не знали, что придумать, чтобы занять себя.

Крыши многих изб были раскрыты и оставались непоправленными. В стороне на бугре виднелся начатый и брошенный на половине стройки кирпичный завод: стояли поставленные стропила, зарешеченные орешником, и лежала сваленная солома для покрышки, которую уже наполовину растащили.

К мужикам подошел приехавший из Москвы на побывку столяр и, оглянувшись по сторонам, сказал:

— Что ж это вы так живете-то?

— А что? — спросили мужики.

— Как «а что»!.. Ровно у вас тут мор прошел: крыши раскрыты, скотины у вас, посмотрел я в поле, мало, да и та заморенная. А сами сидите и ничего не делаете. Праздник, что ли, какой?

— Нет, праздника, кажись, никакого нет... — ответили мужики.

— По лохмотьям вижу, что никакого праздника нет, — сказал столяр, — вишь — облачились.

Мужики молча посмотрели на свои старые рваные кафтаны. А крайний, с широкой русой бородой, как у подрядчика, сказал:

— Поневоле облачишься: из волости, говорят, нынче кто-то приехал.

— Из какой волости?

— Из нашей. Ты что, чисто с неба свалился? Откуда сейчас-то? — спросил другой худощавый мужик, посмотрев на солнце.

— Из Москвы.

— А, ну тогда другое дело.

— Да, черт ее знает, до каких пор это будет, — сказал третий, черный мужик, покачав над коленями головой.

— Покамест полоса не пройдет.

— Ведь это черт ее что: сидишь без дела, пропади ты пропадом.

— Что ж у вас дела, что ли, нет, — сказал столяр, — вы хоть крыши-то сначала покройте.

Никто ничего не ответил, даже не взглянул на крыши. Только черный мужик, не поднимая головы, сказал:

— Тут у кого покрыты — и то хоть раскрывай.

Из соседней избы вышел длинный, худой мужик, бо-
сиком, почесал бок, стоя на пороге, посмотрел по сторо-
нам, потом прошел через дорогу к кирпичному заводу,
там зачем-то постоял и опять пошел в избу.

— Эй, дядя Никифор, ай не знаешь, куда деться? Иди, видно, в дурачки сыграем...

— ...Пока полоса не пройдет... — подсказал худо-
щавый. — К кирпичу-то дюже близко не подходи, а то, го-
ворят, из волости приехали, — увидят, запишут...

— Ничего чтой-то не поймешь, — сказал столяр.

— Чтобы понимать, для всего науку надо прохо-
дить, — ответил худощавый мужик. — Мы вот прошли, те-
перь понимаем. И что, братец ты мой, что значит, судь-
ба окайнная: прежде сидели, ничего не делали, потому
кругом все чужое было. Теперь все кругом наше, а де-
лать опять ничего нельзя.

— А в чем дело-то?

— Да борьбу эту выдумали насчет кулаков. А тут на
местах на этих так хватили здорово, что не то что —
кулаков, а и мужиков скоро не останется. Приезжают —
«Кто у вас кулак?» Говоришь: нету кулаков, мы их всех
вывели. — «А кто самый богатый?» — Самых богатых не-
ту. — «А кто лучше других живет?» — Такой-то... — «А го-
воришь, — кулаков нету?..»

— Вадумали кирпич с кумом жечь на продажу; а они
приехали — цоп!.. В кулачки, говорят, себе метите? Пчел
было развели, они *приехали*, опять — цоп!

— Тут лапти новые наденешь, и то они уж на тебя во все глаза смотрют, норовят в кулаки записать, — сказал худощавый.

— А сначала было плуги завели, веялки эти, чтоб им провалиться.

— Обрадовались?..

— Да, — сказал черный мужик, — теперь утихомирились: веешь себе лопаточкой — оно тихо и без убытку.

— И пыли меньше... — подсказал опять худощавый.

— Вот, вот... Ах ты, мать честная... Бывало, в поле выйдешь — урожай. Слава тебе, господи... А намедни я поглядел — рожь хорошая. Мать твою... думаю, — вот подведет. Такая выперла, что прямо хоть скотину на нее запускать, от греха.

К говорившим поспешно подошел мужичок с бородкой и опасливо посмотрел на столяра, потом узнал его, поздоровался и торопливо спросил у мужиков:

— Кто нынче кулак? Чей черед? Из волости приехали.

— Эй, Савушка! — сказал худощавый, обратившись к оборванному мужику, сидевшему босиком на бревне. Одна штанина на левой ноге у него совсем отвалилась ниже колена. — Эй, Савушка, твой черед нынче.

— Какой к черту черед, когда я без порток сижу, а вы в кулаки назначаете. Ни самовара, ничего нету.

Пришедший мужичок посмотрел на очередного и сказал:

— Не подойдет... Куда же к черту, когда у него портки все прогорели.

— Мало чего, — прогорели. Все равно черед должен быть, — ответил черный, — самовар у Пузыревых возьми, а портки полушубком закрой, оденешься.

— Он и полушубок-то такой, что через него только чертям горох сеять.

— Сойдет... Вот тоже моду завели...

— А что? — спросил столяр.

— Да все насчет кулаков. Уж им чтой-то представляться стало. Как приедут из волости или из города, так первое дело требуют кулаков, чтобы у них останавливаться. Ну, известное дело, и самовар, и яйца давай, и обед корми, и на лошадях вези. Навалились на трех наших мужиков побогаче, каждую неделю раз по два с бумагами прискакивают. Мужики, конечно, волком воют. Теперь уж очередь кулацкую установили.

— Чтоб по-божески, значит?

— По-божески, не по-божески, а ведь они по одному так всю деревню переберут, всех с корнем выведут, а ежели по очереди — все еще как-нибудь, бог даст, продержимся. А главное дело, работать не дают.. Крышу на сарае покрыл — сейчас к тебе два архангела: «В богатеи, голубчик, пробираешься?»

— Что ж это по декрету, что ли, так требуется?

— Какой там — по декрету! По декрету — все правильно: и работать можешь смело и хозяйство даже улучшать.

— А может, там один декрет для нас, а другой для них пишут и инкогнито его присылают?

— ...Навряд... А там, кто ее знает.

Из совета вышел какой-то человек и крикнул:

— Эй, куда провожать? Сейчас выйдет. Избу готовьте.

— Мать честная, пойтить похуже что надеть. Спасибо, хоть по будням ездят. А то в праздник бабы разрядятся, ну беда с ними чистая. Иная на две копейки с половиной настряпает, а издали думаешь, у нее золотые прииска открылись.

— Ну, Савушка, беги, беги. Сначала сыпь за самоваром, потом яиц и молока у моей старухи возьмишь. Да коленки-то прикрой, черт!

— Дали бы ему хоть портки-то надеть.

— Ничего, скорей из кулаков выпишут.

Савушка сбегал за самоваром и яйцами. Потом пошел к совету.

Приезжий в кожаном картузе, с портфелем вышел на крыльцо и, узнав, что кулак уже дожидается его, посмотрел на него и сказал про себя:

— Кажись, доехали сукиных детей. Дальше уж некуда.

1924



СТИХИЙНОЕ БЕДСТВО

В деревне Глазовке в саду, принадлежащем обществу, оказался небывалый урожай яблок. Ветки деревьев пригнулись от тяжести плодов до самой земли. Каждое утро собирали целые вороха падалиц около главного шалаша и не знали, что делать с яблоками.

По саду метался какой-то мужичок в лапотках с трубочкой, пригинался, заглядывал куда-то из-под руки вдаль под ветки и кричал:

— Подставь под нее подпорку-то, не видишь! Опять раздерет ведь дерево. Ох, мать честная, и откуда ее навалилось столько!

Потом, увидев ехавшие воза с яблоками, бросался туда и опять кричал:

— Куда ж вы их везете! Черти!

— В овраг, куда же их.

— Сам знаю, что в овраг. И попрете через деревню?! Объезжай кругом, через плотину. Ни черта голова не работает.

— Дядя Игнат, говорят, комиссия сейчас придет, — сказал подошедший мужичок в зипуне, босиком, с засученными штанами.

— А черта — мне эта комиссия. Тут вот хуже комиссии. Ишь, матушка, вылезла. С голоду будудохнуть, на такую должность не пойду.

В воротах сада показалось несколько человек, в картузах, в поддевках, уполномоченные от общества.

— Ну и урожай!!! — сказал один, подняв бороду и поводя глазами по деревьям.

— Без урожая плохо, а с урожаем еще хуже, — сказал другой.

Все подошли к длинным пирамидальным ворохам и остановились.

— Пудов 1000 будет, — сказал председатель комиссии.

— Больше. Тут все две будет.

— Игнат! — крикнул председатель. — Пойди-ка ты сюда.

- Игнат, тебя кличут! — сказал разутый мужичок.
- Слышу, сейчас... Только ходят, осматривают.
- Что ж это ты с яблоками делаешь?
- А что?
- Ведь ты их все сгноил?
- Я их не гноил. А как ежели две недели лежат под дождем, так что ж им больше делать.
- А почему они у тебя под дождем лежат? Подвал на что?
- Везде насыпано. Ведь их какая сила.
- Пошли к подвалу.
- Что же, они у тебя и тут все протухли? — сказал председатель, поведя носом.
- Как же им не протухнуть. Кабы они на вольном воздухе лежали. Ведь их вон какая сила, — сказал опять Игнат и ткнул пальцем в яблоки.
- Сила... вот ты и должен...
- Что ж должен... Тут одного ярового было больше тысячи пудов.
- А где ж они?
- Где... под бугром. Тут, что ли, оставлять?
- Ты б назывался кому-нибудь. А то сидишь небось так.
- Кому? Вот какая-то баба куренка принесла, выменяла на полмеры, да и тот хромой.
- Все оглянулись на куренка.
- Это ежели за все яблоки один куренок пойдет, ему цена не меньше 10 000 целковых.
- Ну, прямо беда, ей-богу, — сказал председатель, разведя руками. — Засыпали и засыпали прямо с головой.
- Эй, дядя, яблоки у вас никому не нужны? — крикнул он проезжавшему мимо сада прасолу¹, у которого в задке телеги лежал, завернув голову, молоденький телепчел.
- Тот придержал лошадь, молча сняв шапку, подумал, глядя в сторону, потом сказал:
- Кажись, не нужны. Так, может, на куренка на какого обменяешь...
- На куренка... У нас вон у самих бегают.
- Говорят, за рекой будто неурожай, туда требуют.
- Туда верст тридцать?
- Все сорок будет.
- Ну, вот... Ведь на нее ящики нужно, — сказал председатель, — а без ящиков она не дойдет небось.

— Нишчем. Вся вдрызг потрясется. А много у вас?
— Прямо беда. Задушила на отделку. И откуда столько выперло; сад уж лет пять, знать, не окапывали, не поливали ни разу. А он, вишь, враспloch захватил — не знаем, что делать.

— Ежели бы сложиться всем обществом по пятерке, досток бы купить, ящиков наделать...

— Никто не даст,— сказали все.— А там еще небось за провоз платить надо будет. Вот на месте не купит ли кто.

— На месте трудно,— сказал, подумав, проезжий.

— Ах, ты мать честная, что делать! Прежде, бывало, от ребят стережем, а теперь хоть бы они лопали, окаянные, и те не жрут, заелись.

— Свины, может, будут есть,— сказал проезжий.

— Свиной мало водим...

— Мало того, что прибыли от них никакой, а еще убыток. Намедни санитарная комиссия, лихая ее возьми, навернулась. Вы, говорит, тут холерную эпидемию разводите. Теперь вон в овраг возим, по 30 копеек за подводу платим.

— Сколько нынче свез? — спросил председатель у сторожа.

Тот лениво посмотрел на солнце и сказал:

— До обеда уж четвертый раз поехали.

— Вот оно вот — трижды четыре — 12, мать честная, 3 руб. 60! Ведь это что ж, разорение, мои матушки!

— Беда,— сказал проезжий.

— Спасибо, хоть за съемку натурой берут, а то бы всю деревню по миру пустили.

— Человека бы найти какого-нибудь,— сказал уныло член комиссии.

— Это первое дело. Без человека нельзя.

— А где его найдешь?

Все задумались.

— Деревня-то большая у вас?

— Деревня большая, 600 душ.

— Так.

— Главное дело, у нас урожай на хлеб плохой. Тут бы ежели эти яблоки продать, два урожая хлеба на них закупить можно бы.

— Это как раз...

— А тут за них, за эти яблоки-то,— черт бы их взял эти комиссии,— глядишь, сотенную за лето выложить

придется. Две тысячи пудов под бугор свалить тоже средства хорошие нужны.

— Да, без капитала нельзя.

— А вот у часовни чей-то сад: вот орудуют-то, ма-тушки мои! Целыми обозами в Москву гонят.

— Может, человека нашли?

— Кто их знает.

— А может, урожай меньше.

Проезжий поехал, а комиссия присела у ворот на бревно покурить.

— Прямо, можно сказать, стихийное бедствие,— проговорил председатель, посмотрев на яблоню, увешанную яблоками.— Бывало, червяк хоть на нее нападет, градом бьет, а нынче, как заколодило — ничего.

— Вот еще какие-то едут. Эй, дядя, яблочка не нужно?

Ехавшие три мужика остановили лошадей.

— Живот чтой-то болит,— сказал один, посмотрев на яблони.

— Нешто для почину,— сказал другой.— Сыпь — картуз возьму. Почему?

— За картуз — пятак.

— Копейки довольно. Ведь у вас яблочек-то сила.

— Черт бы ее подрал, эту силу. Со всех концов за нее платишься. Меньше пятачка нельзя,— сказал он вдруг решительно.

— До следующего поедем,— сказал мужик, трогая лошадь.

— Ну, давай, давай, черт с тобой. Сыпь, Игнат.

— Эй, гнилого не клади.

— По нечаянности.

— То-то, брат. Капиталистом заделался, торгуй по со-вести. Теперь деньги получай. Смотри, сосчитай, не ошибись,— сказал парень, трогая лошадь.

— Постой, постой, постой,— крикнул председатель, что-то вспомнив,— а человека у вас нету там какого-нибудь?

— Какого вам?

— Да вот с яблоками распорядиться.

Парень подумал, потом сказал:

— Нет, нету.

— Как на грех, свиней мало,— сказал один член ко-миссии.

— Вот то-то и дело, что хуже этого яблока товару

нет,— захватит врасплох и конец. Свиней тоже в одно лето не родишь. А там свиней наготовил, глядишь — яблок нету. Вот и угоняйся за ними.

— Прямо разоренье, ей-богу.

— А я так смотрю: весь его к чертовой матери надо, а то еще таких урожаев два-три, ведь это петля на шею!

1925



КРЕПКИЕ НЕРВЫ

Какой-то человек в распахнутой шубе и в шапке на затылке, видимо, много и спешно бегавший по делам, вошел в банк и, подойдя к окошечку, в котором выдавали по чекам, сунул туда свою бумажку.

Но бумажка выехала обратно.

— Это что такое? Почему?

— У нас только до часу.

— Тьфу!..

Вежливый человек в черном пиджаке, стоявший за лакированным банковским прилавком, увидев расстроенное лицо посетителя, спросил:

— Вам что угодно?

— Да вот получить по чеку опоздал. Присутственный день до четырех, а по чекам у вас прекращают уже в час выдавать.

— А это, видите ли, для удобства сделано,— сказал человек в пиджаке.— Каждое учреждение приравнивается к тому, чтобы экономить время.

— А вот напротив я получал, там до двух открыто.

— Очень может быть. У каждого свой порядок. Вон, например, нотариус, что рядом с нами,— если вам нужно заверить подпись или что-нибудь другое в этом роде,— то нужно поспевать до половины первого. А если за углом — там тоже нотариус,— то до половины третьего.

Около кассы с чеками послышался шум.

— Какого же это черта, ведь я неделю тому назад получал, было до двух часов открыто.

Человек в пиджаке бросился туда, как бросается пожарный с трубой к тому дому, которому угрожает опасность.

— Чего вы беспокоитесь?

— Прошлый раз, говорю, получал, у вас до двух часов было открыто.

— А когда это было?

— Когда было... неделю тому назад.

— Совершенно правильно. Неделю назад выдавали до двух часов, а теперь переменили.

— Тьфу!!!

Посетитель вылетел из банка и хлопнул дверью так, что задрожали стекла.

— И отчего это народ такой нервный стал? — спросил человек в пиджаке, вернувшись к своему собеседнику. — Жизнь, что ли, так изматывает?..

— Возможно; я вот на что уж спокойный человек, а побегал нынче с утра и таким зверем стал, что — уж признаюсь вам — если бы вы не оказались таким вежливым, я бы, как тигр, бросился.

— Это вредно, — сказал человек в черном пиджаке, — ведь у меня после перемены часов в день человек по двадцати прибегают и все вот так плюют, как этот, что ушел, и как вы изволили плюнуть. А мне — плевать! Относись спокойно, вежливо, как требует служба, и все будет хорошо. А то посетители будут плевать да я буду плевать, тут нельзя пройти будет. Вон, еще появился. Вам что угодно?

— Деньги по этой бумажке можно получить? — спросил человек в тулупчике.

— Можно-с. Только выдавать будут с двух часов. Кассир в банк ушел. Сядьте вон там в уголок, там вы никому мешать не будете.

— Что ж я и буду целый час сидеть?

— Погулять можете.

Человек в тулупчике сел, нахохлившись, в уголок, около урны для окурков.

— Крепкие нервы — первое дело, — сказал человек в пиджаке, возвращаясь к своему собеседнику. Но его прервали ввалившиеся один за другим сразу пять человек. Одним нужно было получать по чеку, другим еще по каким-то бумажкам.

— Вы садитесь тоже туда же в уголок, вон где дремлет человек в тулупчике, вы отправляйтесь домой по-

обедать, потому что поздно пришли, вы можете прогуляться, а можете тоже в уголок сесть.

— А мне куда же деваться? — спросил с раздражением последний.

— А что у вас?

— Мне деньги внести.

— Тоже в уголок. Кассир еще не приходил.

— Тьфу!!!

— Да, крепкие нервы — первое условие плодотворной работы, — сказал опять человек в черном пиджаке, возвращаясь к собеседнику.

— Ну, что работа-то идет все-таки хорошо? — спросил тот.

— Как вам сказать... не очень. Народ, что ли, недисциплинированный стал, не поймешь. Пошлешь посыльного, всего и дела на пять минут, а он целый день прошляется. Вот сейчас послал по спешному делу, там самое большее, на четверть часа всего и дела, а его, извольте видеть, уже второй час нету. А в банке напротив по таким делам до двух часов, значит, вся музыка откладывается на завтра. Чего он, спрашивается, собак гоняет?

— Черт знает, что такое! — сказал еще один вошедший посетитель, — ведь третьего дня приходил, мне сказали, что до часу, а я привык до двух получать и забыл совсем.

— Привыкнете, — вежливо сказал человек в пиджаке, — с первого разу не запомнили, со второго запомните.

— Нельзя ли у вас тут подождать, а то мы ходим там взад и вперед по улице, к нам уж милиционер стал что-то присматриваться, — сказали двое отправленных на прогулку.

— Сделайте ваше одолжение. В уголок пожалуйста. — И, обратившись к своему собеседнику, прибавил: — Тихий ангел пролетел... вы в такой час попали — кассира нету, эти прекратили выдачу, те еще не начали... В уголке уже всех, знать, укачало.

Собеседник посмотрел на сидевших в уголке и увидел, что пришедший первым человек в тулупчике склонился вперед и, упершись шапкой в стену, дремал. За ним, упершись ему головой в спину, закрывал и опять открывал мутные глаза человек с портфелем в обтрепанном пальто.

— А вот не будь у меня крепких нервов, нечто бы они так смирно сидели? Вот что из пролетарского элемента, те много лучше: легче засыпают. И против долгого ожидания не возражают. Сядет себе и сидит, кругом посматривает. Иной часа два высидит, поспит тут у нас — и ничего. А вот умственные работники — не дай бог! Минуты на месте посидеть не может. А о сне и толковать нечего.

Дверь отворилась, и вошел посыльный с сумкой из серого брезента.

— Вот он, извольте радоваться! Где тебя нечистые носили?

— Где носили!.. В конторе в этой только до часу справки дают, туда опоздал, а по этим синеньким бумажкам только с трех часов начинают.

— Тьфу!!!

1926



ХУДОЖНИКИ

В государственном писчебумажном магазине стояла перед прилавком очередь человек в пять.

Продавец выписывал чеки и путался в чековой книге, подкладывая листы переводной бумаги.

— Поскорей, батюшка, — говорила подслеповатая старушка в большом платке, стоявшая первой в очереди, — что ты уж очень долго копаешься-то?

— Что копаюсь! Листы слипаются, дуешь-дуешь на них целый день, даже губы заболели. А тебе что нужно-то?

— Да мне конверт за копейку.

— Синий или белый?

— Белый, голубчик. Да ты мне без бумаги отпусти, что ж бумагу из-за копейки тратить, ее больше испишете, чем товару продадите.

Продавец, нагнув голову, посмотрел на старуху поверх очков.

— Ты в какой магазин пришла? — строго спросил он.

— Как в какой? — Ну, в казенный...

— Не в казенный, а государственный. Тут об каждой копейке должны отчет дать. Поняла?

— А я, батюшка, заплачу кассиру копейку, а он тебе крикнет, что я заплатила, ты и запишешь.

Продавец, еще ниже нагнув голову, снова посмотрел на старушку поверх очков.

— Что же, мы и будем, как сычи, перекликаться?! Какая, подумаешь, наставница выискалась. То-то бы тебя за отчетностью смотреть поставить, одного крику не обо-
брался бы. Получай вот лучше.

— Это что же, все три листа мне?

— А то сколько же?

Старушка с сомнением посмотрела на листы, где было написано: год, месяц, число и на большом чистом пространстве с линейками стояло: «1 коп. — 1 коп.». Потом нерешительно пошла к кассе.

Продавец иронически посмотрел ей вслед поверх очков.

— Наш народ к отчетности приучить — все равно, что в новую веру его окрестить, — сказал он, уже обращаясь к следующему покупателю, черному гражданину в очках и в больших валяных ботах с торчащими изпод шубы ушками.

— Не привыкли, — ответил тот, пожав плечами.

— Оно, конечно, невежественному человеку кажется, что все это напрасно: товару на копейку, прибыли от него и вовсе одна десятая копейки, а расхода тоже, глядишь, на полкопейки, да еще рабочее время сюда причесть: иной раз слюнявишь-слюнявишь пальцы, — покупатель уже на двор захочет, пока ты эти листы разберешь. Зато мы убытку не боимся. Ведь по нашей торговле взять бы нас да по шее. Потому что наторговали всего на два шиша с половиной, а расхода столько, что нас всех, что тут есть, ежели со всеми потрохами продать, того не выручишь. А мы спокойны: ревизия придет, спервоначалу схватится за голову, пыль поднимет. Один дефицит сплошной. А мы на это: «Извольте отчет поглядеть сначала, а кричать потом будете». Как выволокешь им вот этакую стопочку, да покажешь, они попрыгают-попрыгают, и сказать нечего. Еще руку пожмут в благодарность за строгий учет.

— Значит, отчеты влетают в копеечку? — спросил

следующий покупатель, маленький человек без шапки, с поднятым барашковым воротником.

— А как же не влететь-то?

— Иван Сергеевич, рубля не разменяете? — спросил кассир.

— А у вас-то неужто нет?

— Да нету еще, не набралось ничего, — сказал кассир, с недоумением отодвигая то один ящик, то другой. — Вот нелегкая принесла, товару на грош, а хлопот от тебя не оберешься. Сейчас, подожди тут. Сядь вон на диванчик.

Кассир ушел куда-то.

— Мы-то еще ничего, — сказал продавец, — обороты у нас пустяковые, а вот какой-нибудь трест возьмите или фабрику, — вот где дела-то делают!.. Мне знакомый один рассказывал — у них в тресте девятьсот тысяч один отчет стоил. Вот это я понимаю. На трех извозчиках везли! Весь баланс их к черту полетел из-за одного этого отчета. Зато прямо ахнули все: до самой малейшей мелочи, до десятой доли копейки все выведено. Вы, конечно, может быть, не интересуетесь этим, но ежели на знающего человека, на специалиста, то восторгаться только можно и больше ничего, потому что это — прямо надо сказать — художник!

— Зря, значит, ни одного шагу не сделано?

— Зря-то, может быть, целые версты сделаны, а только вся суть в том, что все обозначено. Мало того, что весь баланс сведен, а видно еще каждую копейку с самого ее зарождения, как она, матушка, шла по всем линиям и по всем инстанциям. Ведь это — художественное произведение. Если на любителя, конечно.

— Сколько же времени такой отчет разбирать надо? — спросил маленький человек.

— Сколько... да нисколько. Нешто его разберешь! Что-бы его разобрать и проверить в точности, это еще сто тысяч надо. Вот разбогатеет, тогда, может быть, будем и проверять. А то, ведь, это всех своих бухгалтеров да счетоводов на полгода надо засадить.

— Сдельно бы отдать, — сказал высокий человек.

— Разменял, батюшка? — спросила старушка, когда показался кассир, считая на ладони деньги.

— Разменял. Получай. Лист этот вон туда передай, а этот возьми себе.

— Зачем, родимый?

— Для памяти.

— Хорошо, милый, возьму.

— Товару на копейку всего, а уж разговору — не оберешься, — сказал кассир, бросив деньги в ящик, и недовольно посмотрел вслед старушке, когда она в своих валенках и платке поворачивалась в дверях, закрывая их за собой.

— Вам что позволите?

— Мне пачку бумаги и конвертов. Да! Еще перышек копеек на пять.

— На это хоть не обидно чек писать: с лихвой расход на него покрыли. А вот такие-то вот, копеешники, прямо по миру пустят, все соки высосут! Она вот пришла, повертелась, товар свой ухватила, а того не понимает, что от нее убыток казне.

— А что, при больших отчетах уж, небось, не смонничаешь? — спросил маленький человек.

Продавец, выпятив нижнюю губу, неопределенно пожал плечами:

— Как сказать... при нашем небольшом деле, когда весь отчет, скажем, весит не больше десяти фунтов, конечно, обжулить нельзя. И ежели недобросовестного человека на наше место посадить, который уж с молоком матери привык хапать, так тот двух месяцев не просидит — сбежит: копейки не утащишь. Хоть и прибыли не добудешь, но зато и самому попользоваться не придется. А там, где отчеты на пуды идут, там много свободней. Иной раз так-то сидят-сидят над проверкой, потеют-потеют и через три года выведут заключение, что налицо явная растрата. Сейчас посылают арестовать такого-то. А его уж родные давно за упокой поминают. Хапнул, поблаженствовал, сколько нужно, да на тот свет и удрал. Ищи-свищи... И чем больше дело, тем больше пудовые отчеты любят. И не то чтобы жулики были, совсем даже наоборот, есть честные до святости — но художники своего дела. Ежели бы им запретить писать отчеты, а учитывать по балансу в две минуты, какой процент прибыли дало предприятие, так все бы разбежались. Это гибель! Вам счетик потребуется?

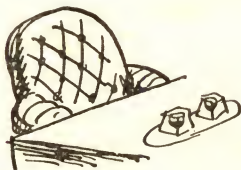
— Нет, я для себя беру.

— А что же, и для себя на память можем написать. Бумагу-то все равно бросать. Вон какая кипа. Это всего за неделю. А оправдала ли она себя — это еще вопрос.

— Вам при каждом бы магазине фабричку маленькую бумажную построить, — сказал маленький человек, — чтобы чеки эти перерабатывать и опять в дело пускать.

— При каждом — это слишком жирно, а вот объединиться бы в трест магазина по три, — сказал продавец, — это бы дело!

1926



ХОРОШИЙ НАЧАЛЬНИК

В канцелярию одного из учреждений вошел человек в распахнутой шубе с каракулевым воротником и, посмотрев на склонившиеся над столом фигуры служащих, крикнул:

— Здорово, ракалии!..

Все вздрогнули и сейчас же испуганно зашипели:

— Тс! Тс!..

Вошедший с недоумением посмотрел на них.

— В чем дело?

Два человека, — один в синем костюмчике и коротеньких брючках, другой в коричневом френче, сидевшем складками около пуговиц на его полном животе, — поднялись со своих мест и, подойдя к посетителю, поздоровались с ним и на цыпочках вывели его из канцелярии.

— Пойдем отсюда.

У вошедшего был такой недоумевающий вид, что он даже ничего не нашелся сказать и послушно дал себя вывести.

Его провели по коридору и посадили на деревянный диванчик.

— Вот теперь говори.

— Вы что, обалдели, что ли?

— Ничего не обалдели. Перемены большие, — сказал толстый. — Новый начальник.

— Ну, и что же?

— Вот и то же, вот и сидишь на диванчике, из канцелярии тебя выставили, — сказал тоненький в коротких брючках.

— Да, кончилось наше блаженство,— продолжал человек во френче.— Мы теперь не свободные взрослые люди, а девицы из благородного института или, лучше сказать, поднадзорные, за которыми только и делают, что смотрят в оба глаза. Теперь о прежнем-то своем вспоминаем, как об отце родном. Вот была жизнь! А как новый поступил, так и запищали.

— Возмутительно! — сказал служащий в коротеньких брючках и, оглянувшись на обе стороны коридора, сказал пониженным голосом:

— Как поступил, так первое, что сделал — распорядился, чтобы служащие по приходе расписывались...

— Автографы очень любит... — вставил толстый.

— Да, автографы... а лист у швейцара лежит до десяти часов с четвертью. Как опоздал к этому сроку, так не считается, что на службе был. Что это, спрашивается, за отношение? Что мы — взрослые граждане или дети, или, того хуже, жулики, которых нужно в каждом шаге учитывать и ловить? Дальше, если ты, положим, хочешь пойти, по делу службы даже, в город, то должен написать ему записку, по какому делу идешь, и должен представить результаты сделанного дела. Потом: в канцелярии никаких разговоров. Если пришли, положим, знакомые, вот вроде тебя, то никоим образом в канцелярии не разговаривать, а отправляйся в приемную и кончай разговор в одну минуту.

Человек в коротеньких брючках даже встал и, стоя против посетителя, сидевшего в своей шубе на диванчике, упер руки в бока и посмотрел на него, как бы ожидая, что тот скажет. Но не дождался и продолжал:

— Доверия совершенно никакого к служащим! Если ты принесешь бумажку на подпись, так он ее раз десять прочтет, управдела позовет, спросит все основания и тогда только подпишет. Все страшно возмущены. В особенности этими автографами и запрещением входить посторонним в канцелярию. Что мы не такие же граждане, как он сам, не сознаем интересов государства? Ты подумай. Ведь это же оскорбительно, когда тебе на каждом шагу тычут в глаза, что ты жулик; если за тобой не смотреть, то ты со службы в город будешь бегать, вовремя на службу утром не приходишь, в канцелярии разговоры с знакомыми разговаривать! Ведь мы же интеллигентные люди! К чему эти жандармские приемы?

— Да, это не совсем приятно,— сказал человек в шубе.

Он еще что-то хотел прибавить, но вдруг оба его собеседника толкнули его и, вскочив, стали против него и начали плести что-то такое, отчего у посетителя на лице появилось определенное выражение испуга, как будто у него мелькнула мысль, что не спятили ли оба эти голубчика...

— Вы, товарищ, подайте заявление... во вторник будет заседание коллегии, там рассмотрят,— говорил один.

— Это вам не сюда нужно было обратиться, вы пойдете лучше в Цветметпромторг,— говорил другой, все время делая страшные глаза и косясь при этом куда-то назад.

По коридору к ним шел человек с остренькой бородкой, в синей блузе, с портфелем. И чем он ближе подходил, тем больше человек в коротких брючках работал глазами, а толстый тем усерднее убеждал посетителя подавать заявление. Наконец оба вздохнули и, посмотрев вслед человеку с портфелем, когда он отошел на значительное расстояние, сказали оба в один голос:

— Видал фрукта?

— Этот?

— Ага...

— А я думал, что вы оба спятили.

— Спятишь... даже пот прошиб.

— А с прежним хорошо было?

— Ох, лучше не вспоминать, сердце не растревлять... Вот был человек! Прямо как поступил, так призвал нас всех и сказал: «Товарищи, я назначен к вам начальником, но прошу помнить, что, уважая вас, я не признаю этого слова. Вы не хуже меня знаете, что от вашей работы зависит благосостояние республики, и это сознание для вас должно заменять всякое начальство».

— Выражения-то какие! — подхватил человек в коротеньких брючках: — «Не признаю этого слова!» Вот, брат! Вот это доверие, вот это уважение к личности.

— Да, здорово. И хорошо жилось?

— Ну, что там и говорить... Людьюми себя, одним словом, чувствовали, а не поднадзорными, как сейчас, какое-то самоуважение появилось. Бывало, идешь на службу без всякого неприятного чувства, как к себе домой, знаешь, что никто тебя проверять не будет, расписываться не заставят. Сейчас утром бежишь и то и дело

часы вынимаешь, как бы не опоздать! А тогда, бывало, идешь спокойно, и не думаешь: когда ни приди, никто тебя учитывать не будет. Бывало, раньше двенадцати часов и не приходили. Да и работу возьми: разве мы так работали, как теперь, когда точно каторжные сидим, не разгибая спины? Бывало, кто-нибудь из знакомых зайдет, с ним посидишь-поболтаешь, потом в город пойдешь, как будто по делу службы — все равно тебя никто учитывать не будет.

— Да, таких начальников поискать... Вот этот сейчас прошел, так оторопь какая-то берет, как только увидишь его, а прежний, бывало, что он тут, что его нету, — никто внимания не обращает. Бывало, когда уходят служащие, одеваются в раздевальне, так затолкают его. А он скромный такой, стоит в уголке, дожидается. Так последним и уходит.

— Да, приятный был человек...

— Еще бы не приятный... А возьми бумаги — когда принесешь ему, бывало, на подпись и начнешь объяснять, он только, бывало, скажет: «Вы говорите так, как будто я вам могу в чем-нибудь не доверять». Вот ей-богу! А записку там какую написать попросишь для знакомого. Он только спросит: «Вы ручаетесь за него?» — «Еще бы, конечно!» И готово — ничего больше не скажет и подпишет. Сколько народу он от всяких неприятностей избавил — не перечесть!

— Да, вот наша беда в том, что у нас хорошие люди почему-то не держатся, — сказал посетитель.

— Не держатся... — повторили оба его собеседника. — В чем дело?

— А где он сейчас-то?

— Прежний-то? Под судом. Как приехал Рабкрин, как начал раскапывать — оказалось, что служащие за делом проводили только одну треть рабочего времени, что по его запискам какие-то жулики свои дела устраивали и еще там — всего не перечесть. Мы-то знаем, что он тут не при чем. Ну, да ведь это в счет принимать не будут. Там сентименты не нужны. Да, такого начальника уж не будет... — сказали оба, вздохнув.



СТЕНА

Председатель правления одного из советских учреждений сидел у себя в кабинете, потом встал и стал зачем-то мерять комнату шагами вдоль и поперек.

Вымерив, остановился, погладил затылок и посмотрел вопросительно на стену, обведя ее всю взглядом.

Потом вышел из кабинета, заглянув в соседнюю комнату, где сидели машинистки, тоже провел глазами по стене.

Потом позвал управдела.

— Иван Сергеевич, а не находите ли вы, что из этих двух комнат можно одну сделать? Тогда бы тут заседания правления можно было устраивать. А машинисток наверх перевести.

Управдел тоже посмотрел вопросительно на стену, постучал по ней пальцем и сказал:

— Можно. Стену эту высадить — пара пустяков. И обойдется не дороже сотни, много — полторы, с отделкой.

— Ну, вот и прекрасно.

Через неделю председатель ходил по комнате, соединенной из двух в одну, мерял ее шагами и говорил:

— Вот это комната так комната! Только что-то она уж очень велика вышла?

— Это так кажется с непривычки, — сказал управдел. — Только вот машинистки недовольны, говорят, что их в собачью конуру законопатили.

— Потерпят, что ж делать-то!

А еще через неделю председателя перевели в другое учреждение.

Заступивший его место новый председатель пошел обходить учреждение для знакомства со служащими. Наверху к нему подошли машинистки и сказали:

— Нам здесь очень тесно, нельзя ли нас устроить там, где мы прежде были?

— А где вы прежде были? — спросил новый председатель.

— Внизу, где ваш кабинет.

Председатель спустился вниз и стал мерять шагами свой кабинет. Потом позвал управдела. Когда тот пришел, он сказал:

— Иван Сергеевич, а не находите ли вы, что из этой одной комнаты две можно сделать? А то машинистки жмутся наверху в этой клетушке.

Управдел обвел комнату взглядом и сказал:

— Пара пустяков. Ведь тут прежде стена была, возобновить ее ничего не стоит.

— Ну, вот и прекрасно. Теперь очень смотрят за тем, чтобы учреждения поэкономнее расходовали средства, а тут под кабинет председателя целый зал отведен. Это нам не по карману. А дорого это будет стоять?

Управдел почесал висок и сказал:

— Жалко, что мы не предусмотрели: у нас для этого материал был, пожгли его весь. Теперь придется покупать. Да я думаю все-таки, что не больше трехсот рублей обойдется.

— Тогда валите, лучше один раз истратиться, да потом сэкономить, а главное, машинисток жалко.

— Ладно,— сказал управдел.

А председатель стал вымерять комнату шагами.

— Это кто же ухитрился тут стену-то сломать? — спросил он, кончив мерять.

— Прежний председатель,— отвечал управдел.

— Это, значит, чего моя нога хочет?

— Вроде этого.

— Что ж, у нас как на это смотрят: деньги казенные, значит — вали! Небось, кабы его собственное предприятие было, он не стал бы кабинеты по десяти сажен разгонять.

— Да, ведь, конечно, как говорится, казна не обеднеет.

— Добро бы для людей делал, а то для собственного комфорта.

Через две недели председателя сменили.

Поступивший на его место новый призвал к себе всех служащих и спросил, не желают ли они высказать каких-нибудь пожеланий, так как он человек новый и не знает местных условий.

Служащие сказали, что особенно жаловаться ни на что не могут. Только вот по вечерам собираться негде, читальни нет.

И все увидели, как председатель поднял голову и стал водить глазами по стенам кабинета.

— В соседней комнате что? — спросил он.

— Комната для машинисток.

— Так. Ну, идите, а я подумаю.

— Что тут будешь делать! — говорил управдел, когда они все вышли из кабинета.

— И черт их знает, прямо, как домовой над ними подшутил, — воткнулись все в эту стену.

— Во что ж больше у нас воткнуться-то, не наружные же стены ломать, — сказал регистратор, обтирая перо о подкладку куртки, потом о волосы.

— Иван Сергеич, вас председатель кличет, — сказал курьер, просунувши голову в дверь.

— Что-то, кажись, клюнуло, — сказал управдел и пошел к председателю.

Новый председатель стоял у стены и постукивал по ней суставом указательного пальца.

— Что эта стена, толстая или нет? — спросил он управдела.

— Нет, не очень, вершка на два, я думаю.

— Вот служащие жаловались, что собираться негде. Может быть, ее того... Тогда получится хорошая большая комната.

— Это идея, — сказал управдел. — Высадить ее — пара пустьяков.

— Ну, вот и прекрасно.

— Готов! — сказал управдел, вернувшись в канцелярию. — Прямо, как муха на липкую бумагу попал! Ах, сукины дети, разорят вдребезги. Да и дом уж очень обезобразили: сарай какой-то посередке.

Через неделю в отчете, поданном председателю, стояло:

«За слом стены — 150 руб.

За восстановление стены — 300 руб.

За слом стены — 170 руб.».

— Теперь не миновать четвертого ждать, — сказал регистратор, — еще триста за восстановление заплатим, дом и в порядке опять будет!



МАШИНКА

Курьер одного из советских учреждений, сидя в коридоре на диванчике с решетчатой спинкой, вертел в руках какой-то пакет и говорил с раздражением:

— Ну, вот, где его нелегкая носит! Уж часа два, знать, как ушел, и все нету, а тут пакет срочный к двум часам надо доставить.

Сидевший рядом с ним человек в рваном пиджаке и больших сапогах, очевидно, дожидавшийся, когда откроют кассу, повернул к нему голову и сказал:

— С народом беда, все норовят прогулять.

— Он гуляет, а дело из-за него стоит, — сказал курьер, не оглянувшись на говорившего. — И все, ровно мухи, сонные ходят! А наших, вон, барышень возьми, нешто это работа! Все только в бумаги смотрят сидят.

Он махнул с раздражением рукой и откинулся на спинку диванчика, потом повернулся к собеседнику.

— А все потому, что строгости настоящей нет. Бывало, начальник войдет, так дрожат все, а нынче начальник — не пищи, а то сам вылетишь, вот и идет все дуром. Ведь в одиннадцать часов ушел! Где может пропадать человек?

Из кабинета напротив вышел служащий в пиджаке и косоворотке и, наткнувшись глазами на курьера, удивленно сказал:

— Товарищ Анохин, ай уж снес?

— Какой там снес — не ходил еще! Сухов куда-то запропастился, отойти нельзя. Ведь вот сукины дети!..

— Ты смотри, опоздаешь так. В такую лужу тогда посадишь, что и не выпутаешься.

— Да нет, опоздать не опоздаю, еще полтора часа времени есть, — только досада берет, что головы пустые, ничего с ними делать нельзя.

Служащий ушел, а курьер продолжал:

— Сейчас каждый против прежнего вдвое меньше работает. У нас уж чего только ни делают: и номерочки придумали, чтобы все вовремя на службу приходили,

и расписываться заставляли — ни черта не выходит. Вот этот Сухов пошел — там всего на десять минут дела, а он второй час где-то путается, — пойди его учти. Конечно, человек рассуждает таким манером: «Прохожу я час или десять минут, все равно я больше того, что получаю, не получу».

— Я вот кассира второй день дожидаясь, — сказал человек в пиджаке, — вчера сказали, что в банк ушел за деньгами, а покамест он ходил, четыре часа подошло, кассу закрыли. Сейчас тут сидит, а кассу все не открывает, потому что, говорят, счета какие-то проверяет.

— А у тебя у самого, небось, там дело стоит! — сказал курьер.

— А как же! Меня там двадцать человек десятников дожидаются, а тех своим чередом каждого, небось, человек по пятьдесят рабочих ждут. Я тут папироски вторые сутки курю, а они, небось, там тоже покуривают... Беда... А вот уж на серый хлеб перешли.

— С таким народом и на черный перейдешь, — сказал курьер и вдруг вскочил с места. — Вот он, лихоманка его убей! Где тебя душило? — крикнул он на вспотевшего малого в картузе, который показался в дверях с разносной книгой.

Малый снял картуз, утер рукавом лоб и, огрызнувшись, сказал:

— Где душило!.. Нешто их поймашь. Один придет, другого нет. Накладную выписали — подписать некому. А тут — глядь, закрыли. Там до часу только принимают.

— Э, черт!.. Ну, сиди тут, сам понесу, — вам поручи — и не обрадуешься.

Курьер снял с гвоздя картуз и пошел к двери.

— Пойду и я, видно, — сказал человек в пиджаке.

— Отдать бы нас на выучку к немцам, — сказал курьер, когда они вместе вышли на улицу, — вот это был бы толк. Вон, погляди, пожалуйста, как работают, — сказал он, указав на стройку, по которой ходили мужики в фартуках, — ты погляди, как он идет: вишь, нога за ногу заплетает.

— Что ж, он строит не себе, вот и ходит так.

— Да он и себе-то стал бы строить, все равно то же было бы. Вишь, теперь вовсе остановился, зевает на прохожих.

Когда курьер с человеком в пиджаке повернули за угол, в углублении около стены дома они увидели толпу:

стоявшие сзади приподнимались на цыпочки, стараясь заглянуть в середину.

— Чтой-то там? — сказал курьер.

— Так на что-нибудь глазают, — сказал его спутник.

Курьер поднялся на цыпочки. Там стоял человек и показывал машинку для резки овощей. Он брал морковь, всовывал в трубочку, вертел ручку, и из машинки выскакивали фигурные кружочки моркови. Все стояли и смотрели, подходили новые зрители и, приподнявшись на цыпочки, замирали на месте, глядя, как выскакивают кружки.

Покупать никто не покупал — очевидно, машинка никому не была нужна.

Некоторые, бежавшие очень поспешно, очевидно, по срочному делу, тоже вдруг останавливались и стояли довольно долго, с сосредоточенным молчанием глядя на выскакивавшие кружки.

— Купить что ли хочешь? — сказал спутник курьера, дернув его сзади за рукав.

— Нет, так посмотреть. Куда ж мне ее? И придумывают тоже. Вот людям делать-то нечего. Вместо того чтобы полезное что выдумать, они вон фигурки из моркови выдумали резать. Ой, мать честная, как бы не опоздать, — сказал испуганно курьер и хотел отойти, но в это время продавец сказал:

— А теперь я переставлю эту пружинку сюда, беру яблоко, кладу об это место и что происходит...

Курьер остался на месте, чтобы посмотреть, что произойдет. Но у машинки что-то испортилось, и продавец, сконфузившись, стал исправлять ее, а из публики стали доноситься иронические замечания:

— Села... — сказал кто-то.

— Покамест на машинке настругаешь, без машинки уж пообедать успеешь.

Остальные стояли и покорно ждали, когда будет исправлена машинка.

— Ну, это никогда не дождешься, — сказал курьер, повернувшись, несколько человек тоже отошло было, но в это время машинка оказалась исправленной.

— Теперь смотрите, что будет, — сказал продавец.

— А, будь ты неладен, — сказал курьер, — прстоишь тут, потом сломя голову бежать придется. — И стал смотреть, как яблоко начало вертеться на машинке и с него длинной полосой сходила кожица.

Иронические возгласы замолкли, повернувшиеся было уходить — остановились опять.

— Ведь что глупей всего, — сказал курьер, покачив головой, — машинка мне эта ни на черта не нужна, самому спешить нужно, а вот стойшь и смотришь. Вишь, сколько народу собрал, а у людей, небось, дело поважней его машинки. У, сукины дети!..

И он хотел было уходить, но в это время сзади кто-то сказал:

— Старичок, посмотрел — отходи, дай место другим, ведь все равно не купишь.

— Тут места не заказанные, — сказал курьер обиженно и упрямо продолжал заслонять собой дорогу хотевшему посмотреть человеку.

— Вот черт-то, — сказал человек, желавший увидеть машинку, — старый человек, а недотрога.

— Они тоже старые всякие бывают, — отозвался кто-то.

Курьер упрямо продолжал стоять, не оглядываясь, не обращая внимания на выпады против него.

— Теперь кладем сюда репу!..

Курьер машинально взглянул на городские часы, бывшие напротив, и вдруг, расталкивая толпу, бросился чуть не бегом по улице.

— Чтó он очумел, что ли? Вот чумовой черт! — говорил какой-то человек, прыгая на одной ноге, так как курьер отдал ему ногу.

— Так и знал, что опоздаю, — говорил курьер сам с собой. — Закрыто!

Когда он через полчаса вернулся измученный назад, служащий в косоворотке стоял в коридоре и с нетерпением поглядывал в окно на улицу. Увидев курьера, он бросился к нему.

— Где тебя черти душили?

— Где душили... нешто их, чертей, на месте найдешь! Один придет, другого нет. А тут два часа подошло — глядь, закрыли.



ЭКОНОМИЯ

Около трехэтажного дома, среди наваленных досок и бревен, сидели рабочие, готовясь приступить к ремонту.

— Тут до самого верху придется подмасти ставить, работы над ним пропасть, — сказал один в теплой куртке и шапке, посмотрев наверх.

— Да, работы немало, меньше двух месяцев и не сделаешь.

К ним, запыхавшись, подошел десятник и сказал:

— Ребята, а ведь дом-то, говорят, на слом пойдет...

— Как на слом?

— Да так. Два ведомства из-за него спорят. По одному должен ремонт быть, а по другому — его к черту надо, потому их план нарушает.

— А кого же слушать-то?

— Пока неизвестно. Сейчас борьба из-за этого идет. Наше ведомство говорит, что будет ремонтировать, потому у него все права на этот дом.

— А что ж они раньше-то сидели, ежели у них права? Схватились спорить, когда уж договор заключили и материалы закупили?

— Да они раньше и не знали про него, а как увидели, что собираются что-то орудовать над ним, так сейчас покопались в бумагах и сообразили, что имеют полное право предъявить свои права на него.

— Ах, головушка горькая, ну, видно, начинай, ребята!

К сидевшим поспешно подошел архитектор.

— Что ж вы сидите, полдня уж прошло, а у вас и не начато ничего, — сказал он, — по условию дом должны отремонтировать в два месяца.

— Да что же его ремонтировать, когда он, говорят, на слом пойдет? — сказали рабочие.

— Это еще неизвестно. Заседания коллегии не было. А мы обязаны к своему сроку сделать.

— За нами дело не станет. Ну-ка, Сидор, поддавай!

— Вот так работаем! — говорил через неделю десятник архитектору. — Неделя только одна прошла, а мы уж весь верх отделили.

— Да,— сказал другой, в старой ватной жилетке, без пиджака,— вон мы работаем, а там, глядишь, его судьба уже решена, дома-то нашего. А вдруг они опоздают, мы его отремонтировать успеем, пока они решать будут.

— Сломать никогда не поздно,— ответил рабочий в рукавицах.— Мы ремонтируем, а ломать другие будут.

— Ребята, ребята, поторапливайтесь, а то строительный сезон кончится, а вы будете по подмастям тут лазить! — крикнул снизу человек в фуражке с зеленым кантом.— Завитушечки-то эти получше сделай, чтобы нашу работу знали!

— В лучшем виде будет.

— Иван Семеныч, а ведь здорово работаем-то, ни одного дня не прогуляли! — крикнул сверху малый в обмотках.

— Весело глядеть, когда работа хорошо идет.

— Когда ломать будем, еще веселей глядеть будет,— сказал рабочий в рукавицах.— Уж третий дом вот так-то строим. Прошлый раз до второго этажа ремонт довели, а там опять другое ведомство вмешалось, сызнова начали, по другому плану дело ударилося.

— Что они, разных хозяев, что ли, ведомства-то эти? — спросил малый в обмотках.

— Известное дело — разных. Скажем, есть пути сообщения, есть народное хозяйство. У каждого — своя линия. Вот и орудуют.

— Ломали бы без ремонта, дешевле бы обошлось.

— Государству-то, конечно, дешевле прямо его сломать. Да ведь и то сказать — у каждого ведомства самолюбие есть. Раз оно имеет на него право, значит, и ремонтирует.

— А права потеряют — его сломают?

— Что ж сделаешь-то, и сломаешь. Ведь по закону ломать-то будут, а не зря. Вот в коллегии выяснят, кому им распоряжаться, тогда и обнаружится.

— Ребята, ради бога, завитушки получше делайте! — крикнул снизу человек с зелеными кантами.

— Да что вы об завитушках толкуете, будут вам завитушки в лучшем виде.

— Эй, черти, что ж гнилых досок-то таких напихали! — крикнул человек с зелеными кантами.— Прокофьев, поди-ка, брат, сюда. Ты что же это делаешь?

— Что делаю, все равно ему не жить. Что ж зря хороший материал-то гнать.

— Не жить... а если жить? Коллегия-то ведь еще не собралась. Что же тогда? Твоих полов на два года не хватит.

— В два года-то его десять раз сломать успеют. Нешто ведомств-то мало. На одном проскочил, на другое наткнется. Тут с самого начала бы надо какое-нибудь дерьмо ставить, тогда бы на одном материале сколько выгадали. Я вон за балки вчетверо дешевле заплатил. А ежели его ломать будут, что ж в них разбираться будут, какие я балки поставил? А там, говорят, дело совсем плохо: наши проиграют.

— Ну, тогда вали. И правда, жалко хороший материал-то гнать.

— Вот то-то и дело-то. Вон еще досок привезли, уж из них сейчас труха сыплется, а сюда они за милое пойдут. Нам же еще благодарны будут, что сэкономили.

Через месяц, когда уже были сняты леса, рабочие с утра толпились перед домом, заглядывали внутрь и, задрав бороды кверху, что-то смотрели, покачивали головами и толковали. В это время к ним, запыхавшись, подбежал человек с зелеными кантами и крикнул:

— Ребята, победа! Дом за нашим ведомством оставлен.

— Оставлен-то оставлен, да у него потолки загудели, — сказали рабочие.

— Как загудели?

— Да так. Доски-то гнилые ведь ставили, все насквозь и ухнули.

— Ах ты, черт, не угадали!..

— Нешто угадаешь... А и то сказать: убытку все равно никакого: ежели бы он к ним перешел, то ломать бы пришлось — значит, расход. А ежели теперь за нашими остался, поставить настоящие доски, вот и разговор весь, еще дешевле обойдется: то цельный ремонт и цельная сломка, а то только цельный ремонт и еще половина ремонта. В результате — экономия.

1927



ПАНИКА

Бухгалтер сидел над статистической сводкой, когда пришла жена со службы. В руках у нее был какой-то кулек.

— Где Лиза? — спросила она мрачно.

— Еще не приходила.

Жена села с кульком на диван и сказала:

— Сестрица витает где-то в облаках, ты занят своей статистикой, а о жизни думаю только я одна. У меня уже голова пухнет.

Бухгалтер машинально взглянул на ее голову и сказал виновато и испуганно:

— В чем дело, милочка?

— В том, что все бросились покупать крупу.

— Зачем?

— Я не знаю зачем, мне сказала сослуживица, и я только случайно нашла ее в одном магазине. Ее дают уже по два кило. Вот эти два кило. Мне неудобно идти во второй раз, иди ты.

Жившая рядом в коридоре, в маленькой комнатке за фанерной дверью, соседка, всегда любопытная к тому, что говорится и делается у соседей, тревожно прислушалась и сейчас же зашуршала у себя кулками.

Бухгалтер, надев пальто, поспешно убежал, жена только успела вслед крикнуть ему:

— Шляпу задом наперед надел!

Когда пришла сестра Лиза, старшая сказала ей:

— Надо скорее покупать крупу... уже почти нигде нет... никому только не говори, а то последнюю растащут. Позвони Лене, чтобы она и себе и нам покупала и принесла бы стеклянных банок.

— Ей лучше бы не звонить, она паникерша...

— Тем лучше, значит, энергичнее примется за дело, — ответила старшая. Она взволнованно шагала по комнате и распоряжалась, как брандмейстер на пожаре.

Лиза позвонила и, обратившись к сестре с трубкой телефона в руках, сказала:

— Лена спрашивает, сколько банок нести.

— Чем больше, тем лучше.

Через десять минут вернулся бухгалтер.

— Милочка, я забыл адрес магазина, но...

Старшая сестра подняла глаза к небу и бессильно уронила руки.

— Но... — испуганно продолжал муж, — но я зашел в первый же попавшийся, и мне без всякой очереди отпустили четыре кило. Вот кулек!

Жена, мгновенно вернувшаяся к жизни, радостно схватила кулек, но сейчас же руки ее, державшие кулек, замерли.

— Да, кулек!.. А в кульке-то что? Где же тут четыре кило?

И как бы в ответ ей из угла кулька тонкой струйкой потекла крупа.

— Держи, держи ее! — крикнула сестра.

Бухгалтер озадаченно посмотрел на кулек.

— То-то мне все руку что-то щекотало, когда я нес, — сказал он.

— Лиза, одевайся, — сказала жена мрачно, — где этот магазин? Ничего не понимаю, после какого переулка повернуть налево?

— После третьего, а потом...

Сестры, не дослушав, ушли. Когда они спустились с лестницы, Лиза, вдруг остановившись и посмотрев себе под ноги, сказала:

— Вот она!

— Кто?

— Дорога, по которой он шел.

Старшая сестра посмотрела себе под ноги и, хотя уже смеркалось, ясно увидела тонкую струйку крупы, которая вела к воротам.

— Надо спешить, пока не стемнело.

Сестры быстрым шагом пошли и в воротах столкнулись с соседкой, которая что-то несла под полкой...

Иногда дорожка из крупы обрывалась и они теряли путь, тогда обе растерянно начинали метаться и искать под ногами пешеходов, как ищут что-нибудь в кустарнике.

— Вот в этом месте у него, наверно, перестало щекотать, — саркастически замечала старшая. — Он не больше двухсот грамм рассыпал — всю дорогу двумястами не усыплешь...

— Слава богу, что пешеходы ногами подавили, хорошо видно,— говорила вторая,— а то уж совсем темно.

— Да уж чего же лучше... Вон, к магазину поворачивает. Приотстань немножко, а то заметят, что мы вместе пришли.

Когда они вернулись, третья сестра (паникерша) уже ждала их.

— Достали? — тревожно спросила она.

— Достали, нам по пяти кило удалось взять.

— А я почти всех знакомых успела обзвонить,— сказала третья,— просила купить для вас крупы, если в их районе еще есть. Даже просила пшена взять, если крупы уже не будет. Можно пшена?

Старшая сестра оглянулась на вторую и сказала:

— Вот видишь, я же говорила.— И, обратившись к паникерше, прибавила: — Зачем же ты всех-то обзвонила?!

— Но я очень осторожно говорила,— поспешно ответила та.



В течение всей пятидневки раздавались звонки. Звонили знакомые и осторожно спрашивали, не собирается ли куда ехать бухгалтер? Потом осторожно добавляли, что поручение выполнили и, кстати, запаслись сами. Очень благодарят за предупреждение.

Раза по два в день звонила третья сестра и обычно говорила:

— Взяла еще макарон, они долго лежать могут... не нужны ли ушки, они могут заменить макароны?

Шкаф для продуктов был так набит, что туда уже ничего нельзя было поставить, но крупы хозяйка никому не давала.

Однажды бухгалтер сказал:

— Что же ты целый шкаф крупы навалила, а никогда каши не сварить?

— Нет, уж ешьте что-нибудь другое, а это — неприкосновенный запас.

Иногда заходили знакомые, прихватив с собой пакетик с крупой, и, посидев некоторое время, уходили, обмениваясь впечатлениями:

— Что-то она какая-то странная стала.

— Да, что-то ненормальное есть...

Однажды она вернулась со службы чем-то расстроенная и раздраженная, ища что-нибудь, расшвыривала все в комнате и говорила, что в этом доме никто ничего на место не кладет. И носилась как буря по коридору, только было слышно, как топотали ее башмаки.

Соседка тревожно прислушивалась у себя за дверью.

К обеду в этот день во все блюда была запихана каша: щи с кашей, лец с кашей.

Даже кошкам сварили каши. Они долго ее нюхали и потом, отряхнув лапы, отошли и обиженно сели под диван.

После обеда позвонила третья сестра, и когда к телефону подошла Лиза, то сказала ей:

— Я лично для тебя достала три кило фасоли, не говори Соне, а то она обидится, что ей не взяла. А ей взяла пять кило крупы, у нас ею все магазины завалены.

— Что она звонила? — спросила старшая сестра у Лизы.

— Говорит, что достала для тебя пять кило крупы, в их районе все магазины ею завалены.

Старшая сначала ничего не сказала, только щеки у нее покрылись красными пятнами, потом она заметила:

— Какой идиоткой надо быть, чтобы покупать пять кило, раз у них все магазины ею завалены.

Вечером пришел знакомый инженер. Хозяйка разливала чай с каким-то взвинченным видом и была необыкновенно мрачна. Она только спросила:

— Как здоровье тетушки?

— Ничего, благодарю вас... она только странная какая-то стала.

— А что?

Инженер замялся, потом сказал:

— Так, ничего особенного, только наблюдаются некоторые ненормальности в поступках.

— Может быть, от старости?

Хозяйка замолчала, посидела некоторое время, потом вдруг неожиданно спросила:

— Николай Васильевич, вам крупа не нужна?

Инженер в это время подносил ко рту стакан. При этом вопросе он так вздрогнул, что обжег себе губы и расплескал чай. Потом густо покраснел, так что уши налились кровью, и сказал:

— Что это, насмешка?

— А что? Какая насмешка?

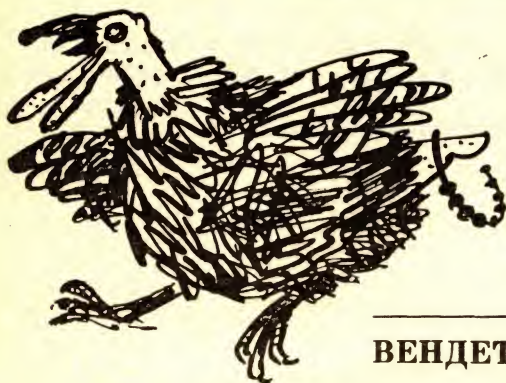
— Вы прекрасно знаете, какая... Во всяком случае, это уже становится неостроумно.

— Да что такое?

— То, что тетушка меня целую неделю кашей кормит, и теперь, куда я ни приду, мне везде предлагают крупу.

Он встал и, не попрощавшись, ушел.

1936



ВЕНДЕТТА

В Валеже, в деревеньке, когда четыре года тому назад делили с молитвой и фальшивыми саженьями церковную огородину, на меже, разделяющей отцовские капустные владения, посадили черешню, как растение безобидное и вполне угодное богу.

Пакостное дерево, вначале не возбуждавшее своим скромным существованием никаких сомнений и вожделений, неожиданно и в изобилии уродило через два года прекрасную, сочную и мясистую ягоду, в рассуждении которой и зачался великий церковный спор.

Поп, отец Сильвестр, доказывал, что хотя писаниями святых отцов черешневые дележки и не предусмотрены, урожай, соответственно его, отца Сильвестра, ангельскому чину и пастырскому старшинству, целиком принадлежит ему, с отчислением десятой ягоды на благолепие храма. Диакон же Гордия, обуреваемый чувствами, соответствующими его православному имени, а также будучи заражен еще с приходской скамьи тлетворными идеями, настаивал на равенстве и после многих ссылок на мифические циркуляры Наркомзема о ягодном распределении, став в позу, зачитал даже под спорным деревом Христову притчу о малых мира сего.

Конфликт, однако, разрешен не был, отцы разошлись в гневе, напутствуемые взаимными, приличествующими случаю пожеланиями, и когда вечером отец Сильвестр, неся ведра и лукошки, вышел со чадами на межу, у черешни он был встречен Гордием и Гордиевой матуш-

кой во всеоружии домашнего инвентаря, с обеда окóпавшимися у спорного места в оборонительной позиции.

Не будучи награжден от бога физической силой, одержимый многими немощами, отец Сильвестр не принял перчатки, но после длительных, красноречивых и безрезультатных увещеваний на расстоянии удалился с пустыми ведрами, поклявшись отомстить и незамедлительно сообщить по епархии о непристойном диаконовом вольнодумстве.

Диакон Гордия ободрал все же победоносно свою черешневую половину, но на утро вышедшая на огород за укропом Гордиева матушка обнаружила на грядках неожиданную и таинственную пропажу лука в количестве 118 считанных пучков. Лук повыдерган был злонамеренно и мстительно, до глубины корней, а следы кованных сапог припадавшего на левую ногу отца Сильвестра не оставляли сомнений в личности ночного вредителя. Диакон Гордия целый день пребывал в тягостном и мрачном раздумье, ночью же, приняв все необходимые меры предосторожности и вооружившись ржавыми садовыми ножницами, срезал на корню всю Сильвестрову рассадную капусту и долго швырялся увесистыми кочнами в грязный и заросший, вздымавшийся горой пруд. Это была ошибка; плававшая в пруду капуста была обнаружена, и отец Сильвестр, ввиду отсутствия лодки раздевшись и самолично залезши в ряску, фыркая и загребая ладонями, стал сгонять ее к берегам.

Гордием, однако, наблюдавшим за вражеским маневром со стратегического поста на голубятне, своевременно выдвинут был в качестве неожиданного резерва взъерошенный бобылкин сын Степка. Степка, получив по договору четыре куска рафинада, обходным рейсом в осоках подобрался к пруду, стащил Сильвестрову одежду, одежду закинул далеко в лозу, и отец Сильвестр, изрыгая проклятия и грозя кулаками Гордиеву дому, вынужден был при явном ликовании толпы сопровождавших его ребят проследовать в дом нагишом и на рысях.

Вендетта разгоралась. В отсутствие диакона, купно с матушкой на зорьке ушедшего по грибы, в диаконовой кухне все горшки и сковородки сплошь залиты оказались красноватым и зловонным настоем из пупырчатых воющих мухоморов. Диакон ответил тем, что, изловивши Сильвестрова полупудового индюка, дочиста общипал индюку хвост и место, где хвосту от бога положено быть,

украсил противоестественным и символическим ожерельем из злополучных черешневых косточек. Тогда матушке Гордиевой, любившей в послеобеденную пору предаваться божественным размышлениям в садике, на соломенном мате, и уснувшей, вставил кто-то в ноздрю зажженного ватного «гусара», матушка, очнувшись в удушающем дыму, с испуга заболела животом и пребывала в строжайшем воздержании и молитве св. Власию¹ об избавлении скотов от зверей хищных целую седмицу.

Гордий, диакон, осерчав, выловил хитростью, на особый силок, сову в перелеске, пронзив ей лапу шипом, и пустил в Сильвестров ненавистный хлев. Стоявшая в хлеву, готовившаяся стать матерью рябая и бельмастая Сильвестрова кобыла Галька под дикий свист и клокотанье разъяренной совы заматалась тревожно, запрыгала и преждевременно разрешилась от бремени мертвым жеребенком. По случаю того обстоятельства, что бельмастая Галька всесторонне была застрахована, отец Сильвестр вступил с госстрахом в длительную и совершенно фантастическую переписку, за полгода возросшую в знаменательное «Дело о мертворожденном сосуне» в 104 канцелярских листа; и когда дело это кончилось ничем, отец Сильвестр, чаша терпения коего в обстановке непрекращавшихся актов диаконовой мести изошла, публично предал Гордия анафеме и изгнал его из храма, как оглашенного. Гордий же при помощи весьма хитроумных сооружений подпилит и свалил лестницу на колокольню, чем лишил Сильвестра возможности извещать православных христиан о воскресных господу богу служениях.

Оба они архиерейским указом приговорены были к совместному, в присутствии прихожан, коленопреклоненному отбиту покаянных поклонов, но когда били поклоны, диакон сыпал в цветной коврик колючую и сухую, впивавшуюся в Сильвестровы колени гречку, а Сильвестр потаенно выпиливал в полу под ковриком квадраты, и диакон, воздевши в молитве очи горе, в самый патетический момент, теряя равновесие, летел внезапно вперед, набивая на лбу красные и блестящие шишки.

Православные христиане в эти покаянные часы битком набивали пустующую обычно церковь, как сборную на спектакле, грызли в ладонь подсолнухи, жевали яблоки и принимали, советами и репликами, живейшее участие в жестоком церковном единоборстве.



Когда отцы по широкому приговору покидали деревню, диаконова лошадь, раздраженная подвязанными к внутренней стороне хвоста репьями, понесла, лягаясь, с первых шагов, и диакон, потеряв круглую широкополую шляпу, с развевающимися волосами прыгал, как мячик, на взлетавшем в ухабах возу; у отца же Сильвестра на второй версте вспыхнул в подводе пожар, причиной которого по ближайшем рассмотрении оказался всыпанный во все четыре втулки мелкий и тщательно высушенный песок.

1924



ПИЛА

Летом в заготовительный район одной из спичечных фабрик в Полесье прибыла американская пила-автомат. Ее установили, и пила начала работать, показав отличные качества конструкции и огромную продуктивность. Появление ее вызвало большой интерес среди сезонников, работавших на заготовках; едва автомат пустили в ход, мужики толпами повалили смотреть на диковинную машину. К пиле во избежание несчастных случаев была приставлена специальная охрана.

На второй день, в обеденный перерыв, у автомата собралась особенно густая толпа. Пила работала, но охрана разошлась по баракам; монтер дремал в будке, и у машины, кроме подкладчиков, остался дежурить только сторож Фомка Сизых, которого сезонники звали Филином. Мужики, заткнув топоры за пояса, густо окружили пилу, обсуждая ее качества и недостатки.

— Вот чешет, вот чешет! — восторженно сказал маленький, коренастый мужичок в рваной, вывернутой подкладкой наверх шапчонке, глядя, как летят тучи золотистых опилок из-под горячих зубцов. — Хоть топорнице подложи и то перекусит! И как это, братцы, доходят люди головой?

— Стало быть, содержание такое имеют,— сказал второй сезонник.— Такую клепку в затылке.

— Клепка у всех одинакова.

— Одинаковых и яиц из-под курицы не бывает, а то люди! У одного — в руках сила, у другого — в голове. Американцы на что хитры, а немцы еще хитрей. До чего дошли — из бурьяна хлеб пекут, из воздуха сахар делают.

— Неужто из воздуха?

— Обязательно. Поставит, сукин сын, змеевик, с одного конца воздух качает, а с другого песок сыпется или рафикат.

— И ты видал?

— Я не видал, пленные говорили.

— Что ж у нас-то зевают?

— И у нас один пробовал, в нашей деревне. И змеевик справил и насос достал.

— Ну?

— Ну и посадили в чиговку. У него не сахар получился, а самогон.

В толпе захохотали. Некоторое время все молча наблюдали размеренный и стремительный ход зубцов. Тяжелые обрубки с непостижимой быстротой вылетали из-под станка и точно отбрасываемые чьей-то невидимой и сильной рукой катились далеко в сторону.

— Осину здорово берет,— сказал опять коренастый мужичок,— а если, скажем, дубок под нее пустишь, стоянок? Возьмет?

— Возьмет! — авторитетно сказал сторож Фомка. Приставленный к пиле, он чувствовал себя героем дня и важно прохаживался вдоль станка, независимо сплевывая сквозь зубы.— Должна взять, раз американская.

— А я думаю зачкнется.

— А ты не думай! — обиженно сказал Фомка.— Кулик на болоте думал, думал да и сдох. Она не то что стоянок, она и семивершковый возьмет.

— Не, не возьмет, откажет! — скептически сказал второй сезонник.— Если бы немецкая была, та бы взяла, а у этой филенка жидка.

Мужики выжидательно молчали. Фомка был уязвлен и почувствовал, как начинает меркнуть ореол, которым он, как ему казалось, был окружен вместе с чудесной машиной.

Он нахмурился и сердито сопел, размышляя.

— Давай,— сказал он вдруг решительно,— неси со штабеля!

Несколько человек, точно они только и ждали этого, кинулись к штабелю и выбрали самый толстый и узловатый дуб. Пила перерезала его почти с тою же легкостью, с какой пропускала легкие осиновые стволы.

— Взяла, стерва! — восхищенно сказал мужичок в шапке подкладкой наверх. — Как травинку перекусила! А корень примет?

Пила приняла и корень, твердый, как булыжник; она только взвизгнула слегка, на секунду замедлив ход.

— Плачет,— сказал второй сезонник,— просится. Если бы немецкая была, она бы не просилась! Немецкая, говорят, и мокрый берет, мореный!

— И наша возьмет! — входя в азарт, крикнул Фомка и заломил шапку набекрень. — Давай мореный!

Принесли толстый аршинный обрезок разбухшего и тяжелого мореного дуба. Подкладчики, с интересом наблюдавшие за опытами, едва подтащили его к станку. Пила сразу пошла тише, с трудом врезаясь в мокрую плотную древесину; она стонала и дрожала, как живое существо, изнемогающее в лихорадке. Все-таки она одолела и мореный дуб.

— Ишь ты! — удивленно сказал второй сезонник. — Взяла, не подавилась! А это проглотить?

И он поднял и кинул под зубцы жестянку из-под консервов, валявшуюся у станка. Взвизгнув с возмущением, пила перекусила ее пополам. Тогда все, сгрудившись и с любопытством заглядывая внутрь, под валики, стали кидать на зубцы, что попадалось под руку: гвозди, куски проволоки, обломки кирпичей. Пила стонала, но без отказа резала и крошила все, что попадало в станок.

— Клади, она все возьмет! — восторженно кричал, бегая вокруг, сторож Фомка. — Мать честная! Хотя рельсу положи, и ту возьмет, не выплюнет!

— А вот мы ей на закуску дадим! — сказал мужичок в рваной шапке. — Неужто и это слопает?

Он взял железную штангу и с помощью двух добровольцев из толпы глубоко вогнал ее в деревянный обрубок. Втроем с подкладчиком они подняли тяжелый, начиненный железом ствол и кинули его под зубцы.

— Господи благослови! — сказал мужичок в рваной шапке.

Все смотрели с любопытством. Пила легко взяла дерево, но, дойдя до штанги, с визгом забуксовала. Несколько секунд она скользила взад и вперед, скрежеща зубцами, по железу, потом послышался треск, из-под валиков вылетел, сверкнув, один сломанный зубец, за ним другой, третий. Автомат остановился. На искалеченной пиле не хватало шести зубцов, остальные были помяты, погнуты и свернуты набок.

— Не взяла, значит! — сказал второй сезонник. — Если бы немецкая была, может еще и взяла бы, а у этой кишка тонка. Спортилась, отказала. А ведь немало, чай, червонцев заплатили. И червонцы-то наши, не чужие!

Из будки, ругаясь, бежал монтер.

— Что вы наделали, черти?! — кричал он, всплескивая руками.

— Да ведь мы так, попробовать! — сконфуженно сказал мужичок в рваной шапке.

1932



ТОВАРИЩ ИЗ ЦЕНТРА

Имя этого человека, как вождя революционного пролетариата, известно всем, кроме отставных заштатных экзекуторов, не переносящих современной прессы по причине беспокойного тона, но предпочитающих преимущественно чтение «Русского паломника» отца Иоанна Кронштадтского за 1884 год². Он является одним из руководителей мирового рабочего движения, и в книге о днях, которые потрясли мир, о нем сказано, что у него прекрасное лицо и глаза фанатика.

Товарищу, во времена, когда спор между вошью и социализмом собственно был уже разрешен в пользу последнего, но составы ходили еще теплушечные и имели в хвостах делегатские, штабные и особого назначения вагоны (не так давно это было, и мало что изменилось с тех пор в пошехоньях), — товарищу пришлось по одному делу побывать в городке, недалеко от

Москвы и прославленном в России изобилием несравненных сереброголых соловьев.

Городок, впрочем, известен еще и тем, что некогда путешествующим англичанином он отмечен был в газетных письмах и дневниках как крупнейший центр русского кожевенного производства. Англичанин, увязив возок, восемнадцать часов просидел в невылазной грязище перед каменной лавкой, где торгуют гужами, сбруей и хомутами; англичанин дремал, и в дреме гужи и хомуты с расписными ушками противоестественно помножились в английских глазах.

Телеграмма о приезде товарища из центра получена была в городишке накануне и сразу всколыхнула мирное уездное житие, так как решено было перед столицей не ударить лицом в грязь.

На центральную лужу перед гужевой лавкой, не поддающуюся, вообще говоря, никакой мелиорации, наведены были понтоны, лужа устлана была многими днищами старых цементных бочек и стала относительно проходимой.

Пине Клейнерману, владельцу единственной в городе столовой, на дверях и окнах которой висели рукописные таблички «кошер», категорически было предложено готовить на ближайшие дни вполне трюфную телятину с луком, и Пиня, ужасаясь собственным поступком, снял с окошек таблички и осквернил кухню двумя клеймеными тушами, в вечерней молитве предусмотрительно отведя, однако, грех на голову старшего уездного милиционера.

Из гостиницы, имевшей на фасаде странную, непричастную к делу вывеску — «Лесной склад, рыба-соль» — и располагавшей всего двумя жилыми номерами, выселен был срочно заезжий, всемирно известный по силе и непобедимый в борьбе с медведями чемпион Корень, а номерной получил боевое задание в двадцать четыре часа извести клопов и прусаков, в изобилии находившихся в гостинице «Рыба-соль» под драными и линялыми обоями. Конечно, легко сказать! Конечно, номерной, получив на сей предмет из хозчасти УИКа двенадцать фунтов керосина, в поте лица своего проработал на кровавом поприще до вторых петухов, жег, травил и давил клопов подсвечником, пестиком и ногами, но проклятые насекомые переползали с места на место, прятались в глубоких щелях и под утро, разъяренные, устроили дикую вакха-

налию, стайей накинувшись на заснувшего истребителя.

Исполкомскому кучеру, мрачайшему пессимисту, утверждавшему, что лошади пьяного его не уважают, и крайне редко поэтому появлявшемуся на козлах, признали у местного дьячка рясу. Рясу стянули в талии, обшили борты гарусом, прицепили на спине красные помпоны, и получился несколько экзальтированный, но приличествующий все же случаю ямской кафтан «а-ля-рюсс».

Товарища из центра выехали на вокзал встречать представители всех ведомств, во главе с предуиком Афанасием Ильичем. Когда, громыхая, подошел поезд, представители ведомств толпой осадили единственный классный вагон у паровоза; вагон был, однако, заперт; в вагоне мелькал дамский чепчик, а на площадке, привязанная к тормозу, стояла понуро безрогая коза. Представители ведомств стояли растерянно, уставившись в зеркальные вагонные окна, и никто не заметил, как человек в худом пальтишке, в сапогах, не доходящих до колен, выпрыгнул из теплушки, боковой калиткой прошел с платформы, сел и уехал в город на крестьянской труской телеге, на лошаденке, являвшей дикую российскую помесь верблюда с овцой.

Мужик, который вез его, рассказывал впоследствии, что человек оказался *пролетаристом*, — «а думали, весь он чисто в пуговках будет», — и разговаривал по-простому и многим интересовался по хозяйству. Он, мужик, высказав несколько общих мыслей по поводу того, что «сила наша грязная, работает, покель споткнется, а такциев труду крестьянскому нету», рассказал, в частности, о собственной пегой кобыленке, которая сохнет с *вороньего глаза*, о том, что казенный фельдшер за лечение скотины требует самогон, по ведру с головы, — и человек, товарищ, пролетарист, обещался *вставить фельдшеру колокольчик в дугу*.

Представители ведомств и предуик Афанасий Ильич, проторчав на вокзале, пока чистили в паровозе дымоход, полтора часа — на казенных парах, мрачные и молчаливые, вернулись в городок.

Исполкомский сторож Ефим — Евхим тож, — встретив у входа грозного, как туча, Афанасия Ильича, сказал:

— Там пришел, сидит какой-то с папкой.

— Ну, и черт с ним! — раздраженно сказал предуик.

В сопровождении представителей ведомств предуик прошел в комнату, где за столиком, спиной к двери, сидел, развернув газету, приехавший человек, и сказал, в сердцах ударив по столу кулаком:

— Надул, черт бы его драл! Сколько кутерьмы подняли...

Человек, сидевший за столиком, повернулся и сказал, усмехаясь:

— Здравствуйте, товарищи!

Он посмотрел затем на перекосившееся внезапно и ставшее багровым предуиково лицо и, подавляя улыбку, вышел поспешно в соседнюю комнату. Минуту стояло тяжелое молчание.

— Зарезали! — хрипло сказал, наконец, предуик представителям ведомств. — Раззявы! Осрамили...

Товарищ из центра пробыл в городе всего день, избежав ночных кошмаров гостиницы «Рыба-соль» и не отведав трэфной телятины кухни Пини Клейнермана, но закусив в уюме колбасой с булкой.

Под вечер ему подали тройку. Товарищ из центра отказался от тройки, засмеялся весело, увидев красные помпоны на кучерской рясе, просил не беспокоиться провожать его и уехал один, снова взяв очередной мужичий воз. Из окон исполкома представители ведомств долго смотрели, как он подпрыгивал на ухабах в трусском возке.

Предуик в глубоком раздумье сказал:

— На тележке ездит, странно... А спрашивал ли кто-нибудь у него документы?

1932



МЕДВЕЖЬИ УСЛУГИ

Угодять начальству — сложная, тонкая, нежная наука. Она становится бесполезной в круге практических знаний, необходимых иным преуспевающим в советском аппарате личностям. Теория этого дела совсем не разработана. Практика угождения робко и слепо продвигается вперед, вне всяких законов, вкривь и вкось, часто принося угождающему совершенно обратные результаты.

Учебники нужны! Книги, многие тома!

Ведь не только техника — сама основная методология угождения еще совсем не разработана. Простейшие вопросы не решены. Драгоценнейшие руководства по угождению Гоголя и Щедрина — увы! — устарели.

Как угождать — тонко или грубо?

В каких случаях тонко, а в каких — грубо?

Поди-ка, разберись. Иной ревностный чин и рад бы угодить и старается изо всех сил, а все мимо. Перелет или недолет.

А вот недавно при мне редактор губернской газеты взял трубку и позвонил председателю губисполкома:

— Товарищ Гвоздилин! Говорит Угождаев! Статью вашу, товарищ Гвоздилин, получили. Сегодня печатаем. Но только должен вам, товарищ Гвоздилин, сказать прямо, откровенно, как партиец партийцу, невзирая на то, что вы по положению меня выше: вас, товарищ Гвоздилин, надо расстрелять!

Телефонная трубка заверещала, по-видимому передавая недоумение. И Угождаев немедленно мотивировал:

— Да, товарищ Гвоздили́н, расстрелять! Непременно расстрелять за то, что вы не пишете нам статей в газету ежедневно. Такой талант в вас пропадает, а вы — хоть бы хны. Вот вы и тему взяли скучную: «Надо упорядочить хлебозаготовки». А какой стиль! Какие мысли! Какие образы! Марат плюс Плеханов, плюс Анато́ль Франс, плюс Пильняк и Грибоедов! Стыдно, товарищ Гвоздили́н, зарывать талант свой в землю! Нам нужны крупные организаторы, но мы не можем терять в вас и газетного мыслителя! Простите, что говорю прямо, хоть вы и начальство...

Это был ни перелет, ни недолет. Это было в точку. И я несколько не удивился, когда вечером на пленуме Гвоздили́н указал мне на Угождаева с искренней симпатией и разъяснил:

— Редактор наш. Хороший мужик. Прямой, резкий, правду-матку в глаза режет — и тем хорош. В людях умеет разбираться!

...Трудная штука — угождение, слов нет. Но — хвала судьбе! — есть пути, которыми всякие трудности можно преодолеть. По мере сил мы придем на помощь читателю, в ближайшее время укажем ряд простейших приемов угождения, которые можно запатентовать как безусловно действующие.

И первая, самая надежная подмога для угождения горячо любимому начальству кроется в природных богатствах нашей страны.

Есть ли в вашем ведении, дорогой читатель, хороший бор, где можно выследить медведя?

Или несколько озер? Тихих заводей, заброшенных болотеч, нежно пахнущих зеленой гнилью, где режут тину утки, сжимая охотничье сердце сладкой дрожью?

Вы работаете в степи? Но разве нельзя снарядить таратайку, пошарить перепелок? Поискать в небе дроф, жирных дудаков тож?

Вы служите у моря? Но разве у берега перевелись дикие гуси, бакланы?

Вы заброшены в горах? А козы? А кабаны? А фазаны?

У вас ничего нет, кроме паршивой речки? Но и на паршивой речке гостеприимный хозяин устроит хорошую ловлю, даст гостю повыдергать окуней, ершей, налимов!

Любите природу, дорогие товарищи, и она отплатит вам сторицей! Ваше начальство, посетив вас и будучи угощено хорошей охотой, переживет в вашем обществе

такие минуты, после которых всякое понижение вас по службе будет казаться ему диким нарушением здравого смысла и товарищеской солидарности.

Пример одного из уральских металлургических трестов говорит о том, как много может сделать в области угождения прямому начальству умелое использование животного мира.

Приехало ревизовать трест московское центральное ответственное лицо. И только началась ревизия, как в лесничество на Чусовую полетела телеграмма:

«Ввиду приезда центра ответственного работника ВСНХ немедленно проследите медвежьи берлоги приготовьте все для охоты медведя тчк Подпись номер».

Ответственное лицо могло лично убедиться в том, насколько четко и быстро работает ревизуемый аппарат. Немедленно по получении директорской телеграммы лесничий сообщил по курениям:¹

«Срочно проследите медведей и берлог тчк Будет ответственная охота».

И курени двинулись. И поперли в лес. И взялись за трудное дело без промедления. Ибо какие тут могут быть шутки, ежели ответственная охота и товарищ из Москвы!

Аппарат прекрасен. Медведь обнаружен. Но разве мало сообщалось у нас о несознательности медведей? Мишка — он что! Не член профсоюза, начальства не боится, дожидаться его не хочет. Ждать не станет, уйдет дальше в лес, подведет лесничего и многих других членов профсоюза. А посему вполне естественны принятые меры, о коих сообщено в дирекцию треста телеграфом:

«Медведь найден тчк Берлоге посменное дежурство рабочих три смены тчк Подпись номер».

Всадил московский гость пулю меж мишкиных глаз? Или пропуделял? Нам точно неизвестно.

Все равно, каков ни был исход охоты, придумано было хорошо. Пусть послужат уральские трестовики образцовым примером умелого угождения. В наше время «медвежью услугу» в советском учреждении надо понимать не как услугу медведя, а как услугу медведем. Не зря да будет сказано:

— Если у тебя есть тетерка — уступи ее начальству. Если у тебя есть заяц — уступи его начальству. Если у тебя есть тигр — уступи его начальству. Пусть оно, начальство, стреляет. Ибо ему, начальству, виднее.

1926



ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ФЕЛЬДШЕРОМ

В раннем детстве я мечтал стать извозчиком. Все приятные стороны этой профессии были мне ясны. Обратная же сторона извозничьего ремесла моим аналитически неокрепшим умом слабо учитывалась. Едешь-едешь сколько душе твоей угодно — на козлах, кнутиком помахиваешь, а если захочешь — можешь покатасть маму, папу и дядю. И никаких забот.

Поздней меня тянуло стать дирижером (я машу палочкой, а все играют), главнокомандующим (я иду, а все вытянулись во фронт), моряком и пожарным.

Однажды пришел к отцу фельдшер. Ставил ему банки, тыкал свечой в мокрые стаканчики, разукрасил спину багровыми кружками. Потом собрал весь инструмент в клеенчатый чемоданчик, получил тридцать копеек, буркнул «ваздровьице» и скрылся. Алчное воображение, гнавшее к занятию всех без исключения ответственных и безответственных постов, заглогло во мне зависть и к фельдшеру.

Теперь я стал скромнее в своих желаниях. Нисколько не стремлюсь к красочной карьере извозчика. Уступаю более достойным лавры дирижера, полководцев, адмиралов и брандмейстеров. И совсем уж не стремлюсь в фельдшера.

Какой из меня фельдшер! Банки на спины шлепать — это еще дело десятое. С этим справился бы. Вот попробовал бы в Купянском округе, в селе Верхняя Свердловка, поработать для смычки при содействии местных властей.

Верхнесвердловским крестьянам надоело ездить лечиться за пятнадцать верст. Они организовали комитет Красного Креста, собрали членские взносы, открыли амбулаторию, хотели раздобыть доктора, но разжились только на фельдшера.

Оказался фельдшер не хуже иного врача... Вересаев рассказывает, что бывают светила медицинской науки, что при виде падающего в обморок сами кричат: «Доктора, доктора!» А есть такие фельдшера, что делают

больному перочинным ножом трахеотомию горла — и спасают человека.

Верхнесвердловский фельдшер поставил амбулаторию так, что впору любой больнице. Посетители съезжались из далеких районов. Стали щедро сыпаться членские взносы. Организация росла с каждым днем. Верхнесвердловцы, особенно безлошадные бедняки, радовались тому, что можно полечиться, не таскаясь за полтора десятка верст.

Год продержалась амбулатория, окрепла, а на втором году достигло ее тяжелое... содействие местных органов власти.

Объявлено крестьянам, что, внемля их тяжелому положению и не желая вводить народ в расход, райисполком берет амбулаторию на свое содержание и освобождает сельский Красный Крест от финансирования одного учреждения.

— Кроме того, привезем врача, акушерку, заведем настоящую аптеку, разгрузим фельдшера от работы непомерной.

Месяц в радостном нетерпении ждало село содействия РИКА².

Через месяц содействие пришло.

— Предписывается закрыть амбулаторию.

— То есть как? Зачем же закрывать?

— Ясно зачем. Смета ваша не прошла в центре, не утвердили. Амбулатория распускается.

— Кто распускается? Там всего один человек и есть. Не человек — фельдшер. Его, что ли, распустить хотите? Ведь нам вашей помощи не нужно. Не просили мы ее. Сами продержимся! Распускать-то зачем! Для чего мы дело строили, последние деньги собирали?!

Крестьяне заволновались, засновали. Послали делегацию в Кушанск, в окрисполком. Даже до ВУЦИКа добрались. Отстояли свое законное право содержать за свой счет для себя амбулаторию. Поголовно вступили в Красный Крест, собрали новые взносы.

Скрипит амбулатория дальше при неблагоприятном нейтралитете райисполкома. Среди зимы краснокрестные гроши иссякли. Дров на топку нет. Медикаменты в банках замерзают. Фельдшер три месяца без жалованья, тоже замерзает — на правах медикамента.

Зря в детстве хотел быть фельдшером. Ходил бы, может быть, как в Верхней Свердловке, по дворам, выма-

ливал бы по полену на топку, по картошке на пропитание.

Красный Крест взвыл волком в защиту замерзающего, ниществуемого фельдшера и болеющих крестьян. Стал молить РИК о помощи. Зря молил.

— Помочь не можем! Закрывайте лавочку. Сами за-теяли, сами и расхлебывайте. Говорили вам — обойдетесь без амбулатории. Нет, буржуи выискались, подавай им фельдшера. Выползайте, как знаете!

Фельдшер — человек двужильный. Вместо того, чтобы удрать из таких мест (о фельдшерской безработице мы что-то не слышали), изловчился он, многострадальный, и сдал сарай при амбулатории под ссыпку хлеба за пять рублей в месяц. На эти капиталы стал раздобывать дрова, керосин для амбулатории, ржаные корки для себя. В таких условиях работал шестнадцать часов в сутки. И доработал до весны, до летнего тепла.

Лето — благодать; надо думать, тут кончаются фельдшеровы мучения. К лету, надо полагать, все устроилось. Поблагодарили, надо думать, стойкого медицинского работника на селе. Представили его, надо верить, и к ордену Красного Знамени за беззаветную трудовую деятельность по смычке города с деревней... Может быть, стоит все-таки быть фельдшером?

Нет. Если в Верхней Свердловке — не стоит. Насчет благодарности и ордена — неизвестно. Но точно знаем только то, что фельдшера привлекли к суду, к уголовной ответственности за незаконную сдачу сарая внаем и за присвоение для неизвестных целей в пользу амбулатории арендной платы по пяти рублей в месяц.

Говорят, все село пошло на суд отбивать своего фельдшера зубами. Может быть, это представляло собой яркую назидательную картину. Но все-таки взвесьте, прежде чем мечтать о фельдшерской карьере.

Главкомандующим — это еще туда-сюда. Наркомом — пожалуйста. Дирижером — можно. А фельдшером? В Верхней Свердловке? О-го-го!

1926



СКУШНАЯ ИСТОРИЯ

Волков бояться — в лес не ходить.

Это отлично в теории и на практике всегда знали работники затерянной в могилевских лесах сельскохозяйственной коммуны имени Либкнехта.

Либкнехтовские коммунары не боятся ни леса, ни поля. Они работают уже девятый год и — чтобы долго не распрощаться с их работой — признаны лучшей коммуной по всей Белоруссии.

Но одно дело — лес из деревьев, а другое дело — густой дремучий лес канцелярий, где на каждом шагу за письменными столами вразвалку сидят матерые волки в пиджаках.

Пьют эти волки чай с лимоном, властно рычат в телефоны и щелкают зубами на случайного робкого посетителя. Если забредет к ним человек невзначай в глухую позднюю пору — после четырех часов дня, тогда и совсем загрызть могут.

Заблудилась бедная Красная Шапочка, то бишь, либкнехтовская коммуна, в учрежденской чаще. Подает оттуда отчаянные стоны. Безднадежно взывает о помощи:

- Ау, добрые люди!
- Помогите выбраться!
- Покажите дорогу!
- Хоть голос подайте!

В марте 1926 года понадобились коммуне кое-какие части к трактору. Сущий пустяк, на несколько десятков рублей.

Пустилась она, коммуна, вплавь за частями тракторов. Вот вам точный маршрут блужданий низового коллектива трудящихся в поисках нескольких болтов, гаек и шурунов.

12 марта коммуна запрашивает правление синдиката Сельмаш о наличии имеющихся у него частей к тракторам.

22 марта Сельмаш отвечает, что требуемых частей не имеет.

Надо бы черкнуть хоть два слова о том, где есть тракторные части. Но о такой вежливости чиновники Сельмаша никогда и не слыхивали.

Коммуна удивлена. Как это так: Сельмаш, а не имеет частей к трактору? 27 мая запрашивает Сельскосоюз.

Сельскосоюз любезен приблизительно так же, как Сельмаш. Коммуне отвечают, что «выполнить ваш заказ ввиду незначительности суммы его мы не можем, так как отпускаем запасные части только на сумму не менее ста рублей».

Коммуна обрадована. Быстро подбирает заказ на сто двадцать семь рублей и 7 июня отправляет его Сельскосоюзу вместе с задатком. «Просим выполнить заказ поскорей...»

Ждут, ответа нет. Время летнее, рабочее, жаркое.

23 июня коммуна пишет Сельскосоюзу просьбу поторопиться с заказом.

Ждут, ответа нет.

9 июля коммуна не своим голосом взывает к Сельскосоюзу:

«Скорей пришлите части к трактору! Стоим в разгаре полевых работ второй месяц! Отстаем! Гибнем!»

Ждут, ответа нет.

24 июля коммуна молит Сельскосоюз:

«В последний раз, дайте окончательный и определенный ответ на наш заказ!»

Ждут, ответа нет.

30 июля коммуна посылает напоминание через земляка-студента с просьбой сообщить хоть результат запросов.

Ждут, ответа нет.

Коммуна посылает всю переписку с Сельскосоюзом в Центральный дом крестьянина с просьбой воздействовать на сельскосоюзовских бюрократов. Кооперация же ж! Крестьяне же мы! Хоть ответьте! Хоть одно слово!

Получив, видимо, нагоняй от Дома крестьянина, Сельскосоюз снизошел до ответа. Но, вместо того чтобы оправдываться, он сам переходит в наступление и обвиняет коммуны в том, что она не по инстанции обратилась. В том, что встала на «неправильный путь».

Пока Сельскосоюз, не давая частей к трактору, направляет ее на путь истины, белорусские коммуны кинулись по другой тропке в заколдованном учрежденском лесу.

Написали в краевую контору Госторга в Ростове-на-Дону. Ростов отвечает, что «за пределы Северо-Кавказского края запасные части мы не отпускаем, почему ваш запрос удовлетворить не можем».

Но...

«Но по получении от вас суммы в размере одного рубля вышлем вам каталог запасных частей к трактору „фордзон“».

Кто сказал, что советский бюрократ — бездушное, тупое существо? Разве обыкновенному человеку придет в голову такое тонкое бумажное издевательство: частей не давать, но каталог выслать?!

Коммуна обращается дальше:

В Ленинград — к Севзапгосторгу.

В Минск — к Госторгбелу.

Ленинград по существу запроса не отвечает.

Минск отвечает, что частей нет, а когда придут — будет сообщено.

Ждут два месяца — ответа нет. Лето давно миновало. Поздняя осень. Еще страшнее в глухой учрежденской чаще.

30 октября коммуна опять напоминает Госторгбелу:

«Нет ли уже частей к трактору?»

Госторгбел лениво:

«Обратитесь в Белсельтрест».

Опухлые коммунары — в Белсельтрест:

«Есть ли части к трактору, а если есть, то можно ли их получить?»

Одновременно коммуна пишет могилевскому отделению Центроземсклада:

«Есть ли части к трактору, а если есть, то можно ли их получить?»

Вам, читатель, уже скучно стало? Погодите, я вас не отпускаю. Сидите смирно, читайте дальше. Не скучно же было быховским коммунарам проделывать на самих себе эту нудную, омерзительную сказку про белого бычка.

Дальше...

Центроземсклад в Могилеве ответить не соизволил ничего.

Белсельтрест сообщает, что частей нет. Но если они и будут, то будут они, эти части, распределяться по совхозам.

Коммуну это глухое заявление будоражит. Ей мерещатся какие-то надежды на избавление.

27 декабря она запрашивает Белсельтрест, имеет ли она, лучшая коммуна Белоруссии, право получить на несколько десятков рублей принадлежностей для трактора?

Белсельтрест сурово отказывает. Он снабжает частями только совхозы. Коммуна пусть снабжается как знает.

Центроземсклад, не могилевский, а минский, внезапно уведомляет коммуны, что хотя частей у него нет, но он берется купить их в Москве комиссионно, если коммуна пришлет заказ и задаток.

Совсем отчаявшаяся, заблудившаяся Красная Шапочка радостно бежит на живой голос. 11 января 1927 года просит Центроземсклад сообщить размер комиссионных.

Центроземсклад гордо сообщает, что комиссионных не берет. Однако о том, когда, наконец, будут части, ничего не говорит.

4 февраля коммуна посылает буквально дрожащими руками заказ и задаток и робко просит Центроземсклад поторопиться, чтобы не сорвать вторую полевую кампанию.

23 февраля Центроземсклад отвечает, что «частями к трактору коммуны должен снабдить Белсельтрест, куда и следует обратиться».

Просвет только померещился. Красная Шапочка опять вышла на старую, уже проторенную, загаженную тропку. Уныло, с опущенными руками, опять 26 февраля запрашивает Белсельтрест:

«Есть ли части к трактору, а если есть, то можно ли их получить?»

Ждут, ответа нет. Впрочем, можно догадываться, какой он будет, ответ, когда придет. Смотри, как говорится, выше...

Мы уже сами выбились из сил рассказывать столь однообразную, унылую историю.

В старой сказке волк загрыз-таки Красную Шапочку и был за это примерно наказан. В нашей сказке — конца не видно. Потому она такая нудная.

Надо двинуть сказку повеселей!

Мы видим в истории с быховской коммуной ярчайший образчик самого кристального, чистой воды, бездушнейшего бюрократизма. Все советские адресаты, к которым тщетно обращались быховские коммунары, должны предстать перед суровым судом и понести суровую ответственность.

Вот другой факт...

20 марта 1926 года коммуна послала в агрономический

институт Вайбульсголь (Швеция) свои семена овса для анализа. И уже 9 апреля (того же года, того же года, советские чинушки!) институт отвечает коммуне, что семена уже подвергнуты анализу профессором Нильсоном. Прилагает результаты анализа! С тех же пор коммуна регулярно переписывается с институтом и ведет опыты под внимательным наблюдением из Стокгольма.

А могилевские бюрократы не считают нужным даже ответить лучшей в республике коммуне в своем же, Могилевском, округе!

1927



ДУША БОЛИТ

— Разве же это порядок?! — возмущенно сказал товарищ Воловский Эдуард Карлович. — Какой это к черту порядок, ежели у нас в Наркомторге перепутаны на работе все специалисты! Инженер-текстильщик ведает импортом химического оборудования, спец по черным металлам регулирует ввоз машин для строительной промышленности, я — морской инженер и судостроитель — руковожу, извольте видеть, импортом для черной, цветной металлургии и машиностроительной промышленности, а мою, мою кровную работу по ввозу судов и оборудованию их поручили, простите за выражение, спецу по обработке металлов!

— Да, в самом деле это ненормально.

— Ненормально? Это попросту безобразно! Это черт знает что! Да разве кого-нибудь убедишь? Только душа болит за социализм.

— Но вот вы сами, зачем вы, например, Эдуард Карлович, согласились пойти на работу не по специальности? Один смотрит на другого, вы подали пример — вот и получается каша.

— А разве я по доброй воле пошел в Наркомторг? Меня обстоятельства принудили! Сидел я, заведовал секцией судостроения в Гомзе³, а потом из-за склоки пришлось уйти и искать себе новой ответственной работы. Мне себя не жалко, я без хлеба не останусь, я, как видите, вот

уже третий год в Наркомторге на ответственной работе. Мне, как незаменимому, отпуска не дают. Но каково достается нашему советскому судостроению! Кто им командует?! Мне это тяжело! У меня за это душа болит!

— Кто же вас выжил из Гомзы? И за что?

— Да мало ли кто. Всех склочников не упомнишь. Плохо, говорят, разбирается в технических вопросах. Это я плохо разбираюсь! Я, квалифицированный инженер, кораблестроитель с многолетним стажем!.. Кто же тогда разбирается?!

— Вы где кончили институт?

— У себя на родине, в Швеции, Стокгольмский политехникум. По судостроительному факультету. Там, знаете, учат всерьез, не то что у вас, тят-ляп.

— Вы отлично говорите по-русски...

— Обрусел сильно. Но ведь вообще мы, шведы, морской народ, языки знаем в совершенстве. Лично я, не скажу много, а шестью языками, кроме родного, владею в совершенстве. Английским, норвежским, финским, французским, польским и вот — русским.

— Вы и зачеты все сдали там, в Стокгольме?

— А то как же! Все зачеты мною сданы.

— А диплом ваш где?

— Где же ему быть! Само собой, в моем личном архиве. Хотя, припоминаю, затерял его где-то во время гражданской войны. Да разве в дипломе дело, в бумажке! Диплом инженерский вот где должен быть!

И «старый» кораблестроитель выразительно постучал себя пальцем по лбу.

— Это правильно... Скажите, товарищ Воловский, у вас там высшую математику, конечно, проходили?

— А то как же! Это только у вас, знаете, все тят да ляп, политграмота...

— Простите, у нас высшая математика проходится во всех втузах и даже в ряде техникумов. Не скажете ли вы, Эдуард Карлович, в чем назначение дифференциального исчисления?

Воловский недоуменно и иронически поднял бровь.

— Вы, кажется, вздумали меня проверять? Однако!..

— Ну, проверять не проверять — просто любопытно. Ведь вы знаете это?

— А то как же. Знаю, но точно, по параграфу ответить не смогу. Где же все упомянуть! За годы практической работы эти школьные формулировки выветриваются.

— Тригонометрию вы знаете?

Эдуард Карлович сухо отодвинулся.

— А то как же. По-вашему, мне уж и тригонометрии не знать. Довольно странно спрашивать об этом у инженера.

— Если синус икс равен единице, чему равен икс?

Инженер Воловский нервно засмеялся:

— А шут его знает, чему равен икс! Ну, забыл, забыл, каюсь, хе-хе... Бросимте эту муру с экзаменом. Скушно.

— О нет, это только становится интересным! Возьмите, будьте добры, карандашик, напишите: синус, косинус, тангенс.

Возмущенно дергая плечами, Воловский помедлил над бумагой и презрительно начертил «С, К, Т».

— Разве они так обозначаются? Ведь во всем мире синус пишется \sin , косинус — \cos , тангенс — \tg !

— Н-не знаю... У нас в институте проходили так.

— И вы станете утверждать, что в шведском институте писали русскими буквами, когда в России эти термины пишутся латинскими?

В наступившей длительной тишине Эдуард Карлович пристально рассматривал пуговку на своем рукаве. Тикали часы.

— Итак, гражданин Воловский, вы окончили политехнический институт?

— Ну, насчет института я слегка преувеличил. Да разве в этом дело! Важны практические знания. А формально я сдал экстерном в объеме средней школы.

— В объеме, говорите? Ну-ка, скажите, чему равен объем шара?

— Объем шара, объем шара... Смотря какая поверхность.

— То есть как какая поверхность? Гладкая или шероховатая?

— Ну да... Хотя точно не скажу.

— Объем шара равен $\frac{4\pi r^3}{3}$. Ну, а чему равно π ?

— Не помню. Давайте условимся, что я сдал в объеме пяти классов, и кончим этот разговор.

— Значит, вы сдали за пять классов?

— Да, за пять... — спец из Наркомторга вытер платком лоб и смял в кулаке свою холеную рыжеватую бороду. — За пять, хотя не по всем предметам. По некоторым.

— Ну, а арифметику вы знаете хорошо?

— А то как же! Многое забывается, но в основном, конечно...

— Какие числа делятся на три?

— Нечетные.

— Тридцать один и тридцать пять делятся на три?!

— Не делятся.

— Гражданин Воловский, число 53 235 делится на три?

— Не делится.

— Разделите, господин Воловский!!

— Случайно разделилось.

— Вы хоть сельское училище кончили? Скажите прямо!

— Н-не совсем. Я в вечерней школе занимался. По четыре дня в неделю, два часа в день.

— Скажите... Воловский, вы подтверждаете, что владеете шестью языками? Напишите по-английски: «Олл-райт».

Побелевшая от возмущения бумага ощутила на своей поверхности дрожащие буквы: «Ol rait».

— Не так, Воловский. Спросите у пионеров, они учатся английскому по «Комсомольской правде». Надо писать: «All right».

— Не знал...

— Теперь напишите по-шведски, на вашем родном языке...

— Ой, не надо! Насчет Швеции я преувеличил. И родился я не столько в Стокгольме, сколько в Виленской губернии, в Ошманском уезде, в Воложенской волости.

— Вот такие-то дела, Эдуард Карлович...

— Да уж какой я Эдуард Карлович! Прямо сказать, Георгий Павлович я. Как одна копейка. И кораблей, прямо сказать, не строил. Конторщиком в порту был, ордера писал. Душа болит...



И именем, и отчеством, и более важными подробностями жизни Эдуарда, то бишь, Георгия Карловича, то бишь, Павловича Воловского, а равно всеми деталями его процветания в Наркомторге, Гомзе и других органах любознательно заинтересовалось ОГПУ⁴.

Но было бы неразумно очень веселиться по поводу провала липового специалиста на простейшем экзамене.

Провалился не аферист Воловский. Наоборот, он блестяще выдержал экзамен! Правда, экзамен не на инженера-кораблестроителя, а на первоклассного авантюриста, сумевшего ряд лет дурачить важнейшие учреждения, пребывать в центре, у самого руководства промышленным импортом для нашей индустриализации.

Провалились на Воловском и еще до сих пор проваливаемся на других, ему подобных, мы сами — до сих пор не научившиеся культурно работать, проверять, хотя бы простейшим образом, людей, сидящих на центральных, командных пунктах нашего хозяйства.

1930



К ВОПРОСУ О ТУПОУМИИ

В небольших комнатах правления Еланского потребительского общества бурлила деловая суета. Входная дверь оглушительно хлопала, впуская и выпуская посетителей с брезентовыми портфелями. В прихожей четвертый раз разогревали чайник для руководящего персонала.

Ответственный кооператор товарищ Воробьев высунулся из кабинета в канцелярию.

— Как же с телеграфной директивой? Уже который день собираемся спустить ее в низовую сеть. Дайте текст на подпись.

Ему принесли листочек с текстом. В конце директивы бодро синели мужественные слова:

«...усильте заготовку».

— А номер? Директиву без номера спускать не приходится.

Листок порхнул в регистратуру и вернулся с мощным, солидным номером:

«... усильте заготовку 13 530».

Воробьев обмакнул перышко, строго посмотрел на лишнюю каплю чернил и, презрительно стряхнув ее, поставил подпись вслед за номером.

Директиву спустили. Она скользнула по телеграфным проводам, потом ее повезли со станции нарочные по селам.

Нарочные мерзли, они кутали сизые носы в пахучие овчины, директиве было тепло, она лежала глубоко за пазухой у нарочных.

Уполномоченный районного потребительского общества в Ионово-Ежовке расправил телеграфный бланк и звонко до конца прочел уполномоченному райисполкома приказание высшего кооперативного центра:

«... усильте заготовку 13 530 воробьев». Понял?

— Понял. Только в конце не расслышал. Чего там усилить заготовку?

— Сказано — воробьев.

— Так-так-так-так-так... Ясно. И много их, воробьев, надо заготовить?

— Сказано — тринадцать тысяч пятьсот тридцать штук. Понял?

— Так-так-так-так-так! Ясно, ясно. А подпись чья?

— Подписи нет. Да и к чему подпись? Дело простое: усилить заготовку тринадцати с половиной тысяч воробьев. Придется, дорогой товарищ, это дельце спешно проверить. Вызывай председателя.

Ионово-ежовский председатель, осведомившись о полученной директиве, нахмурился, но не сплеховал. Он сказал прямо и открыто, что заготовка воробьев для ионово-ежовцев дело новое. Всякое заготавливали, но чего не заготавливали, того не заготавливали. Воробьев не заготавливали. Однако заготовить можно, ионово-ежовцы не подкачают. Дело проверить можно, надо только поднять дух, воодушевить массу.

Председатель совета, совместно с двумя районными уполномоченными — исполкомским и кооперативным, устроил заседание актива. Перед активом были сделаны доклады о последних директивах по заготовке воробьев.

Далее последовало общегражданское собрание всей Ионово-Ежовки. Часть одиноличников, вначале сильно встревоженная, узнав, что дело идет только о воробьях, пришла в приподнятое и даже веселое настроение. Один из граждан выразил это даже в виде краткой речи, под легкий смех в зале:

— Чего, чего, а воробьев заготовим. Воробьев нам не жалко.

Смех показался президиуму подозрительным. Председатель собрания наставительно и сурово сказал:

— То-то же!

Дальше работа шла как по маслу. Население подошло

к заготовке воробьев поистине как к важнейшей ударной и срочной кампании. Распоряжением местных властей были привлечены к работе не только взрослые, но и школьники и дети.

В целях успешного выполнения контрольного задания заготовка проходила не только днем, но и ночью. При фонарях.

В самый разгар воробьиных заготовок в Ионово-Ежовку приехали по другим делам районный прокурор Карлов, народный судья Семеркин, председатель районной милиции Дзюбин, бригада райисполкома по обследованию местной работы. Ежовцев они нашли в больших заботах.

— Немножко невпопад вы приехали. У нас сейчас воробзаготовки.

— Чего?

— Заготовки воробьев. Ну и цифру вы там, в районе, нам вкатили. Тринадцать с половиной тысяч! Не знаем, как и вылезем. Хорошо еще, население проявляет активность.

Районные вожди ничего не слышали насчет воробьев. Но каждый из них в отдельности не считал нужным показывать свою оторванность от текущих политико-хозяйственных задач. Каждый смолчал. А кое-кто даже проявил отзывчивость:

— Вы себе заготавливаете, а мы пока будем тут сидеть, тоже поможем, чем сможем.

Присутствие гостей из района внесло особый подъем в заготовительную работу. Кто-то приехал из соседнего села, из Александровки. Там тоже получили директиву из Елани, тоже приступили к заготовкам, но обратились в центр с ходатайством снизить контрольную цифру. Ежовцы торжествовали:

— Забили мы Александровку! В бутылку загнали! Отстали александровцы, к чертям собачьим. А мы, еще того гляди, перевыполним задание!

Потом произошло бедствие. В амбар, где содержались две тысячи живых заготовленных воробьев, проникли кошки и съели двести штук.

По этому поводу был созван особый митинг протеста. На митинге уполномоченный райисполкома, зловеще поблескивая очками, сказал:

— Тот факт, что кошки съели двести воробьев, мы рассматриваем как вредительство, как срыв боевого задания государства. За это мы будем кого следует судить.

Но при этом мы должны на действия кошек ответить усиленной заготовкой воробьев.

Возник еще ряд острых проблем. Для выяснения их инструктор потребительского общества товарищ Енакиева срочно выехала в Елань.

Она, Енакиева, явившись в район, в правление, заявила:

— По линии заготовки воробьев я приняла на себя личное руководство. Заготовка проходит в общем и целом удовлетворительно. Но имеются неразрешенные вопросы, по каковым я сюда специально и приехала. Во-первых, крестьяне интересуются, какие заготовительные цены, а нам, кооператорам, цены неизвестны. Во-вторых, узким местом является отсутствие тары. Кстати, важно выяснить и такой вопрос: в каком виде заготавливать воробьев. Живых или битых? Надо бы поделиться опытом других организаций. Мы, например, производим в настоящее время заготовку живьем. Для чего разбрасываем просо как приманку, а также в качестве приманки разбрасываем кучками хворост на гумнах... По получении нами заготовительных цен, равно тары, заготовка безусловно пойдет более интенсивным порядком. Необходимо также выяснить...

Докладом товарища Енакиевой и последовавшим затем скандалом заканчивается история о воробьиных заготовках. Ей, этой районной истории об идиотски понятой и головоуныски выполненной телеграфной директиве, не следовало бы придавать серьезного значения. Ведь в ней ничего нет, кроме безобидного тупоумия.

Но пора же, наконец, вступить всерьез в борьбу и с этим милым качеством! Можно ли вообще говорить о тупоумии как о безобидном, природном, «объективном» качестве?

Партия очень ценит, очень дорожит дисциплиной при выполнении ее заданий. И именно поэтому надо рубить на части тех, кто, спекулируя, злоупотребляя этой дисциплиной, переводит выполнение в издевательство, беспрекословность — в солдафонство.

При воробьиных заготовках на селе присутствовали работники из района — прокурор, судья, начальник милиции. Кто поверит, что эти уважаемые лица, нет, не лица, а рожи, сочли заготовку воробьев нормальным делом?.. Нет! Каждый из них мысленно изумлялся балагану с воробьями. Но каждый молчал.

Мы сейчас перебираем сверху донизу советскую и кооперативную систему. Выбрасываем гнилое, чужое, вредное. Не надо делать исключений для людей, изображающих из себя дурачков. Таких «наивных», как те, что заготовляли воробьев, можно воспитывать только в одном месте. В тюрьме.

1931



ИВАН ВАДИМОВИЧ — ЧЕЛОВЕК НА УРОВНЕ

Иван Вадимович
хоронит товарища

— Пойдемте немного тише. У меня тесные ботинки, а топать придется далеко. Да... тяжелая история. Первого числа мы еще вместе сидели на комиссии по себестоимости. Он нервничал перед докладом — и как обрадовался, что хорошо сошло! Не знал, бедняга, что его ждет через две недели... Кто это впереди, у гроба? Ах, Кондаков, вот как! Он здесь как — от президиума или персонально? Я знаком с ним только по телефону, лично никогда не видел. Молод, однако... В таком возрасте быть членом президиума — это неплохо... В последнее время поперла какая-то совсем новая публика. Неведомые люди. Говорят, из партийного аппарата много переводят на хозяйственную работу. Гонор-то у них большой... Может быть, он и вовремя умер. В коллегии к нему стали относиться очень плохо... С кем трения — со мной? Это чистая ложь. Мне он никогда не мешал. Я был поистине потрясен его смертью! Какая ложь! Я знаю, кто это вам сказал. Это Кругляковский вам сказал. Нет, не спорьте — ясно, Кругляковский. Не понимаю, зачем он распространяет подобные слухи. Я уже от третьего слышу. Придется с ним поговорить... В крематории? Нет, уже третий раз. Впервые я был — у нас один сотрудник умер, а потом на похоронах Петра Борисовича; разве вас тогда не было? Красивые похороны были. Масса народу, венки, музыка, представитель от президиума, знамена. Ему-то самому, конечно, ничего не прибавилось; он этого уж не видел...

На мои столько народу не придет. Хотя — как организовать... Много зависит от отношения товарищей... Да, довольно красиво! Особенно этот момент, когда гроб плавно опускается вниз. А в подвал, к печам, в это окошечко вы ходили смотреть? Я тоже нет. Что за зрелище — не понимаю. Говорят, труп корчится... Недавно слышал — жену одного ответственного работника какие-то дураки уговорили туда взглянуть. Полюбоваться, так сказать, на мужа. Ну, конечно, припадок. Идиоты!.. Я свою жену принципиально ни на какие похороны не беру. Это не для женщин. Тем более у нее отец пожилой... Да, вот так живешь, работаешь, бьешься как рыба об лед, а потом — пожалуйста в ящик и отвозят. В порядке очереди. Как говорится: «Кто последний, я за вами...» Хотел бы я только, чтобы у меня это быстро случилось. Какое-нибудь крушение поезда — раз и готово... Это сестра его жены. Не правда ли, красивая баба? У нее муж в торгпредстве или что-то в этом роде, потому так одета. Напомните мне потом рассказать анекдот, как к Калинин пришли два еврея. Контрреволюционно, но очень смешно. Интересно, кто все эти анекдоты придумывает?.. Нет, сейчас неудобно, обратят внимание. Лучше на обратном пути... Говорят, у него давно уже было расширение сердца. Он не берегся — и вот. Я его отлично понимаю. Со мной то же самое случится... Нет, особых таких болезней у меня нет — но вот, например, в разгар вечера вдруг начинают страшно чесаться руки. Что-то невероятное! Недавно это у меня в театре началось — так прямо с середины действия хотел уйти. Но потом сразу прошло. Врачи — разве от них добьешься толку! Профессор Сегалович говорит: старайтесь не чесаться, это чисто нервное. Что значит чисто нервное — я должен знать, куда это ведет, чем угрожает! Мне неважно личное здоровье, но ведь я частица чего-то, у меня на плечах большое учреждение! Я его спрашиваю, какую диету мне соблюдать, чего не есть, чего есть. Говорит: «Это не имеет значения». Ничто для них не имеет значения! Две нелепые профессии — врачи и эркаисты. Должны страховать от болезней, а пользуются ими, чтобы мучить нас. Хорошо еще, что я сам соблюдаю некоторый режим. Берегу выходные дни, негорячая ванна после работы. Потом вот что я вам советую: я принципиально не курю перед едой. Это очень важно! Думаю в этом году пораньше в отпуск. Вы куда собираетесь ехать? Нет, я опять на Южный берег. Обя-

зательно напомнимте рассказать анекдот про трех дам на пляже... Да, печально, печально... Главное, уж очень хороший мужик был. Никто от него зла не видел. Не было в нем, знаете, этого подсиживания, этого желания нажить на ком-нибудь капитал. На его место? Не знаю... Официально не знаю, но строго секретно могу сказать — Свенцянский. Уже решено. Да... я сам был поражен. Я даже влопался немного. Поздравлял Мятникова с новым назначением. И Мятников, главное, не опровергал. Молчал и улыбался... В последнюю минуту все перевернулось. Говорят, потребовали крепкого оперативного человека для непосредственного практического руководства. Но ведь можно было и при Мятникове иметь заместителя специально по практической работе. Мятников как-никак фигура... Вы что делаете послезавтра? Приходите обязательно ко мне... Так, ничего особенного, и товарищи соберутся посидеть. Мы новоселья не устраивали, это будет вроде полуновоселья. Было намечено на сегодня — из-за похорон отложили. Неудобно все-таки. Кто-нибудь сболтнет — скажут: нашли время пьянку устраивать... Можно прийти и попозже... Будут все свои люди. Сергей Соломонович обещал заехать... Много народу отправляют в политотделы... Я бы сам с радостью уехал — не берут по болезни. Как я развернул им бумажку от врача, как они взглянули, даже толком не прочли — сейчас же прекратили разговор. Я даже пожалел, что принес им эту бумагу... Ботинки меня сегодня доконают! Давайте пойдем потише, немного отстанем. У меня там сзади идет машина. Отдохнем, а перед самым крематорием опять бодро зашагаем.

**Иван Вадимович
на линии огня**

— Товарищи, я очень внимательно слушал ваши прения. Если это только можно назвать прениями... Слушал — и чуть не заснул. Да, товарищи, чуть не заснул! Я спрашиваю: к чему опять эти бесконечные рассуждения о сырье, о топливе, о рабочей силе, о тарифе? Из них, из этих рассуждений, ясно только одно. План по Лазаревской фабрике не выполнен. Не выполнен, вот и все. Не выполнен на сорок шесть процентов. Вот основной факт! Вот — основной — факт. Каков смысл этого факта? Здесь у нас, на правлении, сидят взрослые люди. Я не буду,

товарищи, заниматься перед вами демагогией. Не буду шуметь о том, что рабочие сидят без нашей продукции... Что сельская кооперация с немым укором смотрит на нас своими пустыми полками... Что не выполнен заказ для Красной Армии, для наших доблестных бойцов, и так далее... Вы люди взрослые, пезачем отнимать время этими общеизвестными вещами. Но я скажу о другом. Сорок шесть процентов невыполнения — вы знаете, что это значит? Вы не читаете газет!! Вы, товарищи, заросли тиной повседневных текущих будней! А я за политикой слежу. Я газеты читаю и могу сообщить: Главснабстрой за одиннадцать процентов невыполнения получил четыре строгих выговора. Одиннадцать процентов — а у нас сколько?! Стеклосиликатный комитет весь распущен за двадцать процентов невыполнения. В Союзколенкорсбыте со строгим выговором снят председатель, исключены из партии заведующий производством и его зам! В Росглинофаянсе из-за трех процентов все правление осталось без отпусков! В Объединении твердых металлов один исключен, четверо сняты, двоим запрещены ответственные должности. Что? Правильно: Антон Фридрихович меня дополняет: там же распущено бюро ячейки и назначена внеплановая чистка аппарата. Внеплановая чистка, товарищи! Вне-пла-но-ва-я чист-ка. В Маслопродуктпроме три члена правления отстранены с преданием суду, зампред снят, председатель освобожден ввиду перехода на другую работу... Да что Маслопром! Целые наркоматы получают по морде — почитайте газеты. Что же вы думаете — с нами стесняться будут? Стесняться не будут! Не будут. И что же нам тут предлагают? Сменить нашего уполномоченного на заводе? Добиться большей отгрузки сырья? Усилить премирование? Назначить нового директора? Завести красную и черную доску? Наивно, товарищи. Смешно! Бесконечно смешно и наивно. Зачем закрывать глаза? Пусть кто-нибудь из присутствующих поручится, что фабрика вылезет хоть наполовину к концу квартала! Никто такого поручительства из нас дать не может. Положение трудное. Всякие полумеры были бы близорукостью, вдвойне опасной... Надо действовать решительно, смело и притом дальновидно. Что же я предлагаю? Лазаревскую фабрику мы превращаем, переименовываем, ну, словом, претворяем — в комбинат. Да, в комбинат и, если хотите, в трест. Что? Отчего же! Бывают на местах и еще меньшие тресты. Претворяем в трест областного значения. Ольга

Максимовна, поищите в архиве, там где-то должна быть бумага от Ивановского обкома. Кажется, начало прошлого года. Они просили тогда передать Лазаревку в ведение области. Тогда мы категорически отказали. А сейчас — сейчас мы категорически согласились. Что? Я вас не перебивал, извольте теперь выслушать своего председателя и тоже не перебивать. Превращаем в областной трест. Отзываем сейчас же уполномоченного — чтобы не мешать местной организации руководить. Предоставляем обкому посадить нового директора или оставить старого. Это их дело, пусть они отвечают! А главное, немедленно выводим Лазаревку из нашего централизованного промфинплана. И этим, как нетрудно догадаться, сразу меняем процент нашего выполнения!.. Отделить больное от здорового — вот смысл мероприятия! Пусть здоровое отвечает за здоровое, а больное за больное! Отсекаем гнилую часть организма и даем ей возможность либо умереть, либо выздороветь в условиях своевременной изоляции... Пусть обком руководит фабрикой, пусть направляет ее всеми имеющимися у него методами воздействия. Пусть исключает людей из партии, пусть хоть режет на кусочки. Мы-то здесь при чем?! Ведь фабрика не в Москве... Сделать надо сейчас, немедленно, мгновенно. Проявить максимальную оперативность. До конца квартала осталось пять недель. Пусть, когда начнут смотреть квартальные итоги — пусть тогда мы будем уже давно в стороне... Что? Не хитро, а мудро, дорогие товарищи! Мозги надо иметь! Моз-ги! Котелок должен варить на плечах. Без котелка мы с вами давно уже пропали бы!..

**Иван Вадимович
любит литературу**

— Шолохов? Конечно, читал. Не все, но читал. Что именно — не помню, но читал. «Тихий Дон» — это разве его? Как же, читал. Собственно, просматривал. Перелистывал... Времени, знаете, не хватает читать каждую строчку. Да, по-моему, и не нужно. Лично я могу только глянуть на страницу и уже ухватываю основную суть. У меня это от чтения докладных записок выработалось... Но, в общем, до чего все-таки слабо пишут! Нет, знаете, задора. Глубины нет... Не понимаю, в чем тут дело. Ведь в какие условия их ставят, если бы вы знали! Гонорары, путевки, творческие отпуска, командировки. При

этом никакой ответственности, никакого промфинплана. Если бы меня хоть на полгода устроили — чего бы я понаписал! Данные? Что значит — данные! Если тебя партия поставила на определенный участок, на литературу, если тебе дадут возможность работать без Эркаи, без обследований, без этой трепки нервов — скажи спасибо, пиши роман! Беспартийный — тот должен, конечно, иметь талант. Но ведь и ему партия помогает... Фадеев? Это какой, ленинградский? Есть только один? Мне казалось, их было двое... Вообще чудаковатый народ. Совершенно какие-то неорганизованные... Я, когда еще Маяковский был, решил заказать стихи к годовщине слияния Главфаянсфарфора с Союзглинопродуктсбытом. Звоню, спрашиваю Маяковского. «Уехал на шесть недель». Спрашиваю, кто заменяет. Говорят — никто. Что значит — никто?! Человек уехал на шесть недель и никого вместо себя не оставил... Или он думает, что незаменим? У нас незаменимых нет! Потом я еще раза два звонил — средь бела дня телефон не отвечает. Ну, в общем застрелился. Это такая публика, что пальца в рот не клади... На днях был я в Моссовете — представьте, кто-то из них заявляется, просит устроить на дачу. И как это с ним разговаривали! «К сожалению, сейчас дачи нет! К сожалению, вам придется обратиться в дачный трест...» Я потом, когда он ушел, спрашиваю: почему «к сожалению»? Что он — через Торгсин не может себе дачи купить? Ведь они кучи золота загребают!.. Издания «Академии»? Я их все подбираю — какая культура! Все сплошь в сатиновых переплетах, с золотом... Говорят, есть еще особые нумерованные экземпляры — шевро или шагреня, что-то в этом роде. Чудесные книжки! «Золотой козел Апулея» или что-то в этом роде, какая прелесть! Или Боккаччо возьмите. Что за мастер слова! Умели же люди подавать похабщину, и как тонко, как культурно — не придерешься... «Железный поток»? Конечно. Я его еще до революции, в гимназии, читал. Одна из вещей, на которых я политически воспитывался.

**Иван Вадимович
принимает гостей**

— Ну, что вы, ребята, не понимаю! Куда же вы торопитесь?! Посидели бы еще! Петр Ильич, это ты виновник всему: «Мне рано вставать, мне рано вставать». А за

тобой и все потянулись. В конце концов отправили бы Петра Ильича спать, а сами посидели бы еще. Чаю можно опять разогреть. Закуски остались, водка, Абраша-Дюрсо две бутылки. Вот только рябиновая вся. Это уж Никита постарался. Ай да Никита, ну молодец! На работе такой суровый, а тут как нежно стал за рябиновкой ухаживать. Вот она где, комсомольская энергия. Да ты не смущайся, Никита, чудачок. Так и надо — решительно и напролом. Жаль, Сергей Соломонович рано ушел — мы бы его попросили учредить у нас особый рябиновый отдел. И заведующим, конечно, Никиту! Разрешите, я вам пальтецо разыщу... Нет, нет, очень даже стоит! Мы, как говорится, ваши хозяевы, вы наши гости. Анюта! Ты не слышишь? Илья Григорьевич с тобой прощается. Измоталась? Кто? Анюта? Да нет, что вы! Анна Николаевна у меня человек боевой, жинка на ять. Ее так легко не измотаешь. Что? А вот давайте пари держать: приходите каждый день. У нас дом хоть простецкий, вас всегда Анна Николаевна накормит, напоит, приласкает... Да нет, Анютка, ведь я в переносном смысле. Добродетель твоя вне подозрений. Хотя... чего это тебе Жертунов все в уголке шептал? Водки просил? Знаем! Жертунов, говори прямо, чего требовал от моей законной супруги?! Вы подумайте! Пришел в гости, воспользовался доверием хозяина и, можно сказать, супругу соблазнил... Нет, товарищи, я серьезно: приходите почаще. Теперь дорогу знаете, для Никитушки рябиновую мы всегда будем держать в резерве... Всего хорошего, Антон Фридрихович! Илья Григорьевич, заходите! Если там внизу дверь закрыта — постучите налево нашему церберу. Всего, всего! Приходите обязательно! Почаще! Всего... Ф-ф-у-у! Устал! Засели, однако! Который час? Половина четвертого? Хорошо, что Петр Ильич догадался увезти всю ораву за собой. Они бы еще до восьми сидели. Снизу уже два раза приходили, обещали коменданту жаловаться... Как это люди не понимают, что пора уходить. Давай спать ложиться — я хочу им всем назло завтра рано приехать на работу... Ну, как? По-моему, вполне прилично получилось. Свенцянский был очень доволен. Он сказал Антону Фридриховичу, что сидел бы еще, если бы не готовиться к докладу. Конечно, он ушел больше для стиля... Оказывается, можно было свободно пригласить его жену. Она вообще-то имеет свою компанию, но охотно пришла бы сюда. Говорят, жуткая баба... С едой вышло в общем

хорошо. Ты была права, я все боялся, что не хватит. Вот Пирамовы сделали очень хитро. На его сорокалетие Пирамиха купила на базаре просто свиных ног, голов и всякого дерьма; наготовили в умывальных тазах обыкновенный холодец — всем очень понравилось... Нет, разве я говорю, что плохо организовано? Очень, очень мило получилось. Особенно с винегретом — это было весьма кстати. Пусть видят, что домашний стол, а не то, что у Морфеевых — взяли из Мостропа официантов и посуду — с таким же успехом можно было всех повести в ресторан... Ну, теперь конец. До мая никого больше не приглашаем. Не устроить было нельзя. Целую зиму ходили по гостям, жрали, пили — надо было чем-нибудь ответить... Ответили — и точка. Если чаще приглашать, начнут говорить: «На какие шиши он это все устраивает?!» Но как тебе нравится этот щенок, Никитка! Заблевал, сукин сын, весь коридор. С непривычки... Зачем было его звать? А затем, что надо было! У тебя, Анютка, совершенно нет политического чутья. Пойми, что Никита — секретарь комсомольской ячейки. До сих пор он трепал языком насчет всякой семейственности и спайки. Теперь пусть-ка попробует хоть пикнуть. Из этих же соображений я позвал Жертунова и Карасевича... Сволочь Карасевич! Пришел — как будто одолжение сделал. А потом, когда увидел, что Свенцянский здесь, что Свенцянский пьет, — как сразу растаял. Хитрый мужик. А Саломея Марковна — как она смотрела на свои пластинки! «Не разбейте, не разбейте, таких в Москве больше нет». Прямо как змея. Небось, когда посуду надо было у нас брать, она разбить не боялась. Пусть Дуняша уберет со стола. Между прочим, что у нее за манера таскать у гостей из-под рук тарелки с едой. Человек не доел, а она уже хватает! И потом — что это твоя мамаша трепала Жертунову?.. Ведь я тысячу раз просил — пусть не разговаривает с гостями! Или пусть молчит, или пусть уходит ночевать к Наде. Опять, наверно, морочила голову о том, как, бывало, раньше принимала гостей. Пойми, что люди понимают все в дурном смысле! Он ей будет кивать и улыбаться, а потом насклочничает насчет мещанского окружения... Ладно, не будем спорить, это старо как мир. Ты заметила, как Петр Ильич пихал мандарины в карман? Мне это было только смешно. Но потом Свенцянский очень хотел мандаринов, а их не было, и Петр Ильич тут же сидел — меня прямо зло взяло, я еле сдержался. Зовешь людей,

зовешь от души, зовешь по-товарищески. А они мандарины прут, как в каком-нибудь кооперативе!..

**Иван Вадимович
распределяет**

— Нет, уж разрешите меня не перебивать! Я повторяю: ко всему надо подходить с подходом. Без подхода вы ни к чему не подойдете. Вы получили с Кудряшевской фабрики первые сорок сервизов из майолита? Хорошо. Это образцы нового производства? Очень хорошо. Они красиво выполнены? Отлично. Вы хотите их распределить? Блестяще. Вы составили план распределения? Спасибо. Мы заслушали этот план. Никуда не годится. Ни-ку-да... Десять сервизов Всенарпиту, пять Всекоопиту, восемь на РСФСР, четыре Украине, по три Белоруссии и Закавказью, по одному Узбекистану... По два сервиза каждому цека профсоюзов для премирования лучших столовых и ударников... Что за рутина! Что за сука, что за чушь! Можно ли так смазывать вопросы?! Какие столовые и каких ударников вы будете премировать этими сервизами — спрашиваю я вас! Спрашиваю вас я!.. Вы сами говорите: каждый сервиз имеет двенадцать чашек, двенадцать блюдец, чайник, молочник, сахарницу и полоскательницу. Разве же найдется столовая, для которой хватит двенадцать чашек? Разве же найдется ударник, который может посадить за стол двенадцать человек? Вы рабочего класса не знаете, вот что я вам скажу. Для учреждения ваш сервиз мал, а для отдельного трудящегося слишком велик. Не так распределяют подобные предметы. Я все-таки удивляюсь: три года вы под моим руководством — и совершенно не растете на работе. Каждую вещь надо делать с максимально действенным эффектом. Распределение — это учет, поймите. Распределение — это учет всех тех моментов, которые должны быть учтены при таковом. То есть при распределении. Понятно? Возьмите конкретно: что такое майолит? Это прежде всего каолин. Так. Кто председатель Каолинзаготсбыта? Петухов, правильно. Вот и пишите: в распоряжение товарища Петухова, по его личному усмотрению, пять сервизов. Чтобы знал, чтобы чувствовал, зачем дает нам каолин, на что дает... Вернее, не пять, а восемь. Вернее, шесть. Написали шесть? Сколько осталось? Тридцать четыре. Хорошо. Что такое дальше майолит? Это топливо. Пишите: восемь сервизов персонально руководителям топливных

организаций по указанию Петра Ильича. Теперь идет комитет по регулированию черепков. Кладите комитету четыре штуки. Зампреду, двум членам президиума и управлениями, чтобы наши бумаги не застревали. Председателю? Ведь он там не бывает, это же не его основная работа... Ладно, кладите Союзчерепкому всего пять сервизов. Поехали дальше... Что? Вот у Жертунова всегда практические мысли: откладываем два сервиза для Силикатбанка. Что? Какая общественность? Ах, печать? Правильно. Здорово. Отметьте: редакции газеты «За фарфоризацию» два, нет — три сервиза. Один для самой редакции, другой лично Плешакову, третий лично Окачурьяну... И надо на них что-нибудь выгравировать. «Бойцам самокритики на глинофаянсовом фронте» или что-нибудь в этом роде... «Красный гончар»? Не сдохнут без сервиза. Профсоюзный журнальчик, подумаешь... Ладно, отсыпьте одну штучку... Сколько же осталось? Только пятнадцать сервизов?! Куда же они все девались?! Прямо между пальцев уползают!.. Кому, мне? Лично мне сервиз?! Вы с ума сошли. При чем здесь я? На кой черт мне это барахло!.. Нет, бросьте... И почему только мне одному? Антон Фридрихович человек многосемейный, он больше моего нуждается. Вообще все члены правления. Что же, давайте тогда шестерку запишем за правлением. И себе, Ольга Максимовна, себе застенографируйте седьмой. Вы — наш рабочий член коллектива, вы слишком за многое отвечаете своей секретарской работой, чтобы считать вас техническим орудием... Сколько осталось? Восемь? Да... маловато. А не лучше ли, товарищи, не лучше ли во избежание всех этих склочных разговоров о самоснабжении... Не лучше ли пожертвовать еще парой? Для ячейки и местного. Ольга Максимовна, запишите два. Дайте им с одинаковым рисунком, чтобы не перессорились. Вот... А шесть сервизов оставьте в резерве. Мало ли что еще может случиться. Комиссия приедет обследовать, юбилей чей-нибудь или шефство примем... Пусть полежат; нечего разбазаривать ценную продукцию!..

Иван Вадимович
лицом к потомству

— Зачем ты заключаешь в скобки весь многочлен? Икс-квадрат плюс два а-икс минус восемь а-квадрат... Что? Я говорю: делишь высший член делимого на высший

член делителя... Ну да. Первый член частного умножаешь на делитель и... Постой... И делимое вычитаешь из произведения. То есть наоборот: произведение вычитаешь из делимого. Как я сказал?... Совершенно верно! Из делимого. В данном случае высший член остатка не делится на высший член делителя... Мм... так. Какой ответ? В целых? Без дроби? Нет, тут что-то напутано. Возможно, в задачнике. Попробуй, Петька, раздели еще раз. Я бы сам тебе это сделал, если бы хоть секунда свободного времени. Сейчас будет гудеть внизу машина, заедут за мной, на заседание... Вообще, Петька, зря ты капризничаешь. У вас теперь не ученье, а малина. Попробовал бы ты в наше время, в царской школе! Что это был за кошмар, что за ужас... Вы теперь на учителей чуть не плюете. В наше время учителей боялись! Прямо тираны были, Петька... Мы их халдеями называли⁵. Ну, кто у вас по математике — какой-нибудь шкраб в задрипанной толстовке, сто рублей в месяц получает, полдня в очередях стоит... А ты представь себе у нас: Николай Аристархович Шмигельский — статский советник, синий мундир, золотые очки, от бороды одеколоном пахнет! Ведь он, негодяй, по праздникам со шпагой ходил — мы, мальчики, прямо восторгались. У такого выйдешь к доске бином Ньютона объяснять — чувствуешь, что состоишь на государственной службе! Или по закону божьему — отец Олеандров, до чего тоже гнусная личность. Фиолетовая ряса, приятно так шуршит, тоже борода холеная, голос бархатистый... Я у него, у сукина сына, по катехизису всегда первым был!.. Нет, это книжка такая, сочинение митрополита Филарета⁶. Догма и мораль христианства в сжатой форме, не допускающей недоумений и толкований. Ужасная чепуха — сейчас еще все помню наизусть!.. Я, Петька, несмотря на тяжелые условия царской школы, был во всех классах первым учеником и гимназию кончил с золотой медалью. Это мне дало культурный багаж для революции и сейчас — для созидательной работы. Надо и тебе учиться покрепче. «Бьюик»? Какой «бьюик»? Почему у меня нет «бьюика»? Что за манера перескакивать с одного на другое! А на что он мне, «бьюик»? Разве я на плохой машине езжу? Витька? Ну и что же, что хвастался. Витькин папа — член президиума, у них для президиума получено четыре новых «бьюика»... Почему я не член президиума? Да мало ли почему. Это, Петька, не твоего ума дело. Будет время — тоже буду членом президиума...

Звал покататься на «бьюике»? Не смей, слышишь, я тебе запрещаю. Не навязывайся. Витькин папа рассердится, я вовсе не хочу с ним ссориться из-за тебя. Разве папа тебя приглашал кататься? Ничего у тебя не поймешь! Кто же звал — Витька или Витькин папа? Вынь палец из носа! Я с ним разговариваю, а он полруки пихает в ноздрю! Так и сказал: «Давайте я вас обоих покатаю»? Обязательно поезжай!! А еще что говорил? Обо мне не спрашивал? Совершенно не спрашивал? Ну, впрочем, это хорошо. А ты что ему говорил? Так ничего и не говорил? Что же ты, немой? С тобой говорит отец твоего товарища, а ты молчишь как дубина. Вспомни, может быть, что-нибудь говорил? О какой квартире?.. Так ты и сказал: «У вас паршивая квартира, наша гораздо лучше»? Идиот! Кто тебя просил?! Зачем ты треплешь языком, создаешь неправильное впечатление обо мне? Анюта, ты слышишь, как наш дорогой сыночек разговаривает с людьми?! Нет, очень даже касается! Ребенок растет дегенератом, говорит людям в лицо черт знает что — это должно тебя касаться! Ношусь весь день, как черт, сгораю на работе, ночей не сплю — все думаю, как бы лучше, а тут — из собственного дома мои же дети наносят удары в спину! Я требую — посиди с Петькой час, объясни ему элементарно, что он должен и чего не должен говорить, если любит своего отца и дорожит своей семьей. Нет, лучше я сам посижу, ты бываешь не умней Петьки. Когда он тебя будет катать?.. Ну вот, и накануне мы с тобой, Петька, коротенечко потолкуем. Ты уже не маленький, ты обязан помогать отцу в некоторых вещах.

Иван Вадимович
рассказывает один случай

— Кто, я? Это вам приснилось. В Камерном театре? Я вообще туда не хожу. Я не знаю, где он помещается! Когда это было?.. В конце марта у меня не могло быть ни одного свободного вечера. Я веду кружок, заключительные занятия. А по советской работе — окончание годового отчета. Просто физически я не мог там быть... В двух шагах от меня? Или вы обознались, или просто разыгрываете меня. Да знаем мы эти штучки... В буфете, впереди вас? Я сидел? Маленькая? Я вообще, если уже... то только с высокими. Мой голос? Вы, наверно, были выпивши. Я сказал «испытайте мои силы»? И это похоже,

что я мог сказать такую пошлятину?! Ладно, разыгрывайте кого-нибудь другого. Может быть, это был двойник... Ну... хорошо, я расскажу. Но прошу вас совершенно серьезно: гроб. Никому ни звука. Гроб-могила. Для вас это шуточка, а для меня может получиться совсем не смешно... Я уже сам хотел с вами поделиться... Но только умоляю: мо-ги-ла. Она сама? Никогда в жизни она не разболтает. В этом отношении это очень милая баба; не пикнет никому ни слова. Это просто не в ее интересах... Да, на открытом собрании ячейки. Она, оказывается, работает уже второй год, но в плановом отделе — это на другой улице. Какой-то дурак выступил — почему Ковзюков получает в отличие от других шоферов добавочные отпуска и продукты по запискам. Якобы потому, что возит меня... Я жду, чтобы кто-нибудь дал отпор такой демагогии. Никто отпора не дает, все говорят на другие темы. Я уже сам хотел дать фактическую справку — выступает эта самая... ну, словом, Галя. Очень так спокойно, толково. «Я, говорит, сама беспартийная, но удивляюсь, почему здесь товарищи при обсуждении такого большого вопроса, как продовольственное снабжение, приплетают разных шоферов, разные продукты и записки. Зачем, говорит, позволяют себе никчемные выпады против наших руководящих товарищей». Про обезличку, про уравниловку говорила — не совсем, правда, кстати, но ничего. Сказала, что с кого много спрашивается, тому надо больше дать. Поскольку, мол, Ковзюкову доверено ответственное дело возить Ивана Вадимовича, постольку — ну, и так далее... После собрания я ухожу пешком, случайно нагоняю ее. Разговорились — ни слова по поводу инцидента — так, вообще, о том, какая эпоха, как интересно работать. Проводил ее, но не до самого дома, чтобы не слишком воображала. Потом еще как-то пару раз... Ну, вы знаете, я у себя в учреждении даже ни на кого не смотрю. У меня принцип: там, где питаешься, там не... Все-таки вижу, что девушка сама лезет... Я ведь тоже не камень. Затребовал ее личное дело... Я такие вещи не коряво проделываю, чтобы все догадались. В порядке заботы о личном составе пометил на списке сотрудников четырнадцать имен, сказал прислать мне их на просмотр. Между прочим и ее дело. Вижу, по анкете все прилично, работала ряд лет в детском доме, потом на транспорте, у нас она инструктор-плановик... Ну, жена уехала к родным — мы встретились. Числится замужем, но с мужем

не живет. Что в ней замечательно — совершенно отдельная комната! Дверь в коридор, но у самого выхода. Много читает — Цвейга, письма Толстой к мужу. Когана в оригинале. Подписана на Малую советскую энциклопедию. Притом — отличное белье, это тоже, знаете, играет какую-то роль. Ну, я тоже не ударил лицом в грязь. Она мне сказала... это глупо, конечно... я просто даю картину... она сказала, что во мне много первобытной силы... Только, пожалуйста, никому ни слова! Гроб-могила!.. А в Камерном мы были еще до того. Через неделю после яички... Она хотела в Большой, но я отказался — вежливо и твердо. В Большом нас каждая собака могла увидеть. Еще важный момент: я боялся, как бы чего-нибудь не поймать. Все-таки семейный человек. Принял даже меры... Оказывается, ерунда. Никаких даже опасений быть не может. Она мне сказала, что до меня у нее четыре месяца вообще абсолютно никого не было; я ей охотно верю... Что в ней приятно: ничего не просит. «Сознаю, говорит, дистанцию между мной и тобой, и пусть, — говорит, так всегда и останется». Единственно что — ее перевели секретарем отдела, в общей комнате у нее от шума разбаливается голова... Ну, Ковзюков ей два раза отвозил продуктов; дров обещал я ей послать... Надо же чем-нибудь топить человеку... «Ничего мне от тебя, говорит, не надо, кроме того, чего я сама не могу достать...» Это все-таки приятно, такое отношение... Я вас прошу, не вздумайте хоть слово сказать при Анне Николаевне, даже в шутку! Она никаких шуток не понимает, она все всерьез берет. Ко всем вопросам подобного рода подходит крайне примитивно!

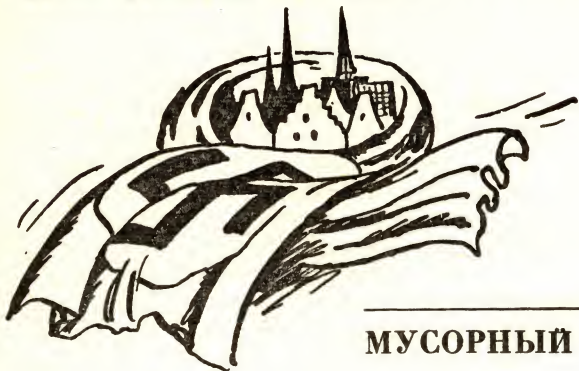
Ивану Вадимовичу
не спится

— Какой же может быть теперь час? Анюта не верила, что у нас мыши. Вот бы сейчас разбудить и дать послушать... Нет, не стоит, начнется болтовня, тогда, наверно, не засну... Как паршиво строят эти кооперативные дома! Буквально все слышно. Граммофон... Это, наверно, у Бондарчука — провода на руководящую работу на периферию... А ведь я тоже весной чуть не угодил на периферию. Еле уполз... Хотя... и на периферии люди живут. Приезжал бы в Москву на съезды. Верхом по периферии ездил бы... Надо мне верхом ездить — чтобы похудеть. Пирамов полнее меня. У Пирамова настоящий живот,

а у меня только начался... А ведь я был совсем худенький... Как я в речку нырял с мостков! Теперь бы так не нырнул... Хотя, пожалуй, нырнул бы. Как называлась речка? Серебрянка... Надо будет Серебрякову ответить завтра на запрос — уже две недели бумага валяется... Серебряков... Еще Серебровский есть. Это в Главзолоте... Странно: Серебровский в Главзолоте... А если наоборот — Золотовский в Главсеребре... Неостроумно. Черт знает что ночью лезет в голову. Надо заснуть!.. Петька во сне стонет. А я ему задачу так и не смог решить. Соврал, что нет времени... Он, кажется, догадался. Но смолчал... Смешно, Петька еще маленький — а уже бережет меня, чтобы не обидеть. К старости дело идет... У Петьки почерк уже похожий на мой. Интересно, какой Петька будет в мои годы... В это время уже должно быть бесклассовое общество... Черт, до чего я запустил марксистский кружок. Срываю уже четвертое занятие... Надо подготовиться, что-нибудь прочесть. Скоро чистка... Нет, об этом не стоит думать. Хотя нет, лучше заранее подготовиться ко всему. Карасевич, наверно, будет выступать против меня. Что, если его перевести в ростовскую контору?.. Догадается, сволочь. Нарочно приедет в Москву на мою чистку! Как это гнушно — чувствовать, что где-то близко живет и дышит враг! Как заноза в теле. У меня их много. Если бы получить отпуск на год. Нет, мало. На десять. Даже на пять лет... Вот как у них там, на Западе: «Заявил, что отходит от политической жизни...» Интересно, как бы я жил, если бы не было революции. Кончил бы юридический, был бы присяжным поверенным. Пожалуй, остался бы в Пензе... Как странно было в прошлом году опять попасть на бульвар, где я когда-то с Олей целовался. Где она сейчас... Во время войны была сестрой. С офицерами гуляла... Со мной почти перестала здороваться. Потом, наверно, удрала за границу. Красивая, черт... Если бы не удрала, я бы на ней женился. Больше не за кого было бы ей выходить, из пензенских я один далеко пошел... Яшка Кипарисов сейчас держится прилично. А еще недавно фамильярничал — на том основании, что мы с ним когда-то гоняли голубей... Мало ли кто с кем чего гонял... Хорошо, что я с ним стал разговаривать по-ледяному... Опять пропустил зиму, только два раза ходил на каток... А ведь давал себе слово — два раза в шестидневку!.. Сколько у меня неисполненных намерений! Каток. не курить. прочесть «Капитал», порвать

с Галей, изучить английский, уволить Ковзюкова... По-ехать с Петькой за город, ну, это мелочь... Овладеть техни-кой... Удерживаться, когда Анютка меня раздражает. Как ей не стыдно так со мной хамить! Вот я умру — она узнает, почем фунт лиха. Этот же Антон Фридрихович, который липнет к ней как банный лист — он ее даже машинисткой не захочет устроить... Все они друзья до поры до времени!.. Ну, и я хорош... Когда Янушкевича исключили, я не узнал его в приемной. Вот, наверно, зол! Надо будет его чаю позвать пить. Только в оди-ночку, чтобы не было разговоров... Наверно, скоро вос-становят его... Что, если меня исключили бы!.. Я бы застрелился. Нет, пожалуй, нет... А куда бы я девался? Теперь всюду нужно знать технику. Чем бы я мог быть?! Консультантом разве... Но по каким вопросам?.. Нет, не исключат. Не может быть. А вдруг исключат! Исключают же людей. Неужели они все хуже меня... Если считать до тысячи — говорят, можно заснуть... Раз, два, три, четы-ре, пять, шесть, семь... Нет, противно... Дуняшка еще домой не приходила... С каким-то комсомольцем живет, корова! Надо ей сказать, чтобы сюда его не водила. Глупо, у меня на кухне комсомолец! Но не в столовую же мне его водить!.. Может быть, книжку взять почитать?.. Нет, Анютка проснется — хуже будет.

1933



МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

Посвящается тов. Цахову — германскому безработному, свидетелю на Лейпцигском процессе, заключенному в концлагере Гитлера (теперь, наверно, уже покойнику).

Оставьте безумие мое. И подайте тех, кто отнял мой ум.

Тысяча и одна ночь.

Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался новый сияющий день — 16 июля 1933 года. Однако к одиннадцати часам утра этот день уже постарел от действия собственной излишней энергии — от жары, от пылящей ветхости почвы, затмившей пространство, от тления всякого живого дыхания, возбужденного греющим светом, — и летний день стал смутным, тяжким и вредоносным для зрения глаз.

Стихия света проникала через большое горячее окно и освещала одинокого, спящего на железной кровати, на бедном белье, взволнованном сонными движениями. Спящий человек был не стар, но обыкновенное лицо его давно посерело от напряжения, с которым уснувший добывал себе жизнь, и непроходящее утомленное отчаяние с костяной твердостью лежало в выражении его лица, как часть поверхности человеческого тела.

Было воскресенье. Из другой комнаты квартиры вышла смуглая жена спящего человека, по имени Зельда, родом

с Ближнего Востока, из русской Азии. Она с кроткой тщательностью накинула одеяло на обнажившегося мужа и пробудила его:

— Вставай, Альберт. День наступил, я достану чего-нибудь.

Альберт открыл глаза — сначала один глаз, потом другой — и увидел все в мире таким неопределенным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери нету нигде, и вставшие, мутные предметы враждебно двигаются на маленького зажмурившегося человека... Зельда погладила Альберта по лицу, он успокоился, его глаза остановились — чистые, выгоревшие насквозь, глядящие неподвижно, как в слепоте. Он не мог сразу вспомнить, что он существует и что ему надо продолжать жить дальше, он забыл вес и чувство своего тела. Зельда ближе склонилась к нему, увядшая от голода афганка, некогда пышное и милое существо.

— Вставай, Альберт... У меня две картошки с ворванью.

Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза засверкали бешенством и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия; она произносила над его лицом возгласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал прочь. Одеваясь, Лихтенберг видел, как плакала Зельда, улегшись на полу; нога ее заголилась — она была покрыта одичалыми волдырями от неопытности зверя, она даже не зализывала их — она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами.

Альберт взял трость и захотел уйти; он потемнел мыслью — эта бывшая женщина иссосала его молодость, она грызла его за бедность, за безработицу, за мужское бессилие. Теперь она зверь, сволочь безумного сознания, а он до гроба, навсегда останется человеком, физиком космических пространств, и пусть голод томит его желудок до самого сердца — он не пойдет выше горла, и жизнь его спрячется в пещеру головы.

Альберт ударил тростью Зельду и вышел на улицу, в южную германскую провинцию. Звонили колокола римской веры, из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки с глазами, наполненными

скорее влагой их любовного влагалища, чем слезами обожания Христа.

Альберт поглядел на солнце и улыбнулся ему, как далекому человеку. Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии и не кометы, не бродячие черные звезды закончат человечество на земле: они слишком велики для такого небольшого действия. Люди сами затамят и растерзают себя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие обратятся в животных.

На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и красный, — посол бога в виде мочевого отростка человека. Затем из церкви появились старухи — эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте истлевали части любви и материнства. Священник благословил с крыльца жаркое пространство и ушел в холодок своей квартиры на церковном дворе.

Мелкие колокола на башне еще продолжали звонить, вознося пропетые молитвы через готическую мучительную вершину храма и неясное небо, затуманенное зноем солнца. Вечные колокола звонили о том же, о чем писали газеты и книги, о чем играла музыка в ночных кафе: «томись, томись, томись!»

Но уже двадцать лет слышал этот однообразный всемирный звук Альберт Лихтенберг: «томись!» — и призыв к томлению, к замедлению, к уничтожению жизни все более усиливался, одно лишь сердце билось невинно и ясно, как непорочное, как не понимающее ничего.

Альберт сел где-то в городе среди потоков жары; день продолжался над ним с тщательностью пустяка, с точностью государственной жизни, с терпением неизвестного милосердия. Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданием прохладного ветра в этом пыльном, душном существовании.

— Кто ты? — спросил Лихтенберг.

Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна. С дерева упали мертвые бабочки, но живая моль улетела в сухую пустоту.

Лихтенберг сжал трость в руке; он пошел дальше с яростью своего жесткого сознания, он чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина, прорастающие сквозь кость. В тлеющем, измученном воздухе он увидел площадь города. Большой католический собор, как сонное тысячелетие, как организованное в камень страдание, стоял сосредоточенно и безмолвно, упираясь глубоко в могилы своих строителей. Снизу подымался мусор: человек сто национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего мировоззрения, монтировали памятник Адольфу Гитлеру. Памятник был привезен готовым на грузовике, его отлили из качественной бронзы в Эссене. Другой грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовые машины одновременно привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета. Национал-социалисты трудились, не жалея одежды; их белье прело от пота, кости изнашивались, но им хватало и одежды и колбасы, потому что в тот час миллионы машин и угрюмых людей напрягались в Германии, обслуживая трением металла и человеческих костей славу одного человека и его помощников.

Из центральной улицы города вышла однодушная толпа — несколько тысяч человек, толпа пела песнь изнутри своей утробы, Лихтенберг ясно различал бас пищевода и тенор дрожащих кишок. Толпа приблизилась к памятнику; лица людей означали счастье: удовольствие силы и бессилия блестело на них, покой ночи и пищи был обеспечен для каждого темным могуществом их собственного количества. Они подошли к памятнику, и авангард толпы провозгласил хором приветствие человеку, изображенному из бронзы, а затем вступили в помощь работающим, и мусор поднялся от них с силой стихии, так что Лихтенберг почувствовал перхоть даже в своей душе. Другие тысячи и миллионы людей тоже топтали сейчас старую, трудную землю Германии, выражая одной своей наличностью радость спасителю древней родины и современного человечества. Миллионы могли теперь не работать, а лишь приветствовать: кроме них были еще сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными. Ни приветствующие, ни безмолвные не добывали даже черного хлеба, но ели масло, пили виноградное вино, кормили по одной верной жене.

Сверх того, по Германии маршевыми колоннами ходили вооруженные армии, охраняющие славу правительства и порядок преданных ему, — эти колонны немых, сосредоточенных людей ежедневно питались ветчиной, и правительство поддерживало в них героический дух безбрачия, но снабдило пипетками против заражения сифилисом от евреек (немецкие женщины сифилисом сознательно не болели, от них даже не исходило дурного запаха, благодаря совершенному расовому устройству тела).

Лихтенберг тоже не трудился — он мучился. Все видимые им людские количества либо погибали от голода и безумия, либо шагали в рядах государственной охраны. Кто же кормил их пищей, одевал одеждой и снабжал роскошью власти и праздности?.. Где живет пролетариат? — или он утомился и умер, истратившись в труде и неизвестности! Кто же, бедный, могучий и молчаливый, содержит этот мир, который истощается в ужасе и остревелой радости, а не в творчестве, и ограждает себя частоколом идиологов?

В изнеможении стоял Альберт Лихтенберг на старой католической площади, озираясь с удивлением в это царство мнимости: он и сам лишь с трудом чувствовал свое существование, напрягаясь для каждого воспоминания о самом себе, обычно же он себя постоянно забывал, может быть, излишек страдающего сознания выключал в нем жизнь, дабы она сохранилась, хотя бы в своем грустном беспамятстве!..

Чуждый всякому соображению, равнодушный, как несуществующий, Лихтенберг подошел к радиатору грузовика. Трепещущий жар выходил из железа; тысячи людей, обратившись в металл, тяжело отдыхали в моторе, не требуя больше истины, питаясь одним дешевым газом. Лихтенберг прислонился лицом к машине, как к погибшему братству; сквозь щели радиатора он увидел могильную тьму механизма, в его теснинах заблудилось человечество и пало мертвым. Лишь изредка среди пустых заводов стояли немые рабочие; на каждого из них приходилось по десяти человек государственной гвардии, и каждый рабочий делал в день сто лошадиных сил, чтобы они кормили, утешали и вооружали господствующую стражу. Один убогий труженик содержал десять человек торгующих господ, но эти десять господ, однако, не радовались, а жили в тревоге, сжимая оружие в руках против бедных и одиноких.

Над радиатором автомобиля висела золотая полоска материи с надписью черными буквами: «Почитайте вожда германцев — мудрого, мужественного, великого Адольфа! Вечная слава Гитлеру!» По обеим сторонам надписи были знаки свастики, как следы лапок насекомого.

— Прекрасный девятнадцатый век, ты ошибся! — сказал Лихтенберг в пыль воздуха, и мысль его вдруг оставилась, превратившись в физическую силу. Он поднял тяжелую трость и ударил ею машину в грудь — в радиатор, так что смялись его соты. Национальный шофер молча вышел из-за руля и, сжав туловище худого физика, ударил его головой с равнозначной силой о тот же радиатор. Лихтенберг свалился в земной сор и там пролежал без ощущения, это уже не было для него страданием — он и без того очень мало чувствовал себя как насущное тело и как эгоиста, а голова его болела от сорной действительности больше, чем от ударов о железо...

Слабо белел день над его зрением, он глядел в него, не моргая; пыль набилась в его глазницы и оттуда текли слезы, чтобы смыть щекочущую грязь. Над ним стоял шофер; все съеденные им за свою жизнь животные: коровы, бараны, овцы, рыбы, раки, — переварившись внутри, оставили в лице и теле шофера свое выражение остервенения и глухой дикости. Лихтенберг встал, ткнул тростью животное туловище шофера и отошел от машины. Шофер остался в удивлении — перед таким фактом невнимательного мужества — и забыл вторично ударить Лихтенберга.

В пространстве шел ветер с юга, неся из Франции, Италии, Испании житейский мусор и запах городов, остатки взволнованного шума, обрывающийся голос человека... Лихтенберг повернулся лицом навстречу ветру; он услышал далекую жалобу женщины, грустный крик толпы, скрежет машинных скоростей, пение влажных цветов на берегу Средиземного моря. Он вникнул в эту невнятность, в безответное долгое течение воздуха, наполненное воплем над безмолвием местной суеты.

Лихтенберг подошел к труженикам у памятника. Работа людей уже прекращалась. На чугунном цилиндре стояло бронзовое человеческое полутело, заканчивающееся сверху головой.

На лице памятника были жадные губы, любящие еду и поцелуй, щеки его потолстели от всемирной славы, а на обыкновенный житейский лоб оплаченный художник по-

ложил резкую морщину, дабы видна была мучительная сосредоточенность этого полутела над организацией судьбы человечества и ясен был его напряженный дух озабоченности. Грудь фигуры выдавалась вперед, точно подтягиваясь к груди женщины, опухшие уста лежали в нежной улыбке, готовые к страсти и к государственной речи, — если придать памятнику нижнюю половину тела, этот человек годился бы в любовники девушке, при одном же верхнем полутеле он мог быть только национальным вождем.

Лихтенберг улыбнулся; одна радость еще не оставила его — он мог нечаянно, по забывчивости думать.

— Прекрасный девятнадцатый век! — громко сказал Лихтенберг в окружавший его удушающий дух жары, машин и людей; национал-социалисты прислушались к его неясной речи: их вождь сравнил некогда мысль и слово с семейным браком — если мысль верна лишь вождю, как своему мужу, она полезна, если она бродит в сумраке ночи, по домам отчаяния, ища удовлетворения своего в развратном сомнении и блуде с одною грустью своею, — тогда мысль бессмысленна, организованная голова должна ее уничтожить, она опасней Версальского договора¹.

— Великий век! — говорил Лихтенберг. — В конце твоего времени ты родил Адольфа Гитлера — руководителя человечества, самого страстного гения действия, проникшего в последнюю глубину европейской судьбы!

— Верно! Хайль Гитлер! — закричали присутствующие массы национал-социалистов.

— Хайль Гитлер!.. Ты будешь царствовать века — ты прочнее всех императорских династий: твоему господству не будет конца, пока ты сам не засмеешься или пока смерть не уведет тебя в наш общий дом под травой! Что за беда! После тебя будут другие, более яростные, чем ты... Ты первый понял, что на спине машины, на угрюмом бедном горбу точной науки надо строить не свободу, а упрямую деспотию! Ты собираешь безработных, всех мрачных и блуждающих, которых освободила машина, под свои знамена, в гвардию своей славы и охраны... Ты скоро возьмешь всех живых в свои соратники, и те немногие утомленные люди, которые останутся у машин, чтобы кормить твою армию, не сумеют уничтожить тебя. Императоры гибли, потому что их гвардию кормили люди, но люди отказывались. Ты не погибнешь, потому что твою гвардию будут кормить механизмы, огромный

излишек производительных сил! Ты не исчезнешь и победишь кризис...

— Хайль Гитлер!

— Ты изобрел новую профессию, где будут тяжело уставать миллионы людей, никогда не создавая перепроизводства товаров; они будут ходить по стране, носить обувь и одежду, они уничтожат избыток пищи, они будут в радости и в поту прославлять твое имя, наживать возраст и умирать... Эта новая промышленность — труд по воодушевлению народа для создания твоей славы — окончит кризис и займет не только мускулы, но и сердце населения и утомит его покоем и довольством... Ты взял себе мою родину и дал каждому работу — носить твою славу...

Лихтенберг осмотрелся в томлении. С непрерывной силой горел солнечный центр в мусорной пустоте пространства, сухие насекомые и различные пустыки с раздражением шумели в воздухе, а люди молчали. Только двое ближних к Лихтенбергу националистов что-то быстро и негромко сказали друг другу, и один из них улыбнулся оратору незнакомым, дружеским лицом:

— Говори дальше, товарищ!

Лихтенберг удивился на мгновение, но горе его собственного сердца загораживало перед ним действительность, и он не понял этих двух штурмовиков.

— Бей нас, товарищ! — внезапно, во всеуслышанье сказал один из них и вдруг исчез из глаз, как погибший.

— ...Землю начинают населять боги, я не нахожу следа простого человека, я вижу происхождение животных из людей... Но что же остается делать мне? Мне — вот что!..

С силой своего тела, умноженной на весь разум, Лихтенберг ударил дважды палкой по голове памятника, и палка лопнула на части, не повредив металла; машинное полутело не почувствовало бешенства грустного человека.

Национал-социалисты взяли туловище Лихтенберга себе на руки, вывернули и вырвали раковины его обеих ушей, а оставшееся тело обмяли со всех сторон, пройдя по нему маршем. Лихтенберг спокойно понимал свою боль и не жалел об исчезающих органах жизни, потому что они одновременно были средствами для его страдания, злостными участниками движения в этой всемирной духоте. Кроме того, он давно признал, что прошло время теплого, любимого, цельного тела человека: каждому не-

обходимо быть увечным инвалидом. Потом он уснул от слабости, давая возможность, чтобы кровь запеклась на ранах. Ночью он очнулся. Звезд не было, шел мелкий, острый дождь, настолько мелкий, что он казался сухим и нервным, как перхоть.

Неизвестный человек поднял Лихтенберга от подножия памятника и понес куда-то. Лихтенберг удивился, что есть еще незнакомые нежные руки, которые, прячась ночью, несут молча чужого калеку к себе домой.

Но вскоре человек принес Лихтенберга в глубь черного двора, открыл дверь сарая над помойной ямой и бросил туда Лихтенберга.

Лихтенберг зарылся в теплую сырость житейских отхождений, съел что-то невидимое и мягкое, а затем снова уснул, согрившись среди тления дешевого вещества.

Из экономии хозяин дома подолгу не вывозил мусор из помойного помещения, поэтому Лихтенберг прожил долго в кухонной мишуре, равнодушно вкушая то, что входит в тело и переваривается там. По телу его от увечных ран и загрязнения пошла сплошная темная зараза, похожая на волчанку, а поверх ее выросла густая шерсть и все покрыла. На месте вырванных ушей также выросли кусты волос, однако он сохранил слух правой стороной головы. Ходить он больше не мог — у него повредились мозги. Только раз Лихтенберг вспомнил свою жену Зельду, без сожаления и без любви, — одною мыслью в костяной голове. Иногда он бормотал сам себе разные речи, лежа в рыбных очистках, — хлебные корки попадались очень редко, а картофельные шкурки — никогда. Лихтенберг удивился, отчего ему не отняли язык — это государственная непредусмотрительность: самое опасное в человеке не половой орган — он всегда однообразный смирный реакционер, но мысль — вот проститутка, и даже хуже ее: она бродит обязательно там, где в ней совсем не нуждаются, и отдается лишь тому, кто ей ничего не платит! «Великий Адольф! Ты забыл Декарта: когда ему запретили действовать, он от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если я живу — значит, тебе не быть! Ты не существуешь!»

— Декарт дурак! — сказал вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей мысли. «Что мыслит, то существовать не может, мысль — это запрещенная жизнь. И я скоро умру... Гитлер не мыслит, он аресто-

вывает, Адольф Розенберг мыслит лишь бессмысленное², папа римский не думал никогда, но они существуют ведь!»

— Пусть существуют!..— Лихтенберг в омраченной глубине своего ума представил чистый питательный свет солнца над влажной, прохладной страной, заросшей хлебом и цветами, и серьезного, задумчивого человека, идущего вослед тяжелой машине. Лихтенбергу стало вдруг стыдно того далекого, почти грустного труженика, и он закрыл рукою во тьме свое опечаленное лицо... Он стал печален от горя, что его тело уже истрачено, в чувстве нет надежды, и он никогда не увидит прохладной ржаной равнины, над которой проходят белые горы облаков, освещенные детским, сонным светом вечернего солнца, и его ноги никогда не войдут в заросшую траву. Он не будет другом громадному, серьезному большевику, молча думающему о всем мире среди своих пространств,— он умрет здесь, задохнувшись мусорным ветром, в сухом удушении сомнения, в перхоти, осыпавшейся с головы человека на европейскую землю.

Житейские отбросы все более уменьшались. Лихтенберг съел все мягкое и более или менее достойное пищи. Наконец, в помойном коробе осталась одна жесть и осколки керамических изделий.

Лихтенберг уснул с туманным умом и во сне увидел большую женщину, ласкавшую его. Но он мог лишь плакать в ее тесной теплоте и жалобно глядеть на нее. Женщина молча сжала его так, что он почувствовал на мгновение, что ноги его могут бежать собственной силой,— и он закричал от боли, схватив чужое тело в руку. Он поймал крысу, грызшую его ногу во сне: крыса рвалась жить с могучим рациональным нетерпением и утопала зубами в руке Лихтенберга; тогда он ее задушил за шею. Потом Лихтенберг опробовал свою рану от крысы; рана была рваная и влажная, крыса много выпила его крови и отъела верхнее мясо, и изнурила его жизнь,— теперь сила Лихтенберга хранилась в покойном животном.

Лихтенберг почувствовал скупость к бедному остатку своего существования, ему стало жалко худое тело, принадлежащее ему, истраченное в труде и томлении мысли, растравленное голодом до извести костей, не наслаждавшееся никогда. Он добрался до мертвой крысы и начал ее есть, желая возратить из нее собственное мясо и кровь, накопленные на протяжении тридцати лет из скудных доходов бедности. Лихтенберг съел маленького зверя

вплоть до его шерсти и уснул затем с удовлетворением своего возвращенного имущества.

Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в по-мойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она — бывший человек, доведенный горем и нуждою до бессмысленности животного, и не стал пугать ее дальше. Но собака, как только заметила человека, задрожала от ужаса, глаза ее увлажнились смертельной скорбью, — утратив силу от страха, она с трудом исчезла прочь. Лихтенберг улыбнулся: когда-то он работал над изучением космического пространства, составлял грезящие гипотезы о возможных кристаллических ландшафтах на поверхности далеких звезд, все это делалось с тайной целью — завоевать разумом Вселенную, теперь же, если бы звездная Вселенная стала доступна, люди в первый же день разбежались бы друг от друга и стали бы жить в одиночестве, на расстоянии миллиардов километров один от другого, а на земле бы вырос растительный рай, и его населили бы птицы.

Днем уличная полицейская власть изъяла Лихтенберга из его убежища и отвезла, как прочих преступных безымянных, в концлагерь, огороженный тройной сетью колючей проволоки. Среди лагерной площади были землянки, вырытые для долгой жизни загнанными сюда людьми.

В лагерной конторе у Лихтенберга не стали спрашивать ничего, а осмотрели его, полагая, что это — едва ли человек. Однако на всякий случай его оставили в бессрочном заключении, написав в личном формуляре: «Новый возможный вид социального животного, обрастает волосатым покровом, конечности слабеют, половые признаки неясно выражены и к определенному сексуальному роду этого субъекта, изъятого из общественного обращения, отнести нельзя; по внешней характеристике головы — дебил, говорит некоторые слова, произнес без заметного воодушевления фразу: „Верховное полутело Гитлер“, — и умолк бессрочно».

На пространстве лагеря росло одно дерево. Лихтенберг вырыл под корнем дерева небольшую пещеру и поселился в ней для неопределенного продолжения своей жизни. Вначале его сторонились заключенные и он сам держался уединенно от них, но потом один коммунист полюбил Лихтенберга. Это был молодой человек с черными внимательными глазами, покрытый по лицу прыщами от напора органической силы и бездействия. Он носил Аль-

берта на руках, как мелкое, кроткое тело, и говорил ему, что тосковать не надо: солнце всходит и заходит, растут ветви в лесах, в океан социализма течет историческое время; фашизм же кончится всемирной насмешкой — это улыбнутся молчаливые скромные массы, уничтожив господство живых и бронзовых идолов.

Лихтенберг пожил в лагере и постепенно успокоился. Он ждал только вечернего времени, когда возвращаются с работы заключенные, варят себе похлебку и разговаривают. Лихтенберга на работу не посылали, потому что он мог лишь ползти по земле. Ему теперь было ничего не жалко и не страшно: ни прожитой жизни, ни любви к женщинам, ни будущей темной судьбы; он лежал в пещере весь день и слушал, как шумит гнусная пыль в воздухе и пробегают поезда по насыпи, развозя чиновников правительства по делам их господства. Когда же раздавались голоса за колючей проволокой и гремело оружие конвоя, Лихтенберг вылезал навстречу людям — в радости своего страстного и легкого чувства к ним. Он дружил больше всего с коммунистами, голодные, они играли и бегали по вечерам, как ребятишки, веря в самих себя больше, чем в действительность, потому что действительность заслуживала лишь уничтожения, и Лихтенберг елозил между ними, принимая участие в этой общей детской суете, скрывавшей за собою утешение терпеливого сердца. Однажды он спросил их: почему вы не горюете? — они улыбнулись и взяли его на руки. Вероятно, счастье всегда собирается в человеке, хотя бы редкими каплями, как скапливается семя размножения в заключенном, будучи ненужным веществом. Потом Лихтенберг засыпал со счастьем до утра и рано вставал провожать своих товарищей на работу. Однажды, роясь в бурьяне в поисках еды, он нашел обрывок газеты и прочитал в нем про сожжение своей брошюры «Вселенная — безлюдное пространство». Брошюра была издана еще пять лет тому назад и посвящалась доказательству пустынности космического мира, наполненного почти сплошь одними минералами. Уничтожение книжки подтверждало, что и земля делается безлюдной и минеральной, но это не огорчило Лихтенберга: ему хотелось лишь, чтобы каждый день был вечер и он мог быть счастливым один час среди усталых, невольных людей, предающихся своей дружбе, как маленькие дети предаются ей в своих играх и в своем воображении на заросших дворах ранней родины.

В конце лета во время очередной ночи Лихтенберг неожиданно проснулся. Его разбудила женщина, стоявшая около дерева. Женщина была в длинном плаще, в маленькой круглой шапке, не скрывавшей ее локонов, с изящным телом, грустно расположенным под одеждой, — это была, очевидно, девушка. Рядом с нею стояли два стражника.

Сердце Лихтенберга стало сильно биться в тоске: лишенный способности к любви и даже к вертикальному движению на ногах, он, однако, сейчас попытался встать на обе ноги, томимый стыдом и страхом перед женщиной, и ему удалось устоять при помощи палки. Женщина пошла, и Лихтенберг последовал за ней, снова чувствуя твердеющую силу в ногах. Он не мог ничего спросить у нее, волнение его не прекращалось, он шел, отставая немного, и видел одну щеку ее лица, она же глядела все время в сторону от Лихтенберга, в предстоящую тьму дороги.

В конторе лагеря их ожидал суд из трех военных людей. Женщина остановилась позади Лихтенберга. Судья объявил Лихтенбергу, что он осуждается на расстрел — вследствие несоответствия развития своего тела и ума теории германского расизма и уровню государственного умозрения: в целях жесткого оздоровления народного организма от субъектов, впавших в состояние животности, в целях профилактики от заражения расы беспородными существами.*

— Ваше слово! — предложил судья Лихтенбергу.

— Я безмолвный, — сказал Лихтенберг.

— Гедвига Вотман! — произнес судья. — Вы член местной коммунистической организации. Со времени национальной революции насмешка над верховным вождем не сходила с вашего лица. С того же момента вы, находясь уже в заключении, отказали в браке и в ответной любви двум высшим офицерам национальной службы, оскорбив их расовое достоинство. Решение суда: уничтожить вас как личного врага племенного гения тевтонов. Имеете слово?

— Имею, — ответила спутница Лихтенберга. — Мое сердце занято навсегда другими людьми. Но если бы я ответила согласием вашим офицерам, то после все равно они бы получили отказ в моей любви, потому что я женщина, а они не мужчины...

* Смертная казнь посредством топора и палача была введена позже.

— Как не мужчины?! — воскликнул судья, потрясаясь фактом.

— Они фашисты, они враги нации! Они меня пытались насиловать; сначала я испугалась, а потом рассмеялась: они могут рожать только идеи, детей не могут...

— Вы коммунистка? — спросил член суда.

— Ясно, — сказала Вотман. — Но для ответа по этому вопросу я прошу дать мне ваше оружие!

Ей отказали в просьбе.

Судья сделал коменданту обычное распоряжение о казни.

— Введите следующую пару ублюдков! — приказал судья далее.

Лихтенберга и Гедвигу Вотман вывели из пределов лагеря. Четыре офицера конвоировали их, держа готовые револьверы в руках. Впереди шли двое уголовных, несших на голове по тесовому гробу, сделанному в лагере их же руками.

Гедвига Вотман шла, по-прежнему изящная и нескучная, точно уходила не в смерть, а в перевоплощение. Она дышала тем же мусорным воздухом, что и Лихтенберг, голодала и мучилась в неволе, ожидала коммунизма; она шла погибать, но ни скорби, ни болезни, ни страху, ни сожалению, ни раскаянию она не уступила ничего из своего тела и сознания — она покидала жизнь, сохранив полностью все свои силы, годные для одержания трудной победы и долговечного торжества. Омрачающие стихии врага остановились у ее одежды и не тронули даже поверхности ее щек — здоровая и молчаливая, она шла ночью вслед за своим гробом и не жалела о несбывшейся жизни, как о пустяке. Но зачем же тогда она яростно и губительно боролась за рабочее сословие, как за вечное личное счастье?

Лихтенбергу казалось даже, что от Гедвиги исходил влажный запах здравого смысла и пота здоровых полных ног — в ней ничего не засохло от горячего мутного ветра, и достоинство ее пребывало внутри ее одинокого тела, окруженного конвоем.

Гробовщики спустились в полевую долину и пошли дальше по ее глухому дну. Вскоре стали видны постройки давно заброшенного керамического завода, и приготовленных к уничтожению ввели в темную теснину между заводскими стенами.

Лихтенберг близко держался около Гедвиги Вотман

и плакал от своего безумия. Он думал об этой неизвестной женщине с такою грустью, точно подходил к концу света, но жалел о кончине лишь этой своей преходящей подруги. Шествие повернуло за угол стены, гробовщики скрылись за каким-то неопределенным предметом. Конвойный офицер, шедший слева от Лихтенберга, попал на край пропасти, вырытой для какого-то могучего механизма, и пошел по нему осторожно и благополучно; но Лихтенберг внезапно толкнул его — по детской привычке сунуть что-нибудь в пустое место. Офицер исчез вниз и вскрикнул оттуда, одновременно со скрежетом железа и трением своих трескающихся костей. Три остальных конвойных офицера сделали движение к провальной яме, а Гедвига Вотман взмахнула краем плаща и беззвучно, с мгновением птицы скрылась от конвоя и от Альберта Лихтенберга навсегда. Три офицера, думая, что преступница удалилась не далее нескольких шагов, бросились за ней, дабы немедленно настигнуть ее и сейчас же возвратиться.

Лихтенберг остался один в недоумении. Офицер в яме давно умолк. Уголовные с гробами на головах как отошли вперед, так и не вернулись. Вдалеке, уже в чистом поле, послышались два выстрела: Гедвига Вотман исчезала все более далеко и невозвратно; настигнуть ее было нельзя никому. Лихтенбергу захотелось, чтобы ее поймали и привели: он не мог теперь обойтись без нее, он желал посмотреть на нее еще хотя бы самое краткое время.

Никто не возвращался. Лихтенберг прилег на землю. Раздался еще один глухой выстрел, бессильный и неверный, в далекой ночи. Вслед за тем в лагере зазвонил колокол боевой тревоги. Лихтенберг поднялся и пошел понемногу с того места, где должна бы быть его вечная гробница, в одной могиле с телом Гедвиги; через десять лет, когда гробы и тела в них сотлели бы, когда земной прах нарушился, скелет Альберта обнял бы скелет Гедвиги — на долгие тысячелетия.

Наутро Лихтенберг пришел в незнакомый ему рабочий поселок, где стояли шесть или восемь домов. Начинался осенний светлый день, ослабевший сор шевелился на безлюдной дороге между жилищами, издали поднималось солнце в свою высшую пустоту.

Альберт дошел до крайнего дома, не встретив никого. Он очутился на околице у колодца и здесь увидел на ней памятник Гитлеру: пустынное бронзовое полутело:

против лица гения находился букет железных цветов в каменной урне. Лихтенберг внимательно поглядел в металлическое лицо, ища в нем выражения.

Уйдя от памятника, он вошел в дом. В нем сидела женщина и одной рукой качала люльку, подвешенную к потолку, а другой рукой все время кутала и укрывала одеялом ребенка, который спал в люльке. Лихтенберг спросил у той женщины что-то, она не ответила ему. Глаза ее не моргали и смотрели в колыбель с долгой сосредоточенной грустью, ставшей уже равнодушной от своего терпения. Лицо женщины имело от голода и утомления коричневый цвет, как рубашка фашиста, наружное подкожное мясо ушло на внутреннее питание, так что с костей ее сошла вся плоть, как осенняя листва с дерева, и даже мозг ее из-под черепа рассосался по туловищу для поддержания силы, поэтому женщина жила сейчас без ума, память ее забыла необходимость моргать веками глаз, размер ее тела уменьшился до роста девочки, только одно горе ее действовало по инстинкту. Она с беспрерывной энергией все качала и качала дешевую люльку и с неутомимой, берегущей нежностью укрывала спящего ребенка от неощутимого для Лихтенберга холода.

— Видишь, как озяб, — сказала она, — поэтому и уснуть не может!

Лихтенберг опустил пальцем веки на детских глазах и сказал матери:

— Теперь они уснули!

Вечером в этот дом пришел полицейский и с ним молодая женщина с восточным тревожным лицом. Полицейский разыскивал при помощи женщины государственного преступника, а женщина, не зная мысль полиции, искала при помощи государства своего безумного мужа.

Полицейский и его спутница нашли в доме мертвую женщину, уткнувшуюся лицом в колыбель с ребенком также одинаково мертвым. Мужчины здесь не было.

— Отдохните, фрау Зельда Лихтенберг, — предложил полицейский.

Но взволнованная женщина не послушалась его и вышла бесцельно из дома — через его кухонную дворовую дверь.

Зельда увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфлей, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек,

заросший шерстью, но скорее всего это большая обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды.

Вышедший потом полицейский подтвердил догадку Зельды, что это лежит обезьяна или прочее какое-нибудь ненужное для Германии, ненаучное животное; в одежду же его нарядили молодые наци или штальгеймы³: для политики.

1934



БРОНИРОВАННОЕ МЕСТО

Рассказ будет о горьком факте из жизни Посиделкина. Беда произошла не оттого, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен.

В общем, произошло то, что уже бывало в истории народов и отдельных личностей, — горе от ума. Дело касается поездки по железной дороге.

Конечная цель усилий Посиделкина сводилась вот к чему: 13 сентября покинуть Москву, чтобы через два дня прибыть в Ейск на целительные купанья в Азовском море. Все устроилось хорошо: путевка, отпуск, семейные дела. Но вот — железная дорога. До отъезда оставалось только два месяца, а билета еще не было.

«Пора принимать экстренные меры, — решил Посиделкин. — На городскую станцию я не пойду. И на вокзал я не пойду. Ходить туда нечего, там билета не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами. Нет, нет, билет надо доставать иначе».

Это самое «иначе» отняло указанные уже два месяца.

— Если вы меня любите, — говорил Посиделкин каждому своему знакомому, — достаньте мне билет в Ейск. Жесткое место. Для лежания.

— А для стояния не хотите? — легкомысленно отвечали знакомые.

— Бросьте эти шутки, — огорчился Посиделкин, — человеку надо ехать в Ейск поправляться, а вы... Так не забудьте. На тринадцатое сентября. Наверное же, у вас

есть знакомые, которые все могут. Да нет! Вы не просто обещайте — запишите в книжечку. Если вы меня любите!

Но все эти действия не успокаивали, так сказать, не давали полной гарантии. Посиделкин опасался конкурентов. Во всех прохожих он подозревал будущих пассажиров. И действительно, почти все прохожие как-то нервно поглядывали по сторонам, словно только на минуту отлучились из очереди за железнодорожными билетами.

«Худо, худо, — думал Посиделкин, — надо действовать решительнее. Нужна система».

Целый вечер Посиделкин занимался составлением схемы. Если бы его сейчас поймали, то, несомненно, решили бы, что Посиделкин — глава большой подпольной организации, занятой подготовкой не то взрыва железнодорожного моста, не то крупных хищений в кооперативах открытого типа.

На бумажке были изображены кружочки, квадратики, пунктирные линии, литеры, цифры и фамилии. По схеме можно было проследить жизнь и деятельность по крайней мере сотни людей: кто они такие, где живут, где работают, какой имеют характер, какие слабости, с кем дружат, кого недолюбливают. Против фамилий партийных стояли крестики. Беспартийные были снабжены нуликами. Кроме того, значились в документе довольно-таки странные характеристики:

«Брунелевский. Безусловно может».

«Никифоров. Может, но вряд ли захочет».

«Мальцев-Пальцев. Захочет, но вряд ли сможет».

«Бумагин. Не хочет и не может».

«Кошковладельцев. Может, но сволочь».

И все это сводилось к одному — достать жесткое место для лежания.

«Где-нибудь да клонет, — мечтал Посиделкин, — главное, не давать им ни минуты отдыха. Ведь это все ренегаты, предатели. Обещают, а потом ничего не делают».

Чем ближе подходил день отъезда, тем отчаяннее становилась деятельность Посиделкина. Она уже начинала угрожать спокойствию города. Люди прятались от него. Но он преследовал их неумолимо. Он гнался за ними на быстроходных лифтах. Он перегрузил ручную и автоматическую станции бесчисленными вызовами.

— Можно товарища Мальцева? Да, Пальцева. Да, да, Мальцева-Пальцева. Кто спрашивает? Скажите — Ле-

ля. Товарищ Мальцев? Здравствуйте, товарищ Пальцев. Нет, это не Леля. Это я, Посиделкин. Товарищ Мальцев, вы же мне обещали. Ну да, в Ейск, для лежания. Почему некогда? Тогда я за вами заеду на такси. Не нужно? А вы действительно меня не обманете? Ну, простите великодушно.

Завидев нужного ему человека, Посиделкин, презирая опасность, бросался в самую гущу уличного движения. Скрежетали автомобильные тормоза, и бледнели шоферы.

— Значит, не забудете, — втолковывал Посиделкин, стоя посреди мостовой, — в Ейск, для лежания. Одно жесткое.

Когда его отводили в район милиции за нарушение уличных правил, он ухитрялся по дороге взять с милиционера клятву, что тот достанет ему билет.

— Вы — милиция, вы все можете, — говорил он жалобно.

И фамилия милиционера с соответствующим кружочком и характеристикой («Может, но неустойчив») появлялась в страшной схеме.

За неделю до отъезда к Посиделкину явился совершенно неизвестный гражданин и вручил ему билет в Ейск. Счастью не было предела. Посиделкин обнял гражданина, поцеловал его в губы, но так и не вспомнил лица (стольких людей он просил о билете, что упомянуть их всех было решительно невозможно).

В тот же день прибыл курьер на мотоцикле от Мальцева-Пальцева. Он привез билет в Ейск. Посиделкин благодарил, но деньги выдал со смущенной душой.

«Придется один билет продать на вокзале», — решил он.

Ах, напрасно, напрасно Посиделкин не верил в человечество!

Схема действовала безотказно, как хорошо смазанный маузер, выпуская обойму за обоймой.

За день до отъезда Посиделкин оказался держателем тридцати восьми билетов (жестких, для лежания). В уплату за билеты ушли все отпускные деньги и шестьдесят семь копеек бонами на Торгсин.

Какая подлость! Никто не оказался предателем или ренегатом.

А билеты все прибывали. Посиделкин уже прятался, но его находили. Количество билетов возросло до сорока четырех.

За час до отхода поезда Посиделкин стоял на гранитной паперти вокзала и несмелым голосом нищего без квалификации упрашивал прохожих:

— Купите билетик в Ейск! Целебное место — Ейск! Не пожалеете!

Но покупателей не было. Все отлично знали, что билета на вокзале не купишь и что надо действовать через знакомых. Зато приехали на казенной машине Брунелевский, Бумагин и Кошкотовладельцев. Они привезли билеты.

Ехать Посиделкину было скучно.

В вагоне он был один.

И, главное, беда произошла не оттого, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен. Просто у него были слишком влиятельные знакомые. А чудное правило — покупать билеты в кассе — почему-то было забыто.

1932



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРАМВАЙ

Жарко. По летнему времени трудно сочинить нечто массивное, многословное, высокохудожественное, вроде «Соти». Тянет написать что-нибудь полегче, менее великое, вроде «Мадам Бовари»¹.

Такая жара, что противно вкладывать персты в язвы литературы. Не хочется придираться, допускать сатирические вольности и обобщения.

Хочется посмеяться. И, верите ли, смеяться хочется почему-то так называемым утробным смехом. Тем более это уже разрешено вполне официально и, есть слух, даже поощряется.

Хочется, а с другой стороны — колет. Вдруг не выйдет! Как-никак, а молодость прошла, нет уж того порыва. «И одинокий тонкий волос блестит на праздной голове» (кажется, Тютчев).

В ужасных препирательствах прошла молодость. Мы спорили без конца. Враги говорили, что юмор — это низкий жанр, что он вреден. Плача, мы возражали. Мы говорили, что юмор вроде фитина. В небольших дозах

его можно давать передовому читателю. Лились блестящие детские слезы. Кто-то учился на своих ошибках (орфографических). Кого-то куда-то бросили.

Теперь все хорошо.

К тому же лето, жарко, съезд писателей соберется не скоро, и литературный трамвай еще не вошел в прохладное депо.

Последняя посадка была 23 апреля.

И опять кто-то в давке не успел попасть в вагон и гонится за трамваем, задыхаясь и жалуясь:

— Я был первым в очереди. Меня рапповцы замалчивали. И вот такая несправедливость!

Как всегда в трамвае, пассажиры сначала радуются своему маленькому счастью. Идет размен впечатлений. Потом потихоньку начинается дифференциация.



— Чуть Габрилович не остался. Спасибо, Славин подсадил. Буквально в последнюю минуту. Написал о нем статью в «Вечерке».

— Смотрите, nonпарель, а подействовала.

— Хоть бы обо мне кто-нибудь nonпарелью.

— Читали Никулина?

— «Время, пространство, движение»? Читал. Мне нравится. Совсем как Герцен стал писать. Просто «Былое и думы».

— Да, с тем только различием, что былое налицо, а дум пока никаких не обнаружено. Потом у него в мае месяце арбуз на столе истекает соком. А в окно смотрит белая ночь. А арбузы вызревают в августе. Герцен!

— Не люблю застольных речей. Опять Олеша не то сказал. Сказал о Грине, что умер последний фабулист. Не понимаю, что это значит — последний фабулист. Последний флибустьер — это еще бывает. Не то, не то сказал.

— Сходите?

— С ума вы сошли! Только влез.

— А впереди сходят?

— У выхода рапповцы пробку образовали. Ни за что

не хотят сходить. А один товарищ, тот даже лег поперек двери. Ни за что, говорит, не сойду. А его билет уже давно кончился.

— Какое безобразие! Задерживают вагон на повороте!

— А о Зоценко опять ничего не пишут.

— Граждане, осторожнее. Среди нас оказался малоформист. Покуда вы тут спорили и толкались, он успел сочинить на ходу приспособленческий лозунг взамен старого: «Не курить, не плевать». Слушайте. Вот что он написал: «В ответ на запрещение плевания и курения ответим займом социалистического наступления».

— Товарищ Кирпотин, остановите на минутку вагон. Тут одного типа надо высадить.

— Сойдите, гражданин. Ничего, ничего! До ГОМЭЦа² пешком дойдете!

— А о Зоценко опять ничего не пишут.

— Кондуктор, дайте остановку по требованию у ГИХЛа³.

— Удивительно! Что писателю могло в ГИХЛе понадобиться? Ведь там денег за принятые произведения не платят.

— Но платят за потерянные. Там даже висит особое извещение: «Выплата гонорара за утерянные рукописи производится по четным числам».

— А-а-а!

— Только он выпустил первую книжку, как стали его спрашивать:

— Вы марксист?

— Нет.

— Кто же вы такой?

— Я эклектик.

Уже так было и хотели записать. Но тут раздались трезвые голоса:

— За что губите человека?

Ну, снова стали спрашивать:

— Значит, вы эклектик?

— Эклектик я.

— И вы считаете, что эклектизм — это хорошо?

— Да уж что хорошего!

Тогда записали: «Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно».

— Это все-таки прошлые времена. Теперь, в свете решений...

— А про Зощенко все еще ничего не пишут. Как раньше не писали, так и сейчас. Как будто и вовсе его на свете нет.

— Да. И знаете, — так похоже на то, что этот ленинградский автор уже немножко стыдится своего замечательного таланта. Он даже обижается, когда ему говорят, что он опять написал смешное. Ему теперь надо говорить так: «Вы, Михаил Михайлович, по своему трагическому дарованию просто Великий инквизитор». Только тут он слегка отходит, и на его узких губах появляется осмысленно-интеллигентная улыбка. Приучили человека к тому, что юмор — жанр низкий, недостойный великой русской литературы. А разве он Великий инквизитор? Писатель он, а не инквизитор...



Такие и еще другие разговоры ведутся в литературном трамвае. Кто-то упрямо сидит, делая вид, что любит асфальтированную мостовую, а сам только и думает о том, как бы не уступить место женщине с ребенком (лобовой перенос понятия — здесь, конечно, имеется в виду писательница, робко держащая на руках свое первое произведение).

Кто-то роется в своем кармане, выгребая оттуда вместе с крошками хлеба завалявшиеся запятые. Кто-то в свете решений требует к себе неслыханного внимания. О ком-то, конечно, опять забыли.

Жара.

Но хорошо, что трамвай движется, что идет обмен впечатлениями и что походная трамвайная дифференциация, с обычной для нас перебранкой и толкотней, готова перейти в большой и нужный спор о методах ведения советского литературного хозяйства.

1932



САВАНАРЫЛО

Странный разговор велся в одной из фанерных комнат Изогиза.

Редактор. Дорогой Константин Павлович, я смотрел ваш плакат... Одну минутку, я закрою дверь на ключ, чтобы нас никто не услышал...

Художник *(болезненно улыбается)*.

Редактор. Вы знаете, Константин Павлович, от вас я этого не ожидал. Ну что вы нарисовали? Посмотрите сами!

Художник. Как что? Все соответствует теме «Больше внимания общественному питанию». На фабрике-кухне девушка-официантка подает обед. Может быть, я подпись переврал? *(Испуганно декламирует.)* «Дома грязь, помои, клоп — здесь борщи и эскалоп. Дома примус, корки, тлен — эскалоп здесь африкен».

Редактор. Да нет... Тут все правильно. А вот это что, вы мне скажите?

Художник. Официантка.

Редактор. Нет, вот это! Вот! *(Показывает пальцем.)*

Художник. Кофточка.

Редактор *(проверяет, хорошо ли закрыта дверь)*. Вы не виляйте. Вы мне скажите, что под кофточкой?

Художник. Грудь.

Редактор. Вот видите. Хорошо, что я сразу заметил. Эту грудь надо свести на нет.

Художник. Я не понимаю. Почему?

Редактор *(застенчиво)*. Велика. Я бы даже сказал — громадна, товарищ, громадна.

Художник. Совсем не громадная. Маленькая, классическая грудь. Афродита Анадиомена. Вот и у Кановы «Отдыхающая Венера»... Потом возьмите, наконец, известный немецкий труд профессора Андерфакта «Брусте унд бюсте», где с цифрами в руках доказано, что грудь женщины нашего времени значительно больше античной... А я сделал античную.

Редактор. Ну и что из того, что больше? Нельзя отдаваться во власть подобного самотека. Грудь надо организовать. Не забывайте, что плакат будут смотреть женщины и дети. Даже взрослые мужчины.

Художник. Как-то вы смешно говорите. Ведь моя официантка одета. И потом, грудь все-таки маленькая. Если перевести на размер ног, то выйдет никак не больше, чем тридцать третий номер.

Редактор. Значит, нужен мальчиковый размер, номер двадцать восемь. В общем, бросим дискуссию. Все ясно. Грудь — это неприлично.

Художник (*утомленно*). Какой же величины, по-вашему, должна быть грудь официантки?

Редактор. Как можно меньше.

Художник. Однако я бы уж хотел знать точно.

Редактор (*мечтательно*). Хорошо, если бы совсем не было.

Художник. Тогда, может быть, нарисовать мужчину?

Редактор. Нет, чистого, стопроцентного мужчину не стоит. Мы все-таки должны агитировать за вовлечение женщин на производство.

Художник (*радостно*). Старуху!

Редактор. Все же хотелось бы молоденькую. Но без этих... признаков. Ведь это, как-никак, согласитесь сами, двусмысленно.

Художник. А бедра? Бедра можно?

Редактор. Что вы, Константин Павлович! Никоим образом — бедра! Вы бы еще погоны пририсовали. Лампасы! Итак, заметано?

Художник (*уходя*). Да, как видно, заметано. Если нельзя иначе. До свиданья.

Редактор. До свиданья, дружок. Одну секунду. Простите, вы женаты?

Художник. Да.

Редактор. Нехорошо. Стыдно. Ну ладно, до свиданья...

И побрел художник домой замазывать классическую грудь непроницаемой гуашью.

И замазал.

Добродетель (ханжество плюс чопорность из штата Массачусетс плюс кроличья паника) восторжествовала.

Красивых девушек перестали брать на работу в кине-

матографию. Режиссер мыкался перед актрисой, не решался, мекал:

— Дарование у вас, конечно, есть... Даже талант. Но какая-то вы такая... с физическими изъянами. Стройная, как киевский тополь. Какая-то вы, извините меня, красавица. Ах, черт! «Она была бы в музыке капричио, в скульптуре статуэтка ренессанс». Одним словом, в таком виде никак нельзя. Что скажет общественность, если увидит на экране подобное?

— Вы несправедливы, Люцифер Маркович, — говорила актриса, — за последний год (вы ведь знаете, меня никуда не берут) я значительно лучше выгляжу. Смотрите, какие морщинки на лбу. Даже седые волосы появились.

— Ну что — морщинки! — досадовал режиссер. — Вот если бы у вас были мешки под глазами! Или глубоко запавший рот. Это другое дело. А у вас рот какой? Вишневый сад. Какое-то «мы увидим небо в алмазах». Улыбнитесь. Ну, так и есть! Все тридцать два зуба! Жемчуга! Торгсин! Нет, никак не могу взять вас. И походка у вас черт знает какая. Грациозная. Дуновение весны! Смотреть противно!

Актриса заплакала.

— Отчего я такая несчастная? Талантливая — и не кривобокая?

— В семье не без урода, — сухо заметил режиссер. — Что ж мне с вами делать? А ну, попробуйте-ка сгорбиться. Больше, гораздо больше. Еще. Не можете? Где ассистент? Товарищ Сатанинский, навесите ей на шею две-три подковы. Нет, не из картины «Шурупчики граленные», а настоящие, железные. Ну как, милуша, вам уже удобнее ходить? Вот и хорошо. Один глаз надо будет завязать черной тряпочкой. Чересчур они у вас симметрично расположены. В таком виде, пожалуй, дам вам эпизод. Почему же вы плачете? Фу, кто его поймет, женское сердце!

Мюзик-холл был взят ханжами в конном строю одним лихим налетом, который, несомненно, войдет в мировую историю кавалерийского дела.

В захваченном здании была произведена рубка лозы. Балету из тридцати девушек выдали:

30 пар чаплинских чоботов	30
30 штук мужских усов	30
30 старьевщицких котелков	30
30 пасторских сюртуков	30
30 пар брюк	30

Штаны были выданы нарочно широчайшие, чтоб никаким образом не обрисовалась бы вдруг волшебная линия ноги.

Организованные зрители очень удивлялись. В программе обещали тридцать герлс, а показали тридцать замордованных существ неизвестного пола и возраста.

Во время танцев со сцены слышались подавленные рыдания фигуранток. Но зрители думали, что это шутики Касьяна Голейзовского — искания, нюансы, взлеты.

Но это были шутики вовсе не Голейзовского.

Это делали и делают маленькие кустарные Савонаролы. Они корректируют великого мастера Мопассана, они выбрасывают оттуда художественные подробности, которые им кажутся безнравственными, они ужасаются, когда герой романа женится. Поцелуйный звук для них страшнее разрыва снаряда.

Ах, как они боятся, как им тяжело и страшно жить на свете!

Савонарола? Или хотя бы Саванарыло?

Нет! Просто старая глупая гувернантка, та самая, которая никогда не выходила на улицу, потому что там можно встретить мужчин. А мужчины — это неприлично.

— Что ж тут неприличного? — говорили ей. — Ведь они ходят одетые.

— А под одеждой они все-таки голые! — отвечала гувернантка. — Нет, вы меня не собьете!

1932



КАК СОЗДАВАЛСЯ РОБИНЗОН

В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя.

Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодого читателя, не приковывали. А редактору хотелось именно приковать.

В конце концов решили заказать роман с продолжением.

Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Молдаванцеву, и уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора.

— Вы понимаете, — втолковывал редактор, — это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо. Так, чтобы читатель не мог оторваться.

— Робинзон — это можно, — кратко сказал писатель.

— Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.

— Какой же еще! Не румынский!

Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела.

И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не слишком отклонился от великого подлинника. Робинзон так Робинзон.

Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности: звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через три года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: «Внимание! Сбросьте одеяло, сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!»

— Очень хорошо, — сказал редактор, — а про кроликов просто великолепно. Вполне своевременно. Но, вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения.

— Борьба человека с природой, — с обычной краткостью сообщил Молдаванцев.

— Да, но нет ничего советского.

— А попугай? Ведь он у меня заменяет радио. Опытный передатчик.

— Попугай — это хорошо. И кольцо огородов хорошо. Но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Руководящая роль профсоюза?

Молдаванцев вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла. Он стал красноречив.

— Откуда же местком? Ведь остров необитаемый?

— Да, совершенно верно, необитаемый. Но местком должен быть. Я не художник слова, но на вашем месте я бы ввел. Как советский элемент.

— Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита...

Тут Молдаванцев случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся. Глаза были такие весенние, такая там чувствовалась мартовская пустота и синева, что он решил пойти на компромисс.

— А ведь вы правы, — сказал он, подымая палец. — Конечно. Как это я сразу не сообразил? Спасаются от кораблекрушения двое: наш Робинзон и председатель месткома.

— И еще два освобожденных члена, — холодно сказал редактор.

— Ой! — пискнул Молдаванцев.

— Ничего не ой. Два освобожденных, ну и одна активистка, сборщица членских взносов.

— Зачем же еще сборщица? У кого она будет собирать членские взносы?

— А у Робинзона.

— У Робинзона может собирать взносы председатель. Ничего ему не сделается.

— Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Молдаванцев. Это абсолютно недопустимо. Председатель месткома не должен размениваться на мелочи и бегать собирать взносы. Мы боремся с этим. Он должен заниматься серьезной руководящей работой.

— Тогда можно и сборщицу, — покорился Молдаванцев. — Это даже хорошо. Она выйдет замуж за председателя или за того же Робинзона. Все-таки веселей будет читать.

— Не стоит. Не скатывайтесь в бульварщину, в нездоровую эротику. Пусть она себе собирает свои членские взносы и хранит их в нескгораемом шкафу.

Молдаванцев заерзал на диване.

— Позвольте, нескгораемый шкаф не может быть на необитаемом острове!

Редактор призадумался.

— Стойте, стойте, — сказал он, — у вас там в первой главе есть чудесное место. Вместе с Робинзоном и членами месткома волна выбрасывает на берег разные вещи...

— Топор, карабин, буссоль, бочку рома и бутылку с противочинготным средством,— торжественно перечислил писатель.

— Ром вычеркните,— быстро сказал редактор,— и потом, что это за бутылка с противочинготным средством? Кому это нужно? Лучше бутылку чернил! И обязательно несгораемый шкаф.

— Дался вам этот шкаф! Членские взносы можно отлично хранить в дупле баобаба. Кто их там украдет?

— Как кто? А Робинзон? А председатель месткома? А освобожденные члены? А лавочная комиссия?

— Разве она тоже спаслась?— трусливо спросил Молдаванцев.

— Спаслась.

Наступило молчание.

— Может быть, и стол для заседаний выбросила волна?!— ехидно спросил автор.

— Не-пре-мен-но! Надо же создать людям условия для работы. Ну, там графин с водой, колокольчик, скатерть. Скатерть пусть волна выбросит какую угодно. Можно красную, можно зеленую. Я не стесняю художественного творчества. Но вот, голубчик, что нужно сделать в первую очередь — это показать массу. Широкие слои трудящихся.

— Волна не может выбросить массу,— заупрямился Молдаванцев.— Это идет вразрез с сюжетом. Подумайте! Волна вдруг выбрасывает на берег несколько десятков тысяч человек! Ведь это курам на смех.

— Кстати, небольшое количество здорового, бодрого, жизнерадостного смеха,— вставил редактор,— никогда не помешает.

— Нет! Волна этого не может сделать.

— Почему волна?— удивился вдруг редактор.

— А как же иначе масса попадет на остров? Ведь остров необитаемый?!

— Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете. Все ясно. Существует остров, лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, ну хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои. И раскаявшийся председатель. Под конец можно дать общее собра-

ние. Это получится очень эффектно именно в художественном отношении. Ну, и все.

— А Робинзон? — пролепетал Молдаванцев.

— Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает. Выбросьте его совсем. Нелепая, ничем не оправданная фигура нытика.

— Теперь все понятно, — сказал Молдаванцев грубым голосом, — завтра будет готово.

— Ну, всего. Творите. Кстати, у вас в начале романа происходит кораблекрушение. Знаете, не надо кораблекрушения. Пусть будет без кораблекрушения. Так будет занимательней. Правильно? Ну, и хорошо. Будьте здоровы!

Оставшись один, редактор радостно засмеялся.

— Наконец-то, — сказал он, — у меня будет настоящее приключенческое и притом вполне художественное произведение.

1932



ВЕСЕЛЯЩАЯСЯ ЕДИНИЦА

Вернемся к лету.

Было такое нежное время в текущем бюджетном году. Был такой волшебный квартал — июнь, июль, август, когда косили траву на московских бульварах, летал перинный тополевыи пух и в чистом вечернем небе резались наперегонки ласточки.

И, ах, как плохо был проведен этот поэтический отрезок времени!

В одном из столичных парков, где деревья бросали пышную тень на трескуий песок аллей, целое лето висел большой плакат:

«Все на борьбу за здоровое гулянье!»

Но никто здесь не гулял. Деревья праздно бросали свою тень, и ничья пролетарская пята не отпечаталась на отборном аллейном песке.

Здесь не гуляли. Здесь только боролись. Боролись за здоровое гулянье.

Борьба за этот весьма полезный и, очевидно, еще недостаточно освоенный вид отдыха происходила так. С утра идеологи отдыхательного дела залезали в фанерный павильон и, плотно закрыв окна, до самого вечера обсуждали, каким образом следует гулять. Курили при этом, конечно, немислимо много. И если на лужайке появлялась робкая фигура гуляющего, его тотчас же кооптировали в президиум собрания как представителя от фланирующих масс.

И с тех пор он уже не гулял. Он включался в борьбу.

По поводу здорового гулянья велись болезненно страстные дебаты.

— Товарищи, давно уже пора дать отпор вредным и чуждым теориям о том, что гулять можно просто так, вообще. Надо наконец осмыслить этот гулятельно-созидательный процесс, который некоторыми вульгаризаторами опошляется названием прогулки. Просто так, вообще, гуляют коровы (*смех*), собаки (*громкий смех*), кошки (*смех всего зала*). Мы должны, мы обязаны дать нагрузку каждой человеко-гуляющей единице. И эта единица должна, товарищи, не гулять, а, товарищи, должна проводить огромную прогулочную работу. (*Голос с места: «Правильно!»*) Кое-какие попытки в этом направлении имеются. Вот проект товарища Горилло. Что предлагает товарищ Горилло? Товарищ Горилло предлагает навесить на спину каждого человеко-гуляющего художественно выполненный плакат на какую-нибудь актуальную тему — другдителейскую или госстраховскую. Например: «Пока ты здесь гуляешь, у тебя, может быть, горит квартира. Скорей застрахуй свое движимое имущество в Госстрахе». И прочее. Но, товарищи, как сделать так, чтобы человеко-единицы ни на минуту не упускали из виду плакатов и чтобы действие таковых было, так сказать, непрерывным и стопроцентным. Этого товарищ Горилло не учел, слона-то он и не заметил. (*Смех*) А это можно сделать. Нужно добиться, чтобы гуляющие шли гуськом, в затылок друг другу, тогда обязательно перед глазами будет какой-нибудь плакат. В таком здоровом отдыхе можно провести часа два-три. (*Голос с места: «Не много ли?»*) Да, товарищи, два-три часа. А если нужно, то и четыре и пять, товарищи. Ну-с, после короткого пятиминутного политперерыва устраивается веселая массовая игра под названием «Утиль Уленшпигель». Всем единице-гуляющим выдаются художественно выполненные мусорные ящички

и портативные крючья. Под гармошку затейника все ходят по парку, смотрят себе под ноги, и чуть кто заметит на земле тряпочку, старую калошу или бутылку из-под водки, то сейчас же хватает этот полезный предмет крючком и кладет в художественно выполненный мусорный ящичек. При этом он выкрикивает начало злободневного лозунга, а остальные хором подхватывают окончание. Кроме того, счастливчик получает право участия в танцевальной игре «Узники капитала». (*Голос с места: «А если играющие не будут смотреть под ноги, тогда что?»*) Не волнуйтесь, товарищ! (*Смех.*) Они будут смотреть под ноги. По правилам игры каждому участвующему навешивается на шею небольшая агитгирька, двадцать кило весу. Таким образом, воленс-неволенс он будет смотреть под ноги, и игра, так сказать, не потеряет здоровой увлекательности. Таков суммарно, в общих чертах, план товарища Горилло.

— А вот мне, товарищи, хотелось бы сказать два слова насчет плана товарища Горилло. Не слишком ли беспредметно такого рода гулянье? Нет ли тут голого смехачества, развлеченчества и увеселенчества! Нужно серьезней, товарищи. Для пожилого рабочего, которого мы хотим вовлечь в парк, это все слишком легкомысленно. Ему после работы хочется чего-нибудь более. Его прогулочные отправления должны происходить в трудовой атмосфере. Он, товарищи, вырос вширь и вглубь. Мы должны создать ему родную производственную обстановку. Вот, например, прекрасный летний аттракцион. Надо в нашем парке вырыть шахту глубиной в тридцать метров и спустить туда в бадье отдыхающего пожилого рабочего. И представляете себе его радость: на дне шахты он находит подземный политпрофилакторий, где всегда может получить нужные сведения по вопросам профчленства и диффая. Тут вносят поправку, что хорошо бы там, в шахте, продавать нарзан. Я против, товарищи. Это в корне неверно, это отвлечет пожилую единицу от работы в профилактории. Лучше уж вместо нарзана продавать нашу брошюру «Доведем до общего сознания вопросы здорового гулянья».

И вот что получилось. Государство отвело чудную рошу, ассигновало деньги и сказала: «Гуляйте! Дышите воздухом! Веселитесь!» И вместо того чтобы все это проделать (гулять, дышать, веселиться!), стали мучительно думать: «Как гулять? С кем гулять? По какому способу дышать воздухом? По какому методу веселиться?»

Ужасно скучное заварили дело. Так вдруг стало панихидно, что самый воздух, так сказать, эфир и зефир, не лезет в рот гуляющим единицам.

Могут не поверить тому, что здесь было рассказано, могут посчитать это безумным враньем, потребовать подкрепления фактами, может быть, даже попросят предъявить живого товарища Горилло с его сверхъестественным планом культурного отдыха.

Между тем все это чрезвычайно близко к истине. В любом парке можно найти следы титанической борьбы за здоровое гулянье при блистательном отсутствии самого гулянья.

Великолепна, например, идея организации Центрального парка культуры и отдыха для московских пролетариев. Превосходна территория, отведенная под этот парк. Велики траты на его содержание.

Но почему на иных мероприятиях парка лежит печать робости, преувеличенной осторожности, а главное — самой обыкновенной вагонной скуки?

Не хочется умалять заслуги огромного штата работников парка, который, несомненно, безостановочно стремится к созданию подлинного Магнитостроя отдыха, но надо сказать прямо, что в парке господствует второй сорт культуры и второй сорт отдыха.

А что касается развлечений, то тут дело уже не в сорте. Их нет, этих развлечений.

— Как нет? — заголосил весь огромный штат. — А наш родимый спиральный спуск, краса и гордость увеселенческого сектора? Чего вам еще надо! А популярное перекидное колесо? А... а...

Но вслед за этим «а» не последует никакого «б», потому что больше ничего нет. В лучшем и самом большом парке нашей страны, куда приходят сотни тысяч людей, есть два аттракциона: ярмарочное перекидное колесо и сенсация XIX века — спиральный спуск. Впрочем, если хорошо разобраться, то не очень он уж спиральный и вовсе не какой-нибудь особенный спуск. В сооружении его сказалась та робость, которая так свойственна парковым затеям. Спирали спуска сделаны такими отлогими, что вместо милой юношескому сердцу головокружительной поездки на коврике (в XIX веке это называлось сильными ощущениями) веселящаяся единица, крихтя и отпихиваясь от бортов ногами, ползет вниз и прибывает к старту вся в поту. И только крупный разговор с начальником

спуска дает те сильные ощущения, которые должен был принести самый спуск.

Аттракционов в парке меньше, чем было в год его открытия. Куда, кстати, девалась «чертова комната»? То есть не чертова (черта нет, администрация парка это учла сразу, — раз бога нет, то и черта нет), а «таинственная комната»?

Комната была не ахти какая, она не являлась пределом человеческой изобретательности. Но все же оттуда несясь смех и бодрый визг посетителей. Она всем нравилась. А ее уничтожили.

Почему же уничтожили эту чертову, то есть, извините, таинственную комнату?

Воображению рисуются страшные подробности.

Надо полагать, что смущение, внесенное этим аттракционом в сердца работниковдыхательного дела, было велико.

— Что это за комната такая? Стены вертятся, люди смеются, черт знает что! Абсолютно бесхребетный, беспринципный аттракцион. Надо этой комнате дать смысловую нагрузку.

Дали.

Как у нас дается смысловая нагрузка? Повесили на стены плакаты — и все. Но тут выяснилось новое обстоятельство. Смысловая нагрузка не доходит. А не доходит потому, что стены все-таки вертятся и нельзя прочесть плакаты.

— Надо, товарищи, остановить стены. Ничего не поделаешь.

— Но тогда не будет аттракциона!

— Почему же не будет? Будет чудный, вполне советский аттракцион. Человеко-гуляющий платит десять копеек и получает право просидеть в комнате пять минут, читая плакаты и расширяя таким образом свой кругозор.

— Но ведь тут не будет ничего таинственного и вообще завлекательного!

— И не надо ничего таинственного. И аттракцион надо назвать не вульгарно — вроде «комнаты чудес», а по-простому, по-нашему — «комната № 1». Очень заманчивое название. Увидите, как будет хорошо. Сразу исчезнет этот дурацкий, ничем не нагруженный смех.

Было это так или несколько иначе — не важно. Главное было достигнуто. Таинственная комната исчезла,

а вместе с ней исчезло и процентов сорок того смеха, который слышался в парке.

Парковая администрация отыгрывается на всевозможных надписях, таблицах, диаграммах, призывах и аншлагах. Но вызывают большое сомнение эти картонные и фанерные методы работы. Особенно когда натыкаешься на огромную стеклянную заповедь, утвержденную в центре парка:

ПРЕВРАТИМ ПАРК В КУЗНИЦУ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ
СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

Превратим парк в кузницу!

Что может быть печальней такой перспективы! Как это нелучезарно! Какое надо иметь превратное понятие об отдыхе, чтобы воображать его себе в виде кузницы. Хотя бы даже кузницы выполнения решений.

Иной из работников отдыхающего дела взовьется на дыбы.

— Вот вы кто такие! Вы против выполнения решений!

Нет, мы за выполнение решений. Мы только против превращения парка в кузницу канцелярских лозунгов и принадлежностей. И самым лучшим делом было бы не только призывать к выполнению решений, а выполнять эти решения. Превратить парк в место настоящего пролетарского отдыха, а не в городское четырехклассное училище для детей недостаточных мороженщиков, на которое парк очень сейчас походит.

Естественно, что все живое устремляется на реку, каковую еще не успели перегородить картонной плотиной с надписью:

ПРЕВРАТИМ РЕКУ В НЕЗЫБЛЕМУЮ ГРАНИТНУЮ
ЦИТАДЕЛЬ ЗДОРОВОГО ОТДЫХА

Между тем, невзирая на усилия отдыхающих идеологов, в парке сквозь «левый» культзагиб слышится радостный смех. Но парк тут ни при чем.

Посетители смеются сами по себе. Они молоды. Им семнадцать лет. Молодость всёгда смеется. Однако если не остановить борьбы за «превращение парка в кузницу»,

если не прекратить отчаянной свалки по поводу методов «борьбы за здоровое гулянье», то вскоре перестанут смеяться даже они — семнадцатилетние.

Вот о чем необходимо столкнуться зимой, чтобы опять не увидеть этого будущим летом.

1932



КЛООП

— Не могу. Остановитесь на минутку. Если я сейчас же не узнаю, что означает эта вывеска, я заболею. Я умру от какой-нибудь загадочной болезни. Двадцатый раз прохожу мимо и ничего не могу понять.

Два человека остановились против подъезда, над которым золотом и лазурью было выведено:

КЛООП

— Не понимаю, что вас волнует. КЛООП и КЛООП. Прием пакетов с часу до трех. Обыкновенное учреждение. Идем дальше.

— Нет, вы поймите! КЛООП! Это меня мучит второй год. Чем могут заниматься люди в учреждении под таким вызывающим названием? Что они делают? Заготавливают что-нибудь? Или, напротив, что-то распределяют?

— Да бросьте. Вы просто зевака. Сидят себе люди, работают, никого не трогают, а вы пристааете — почему, почему? Пошли.

— Нет, не пошли. Вы лентяй. Я этого так оставить не могу.

В длинной машине, стоявшей у подъезда, за зеркальным стеклом сидел шофер.

— Скажите, товарищ, — спросил зевака, — что за учреждение КЛООП? Чем тут занимаются?

— Кто его знает, чем занимаются, — ответил шофер. — КЛООП и КЛООП. Учреждение как всюду.

— Вы что ж, из чужого гаража?

— Зачем из чужого! Наш гараж, клооповский. Я в КЛООПе со дня основания работаю.

Не добившись толку от водителя машины, приятели посоветовались и вошли в подъезд. Зевака двигался впереди, а лентяй с недовольным лицом несколько сзади.

Действительно, никак нельзя было понять придирчивости зеваки. Вестибюль КЛООПа ничем не отличался от тысячи других учрежденческих вестибюлей. Бегали курьерши в серых сиротских балахончиках, завязанных на затылке черными ботиночными шнурками. У входа сидела женщина в чесанках и большом окопном тулупе. Видом своим она очень напоминала трамвайную стрелочницу, хотя была швейцарихой (прием и выдача калош). На лифте висела вывесочка «Кепи и гетры», а в самом лифте вертелся кустарь с весьма двусмысленным выражением лица. Он тут же на месте кроил свой модный и великосветский товар. (КЛООП вел с ним отчаянную борьбу, потому что жакт нагло, без согласования, пустил кустаря в ведомственный лифт.)

— Чем же они могли бы тут заниматься? — начал снова зевака.

Но ему не удалось продолжить своих размышлений в парадном подъезде. Прямо на него налетел скатившийся откуда-то сверху седовласый служащий и с криком «брынза, брынза!» нырнул под лестницу. За ним пробежали три девушки, одна — курьерша, а другие две — ничего себе — в холодной завивке.

Упоминание о брынзе произвело на швейцариху потрясающее впечатление. На секунду она замерла, а потом перевалилась через гардеробный барьер и, позабыв о вверенных ей калошах, бросилась за сослуживцами.

— Теперь все ясно, — сказал лентяй, — можно идти назад. Это какой-то пищевой трест. Разработка вопросов брынзы и других молочнодиетических продуктов.

— А почему оно называется КЛООП? — придирчиво спросил зевака.

На это лентяй ответить не смог. Друзья хотели было расспросить обо всем швейцариху, но, не дождавшись ее, пошли наверх.

Стены лестничной клетки были почти сплошь заклеены рукописными, рисованными и напечатанными на машинке объявлениями, приказами, выписками из протоколов, а также различного рода призывами и заклинаниями, неизменно начинавшимися словом «Стой!».

— Здесь мы все узнаем, — с облегчением сказал лен-

тей. — Не может быть, чтобы из сотни бумажек мы не выяснили, какую работу ведет КЛООП.

И он стал читать объявления, постепенно передвигаясь вдоль стены.

— «Стойте! Есть билеты на „Ярость“. Получить у товарища Чернобровцевой». «Стойте! Кружок шашкистов выезжает на матч в Кунцево. Шашкистам предоставляются проезд и суточные из расчета центрального тарифного пояса. Сбор в комнате товарища Мур-Муравейского». «Стойте! Джемпера и лопаты по коммерческим ценам с двадцать первого у Кати Полотенцевой».

Зевака начал смеяться. Лентяй недовольно оглянулся на него и подвинулся еще немножко дальше вдоль стены.

— Сейчас, сейчас. Не может быть, чтоб... Вот, вот! — бормотал он. — «Приказ по КЛООПу № 1891—35. Товарищу Кардонкль с сего числа присваивается фамилия Корзинкль». Что за чепуха! «Стойте! Получай брынзу в порядке живой очереди под лестницей, в коопсекторе».

— Наконец-то! — оживился зевака. — Как вы говорили? Молочнодиетический пищевой трест? Разработка вопросов брынзы в порядке живой очереди? Здорово!

Лентяй смущенно пропустил объявление о вылазке на лыжах за капустой по среднекоммерческим ценам и уставился в производственный плакат, в полупламенных выражениях призывавший клооповцев ликвидировать отставание.

Теперь уже забеспокоился и он.

— Какое же отставание? Как бы все-таки узнать, от чего они отстают? Тогда стало бы ясно, чем они занимаются.

Но даже двухметровая стенгазета не рассеяла тумана, сгустившегося вокруг непонятного слова «КЛООП».

Это была зауряднейшая стенгазетина, болтливая, невеселая, с портретами, картинками и статьями, получаемыми, как видно, по подписке из какого-то центрального газетного бюро. Она могла бы висеть и в аптекоуправлении, и на черноморском пароходе, и в конторе на золотых приисках, и вообще где угодно. О КЛООПе там упоминалось только раз, да и то в чрезвычайно неясной форме: «Клооповец, поставь работу на высшую ступень!»

— Какую же работу? — возмущенно спросил зевака. — Придется узнавать у служащих. Неудобно, конечно, но придется. Слушайте, товарищ...

С внезапной ловкостью, с какой пластун выхватывает из неприятельских рядов языка, зевака схватил за талию бежавшего по коридору служащего и стал его выспрашивать. К удивлению приятелей, служащий задумался и вдруг покраснел.

— Что ж, — сказал он после глубокого размышления, — я в конце концов не оперативный работник. У меня свои функции. А КЛООП что же? КЛООП есть КЛООП.

И он побежал так быстро, что гнаться за ним было бы бессмысленно.

Хотя и нельзя еще было понять, что такое КЛООП, но по некоторым признакам замечалось, что учреждение это любит новшества и здоровый прогресс. Например, бухгалтерия называлась здесь счетным цехом, а касса — платежным цехом. Но картину этого конторского проспекти портила дрянная бумажка: «Сегодня платежа не будет». Очевидно, наряду с прогрессом имелось и отставание.

В большой комнате за овальным карточным столом сидело шесть человек. Они говорили негромкими, плаксивыми голосами.

Кстати, почему на заседаниях по культработе всегда говорят плаксивыми голосами?

Это, как видно, происходит из жалости культактива к самому себе. Жертвуешь всем для общества, устраиваешь вылазки, семейные вечера, идеологическое лото с разумными выигрышами, распределяешь брынзу, джемпера и лопаты — в общем, отдаешь лучшие годы жизни, — и все это безвозмездно, бесплатно, из одних лишь идейных соображений, но почему-то в урочное время. Очень себя жалко!

Друзья остановились и начали прислушиваться, надеясь почерпнуть из разговоров нужные сведения.

— Надо прямо сказать, товарищи, — замогильным голосом молвила пожилая клооповка, — по социально-бытовому сектору работа проводилась недостаточно. Не было достаточного охвата. Недостаточно, не полностью, не целиком раскачались, размахнулись и развернулись. Лыжная вылазка проведена недостаточно. А почему, товарищи? Потому, что Зоя Идоловна проявила недостаточную гибкость.

— Как? Это я недостаточно гибкая? — завопила ужаленная в самое сердце Зоя.

— Да, вы недостаточно гибкая, товарищ!

- Почему же я, товарищ, недостаточно гибкая?
- А потому, что вы совершенно, товарищ, негибкая.
- Извините, я чересчур, товарищ, гибкая.
- Откуда же вы можете быть гибкая, товарищ?

Здесь в разговор вкрался зевака.

— Простите,— сказал он нетерпеливо,— что такое КЛООП? И чем он занимается?

Прерванная на самом интересном месте шестерка посмотрела на дерзких помраченными глазами. Минуту длилось молчание.

— Не знаю!— решительно ответила Зоя Идоловна.— Не мешайте работать,— и, обернувшись к сопернице по общественной работе, сказала рыдающим голосом:— Значит, я недостаточно гибкая? Так, так! А вы — гибкая?

Друзья отступили в коридор и принялись совещаться. Лентяй был испуган и предложил уйти. Но зевака не склонился под ударами судьбы.

— До самого Калинина дойду!— завизжал он неожиданно.— Я этого так не оставлю.

Он гневно открыл дверь с надписью: «Заместитель председателя». Заместителя в комнате не было, а находившийся там человек в барашковой шапке отнесся к пришельцам джентльменски холодно. Что такое КЛООП, он тоже не знал, а про заместителя сообщил, что его давно бросили в шахту.

— Куда?— спросил лентяй, начиная дрожать.

— В шахту,— повторила барашковая шапка.— На профработу. Да вы идите к самому председателю. Он парень крепкий, не бюрократ, не головотяп. Он вам все разъяснит.

По пути к председателю друзья познакомились с новым объявлением: «Стой! Срочно получи в местном картофельные талоны. Промедление грозит аннулированием».

— Промедление грозит аннулированием. Аннулирование грозит промедлением,— бормотал лентяй в забытьи.

— Ах, скорей бы узнать, к чему вся эта кипучая деятельность?

Было по дороге еще одно приключение. Какой-то человек потребовал с них дифпай. При этом он грозил аннулированием членских книжек.

— Пустите!— закричал зевака.— Мы не служим здесь.

— А кто вас знает,— сказал незнакомец, остывая,— тут четыреста человек работает. Всех не запомнишь.

Тогда дайте по двадцать копеек в «Друг чего-то». Дайте! Ну, дайте!

— Мы уже давали, — пищал лентяй.

— Ну и мне дайте! — стонал незнакомец. — Да дайте! Всего по двадцать копеек.

Пришлось дать.

Про КЛООП незнакомец ничего не знал.

Председатель, опираясь ладонями о стол, поднялся навстречу посетителям.

— Вы, пожалуйста, извините, что мы непосредственно к вам, — начал зевака, — но, как это ни странно, только вы, очевидно, и можете ответить на наш вопрос.

— Пожалуйста, пожалуйста, — сказал председатель.

— Видите ли, дело в том. Ну, как бы вам сказать. Не можете ли вы сообщить нам, — только не примите за глупое любопытство, — что такое КЛООП?

— КЛООП? — спросил председатель.

— Да, КЛООП.

— КЛООП? — повторил председатель звучно.

— Да, очень было бы интересно.

Уже готова была раздёрнуться завеса. Уже тайне приходил конец, как вдруг председатель сказал:

— Понимаете, вы меня застигли врасплох. Я здесь человек новый, только сегодня вступил в исполнение обязанностей и еще недостаточно в курсе. В общем, я, конечно, знаю, но еще, как бы сказать...

— Но все-таки, в общих чертах?..

— Да и в общих чертах тоже...

— Может быть, КЛООП заготавливает лес?

— Нет, лес нет. Это я наверно знаю.

— Молоко?

— Что вы! Я сюда с молока и перешел. Нет, здесь не молоко.

— Шурупы?

— М-м-м... Думаю, что скорее нет. Скорее, что-то другое.

В это время в комнату внесли лопату без ручки, на которой, как на подносе, лежал зеленый джемпер. Эти припасы положили на стол, взяли у председателя расписку и ушли.

— Может, попробуем сначала расшифровать самое название по буквам? — предложил лентяй.

— Это идея, — поддержал председатель.

— В самом деле, давайте по буквам. КЛООП. Коопе-

ративно-лесо... Нет, лес нет... Попробуем иначе. Кооперативно-лакокрасочное общество... А второе «о» почему? Сейчас, подождите... Кооперативно-лихоимочное...

— Или кустарное?

— Да, кустарно-лихоимочное... Впрочем, позвольте, получается какая-то чушь. Давайте начнем систематически. Одну минуточку.

Председатель вызвал человека в барашковой шапке и приказал никого не пускать.

Через полчаса в кабинете было накурено, как в станционной уборной.

— По буквам — это механический путь, — кричал председатель. — Нужно сначала выяснить принципиальный вопрос. Какая это организация? Кооперативная или государственная? Вот что вы мне скажите.

— А я считаю, что нужно гадать по буквам, — отбивался лентяй.

— Нет, вы мне скажите принципиально...

Уже покой КЛООПа пустели, когда приятели покинули дымящийся кабинет. Уборщица подметала коридор, а из дальней комнаты слышались плаксивые голоса:

— Я, товарищ, чересчур гибкая!

— Какая ж вы гибкая, товарищ?

Внизу приятелей нагнал седовласый служащий. Он нес в вытянутых руках мокрый пакет с брынзой. Оттуда капал саламур.

Зевака бросил на служащего замороченный взгляд и смущенно прошептал:

— Чем же они все-таки здесь занимаются?

1932



ДИРЕКТИВНЫЙ БАНТИК

Представьте себе море, шумное Черное море. Сейчас, перед началом отпусков, не трудно вызвать в памяти сладкий образ этого громадного водохранилища. И представьте себе пляж. Теплый и чистый драгоценный песок. Если очень хочется, представьте себе еще и солнце,

вообще всю волнующую картину крымско-кавказского купального побережья.

Двое очаровательных трудящихся лежали на пляже. Будем телеграфно кратки. Они были молоды запятая, они были красивы точка. Еще короче. Они были в том возрасте, когда пишут стихи без размера и любят друг друга беспредельно. Черт побери, она была очень красива в своем купальном костюме. И он был, черт побери, не Квазимодо в своих трусиках-плавках на сверкающем теле.

Они познакомились здесь же, на пляже. И кто его знает, что тут подействовало сильнее — обаяние ли самого водохранилища, солнечные ли, так сказать, блики, или еще что-нибудь. Кроме того, мы уже говорили, они были очень красивы. При нынешнем увлечении классическими образцами такие тела заслуживают всемерного уважения и даже стимулирования. Тем более, что, будучи классическими по форме, они являются безусловно советскими по содержанию.

Еще короче. К двум часам дня он сказал:

— Если это глупо, скажите мне сразу, но я вас люблю.

Она сказала, что это не так глупо.

Потом он сказал что-то еще, и она тоже сказала что-то. Это было чистосердечно и нежно. Над водохранилищем летали чайки. Вся жизнь была впереди. Она была черт знает как хороша и на днях (узнаю твои записи, загс!) должна была сделаться еще лучше.

Влюбленные быстро стали одеваться.

Он надел брюки, тяжкие москвошвеевские штаны, мрачные, как канализационные трубы, оранжевые утильтапочки, сшитые из кусочков, темно-серую, никогда не пачкающуюся рубашку и жесткий душный пиджак. Плечи пиджака были узкие, а карманы оттопыривались, словно там лежало по кирпичу.

Счастье сияло на лице девушки, когда она обернулась к любимому. Но любимый исчез бесследно. Перед ней стоял кривоногий прощелыга с плоской грудью и широкими, немужскими бедрами. На спине у него был небольшой горб. Стиснутые у подмышек руки бессильно повисли вдоль странного тела. На лице у него было выражение ужаса. Он увидел любимую.

Она была в готовом платье из какого-то ЗРК⁴. Оно вздувалось на животе. Поясок был вшит с таким расчетом, чтобы туловище стало как можно длиннее, а ноги как можно короче. И это удалось.

Платье было того цвета, который дети во время игры в «краски» называют бурдовым. Это не бордовый цвет. Это не благородный цвет вина бордо. Это неизвестно какой цвет. Во всяком случае, солнечный спектр такого цвета не содержит.

На ногах девушки были чулки из вискозы с отделившимися древесными волокнами и бумажной довязкой, начинающейся ниже колен.

В это лето случилось большое несчастье. Какой-то швейный начальник спустил на низовку директиву о том, чтобы платья были с бантиками. И вот между животом и грудью был пришит директивный бантик. Уж лучше бы его не было. Он сделал из девушки даму, фарсовую тещу, навевал подозрения о разных физических недостатках, о старости, о невыносимом характере.

«И я мог полюбить такую жабу?» — подумал он.

«И я могла полюбить такого уроды?» — подумала она.

— До свиданья, — сухо сказал он.

— До свиданья, — ответила она ледяным голосом.

Больше никогда в жизни они не встречались.

Ужасно печальная история, правда?

И мы предъявляем счет за разбитые сердца, за грубо остановленное движение души. И не только за это. Счет большой. Будем говорить по порядку. Отложим на минуту сахарное правило: «Покупатель и продавец, будьте взаимно вежливы». Не будем взаимно вежливы.

Итак — магазин готового платья. Прилавки, за прилавками работники прилавка, перед прилавком покупательская масса, а на полках и плечиках — товарная масса.

Больше всего головных уборов, кепок. Просто кепки, соломенные кепки, полотняные кепки, каракулевые кепки, кепки на вате, кепки на красивой розовой подкладке. Делали бы кепки из булыжника, но такой труд был бы под силу одному только Микеланджело, великому скульптору итальянского Возрождения, — сейчас так не могут. К сожалению, все кепки одного фасона. Но не будем придираться. Тем более что среди моря кепок заманчиво сверкают мягкие шляпы, серые шляпы из валяного товара с нежно-сиреневой лентой. Не будем придираться. Это для проезжающих дипломатов и снобов.

Продаются мужские костюмы. Фасон один. Мы уже описали его в начале рассказа. А цвета какие? О, огромный выбор цветов! Черный, черно-серый, серо-черный, черновато-серый, серовато-черный, грифельный, аспидный, наж-

дачный, цвет передельного чугуна, коксовый цвет, торфяной, земляной, мусорный, цвет жмыха и тот цвет, который в старину назывался «сон разбойника». В общем, сами понимаете, цвет один, чистый траур на небогатых похоронах.

Пальто и полупальто (официально это называется ватный товар), помимо перечисленных свойств, обладают еще одним — появляться в магазинах только в том квартале года, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом.

Есть еще сверхроссийские овчинные шубы. Обычно в шубах такого покроя волостные старшины представлялись царю в годовщину чудесного спасения императорской семьи на станции Борки. Все это было бородатое, мордатое, увешанное толстыми медалями.

Ну, дальше. Дальше рубашки с вшитой пикейной грудью и пристежные воротнички с дырочками для жестяных штучек, якобы придерживающих галстук.

Если верхняя одежда всегда темного цвета и своим видом нагоняет безмерное таяжное уныние, то все, что находится под ней, слепит глаза яркими, химическими тонами и по мысли устроителей должно вызывать ликование. Кальсоны фиолетовые, подтяжки зеленые, подвязки красные, носки голубые.

И стоит масса против массы, покупательская против товарной, а между ними прилавков, а за прилавками работники прилавка, и вид у работников самый невинный.

— При чем тут мы? Мы этого не шили, мы этого не ткали. Мы только торговая точка, низовое звено товаропроводящей сети.

— Ах, это очень плохо, когда магазин называется точкой! Тут обязательно выйдет какая-нибудь запятая. Вдруг на всю улицу светит электрический призыв к прохожим: «Учитесь культурно торговать». Почему прохожие должны культурно торговать? У них своих дел достаточно. Именно вы должны культурно торговать, а не прохожие. Прохожие должны покупать! И они это делают очень культурно, не волнуйтесь. Запросы у них правильные — одежда хорошая, красивая, даже, представьте себе, элегантная. Не падайте, пожалуйста, в обморок, не считайте это за выпад. Они такие. Трудящиеся богатеют и к лету требуют белые штаны.

Не будем придирааться к бедным точкам. Не они ткали, не они шили. Ткали, шили и тачали в Наркомлегпроме.

Это там родилось искусство одевать людей в обезличенные коксовые костюмы. Оттуда плавно спускались директивы насчет тещиных бантиков.

Несколько лет назад, когда у нас еще не строили автомобилей, когда еще только выбирали, какие машины строить, нашлись запоздалые ревнители славянства, которые заявили, что стране нашей с ее живописными проселками, диво-дивными бескрайними просторами, поэтическими лучинками и душистыми портянками не нужен автомобиль. Ей нужно нечто более родимое, нужна авто-телега. Крестьянину в такой штуке будет вольготнее. Скукожится он в ней, хряснет по мотору и захардыбачит себе по буеракам. Захрюндится машина, ахнет, пукнет и пойдет помаленьку, все равно спешить некуда.

Один экземпляр телеги внутреннего сгорания даже построили. Телега была как телега. Только внутри ее что-то тихо и печально хрюкало. Или хрюндило, кто его знает! Одним словом, как говорится в изящной литературе, хардыбачило. Скорость была диво-дивная, семь километров в час. Стоит ли напоминать, что этот удивительный предмет был изобретен и построен в то самое время, когда мир уже располагал роллс-ройсами, паккардами и фордами? К счастью, братьям славянам сейчас же дали по рукам. Кой-кому попало даже по ногам. Построили, конечно, то, что надо было построить — быстходную, сильную современную машину, не авто-телегу, а автомобиль.

Почему же швейная промышленность все время строит автотелегу? Не пиджак, а спиджак, не брюки, а портки, не женское платье, а крепдешиновый мешок с директивными бантиками?

Если бы вдруг завод имени Сталина построил автомобиль, руководствуясь вкусами людей из пиджачной индустрии, то эта машина вызвала бы смех, на нее показывали бы пальцами, за ней с улюлюканием бежали бы дети. Так это было бы отстало, плохо и некрасиво.

На весь Советский Союз есть два бездарных фасона пальто, три тусклых фасона мужских костюмов, четыре пугающих фасона женского платья. Шьются только эти фасоны, и уйти от них некуда. Все мужчины, все женщины вынуждены одеваться по этой единообразной моде.

В Наркомлегпроме хорошо разбираются в модах. Где-то когда-то сиял принц Уэльский, первый джентльмен мира, как о нем говорят в «Таймсе». И от него брели

по свету фасоны брюк и пиджаков. И давно он уже сделался королем и давно уже в этом звании умер, почил в бозе, то есть дал дуба, а мода, им установленная, как свет давно угасшей звезды, только сейчас дошла до наших ведомственных закройщиков.

Более свежих образцов получить не успели. Да и не очень старались получить, были заняты рационализацией одежды, делали пиджаки без лацканов и подкладки, экономили на пуговицах, укорачивали брюки, словом — изобретали автотелегу, в которой якобы советскому человеку выгоднее.

Утвержденный в канцелярии покрой устанавливается самое меньшее на пять лет. Иначе они не могут. Трудно освоить эту сверхсложную модель. Вы только подумайте, масса деталей: карманы, рукава, петли, спинки — ужас! Советская автотракторная и авиационная промышленность как-то ухитряется выпускать каждый год новые, все более совершенные модели. Им как-то удается. Как видно, менее сложен производственный процесс, меньше деталей, только по полторы тысячи на каждую машину. И точность требуется меньшая, всего лишь тысячные доли миллиметра. Вот спинки и лацканы! Попробуйте сделать! Это вам не блок цилиндра, не магнето, не коробка скоростей. Тут, пардон, пардон, большой брак неизбежен!

И, конечно же, еще и еще раз, опять и снова нашли своего «ватного товара» к благоуханному апрелю месяцу. И лежат великие партии теплых пальто с меховыми воротниками, и никто не знает, что с ними делать.

А как в самом деле поступить, если покупательская масса не хочет ходить летом в ватном товаре? С другой же стороны, ватный товар может побить моль, грубая, необразованная моль, которая не желает учитывать глупости и бестолковости швейных начальников.

Хорошо бы увезти этот товар в холодные края, туда, туда, где трещат морозы, в Якутию, на Камчатку. Но пока соберутся, пока довезут, там тоже начнется весна, начнут лопаться какие-то глупые почки. Черт бы ее побрал, эту климатическую неразбериху, это несовершенство земного шара! Трудно, трудно дается Наркомлегпрому борьба со слепыми силами природы. Просто нет выхода. Изнемогают в решительной схватке. Нет, нет, турбогенераторы, крекинги, блюминги и домны гораздо легче строить! Это ясно!

И, конечно же, еще, еще и еще раз, опять и снова не подготовились к лету, не учли этого кошмарного времени года. Обо всем помнили — о распределении отпусков (еще осенью со страшными криками делили июни — июли будущего года, предусмотрительно оставляя августы — сентябри для ответ- и приветработников), помнили о заседаниях, о кружках самодеятельных балалаечников, о юбилеях и проводах, о семейно-товарищеских вечеринках, — только о лете забыли, забыли о светлых, легких, разнообразных одеждах для покупательской массы.

Что это значит, товарищи? Ау! Местком спит? Или нарком спит? В общем, кто спит? А может быть, и тот и другой?

Когда это кончится?

Счет большой. В то время как во всех областях промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, во всей жизни страна делает поразительные успехи, показывает всему миру, на что способен пролетариат, в области одежды нет успехов, стоящих на уровне даже теперешних запросов. А ведь надо думать еще о запросах завтрашнего дня. Великолепная заря этого завтра уже сейчас освещает наше бытие. Но даже не видно подлинного, непоказного стремления достичь этого уровня.

Пусть пиджак не будет узок в плечах — его противно носить. Пусть бантики не изобретаются в канцеляриях — канцелярские изобретения не могут украсить девушку. Надо помнить, что если жизнь солнечная, то и цвет одежды не должен быть дождливым. Давайте летом носить хорошо сшитые белые брюки. Это удобно. Покупательская масса заслужила эту товарную массу.



Вот мы горевали, беспокоились о ватном товаре. Не знали, какой выход найдет Наркомлегпром. Есть уже выход, нашелся. Оказывается, не надо гнать маршруты с пальто в Якутию. Устроились проще. Закупили на тридцать миллионов рублей нафталина. Теперь ватный товар спокойно будет лежать под многомиллионным нафталиновым покровом до будущего 1935 года. И моль печально будет кружиться над неприступными базисными складами, с отвращением пригнувшись к смертоносному запаху омертвленного капитала.

1934



КОСТЯНАЯ НОГА

Очень трудно покорить сердце женщины.

А ведь чего только не делаешь для выполнения этой программы! Уж и за руку берешь, и грудным голосом говоришь, и глаз не сводишь.

И ничто не помогает. Ну, не любят тебя, не верят! И опять все надо начинать сначала. Честное слово, каторжный труд при звездах и при луне.

Из Москвы в Одессу приехал отдыхать молодой доктор.

Когда у него впервые в жизни оказались две свободные недели, он внезапно заметил, что мир красив и что население тоже красиво, особенно его женская половина. И он почувствовал, что если же не примет решительных мер, то уже никогда в жизни не будет счастлив, умрет вонючим холостяком в комнате, где под кроватью валяются старые носки и бутылки.

Через несколько дней молодой медик гулял с девушкой по сильно пересеченной местности на берегу моря.

Он изо всех сил старался понравиться. Конечно, говорил грудным и страстным голосом, конечно, нес всякий вздор, даже врал, что он челюскинец и лучший друг Отто Юльевича Шмидта. Он предложил руку, комнату в Москве, сердце, отдельную кухню и паровое отопление. Девушка подумала и согласилась.

Здесь опускаются восемь страниц художественного описания поездки с любимым существом в жестком вагоне. (Прилагается только афоризм: лучше с любимой в жестком, чем одному в международном.)

А в Москве купили ветку сирени и пошли в загс расписываться в собственном счастье.

Известно, что такое загс. Не очень чисто. Не очень светло. И не так чтобы уж очень весело, потому что браки, смерти и рождения регистрируются в одной комнате. Когда доктор со своей докторшей, расточая улыбки, вступил в загс, то сразу увидел на стене укоризненный плакат:

ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕДАЕТ
ИНФЕКЦИЮ

Висели еще на стене адрес похоронного бюро и заманчивая картинка, где были изображены в тысячекратном увеличении бледные спирохеты, бойкие гонококки и палочки Коха. Очаровательный уголок для венчания.

В углу стояла грязная, как портянка, искусственная пальма в зеленой кадучке. Это была дань времени. Так сказать, озеленение цехов. О таких штуках вечерняя газета пишет с еле скрываемым восторгом: «Сухум в Москве. Загсы принарядились».

Служащий загса рассмотрел документы юной пары и неожиданно вернул их назад.

— Вас нельзя зарегистрировать.

— То есть как нельзя?— забеспокоился доктор.

— Нельзя, потому что паспорт вашей гражданки выдан в Одессе. А мы записываем только по московским паспортам.

— Что же мне делать?

— Не знаю, гражданин. По иногородним паспортам не регистрируем.

— Значит, мне нельзя полюбить девушку из другого города?

— Не кричите вы, пожалуйста. Если все будут кричать...

— Я не кричу, но ведь выходит, что я имею право жениться только на москвичке. Какое может быть крепление в вопросах любви?

— Мы вопросами любви не занимаемся, гражданин. Мы регистрируем браки.

— Но какое вам дело до того, кто мне нравится? Вы что же, распределитель семейного счастья здесь устроили? Регулируете движения души?

— Потихе, гражданин, насчет регулирования движения!

— Вы растаптываете цветы любви!— завизжал доктор.

— А вы не хулиганьте здесь!

— А я вам говорю, что вы растаптываете!

— А вы не нарушайте порядка.

— Я нарушаю порядок? Значит, любовь уже больше

не великое чувство, а просто нарушение порядка? Хорошо. Пойдем отсюда, Люся.

Очутившись на улице, незадачливый кандидат в мужья долго не мог успокоиться.

— Разве это люди? Разве это человек? Ведь это баба-яга костяная нога! Что мы теперь будем делать?

Он так волновался, что девушке стало его жалко.

— Знаешь что, — сказала она, — ты меня любишь, и я тебя люблю. Ты не ханжа, и я не ханжа. Будем жить так.

Действительно, если вдуматься, то с милым рай и в шалаше.

Стали жить «так».

Но с милым рай в шалаше, товарищи, возможен только в том случае, если милая в шалаше прописана и занесена шалашеуправлением в шалашную книгу. В противном случае возможны довольно мрачные варианты.

Любимую не прописали в доме, потому что у нее не было московского паспорта. А московский паспорт она могла получить только как жена доктора. Женой доктора она была. Но загс мог признать ее женой только по предъявлении московского паспорта. А московский паспорт ей не давали потому, что они не были зарегистрированы в загсе. А жить в Москве без прописки нельзя. А...

Таким образом, рай в шалаше на другой же день превратился в ад. Люся плакала и при каждом стуке в дверь вздрагивала — вдруг появятся косматые дворники и попросят вон из шалаша. Доктор уже не ходил в свою амбулаторию. «Лучший друг» Отто Юльевича Шмидта представлял собой жалкое зрелище. Он был небрит. Глаза у него светились, как у собаки. Где ты, теплая черноморская ночь, громадная луна и первое счастье?!

Наконец он схватил Люсю за руку и привел ее в милицию.

— Вот, — сказал он, показывая пальцем на жену.

— Что вот? — спросил его делопроизводитель, поправляя на голове войлочную каску.

— Любимое существо.

— Ну, и что же?

— Я обожаю это существо и прошу его прописать на моей площади.

Произошла тяжелая сцена. Она ничего не добавила к тому, что нам уже известно.

— Какие еще доказательства вам нужны? — надрывался доктор. — Ну, я очень ее люблю. Честное слово, не могу без нее жить. И могу ее поцеловать, если хотите.

Молодые люди, не отводя лстивых взоров от делопроизводителя, поцеловались дрожащими губами. В милиции стало тихо. Делопроизводитель застенчиво отвернулся и сказал:

— А может, у вас фиктивный брак? Просто гражданка хочет устроиться в Москве.

— А может быть, не фиктивный? — застонал «счастливый» муж. — Об этом вы подумали? Вот вы за разбитое стекло берете штраф, а мне кого штрафовать за разбитую жизнь?

В общем, доктор взял высокую ноту и держал ее до тех пор, пока не выяснилось, что счастье еще возможно, что есть выход. Достаточно поехать к месту жительства любимой, снова в Одессу, всего только за тысячу четыреста двенадцать километров, и все образуется. С московским паспортом одесский загс регистрирует докторские порывы, и преступная любовь приобретет наконец узаконенные очертания.

Ну что ж, любовь всегда требует жертв. Пришлось пойти на жертвы — занимать деньги на билеты и выпрашивать дополнительный отпуск для устройства семейных дел.

Но доктор еще не знал самого страшного — не знал, что костяная нога сидит не только в загсе, что костяные ноги уже подстерегают его на вокзале.

Здесь опускается шестнадцать страниц драматического описания того, как молодые супруги опоздали на поезд. Что тут, собственно, описывать? Всем известно, что нет ничего легче в Москве, как опоздать куда-нибудь.

Посадив свою горемычную Люсю на чемодан, доктор побежал компостировать билеты. Эта авантюра ему не удалась. НКПС бдительно охранял железнодорожные интересы и отменил компостирование билетов.

— Что же теперь будет? — ахнул доктор.

— Ваши билеты пропали, — сообщила костяная нога. — Такое правило. Раз опоздали на поезд, значит, пропало.

— Что ж, мы нарочно опоздали?

— А кто вас знает? Это не наше дело, нарочно или не нарочно.

— Но ведь всегда компостировали, со дня основания железных дорог.

— А теперь другое правило, гражданин.

— Наконец, у меня нет больше денег. Теперь я не могу поехать.

Костяная нога корректно промолчала.

И человек, который злостно мешал спокойной работе ряда почтенных учреждений, шатаясь, побрел назад и, усевшись рядом со своей Люсей, тяжело задумался. Он перебрал в памяти все свои поступки.

«Ну, что я сделал плохого? Ну, поехал в отпуск, ну, встретил хорошую девушку, ну, полюбил ее всей душой, ну, меня всей душой полюбили, ну, хотел жениться. И, понимаете, не выходит. Правила мешают».

Если создается правило, от которого жизнь советских людей делается неудобной, правило бессмысленное, которое выглядит нужным и важным только на канцелярском столе, рядом с чернильницей, а не с живыми людьми, можно не сомневаться в том, что его создала костяная нога, человек, представляющий себе жизнь в одном измерении, не знающий глубины ее, объема.

Если за учрежденческим барьером сидит человек, выполняющий глупое, вредное правило, и если он, зная об этом, оправдывается тем, что он — человек маленький, то и он костяная нога. У нас нет маленьких людей и не может быть их. Если он видит, что правило ведет к неудобствам и огорчениям, он первый должен поставить вопрос о том, чтобы правило это было отменено, пересмотрено, улучшено.

А доктор? Куда девался милый, честный доктор? Кто его знает! Бегает, наверно, с какими-нибудь справками к костяной ноге, чтобы оформить свою затянувшуюся свадьбу. А возможно, и не бегают уже, утомился и махнул на все рукой. Любовь тоже не бесконечна. А может быть, и верная Люся бежала с каким-нибудь уполномоченным по закупкам в Сызрань или Актюбинск, где легче сочтаться браком.

Во всяком случае, ошибка была сделана доктором с самого начала.

Прежде чем прошептать милой: «Я вас люблю», — надо было решительно и сухо сказать: «Предъявите ваши документы, гражданка».

1934



РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ

В семье было три человека — папа, мама и сын. Папа был старый большевик, мама — старая домашняя хозяйка, а сын был старый пионер со стриженной головой и двенадцатилетним жизненным опытом.

Казалось бы, все хорошо.

И тем не менее ежедневно за утренним чаем происходили семейные ссоры.

Разговор обычно начинал папа.

— Ну, что у вас нового в классе? — спрашивал он.

— Не в классе, а в группе, — отвечал сын. — Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс — это реакционно-феодалное понятие.

— Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили в группе?

— Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать.

— Ладно, что же прорабатывали?

— Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма.

— Вот как! Лассальянство? А задачи решали?

— Решали.

— Вот это молодцы! Какие же вы решали задачи? Небось трудные?

— Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества аграрников-марксистов.

Папа отодвинул чай, протер очки полой пиджака и внимательно посмотрел на сына. Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик.

— Ну, а по русскому языку что сейчас уч... то есть прорабатываете?

— Последний раз коллективно зачитывали поэму «Звонче голос за конский волос».

— Про лошадку? — с надеждой спросил папа. — «Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил?»

— Про конский волос, — сухо повторил сын. — Неужели не слышал?

Гей, ребята, все в поля
Для охоты на
Коня!
Лейся, песня, взвейся, голос.
Рвите ценный конский волос!

— Первый раз слышу такую... м-м-м... странную поэму, — сказал папа. — Кто это написал?

— Аркадий Паровой.

— Вероятно, мальчик? Из вашей группы?

— Какой там мальчик!.. Стыдно тебе, папа. А еще старый большевик... не знаешь Парового! Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали — «Влияние творчества Парового на западную литературу».

— А тебе не кажется, — осторожно спросил папа, — что в творчестве этого товарища Парового как-то мало поэтического чувства?

— Почему мало? Достаточно ясно выпячены вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрацной промышленности.

— Ненужного?

— Абсолютно ненужного.

— А конские уши вы не предполагаете собирать? — закричал папа дребезжащим голосом.

— Кушайте, кушайте, — примирительно сказала мама. — Вечно у них споры.

Папа долго хмыкал, пожимал плечами и что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребенку.

— Ну, а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекались в последнее время?

— Мы не развлекались. Некогда было.

— Что же вы делали?

— Мы боролись.

Папа оживился.

— Вот это мне нравится. Помню, я сам в детстве увлекался. Браруле, тур-де-тет, захват головы в партере. Это очень полезно. Чудная штука — французская борьба.

— Почему французская?

— А какая же?

— Обыкновенная борьба. Принципиальная.

— С кем же вы боролись? — спросил папа упавшим голосом.

— С лебедевщиной.

— Что это еще за лебедевщина такая? Кто это Лебедев?

— Один наш мальчик.

— Он что, мальчик плохого поведения? Шалун?

— Ужасного поведения, папа! Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке махизма, махаевщины и механицизма.

— Это какой-то кошмар!

— Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдаем на борьбу. Вчера был политаврал.

Папа схватился за голову.

— Сколько же ему лет?

— Кому, Лебеву? Да немолод. Ему лет восемь.

— Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь?

— А как по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос?

Папа дрожащими руками схватил портфель и, опрокинув по дороге стул, выскочил на улицу. Неуязвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку:

— А еще старый большевик!

Однажды бедный папа развернул газету и издал торжествующий крик. Мама вздрогнула. Сын сконфуженно смотрел в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе. Уши у него были розовые и просвечивали, как у кролика.

— Ну-с, — сказал папа, странно улыбаясь, — что же теперь будет, ученик четвертого класса Ситников Николай?

Сын молчал.

— Что вчера коллективно прорабатывали?

Сын продолжал молчать.

— Изжили наконец лебедевщину, юные непримиримые ортодоксы?

Молчание.

— Уже признал бедный мальчик свои сверхдеборинские ошибки? Кстати, в каком он классе?

— В нулевой группе.

— Не в нулевой группе, а в приготовительном классе! — загремел отец. — Пора бы знать!

Сын молчал.

— Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, Паровозова не приняли в Союз писателей. Как он там писал? «Гей, ребята, выйдем в поле, с корнем вырвем конский хвост»?

— «Рвите ценный конский волос», — умоляюще прошептал мальчик.

— Да, да. Одним словом: «Лейся, взвейся, конский голос». Я все помню. Это еще оказывает влияние на мировую литературу?

— Н-не знаю.

— Не знаешь? Не жуй, когда с учителем говоришь! Кто написал «Мертвые души»? Тоже не знаешь? Гоголь написал. Гоголь.

— Вконец разложившийся и реакционно настроенный мелкий мистик... — обрадованно забубнил мальчик.

— Два с минусом! — мстительно сказал папа. — Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии, лет через десять. Ну-с, расскажите мне, Ситников Николай, про Нью-Йорк.

— Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, — запел Коля, — выявляются капиталистические противоре...

— Это я сам знаю. Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?

Сын молчал.

— Сколько там населения?

— Не знаю.

— Где протекает река Ориноко?

— Не знаю.

— Кто была Екатерина Вторая?

— Продукт.

— Как продукт?

— Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали... Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капита...

— Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?

— Этого мы не прорабатывали.

— Ах, так! А каковы признаки делимости на три?

— Вы кушайте, — сказала сердобольная мама. — Вечно у них эти споры.

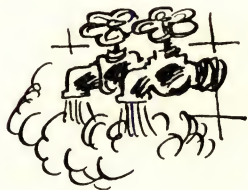
— Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров? — кипятился папа. — Пусть скажет, что такое Куро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов?

Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку и выбежал на улицу.

— Двоечник! — кричал ему вслед счастливый отец. — Все директору скажу!

Он наконец взял реванш.

1934



ДНЕВНАЯ ГОСТИНИЦА

Есть важное и неотложное дело.

Не существенно, как оно будет рассматриваться. В порядке ли обсуждения, в порядке предложения, в порядке постановки вопроса, в дискуссионном ли, наконец, порядке. Это безразлично. Можно сделать как угодно: можно предложение в порядке обсуждения, а можно и обсуждение в порядке предложения. Важно в порядке постановки вопроса добиться какого-нибудь ответа.

Речь идет о чистоте.

— Опоздали, — скажут соответствующие люди, представленные к этому животрепещущему вопросу. — По линии чистоты уже обнаружены сдвиги, расставлены вехи, проведены в жизнь великие мероприятия, каковыми являются всероссийская конференция дворников или, например, принудительная санобработка, введенная в красивейших южных городах нашего Союза.

Конференция действительно была. Действительно, в неслетном количестве собрались дворники, стоял стол, покрытый сукном, и графин с водой, и колокольчик, и произносились речи, и были прения, и приезжал из Самары какой-то знаменитый дворник и показывал всем прочим дворникам, как надо подметать улицы. И играл оркестр, и какие-то газеты помещали по этому поводу ликующие заметки.

Ну разве это не чепуха, товарищи?

Для того чтобы подметать улицы, нужно только две вещи — метла и желание работать. А поездки, протоколы и речи — все это лишь парадная трескотня и развязное втирание очков. Деньги же, истраченные на конференции

и слеты, полезнее было бы употребить на покупку машин для мытья и очистки улиц.

О санобработке уже писали.

Человека, приехавшего, например, в Харьков, не пускают в гостиницу, покуда он не предъявит удостоверения в том, что обработке подвергся.

А подвергаться не хочется. Уж очень эти места для обработки какие-то неаппетитные, грязноватые, неудобные. Туда приезжие стараются не ходить, нанимают подставных людей. Уже образовалась новая профессия. За пять рублей подставное лицо, кряхтя и отплевываясь, проходит вместо вас санобработку, тоскливо размазывает тепленькой водичкой грязь по своему лиловому телу. Это очень вредная профессия. Людям, которые ею занимаются, следовало бы, кроме денег, давать еще спецмолоко и хоть изредка водить в баню.

Что все это значит?

Тут нужно точное определение.

И болтливая конференция работников метлы, и принудительная скребница для приезжающих — это лишь частные случаи одного печального и довольно распространенного явления: «высокой принципиальности» без признаков какого-либо дела.

Вот схема, при помощи которой любой лентяй избавляется от прямых своих обязанностей, сохраняя в то же время репутацию блестящего организатора и так называемого крепкого парня.

Задание, например, следующее:

— Подметайте улицы.

Вместо того чтобы сейчас же выполнить этот приказ, крепкий парень поднимает вокруг него бешеную суету. Он выбрасывает лозунг:

— Пора начать борьбу за подметание улиц.

Борьба ведется, но улицы не подметаются.

Следующий лозунг уводит дело еще дальше.

— Включимся в кампанию по организации борьбы за подметание улиц.

Время идет, крепкий парень не дремлет, и на неподметенных улицах вывешиваются новые заповеди.

— Все на выполнение плана по организации кампании борьбы за подметание.

И, наконец, на последнем этапе первоначальная задача совершенно уже исчезает и остается одно только запальчивое, визгливое лопотанье.

— Позор срывщикам кампании за борьбу по выполнению плана организации кампании борьбы.

Все ясно. Дело не сделано. Однако видимость отчаянной деятельности сохранена. А крепкий парень уезжает в Ялту чинить расшатавшийся организм.

Итак, есть предложение.

Это, конечно, не всеобъемлющий план, при помощи которого можно одним ударом покончить с доставшейся нам по наследству грязью, но предложение весьма существенное.

Хотите ли вы, чтобы было так.

Московский житель идет по улице. А может быть, по улице идет и не московский житель, идет человек, приехавший в Москву на один день.

Он утомлен, небрит и грязноват. Его помятый костюм обвис и потерял форму, а ботинки покрыты пылью. В руках у него тяжелый пакет или чемодан.

Он мрачен, потому что знает безвыходность своего положения. Чтобы привести себя в порядок, надо проявить громадную энергию и потерять много времени. Сначала к парикмахеру. Потом куда-то на другой конец города — в баню. Потом еще одна отдельная операция — чистка ботинок. А выгладить костюм вообще невозможно. Это многолетняя, несбыточная греза холостяка, или путешественника, или просто очень занятого человека.

Так идет он по улице, грустно размышляя о неустроенности своей жизни, и вдруг видит на Трубной площади, или на Свердловской, или на площади Смоленского рынка нечто похожее на вход в метро.

Чистая гранитная лестница ведет вниз. Над ней вывеска: «Дневная гостиница».

Московский житель спускается по ступенькам и попадает в вестибюль, стены которого выложены молочными сияющими кафелями. За конторкой сидит кассирша в накрахмаленном белом халате. Под потолком горят сильные голубоватые лампы. Здесь хирургическая чистота и ощущается ровное, приятное тепло.

Рядом с конторкой кассирши висит прејскурант под стеклянной доской. Прочитав прејскурант, посетитель счастливо улыбается.

Выбрав несколько нужных ему процедур, он платит, получает билетики и входит в коридор. Та же чистота, сияние и даже, черт побери, пахнет одеколоном, хотя

на дверях с правой стороны коридора отчетливо изображено по два нуля.

Посетитель отдает свои билетки белоснежной служительнице, и она открывает ему двери чудного мира. Это — мир горячей воды, губок, теплых мохнатых простынь, бритв, утюгов, одним словом, мир санитарии и гигиены.

Сперва клиента отводят в ванную комнату. Из толстых кранов с шумом бежит вода. Полотенца, простыни и мягкий купальный халат греются на специальной грелке. Клиент складывает свой костюм и ботинки в выдвижной ящик, который сейчас же исчезает в стене.

После этого он купается. Не будем описывать, как происходит этот столь необходимый человеку процесс. Немножко фантазии — и читатель сам живо представит себе, насколько это хорошо и полезно.

Затем клиента ведут в парикмахерскую. Покуда его стригут и бреют, он беспокоится о своем костюме. Уж как-то слишком загадочно он исчез в стене. Не украли ли его?

Нет, не украли. За время, проведенное клиентом в ванной и парикмахерской, костюм вычистили и выгладили. Даже пришили, черти, пуговицу, которая уже две недели висела на честном слове.

А ботинки? Ботинки почистили. И, представьте себе, даже не замазали кремом шнурков. И шляпу почистили. Ничего не забыли.

Если все эти процедуры утомили клиента, он отправляется в особую комнату, где можно отдохнуть в дружинных креслах и посмотреть свежие газеты и журналы.

Но к чему отдыхать? Сейчас московский житель или приезжий путешественник полон бодрости и сил. Теперь можно, не заходя домой, пойти в театр или в Третьяковскую галерею, или сделать предложение девушке (за такого чистенького всякая пойдет!), или двинуться на деловое собрание. В таком виде нигде не стыдно показаться. И такой вид можно приобрести быстро, на любой площади города и в любое время. «Дневная гостиница» открыта с семи часов утра до полуночи без перерыва на обед и без переучета губок и унитадов.

Идея «дневных гостиниц» не нова. Однако в Европе их нигде нет, кроме Италии. Там это дело поставлено

совсем не плохо, но мы сможем и должны сделать свои дневные гостиницы еще лучше итальянских. И в наших бурно растущих городах, где осталось множество старых, плохо оборудованных, лишенных удобств домов, дневные гостиницы, если по-настоящему взяться за это дело, могут сыграть огромную культурную роль.

Они должны появиться везде: под площадями крупных городов и на больших предприятиях. И это должны быть первоклассные заведения по чистоте, порядку и удобству обслуживания. Только при таких условиях им не будет грозить опасность превратиться в санобработочные пункты, которых все справедливо избегают.

Все это совершенно реально и может быть достигнуто в ближайшее время. Была бы охота.

Тут, конечно, нужна организация всесоюзного масштаба. Это может быть, скажем, трест под названием «Дневная гостиница». Мы не знаем, в системе какого наркомата должен находиться этот трест — в системе ли Наркомздрава или Наркомхоза. Возможно, тут понадобятся усилия обоих наркоматов. Но мы знаем, что советский человек хочет быть ослепительно чистым и что наше правительство всеми силами своими старается ему в этом помочь.

Еще одно соображение. Это уже на тот случай, если наша скромная идея встретит сочувствие и дневные гостиницы будут строиться.

Уже рассказано, что должно быть в этих гостиницах. Но есть не менее важное, чего там быть не должно.

Там не должна играть музыка.

Там не нужно открывать отделения сберкасс.

Не надо продавать театральные билеты.

Киоска с кустарными игрушками тоже не надо.

В помещении не должно громко кричать радио, рекламируя новое начинание.

Не надо цветов, малахитовых колонн и барельефов, изображающих процесс купанья. Главное место должен занимать самый процесс купанья, и этому должно быть подчинено все.

Ничего лишнего, ничего постороннего, никакого увода от прямого дела. Мраморный пол, гладкие кафельные стены, горячая вода, острая бритва в умелых руках, гигроскопически чистое белье, внимательное отношение и точность работы.

Было бы ужасно, если б в вечерней газете появилось объявление:

ОТКРЫТА ДНЕВНАЯ ГОСТИНИЦА
«ЛЕРМОНТОВ»

С 7 часов утра и до 3 часов ночи
играет джаз.

Танцы в халатах.

Выступление поэтов.

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

НА СКАКОВОЕ ДЕРБИ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

и

ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ПИВА

Это была бы только новая иллюстрация к схеме, при помощи которой люди отлынивают от порученной им работы.

1934



СОБАЧИЙ ХОЛОД

Катки закрыты. Детей не пускают гулять, и они томятся дома. Отменены рысистые испытания. Наступил так называемый собачий холод.

В Москве некоторые термометры показывают тридцать четыре градуса, некоторые почему-то только тридцать один, а есть и такие чудаковатые градусники, которые показывают даже тридцать семь. И происходит это не потому, что одни из них исчисляют температуру по Цельсию, другие устроены по системе Реомюра, и не потому также, что на Остоженке холоднее, чем на Арбате, а на Разгуляе мороз более жесток, чем на улице Горького. Нет, причины другие. Сами знаете, качество продукции этих тонких и нежных приборов не всегда у нас на неслыханной высоте. В общем, пока соответствующая хозяйственная организация, пораженная тем, что благодаря морозу население неожиданно заметило ее недочеты, не начнет выправляться, возьмем среднюю цифру — тридцать

три градуса ниже нуля. Это уж безусловно верно и является точным арифметическим выражением понятия о собачьем холоде.

Закутанные по самые глаза москвичи кричат друг другу сквозь свои воротники и шарфы:

— Просто удивительно, до чего холодно!

— Что ж тут удивительного? Бюро погоды сообщает, что похолодание объясняется вторжением холодных масс воздуха с Баренцева моря.

— Вот спасибо. Как это они все тонко подмечают. А я, дурак, думал, что похолодание вызвано вторжением широких горячих масс аравийского воздуха.

— Вот вы смеетесь, а завтра будет еще холоднее.

— Не может этого быть.

— Уверю вас, что будет. Из самых достоверных источников. Только никому не говорите. Понимаете? На нас идет циклон, а в хвосте у него антициклон. А в хвосте у этого антициклона опять циклон, который и захватит нас своим хвостом. Понимаете? Сейчас еще ничего, сейчас мы в ядре антициклона, а вот попадем в хвост циклона, тогда заплачете. Будет невероятный мороз. Только вы никому ни слова.

— Позвольте, что же все-таки холоднее — циклон или антициклон?

— Конечно, антициклон.

— Но вы сейчас сказали, что в хвосте циклона какой-то небывалый мороз.

— В хвосте действительно очень холодно.

— А антициклон?

— Что антициклон?

— Вы сами сказали, что антициклон холоднее.

— И продолжаю говорить, что холоднее. Чего вы не понимаете? В ядре антициклона холоднее, чем в хвосте циклона. Кажется, ясно.

— А сейчас где мы?

— В хвосте антициклона. Разве вы сами не видите?

— Отчего же так холодно?

— А вы думали, что к хвосту антициклона Ялта привязана? Так, по-вашему?

Вообще замечено, что во время сильных морозов люди начинают беспричинно врать. Врут даже кристально честные и правдивые люди, которым в нормальных атмосферных условиях и в голову не придет сказать неправду. И чем крепче мороз, тем крепче врут. Так что

при нынешних холодах встретить вконец изовравшегося человека совсем не трудно.

Такой человек приходит в гости, долго раскутывается, кроме своего кашне, снимает белую дамскую шаль, стаскивает с себя большие дворницкие валенки, надевает ботинки, принесенные в газетной бумаге, и, войдя в комнату, с наслаждением заявляет:

— Пятьдесят два. По Реомюру.

Хозяину, конечно, хочется сказать: «Что ж ты в такой мороз шляешься по гостям? Сидел бы себе дома», — но вместо этого он неожиданно для самого себя говорит:

— Что вы, Павел Федорович, гораздо больше. Днем было пятьдесят четыре, а сейчас безусловно холоднее.

Здесь раздается звонок, и с улицы вваливается новая фигура. Фигура еще из коридора радостно кричит:

— Шестьдесят, шестьдесят! Ну, нечем дышать, совершенно нечем.

И все трое отлично знают, что вовсе не шестьдесят, и не пятьдесят четыре, и не пятьдесят два, и даже не тридцать пять, а тридцать три, и не по Реомюру, а по Цельсию, но удержаться от преувеличения невозможно. Простим им эту маленькую слабость. Пусть врут на здоровье. Может быть, им от этого сделается теплее.

Покамест они говорят, от окон с треском отваливается замазка, потому что она не столько замазка, сколько простая глина, хотя в ассортименте товаров значится как замазка высшего качества. Мороз-ревизор все замечает. Даже то, что в магазинах нет красивой цветной ваты, на которую так отрадно взглянуть, когда она лежит между оконными рамами, сторожа квартирное тепло.

Но беседующие не обращают на это внимания. Рассказываются разные истории о холодах и вьюгах, о приятной дремоте, охватывающей замерзающих, о сенбернарах с бочонком рома на ошейнике, которые разыскивают в снежных горах заблудившихся альпинистов, вспоминают о ледниковом периоде, о проваливающихся под лед знакомых (один знакомый якобы упал в прорубь, пробарахтался подо льдом двенадцать минут и вылез оттуда целехонек, живехонек и здоровехонек) и еще множество сообщений подобного рода.

Но венцом всего является рассказ о дедушке.

Дедушки вообще отличаются могучим здоровьем. Про дедушек всегда рассказывают что-нибудь интересное и героическое. (Например: «мой дед был крепостным», на са-

мом деле он имел хотя и небольшую, но все-таки бакалейную лавку.) Так вот во время сильных морозов фигура дедушки приобретает совершенно циклопические очертания.

Рассказ о дедушке хранится в каждой семье.

— Вот мы с вами кутаемся, — слабое, изнеженное поколение. А мой дедушка, я его еще помню (тут рассказчик краснеет, очевидно от мороза), простой был крепостной мужик и в самую стужу, так, знаете, градусов шестьдесят четыре, ходил в лес по дрова в одном люстриновом пиджачке и галстуке. Каково? Не правда ли, бодрый старик?

— Это интересно. Вот и у меня, так сказать, совпадение. Дедушка мой был большущий оригинал. Мороз этак градусов под семьдесят, все живое прячется в свои норы, а мой старик в одних полосатых трусиках ходит с топором на речку купаться. Вырубит себе прорубь, окунется — и домой. И еще говорит, что ему жарко, душно.

Здесь второй рассказчик багровеет, как видно от выпитого чаю.

Собеседники осторожно некоторое время смотрят друг на друга и, убедившись, что возражений против мифического дедушки не последует, начинают взапуски врать о том, как их предки ломали пальцами рубли, ели стекло и женились на молоденьких, имея за плечами — ну как вы думаете, сколько? — сто тридцать два года. Каких только скрытых черт не обнаруживает в людях мороз!

Что бы там ни вытворяли невероятные дедушки, а тридцать три градуса это неприятная штука. Амундсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя. Ему можно поверить, не требуя доказательств. Он это дело знал досконально.

Итак, мороз, мороз. Даже не верится, что есть где-то на нашем дальнем севере счастливые теплые края, где, по сообщению уважаемого бюро погоды, всего лишь десять — пятнадцать градусов ниже нуля.

Катки закрыты, дети сидят по домам, но жизнь идет — доделывается метро, театры полны (лучше замерзнуть, чем пропустить спектакль), милиционеры не растаются со своими бальными перчатками, и в самый лютый холод самолеты минута в минуту вылетели в очередные рейсы.

1935



НА КУПОРОСНОМ ФРОНТЕ

В квартире разгром. Вся мебель сдвинута на середину комнаты и покрыта газетами. Полы заляпаны известкой. Спотыкаясь о помятые ведра с купоросом, бродит растерянный хозяин. Дети перепачканы краской и безумно галдят.

— Что случилось? — спрашивает гость.

— Что случилось? — замогильным голосом говорит хозяин. — Случилось то, что мы гибнем. Погибаем. Все кончено.

Но, видимо, еще не все кончено. Дыхание жизни еще клокочет в груди страдальца. Он неожиданно подымает иссохшие руки к пятнистому потолку и страстно декламирует:

— О, зачем, зачем я решился на этот ужасный шаг! А так было хорошо, такая разворачивалась нормальная семейная жизнь! Помнишь, Лена, еще недавно, каких-нибудь две недели назад... Мы пили чай по вечерам. Я отдыхал в этом кресле. Наши милые чистенькие дети беспечно резвились в коридоре. А теперь...

— Что же все-таки произошло?

— Маляры! — говорит хозяин, обводя комнату блуждающим взглядом.

При этом слове жена начинает плакать, из коридора доносится грохот и сейчас же вслед за ним радостный вой юного поколения. Упала стремянка.

— Видишь, — сквозь слезы говорит жена, — надо было нанять того тихого старичка, который красил двери у Кирсановых. Он бы в два дня все сделал.

— Тихого старичка? — взвизгивает хозяин. — Этого садиста?

Тут начинается такая перепалка, что гость живо откланивается и уходит. Ему уже ясно, в чем дело.

Произошло то, что происходит всегда с теми оригиналами, которые решают произвести в квартире небольшой, выражаясь официально, текущий ремонт.

Где таятся маляры, где их искать, к кому обращаться? Ничего не известно! В таких случаях расспрашивают знакомых или просто подстерегают маляров на улице. Если повезет, то уже на третий-четвертый день хорошо организованной слежки (желательно разослать в разные концы города всех членов семьи) удастся встретить мрачную фигуру с кистью и ведром и при помощи посулов и грубоватой лести затащить ее к себе.

Фигура неторопливо и значительно оглядывает объект работы и после долгого кряхтения заявляет:

— Что ж, купоросить надо. Без купоросу никак нельзя. Купорос, он действие оказывает. Кругом себя оправдывает. Тут, значит, если не прокупоросишь, колеру правильного не будет. А можно и не купоросить.

— Так как же все-таки лучше?— подобострастно спрашивает наниматель.— С купоросом или без купороса?

— Ваше дело, хозяйское. Одни любят с купоросом, другие без купороса.

— Тогда на всякий случай прокупоросьте. А вот эту комнату я хотел бы выкрасить в желтый цвет, знаете, такой веселый, канареечный, солнечный.

— Кроном, значит?— степенно говорит маляр.— Это можно. Возьмем, значит, кроном и покрасим. Кроном, значит, вот так возьмем и как есть покрасим. Кроном. Отделаем уж как полагается, хозяин.

Другую комнату договариваются выкрасить в светло-зеленый цвет. При этом маляр произносит непонятную речь о каком-то стронции, который тоже свое действие оказывает и кругом себя оправдывает.

Переговоры длятся часа два. Бесконечно повторяется одно и то же. Маляр, задрав голову, подолгу смотрит на потолок, будто ждет, что оттуда пойдет дождь, цокает языком и сокрушенно взмахивает руками.

— Ну, кажется, все,— нервно говорит хозяин.— Во сколько же это обойдется?

И тут начинается Художественный театр. Маляр закатывает получасовую качаловскую паузу. У хозяина начинает щемить сердце.

— Вот карточки отменили,— говорит наконец маляр.

— И очень хорошо,— оживляется хозяин.— Какая же будет цена?

— Что ж, сделаем как следует. Значит, с твоим купоросом?

— Как с моим купоросом? Где я вам возьму купорос?

— Этого мы, маляры, не знаем.

И все начинается сначала. Маляр опять бродит из комнаты в комнату, вздыхает, мекает, хмыкает, чешется. В конце концов выясняется, что он все может достать — и проклятый купорос, и крон, и белила, и даже загадочный стронций.

Но вот он называет цену. Триста рублей. Цена ни с чем не сообразная, неестественная, глупая, обидная. Идет длительный базарный, азиатский торг. Попутно выясняется, что маляр может работать только по вечерам.

Хозяин соглашается на все. По вечерам так по вечерам, двести пятьдесят так двести пятьдесят. Только бы поскорее. Надоели грязные стены, трещины, моль, вся эта чертовщина.

Ночью семья работает: стаскивают в одно место мебель, снимают со стен картинки и портреты предков, связывают вещи в узлы. Завтра должен явиться маляр, ровно в шесть часов вечера.

Но его нет ни в шесть, ни в семь, ни в десять. Он не приходит. В эту ночь семья спит на узлах.

Зато на другой день маляр появляется вовремя и приводит с собой еще трех мастеров — двух стариков и мальчика. Мальчик, как и остальные, в забрызганных мелом сапогах и громадном ватном пиджаке (спинжаке). Он тоже хмыкает, мекает и неясно выражается насчет благотворного действия купороса.

Весь этот трудовой коллектив снимает пиджаки и рассаживается на перевернутых ящиках и ведрах посреди комнаты. Мастера пьют чай и поглядывают на потолок. Потом потихоньку и стройно начинают петь:

Эх вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои!

Степная удаль и тоска слышатся в этой старинной разбойничьей песне. И сразу начинает казаться, что нет никакого Днепрогэса, что ничего не произошло, что нет ни метро, ни авиации, ни замечательных колхозов, что в квартире разыгрывается какая-то сплошная хованщина, XVIII век, а может быть, даже XVI.

Напившись чаю и напевшись вдосталь, мастера надевают пиджаки, снова их снимают и снова надевают. После этого они берут у хозяина двадцать пять рублей на

приобретение крона и уходят. А мальчик остается купоросить. При этом он сразу же разбивает стекло книжного шкафа и прожигает каким-то неизвестным веществом малиновое сукно на письменном столе.

— Ты что, с ума сошел?— кричит хозяин.

— Купорос, он колеру не любит,— бормочет ужасное дитя.— Он свое действие оказывает, осадку дает.

— Это бред!— говорит хозяин.

И он прав, начинается бред.

В разрушенную квартиру маляры больше не возвращаются. Очевидно, они удовлетворены полученным задатком.

Три дня несчастная семья на что-то надеялась. Потом знакомые рекомендуют некоего Вавилыча, кристального старика.

Кристальный старик приходит, с хватающей за душу медлительностью осматривает комнаты и берется сделать работу со своей олифой и кроном — все за двенадцать рублей. Тут же выясняется, что почтенный старец смертельно пьян и за свои слова отвечать не может. Его с трудом выводят.

Проще всего было бы расставить мебель по местам и жить, как жили. Но этого сделать уже нельзя. И стены и потолки вымазаны какой-то дрянью.

Приводят еще одного мастера. Он тоже детально договаривается обо всем, входит во все мелочи, но в конце разговора присовокупляет, что начать работу сможет только через месяц, так как уезжает в деревню на праздники.

И зачем он, собственно, приходил и потерял целый вечер на разговоры и чесание подмышек — непонятно. На кухне рыдает хозяйка.

— Неправильно сделали,— говорят бессердечные знакомые.— Вот когда те трое с мальчиком приходили, надо было их запереть и не выпускать из квартиры, пока не кончат работы.

— Если бы я знал!— вопит страдалец.— Ах, если бы я знал! Уж я бы их...

Его утешают. Ему рассказывают интересные истории о печниках, о плотниках, о водопроводчиках, о перевозчиках мебели, о всей этой касте подпольных полукустарей, полуспекулянтов с топорами, клещами и малярной кистью.

И стиль их работы, и способы их найма, и все их

разговоры полностью сохранились со времен боярской Руси.

Они могли сохраниться только потому, что у нас, собственно, никто не занимается ремонтом квартир. Есть организации, которые строят сразу по сто домов, есть организации, которые воздвигают целые города, но нет простой конторы, где можно заказать побелку потолка, перетирку и окраску стен, переборку паркета, новое стекло нужного размера, дверь, шпингалет; нет конторы, где можно было бы по вкусу выбрать краску или обои; конторы, где есть специалисты, гарантирующие качество работы и сдачу ее в срок.

Такая контора должна быть своего рода строительным магазином. Работа строительных магазинов будет великолепно окупаться, и за несколько месяцев, оставшихся до весны, этого благоухающего и светлого квартала ремонтов и починок, их надо организовать в возможно большем числе.

Вы только подумайте! Сейчас легче попасть на прием к одному из лучших в мире специалистов по сердечным болезням, чем найти маляра. Профессор вас примет через две недели после записи, но уж примет точно в назначенный день и час, а за маляром можно гоняться месяц. И происходит это не потому, что профессоров-сердечников много, а маляр один, а потому, что врачебная помощь людям у нас организована, строительной же помощи не существует.

Все рассказанное основано на большом количестве проверенных фактов путем опросов и исследований.

А теперь разрешите, так сказать в порядке ведения собрания, высказаться по личному вопросу. Он тоже, впрочем, имеет общественное значение и иллюстрирует бедственное положение на купоросном фронте.

Жили мы тихо, мирно, писали романы, повести, рассказы и пьесы. Вдруг прошлой весной приходит бумажка от родимой организации, от Союза писателей.

«Не хотите ли произвести ремонт своей квартиры? Ремонт будет, разумеется, произведен за ваш счет, но, разумеется, под нашим наблюдением, из лучших материалов и в железные сроки».

Очень приятно было читать такой документ. Мы оставили на время сочинение романов, повестей, рассказов и пьес, побежали в союз и выразили свою признательность и согласие на производство ремонта. Главное, радовало

сознание того, что о тебе кто-то заботится, кто-то тебя лелеет.

И точно. Через несколько дней пришел молодой человек с рулеткой, произвел разного рода обмеры, что-то умножал, делил и складывал, а в заключение сказал, что вскоре будет составлена смета, а за ней начнутся и строительные работы.

Засим довольно быстро прошли три месяца, никто не приходил ремонтировать квартиры. Наступила осень. Пушкин, например, любил осень. Но, разумеется, и он не считал это время наиболее удобным для производства ремонта своего дома в селе Михайловском. Мы снова оставили сочинение романов и побежали в союз. Там уже прибавилось несколько новых фанерных перегородок и конторских столов, но все-таки нужного человека мы нашли.

Он долго смотрел на нас затуманенным взглядом и наконец сказал:

— Значит, вы просите сделать ремонт?

— Да нет, мы ничего не просим. Вы сами предложили.

— Ах, мы предложили? Да, да, верно. Но эта идея уже механически отпала. Мы, товарищи, отказались от этой идеи.

— Почему же вы не сообщили? Мы ждали все лето.

— Нет, нет, товарищи, эта идея отпала.

Ну что ж, отпала так отпала. Обидно, конечно, оставаться на зиму в потрепанных квартирах, но все-таки стен никто не купоросил, сукна не прожигал, жить можно.

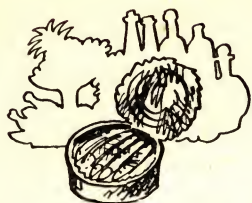
И вдруг недавно приходит новая бумажка от той же родимой организации, но уже не весенняя, а зимняя, суровая и даже нахальная.

«Настоящим извещаю, что с вас причитается за составление сметы на ремонт 57 рублей столько-то копеек. В случае неуплаты дело будет передано в суд».

Вот тебе на! Идея отпала, но мы почему-то должны за нее платить. Тут даже темный Вавилыч покажется кристальным стариком.

Что ж, суд так суд. Любопытно будет встретиться перед лицом закона.

1935



ШИРОКИЙ РАЗМАХ

За громадным письменным столом, на дубовых боках которого были вырезаны бекасы и виноградные гроздья, сидел глава учреждения Семен Семенович. Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифе с желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские тела в полувоенные одежды, как будто бы деятельность их заключается не в мирном пересчитывании электрических лампочек и прибивании медных инвентарных номерков к шкафам и стульям, а в непрерывной джигитовке и рубке лозы.

— Значит, так, товарищ Кошачий, — с увлечением говорил Семен Семенович, — возьмите семги, а еще лучше лососины, ну там ветчины, колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подороже.

— Шпроты?

— Вот вы всегда так, товарищ Кошачий. Шпроты! Может, еще кабачки фаршированные или свинобобы? Резинокомбинат на своем последнем банкете выставил консервы из налимьей печенки, а вы — шпроты, а крабы. Пишите. Двадцать коробок крабов.

Завхоз хотел было возразить и даже открыл рот, но ничего не сказал и принялся записывать.

— Крабы, — повторил Семен Семенович, — и пять кило зернистой икры.

— Не много ли? В прошлый раз три кило брали, и вполне хватило.

— По-вашему, хватило, а... по-моему, не хватило. Я следил.

— Сорок рублей кило, — грустно молвил завхоз.

— Ну, и что же из этого вытекает?

— Вытекает, что одна икра станет нам двести рублей.

— Я давно вам хотел сказать, что у вас, товарищ Кошачий, нет размаха. Банкет так банкет. Закуска, горячее, даже два горячих, пломбир, фрукты.

— Зачем же такой масштаб? — пробормотал Кошачий. — Конечно, я не спорю, мы выполнили месячную про-

грамму. И очень хорошо. Можно поставить чаю, пива, бутербродов с красной икрой. Чем плохо? И, кроме того, на прошлой неделе был банкет по поводу пятидесятилетия управделами.

— Я все-таки вас не понимаю, товарищ Кошачий. Извините, но вы какой-то болезненно скупой человек. Что у нас — бакалейная лавочка? Что мы, частники?

Завхоз потупился, сраженный аргументами.

— И потом, — продолжал Семен Семенович, — купите вы наконец приличный сервиз, а то вы подаете уже черт знает на чем. Какие-то разнокалиберные тарелки, рюмки разных размеров. В последний раз вино пили из чашек. Понимаете, что это такое?

— Понимаю.

— А раз понимаете, то пойдите в комиссионный магазин и купите все, что нужно. Нельзя же так.

— Дорого очень в комиссионном, Семен Семенович. Ведь у нас определенный бюджет.

— Я лучше вашего знаю про бюджет. Мы не воры, не растратчики и себе домой эту лососину в рукаве не таскаем. Но зачем нам прибедняться? Наши предприятия убытков не приносят. И если мы устраиваем товарищеский ужин, то пусть будет ужин настоящий. Надо нанять джаз, пригласить артистов, а не эту тамбовскую капеллу, как она там называется...

— Ансамбль лиристов, — хрипло сказал завхоз.

— Да, да, не надо больше этих балалаечников. Пригласите хорошего певца, пусть нам споет что-нибудь. «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни».

— Так ведь такой артист, — со слезами в голосе сказал Кошачий, — с нас три шкуры снимет.

— Ну какой вы, честное слово, человек! С вас он снимет эти три шкуры? И потом не три, а две. И для нашего миллионного бюджета это не играет никакой роли.

— Такси для артиста придется нанимать, — тоскливо прошептал завхоз.

Семен Семенович внимательно посмотрел на собеседника и проникновенно сказал:

— Простите меня, товарищ Кошачий, но вы просто сквалыжник. Самый обыкновенный скупердяй. Такой, извините меня, обобщенный тип даже описан в литературе. Вы — Плюшкин! Гарпагон! Да, да, и, пожалуйста, не возражайте. У вас тяжелая привычка всегда возражать. Вы Плюшкин, и все. Вот и мой заместитель жаловался

на вашу бессмысленную мещанскую скупость. Вы до сих пор не можете купить для его кабинета порядочной мебели.

— У него хорошая мебель,— мрачно сказал Кошачий.— Все, что надо для работы: стульев шведских — шесть, столов письменных — один, еще один стол — малый, графин, бронзовая пепельница с собакой, красивый новый клеенчатый диван.

— Клеенчатый! — застонал Семен Семенович.— Завтра же купите ему кожаную мебель. Слышите? Пойдите в комиссионный.

— Кожаный, Семен Семенович, пятнадцать тысяч стоит.

— Опять эти деньги. Просто противно слушать. Что мы, нищие? Надо жить широко, товарищ Кошачий, надо, товарищ Кошачий, иметь социалистический размах. Поняли?

Завхоз спрятал в карман рулетку, которую вертел в руках, и, шурша кожаными лямками, вышел из кабинета.



Вечером, сидя за чаем, Семен Семенович со скужающим видом слушал жену, которая что-то записывала на бумажке и радостно говорила:

— Будет очень хорошо и дешево. Четыре бутылки вина, литр водки, две коробочки анчоусов, триста граммов лососины и ветчина. Потом я сделаю весенний салат со свежими огурцами и сварю кило сосисок.

— Здравствуйте.

— Ты, кажется, что-то сказал?

— Я сказал: здравствуйте.

— Тебе что-нибудь не нравится? — забеспокоилась жена.

— Да, кое-что,— сухо ответил Семен Семенович.— Мне, например, не нравится, что каждый огурец стоит один рубль пятнадцать копеек.

— Но ведь на весь салат пойдет два огурчика.

— Да, да, огурчики, лососина, анчоусы. Ты знаешь, во сколько все это станет?

— Я тебя не понимаю, Семен. Мои именины, придут гости, мы уже два года ничего не устраивали, а сами постоянно у всех бываем, просто неудобно.

— Почему неудобно?

— Неудобно, потому что невежливо.

— Ну, ладно,— сказал Семен Семенович томно.— Дай сюда список. Так вот, все это мы вычеркиваем. Остается... собственно, ничего не остается. А купи ты, Катя, вот что. Купи ты, Катя, бутылку водки и сто пятьдесят граммов сельдей. И все.

— Нет, Семен, так невозможно.

— Вполне возможно. Каждый тебе скажет, что селедка — это классическая закуска. Даже в литературе об этом где-то есть, я читал.

— Семен, это будет скандал.

— Хорошо, хорошо, в таком случае приобрети еще коробку шпрот. Только не бери ленинградских шпрот, а требуй тульских. Они хотя и дешевле, но значительно питательнее.

— Можно подумать, что мы нищие! — закричала жена.

— Мы должны строить свою жизнь на основах стройжайшей экономии и рационального использования каждой копейки,— степенно ответил Семен Семенович.

— Ты получаешь тысячу рублей в месяц. К чему нам прибедняться?

— Катя, я не вор и не растратчик и не обязан кормить на свои трудовые деньги банду жадных знакомых.

— Тьфу!

— Я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет, и я не имею права выходить за его рамки. Принимаешь, не имею права!

— И в кого он такой сквалыга уродился? — сказала жена, обращаясь к стене.

— Ругай меня, ругай,— сказал Семен Семенович,— но предупреждаю, что финансовую дисциплину я буду проводить неуклонно, что бы ты там ни говорила.

— Говорю и буду говорить! — закричала жена.— Коля уже месяц ходит в рваных ботинках.

— При чем тут Коля?

— При том тут Коля, что он наш сын.

— Ладно, ладно, не кричи! Купим этому пирату ботинки. С течением времени. Ну, что там еще надо? Говори уж скорее. Может быть, рояль надо купить, арфу?

— Арфу не надо, а табуретку на кухню надо.

— Табуретку! — завизжал Семен Семенович.— Зачем табуретку? Чего уж там! Купим для кухни сразу кожаную

мебель! Всего только пятнадцать тысяч. Нет, Катенька, я наведу в доме порядок.

И он долго еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмысленными тратами, пирами и тому подобным безудержным разбрасыванием и разбазариванием социалистической копейки.

Спал он спокойно.

1935



КОЛУМБ ПРИЧАЛИВАЕТ К БЕРЕГУ

— Земля, земля! — радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты.

Тяжелый, полный тревог и сомнений путь Христофора Колумба был окончен. Впереди виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу.

— Я вижу большую горную цепь, — сказал он товарищам по плаванию. — Но вот странно: там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами.

— Пирога с туземцами! — раздался крик.

Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи, открыватели новых земель бросились к подветренному борту.

Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу большой лист бумаги.

— Я хочу открыть вашу землю, — гордо сказал Колумб. — Именем испанской королевы Изабеллы объявляю эти земли принадлежа...

— Все равно. Сначала заполните анкету, — устало сказал туземец. — Напишите свое имя и фамилию печатными буквами, потом национальность, семейное положение, сообщите, нет ли у вас трахомы, не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также не идиот ли вы.

Колумб схватился за шпагу. Но так как он не был идиотом, то сразу успокоился.

— Нельзя раздражать туземцев,— сказал он спутникам.— Туземцы как дети. У них иногда бывают очень странные обычаи. Я это знаю по опыту.

— У вас есть обратный билет и пятьсот долларов?— продолжал туземец.

— А что такое доллар?— с недоумением спросил великий мореплаватель.

— Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое доллар? Что вы хотите здесь делать?

— Хочу открыть Америку.

— А публисити у вас будет?

— Публисити? В первый раз слышу такое слово.

Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и наконец сказал:

— Вы не знаете, что такое публисити?

— Н-нет.

— И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер Колумб.

— Как? Вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну?— забеспокоился великий генуэзец.

Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос:

— Без публисити нет просперити.

В это время каравеллы уже входили в гавань. Осень в этих широтах была прекрасная. Светило солнце, и чайка кружилась за кормой. Глубоко взволнованный, Колумб вступил на новую землю, держа в одной руке скромный пакетик с бусами, которые он собирался выгодно сменять на золото и слоновую кость, а в другой — громадный испанский флаг. Но куда бы он ни посмотрел, нигде не было видно земли, почвы, травы, деревьев, к которым он привык в старой, спокойной Европе. Всюду были камень, асфальт, бетон, сталь.

Огромная толпа туземцев неслась мимо него с карандашами, записными книжками и фотоаппаратами в руках. Они окружали сошедшего с соседнего корабля знаменитого борца, джентльмена с расплюснутыми ушами и невероятно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внимания. Подошли только две туземки с раскрашенными лицами.

— Что это за чудак с флагом?— спросила одна из них.

— Это, наверно, реклама испанского ресторана,— сказала другая.

И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с расплюснутыми ушами.

Водрузить флаг на американской почве Колумбу не удалось. Для этого ее пришлось бы предварительно бурить пневматическим сверлом. Он до тех пор ковырял мостовую своей шпагой, пока ее не сломал. Так и пришлось идти по улицам с тяжелым флагом, расшитым золотом. К счастью, уже не надо было нести бусы. Их отобрали на таможне за неуплату пошлины.

Сотни тысяч туземцев мчались по своим делам, ныряли под землю, пили, ели, торговали, даже не подозревая о том, что они открыты.

Колумб с горечью подумал: «Вот. Старался, добывал деньги на экспедицию, переплывал бурный океан, рисковал жизнью — и никто не обращает внимания».

Он подошел к туземцу с добрым лицом и гордо сказал:

— Я Христофор Колумб.

— Как вы говорите?

— Христофор Колумб.

— Скажите по буквам, — нетерпеливо молвил туземец.

Колумб сказал по буквам.

— Что-то припоминаю, — ответил туземец. — Торговля портативными механическими изделиями?

— Я открыл Америку, — неторопливо сказал Колумб.

— Что вы говорите! Давно?

— Только что. Какие-нибудь пять минут тому назад.

— Это очень интересно. Так что же вы, собственно, хотите, мистер Колумб?

— Я думаю, — скромно сказал великий мореплаватель, — что имею право на некоторую известность.

— А вас кто-нибудь встречал на берегу?

— Меня никто не встречал. Ведь туземцы не знали, что я собираюсь их открыть.

— Надо было дать кабель. Кто же так поступает? Если вы собираетесь открывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, приготовить несколько веселых шуток в письменной форме, чтобы раздать репортерам, приготовить сотню фотографий. А так у вас ничего не выйдет. Нужно опубликовать.

— Я уже второй раз слышу это странное слово — опубликовать. Что это такое? Какой-нибудь религиозный обряд, языческое жертвоприношение?

Туземец с сожалением посмотрел на пришельца.

— Не будьте ребенком, — сказал он. — Опубликовать —

это публисити, мистер Колумб. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Мне вас жалко.

Он отвел Колумба в гостиницу и поселил его на тридцать пятом этаже. Потом оставил его одного в номере, заявив, что постарается что-нибудь для него сделать.

Через полчаса дверь отворилась, и в комнату вошел добрый туземец в сопровождении еще двух туземцев. Один из них что-то беспрерывно жевал, а другой расставил треножник, укрепил на нем фотографический аппарат и сказал:

— Улыбнитесь! Смейтесь! Ну! Не понимаете? Ну, сделайте так: «Га-га-га!» — и фотограф с деловым видом оскалил зубы и заржал, как конь.

Нервы Христофора Колумба не выдержали, и он засмеялся истерическим смехом. Блеснула вспышка, щелкнул аппарат, и фотограф сказал: «Спасибо».

Тут за Колумба взялся другой туземец. Не переставая жевать, он вынул карандаш и сказал:

— Как ваша фамилия?

— Колумб.

— Скажите по буквам. Ка, О, Эл, У, Эм, Бэ? Очень хорошо, главное — не перепутать фамилию. Как давно вы открыли Америку, мистер Колман? Сегодня? Очень хорошо. Как вам понравилась Америка?

— Видите, я еще не мог получить полного представления об этой плодородной стране.

Репортер тяжело задумался.

— Так. Тогда скажите мне, мистер Колман, какие четыре вещи вам больше всего понравились в Нью-Йорке?

— Видите ли, я затрудняюсь...

Репортер снова погрузился в тяжелые размышления: он привык интервьюировать боксеров и кинозвезд, и ему трудно было иметь дело с таким неповоротливым и туповатым типом, как Колумб. Наконец он собрался с силами и выжал из себя новый, блестящий оригинальностью вопрос:

— Тогда скажите, мистер Колумб, две вещи, которые вам не понравились.

Колумб издал ужасный вздох. Так тяжело ему еще никогда не приходилось. Он вытер пот и робко спросил своего друга-туземца:

— Может быть, можно все-таки обойтись как-нибудь без публисити?

— Вы с ума сошли,— сказал добрый туземец, бледнея.— То, что вы открыли Америку,— еще ничего не значит. Важно, чтобы Америка открыла вас.

Репортер произвел гигантскую умственную работу, в результате которой был произведен на свет экстравагантный вопрос:

— Как вам нравятся американки?

Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро записывать. Иногда он вынимал изо рта горящую папиросу и закладывал ее за ухо. В освободившийся рот он клал карандаш и вдохновенно смотрел на потолок. Потом снова продолжал писать. Потом он сказал «о'кей», хлопал растерявшегося Колумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руку и ушел.

— Ну, теперь все в порядке,— сказал добрый туземец,— пойдем погуляем по городу. Раз уж вы открыли страну, надо ее посмотреть. Только с этим флагом вас на Бродвей не пустят. Оставьте его в номере.

Прогулка по Бродвею закончилась посещением тридцатипятицентového бурлеска, откуда великий и застенчивый Христофор выскочил, как ошпаренный кот. Он быстро помчался по улицам, задевая прохожих полами плаща и громко читая молитвы. Пробравшись в свой номер, он сразу бросился в постель и под грохот надземной железной дороги заснул тяжелым сном.

Рано утром прибежал покровитель Колумба, радостно размахивая газетой. На восемьдесят пятой странице мореплаватель с ужасом увидел свою оскаленную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему безумно понравились американки, что он считает их самыми элегантными женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопского негуса Селассие⁵, а также собирается читать в Гарвардском университете лекции по географии.

Благородный генуэзец раскрыл было рот, чтобы поклясться в том, что он никогда этого не говорил, но тут появились новые посетители.

Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к делу. Публисити начало оказывать свое магическое действие: Колумба пригласили в Голливуд.

— Понимаете, мистер Колумб,— втолковывали новые посетители,— мы хотим, чтобы вы играли главную роль в историческом фильме «Америго Веспуччи». Понимаете, настоящий Христофор Колумб в роли Америго Веспуччи — это может быть очень интересно. Публика на такой

фильм пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском жаргоне. Понимаете? Не понимаете? Тогда мы вам сейчас все объясним подробно. У нас есть сценарий. Сценарий сделан по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», но это не важно, мы ввели туда элементы открытия Америки...

Колумб пошатнулся и беззвучно зашевелил губами, очевидно читая молитвы. Но туземцы из Голливуда бойко продолжали:

— Таким образом, мистер Колумб, вы играете роль Америго Веспуччи, в которого безумно влюблена испанская королева. Он в свою очередь так же безумно влюблен в русскую княгиню Гришку. Но кардинал Ришелье подкупает Васко де Гаму и при помощи леди Гамильтон добивается посылки вас в Америку. Его адский план прост и понятен. В море на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, как лев. Сцена на триста метров. Играть вы, наверно, не умеете, но это не важно.

— Что же важно? — застонал Колумб.

— Важно публисити. Теперь вас публика уже знает, и ей будет очень интересно посмотреть, как такой почтенный и ученый человек сражается с пиратами. Кончается тем, что вы открываете Америку. Но это не важно. Главное — это бой с пиратами. Понимаете, алебарды, секиры, катапульты, греческий огонь, ятаганы, — в общем, средневекового реквизита в Голливуде хватит. Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов! Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русской жизни, что больше не сможет этого вынести. Значит, сначала вы побреетесь, потом мы подписываем контракт на шесть недель. Согласны?

— О'кей! — сказал Колумб, дрожа всем телом.

Поздно вечером он сидел за столом и писал письмо королеве испанской:

«Я объехал много морей, но никогда еще не встречал таких оригинальных туземцев. Они совершенно не выносят тишины и, для того чтобы как можно чаще наслаждаться шумом, построили во всем городе на железных столбах особые дороги, по которым день и ночь мчатся железные кареты, производя столь любимый туземцами грохот.

Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно, но, во всяком случае, они едят горячих собак. Я своими глазами видел много съестных лавок, где при-

зывают прохожих питаться горячими собаками и восхваляют их вкус*.

От всех людей здесь пахнет особым благовонием, которое на туземном языке называется „бензин“. Все улицы наполнены этим запахом, очень неприятным для европейского носа. Даже здешние красавицы пахнут бензином.

Мне пришлось установить, что туземцы являются язычниками: у них много богов, имена которых написаны огнем на их хижинах. Больше всего поклоняются, очевидно, богине Кока-кола, богу Драгист-сода, богине Кафетерии и великому богу бензиновых благовоний — Форду. Он тут, кажется, вроде Зевса.

Туземцы очень прожорливы и все время что-то жуют.

К сожалению, цивилизация их еще не коснулась. По сравнению с бешеным темпом современной испанской жизни американцы чрезвычайно медлительны. Даже хождение пешком кажется им чрезмерно быстрым способом передвижения. Чтобы замедлить этот процесс, они завели огромное количество так называемых автомобилей. Теперь они передвигаются со скоростью черепахи, и это им чрезвычайно нравится.

Меня поразил один обряд, который совершается каждый вечер в местности, называемой Бродвей. Большое число туземцев собирается в большой хижине, называемой бурлеск. Несколько туземок по очереди поднимаются на возвышение и под варварский грохот тамтамов и саксофонов постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, как дети. Когда женщина уже почти голая, а туземцы в зале накалены до последней степени, происходит самое непонятное в этом удивительном обряде: занавес почему-то опускается, и все расходятся по своим хижинам.

Я надеюсь продолжать исследования этой замечательной страны и двинуться в глубь материка. Моя жизнь находится вне опасности. Туземцы очень добры, приветливы и хорошо относятся к чужестранцам».

1936

* В Америке «горячими собаками» называют обыкновенные сосиски (прим. авторов).



ЖУРНАЛИСТ ОШЕЙНИКОВ

Поздно ночью журналист Ошейников сидел за столом и сочинял художественный очерк.

Тут, конечно, удобно было бы порадовать читателя экстренным сообщением о том, что мягкий свет штепсельной лампы бросал причудливые блики на лицо пишущего, что в доме было тихо, и лишь поскрипывали половицы, да где-то (далеко-далеко) брехала собака.

Но к чему все эти красивые литературные детали? Современники все равно не оценят, а потомки проклянут.

В силу этого будем кратки.

Тема попалась Ошейникову суховатая — надо было написать о каком-то юбилейном заседании. Развернуться на таком материале было трудно. Но Ошейников не пал духом, не растерялся.

«Ничего, — думал он, — возьму голой техникой. Я, слава богу, набил руку на очерках».

Первые строчки Ошейников написал не думая. Помогали голая техника и знание вкусов редактора.

«Необъятный зал городского драматического театра, вместимостью в двести пятьдесят человек, кипел морем голов. Представители общественности выплескивались из амфитеатра в партер, наполняя волнами радостного гула наше гигантское театральное вместилище».

Ошейников попросил у жены чаю и продолжал писать:

«Но вот море голов утихает. На эстраде появляется знакомая всем собравшимся могучая, как бы изваянная из чего-то фигура Антона Николаевича Гусилина. Зал разражается океаном бесчисленных аплодисментов».

Еще десять подобных строчек легко выпорхнули из-под пера журналиста. Дальше стало труднее, потому что надо описать новую фигуру — председателя исполкома тов. Чихаева.

Фигура была новая, а выражения только старые. Но и здесь Ошейников, как говорится, выкрутился.

«За столом президиума юбилейного собрания энергичной походкой появляется лицо тов. Чихаева. Зал взры-

вается рокочущим прибоем несмолкаемых рукоплесканий. Но вот kloкочущее море присутствующих, пенясь и клубясь бурливой радостью, входит в берега сосредоточенного внимания».

Ошейников задумался.

«Входит-то оно входит, а дальше что?»

Он встал из-за стола и принялся нервно прогуливаться по комнате. Это иногда помогает, некоторым образом заменяет вдохновение.

«Так, так, — думал он, — этого Чихаева я описал неплохо. И фигура Гусилина тоже получилась у меня довольно яркая. Но вот чувствуется нехватка чисто художественных подробностей».

Мысли Ошейникова разбредались.

«Черт знает что, — размышлял он, — второй год обещают квартиру в новом доме и все не дают. Илюшке Качурину дали, этому бандиту Фиалкину дали, а мне...»

Вдруг лицо Ошейникова озарилось нежной детской улыбкой. Он подошел к столу и быстро написал:

«По правую руку от председателя собрания появилась уверенная, плотная, крепкая бритая фигура нашего заботливого заведующего жилищным отделом Ф. З. Грудастого. Снова вскипает шум аплодисментов».

— Ах, если бы две комнаты дал! — страстно зашептал автор художественного очерка. — Вдруг не даст? Нет, даст. Теперь должен дать.

Для полного душевного спокойствия он все-таки вместо слов «шум аплодисментов» записал «грохот оваций» и щедро добавил:

«Тов. Грудастый спокойным взглядом выдающегося хозяйственника обводит настороженно притихшие лица первых рядов, как бы выражающие общее мнение: „Уж наш т. Грудастый не подкачает, уж он уверенно доведет до конца стройку и справедливо распределит квартиры среди достойнейших“».

Ошейников перечел все написанное. Очерк выглядел недурно, однако художественных подробностей было еще маловато.

И он погрузился в творческое раздумье. Скоро наступит лето, засверкает солнышко, запоют птички, зашелестит мурава... Ах, природа, вечно юная природа... Лежишь в собственном гамаке на собственной даче...

Ошейников очнулся от грез.

«Эх, и мне бы дачку!» — подумал он, жмурясь.

Тут же из-под пера журналиста вылились новые вдохновенные строки:

«Из группы членов президиума выделяется умный, как бы освещенный весенним солнцем, работоспособный профиль руководителя дачного подотдела тов. Куликова, этого неукротимого деятеля, кующего нам летний, здоровый, культурный, бодрый, радостный, ликующий отдых. Невольно думается, что дачное дело — в верных руках».

Муки художественного творчества избороздили лоб Ошейникова глубокими морщинами.

В комнату вошла жена.

— Ты знаешь,— сказала она,— меня беспокоит наш Миша.

— А что такое?

— Да вот все неуды стал из школы приносить. Как бы его не оставили на второй год.

— Стоп, стон,— неожиданно сказал журналист.— Это очень ценная художественная деталь. Сейчас, сейчас.

И в очерке появился новый абзац.

«Там и сям мелькает в море голов выразительное лицо и внушающая невольное уважение фигура заведующего отделом народного образования тов. Калачевского. Как-то мысленно соединяешь его фигуру с морем детских личиков, так жадно тянущихся к культуре, к знанию, к свету, к чему-то новому».

— Вот ты сидишь по почам,— сказала жена,— трудишься, а этот бездельник Фиалкин получил бесплатную каюту на пароходе.

— Не может быть!

— Почему же не может быть? Мне сама Фиалкина говорила. На днях они уезжают. Замечательная прогулка. Туда — неделю, назад — неделю. Их, кажется, даже будут кормить на казенный счет.

— Вот собака! — сказал Ошейников, бледнея. — Когда это он успел? Ну, ладно, не мешай мне со своей чепухой.

Но рука уже сама выводила горячие, солнечные строки:

«А вот нет-нет да мелькнет из-за любимых всеми трудящимися спин руководителей области мужественный и глубоко симпатичный анфас начальника речного госпароходства Каюткина, показывающего неисчерпаемые образцы ударной, подлинно водничьей работы».

— Что-то у меня в последнее время поясицу поламывает,— продолжала жена.— Хорошо бы порошки достать, только нигде их сейчас нет.

— Поламывает?— встрепенулся очеркист.— А вот мы сейчас тебе пропишем твои порошки.

Ошейников вытер пот и, чувствуя прилив творческих сил, продолжал писать:

«В толпе зрителей мелькает знаменитое во всем городе пенсне нашего любимого заведующего здравотделом...»

Под утро очерк был готов. Там были упомянуты все — и директор театра, и администратор кино «Голиаф», и начальник милиции, и даже заведующий пожарным отделом («...чей полный отваги взгляд...»). Заведующего очеркист вставил на случай пожара.

— Будет лучше тушить,— сладострастно думал он,— энергичнее, чем у других.

В свое художественное произведение он не вписал только юбиляра.

— Как же без юбиляра?— удивилась жена.— Ведь сорок лет беспорочной деятельности в Ботаническом саду.

— А на черта мне юбиляр?— раздраженно сказал Ошейников.— На черта мне Ботанический сад! Вот если бы это был фруктовый сад, тогда другое дело!

И он посмотрел на жену спокойным, светлым, уничтожающим взглядом.

1937



ЧЕЛОВЕК И КУРОРТ

Человек — как забытый клад в степи: копнешь верхний слой, а за ним столько разных сокровищ и сокровенностей, что дух захватывает... Чего только нельзя найти в пошлом незамысловатом человеке?..

На себе я это испытал в прошлом году, когда какой-то незнакомый доктор, — да будет презренно имя его! — посмотрев на меня поверх широких очков, начал перечислять все те широкие возможности, которые таит мой организм. По его точному и беспристрастному подсчету оказалось, что передо мной блестящий выбор недорогих и обеспеченных путей для крематория: печень, почки, кишки, — словом, все то, что я мог скопить за долгую трудовую жизнь, все это вопиет или о крематории, или о курорте.

— А главное, — наставительно добавил доктор, — у вас неправильный обмен веществ. Знаете вы, что это такое?

Этого я не знал... Очевидно, что-то вроде шумного базара внутри, где почки обменивают на легкое, две толстые кишки на одну слепую, а грудобрюшную преграду стараются всучить за заднюю желудочную стенку. Чувствовать внутри себя все эти коммерческие и, наверное, не всегда честные операции довольно противно, и пришлось согласиться перевезти все это неправильно обменивающееся вещество на юг.

В первый же день моего приезда на курорт местный врач сердито сказал, что я должен что-то пить натошак большими порциями.

— Доктор, — вежливо ответил я, — если это коньяк, то только после завтрака. Мне этот метод лечения нравится.

Выясните только, позволяет ли мой организм закусывать лимоном в сахаре. На свой страх я боюсь это брать.

Оказалось хуже. Пришлось пить какую-то воду, которая напоминает своим вкусом детский заводной волчок, неосторожно проглоченный рассеянным человеком: она царапала внутри, била в нос и вызывала смутную тягу к безвременной кончине.

— Доктор, — печально попросил я, — нельзя ли лучше смазывать меня чем-нибудь снаружи, чем заставлять пить эту самую воду? Мне кажется, что от этого водопоя мои вещества начали меняться с ужасающей быстротой...

Доктор выслушал меня с таким видом, как будто я ему рассказывал не о себе, а о покойном управдоме.

— Теперь вы будете купаться.

— Спасибо; конечно, это не выход из положения, но все-таки это не внутреннее.

— Четыре раза в день. Семь минут в пять утра, одиннадцать минут в семь утра, пятнадцать в четыре и десять в шесть. Поняли?

— Боюсь, что спутаю, доктор. Придется брать с собой в воду большие стенные часы.

— Будьте серьезны. Помните, что у вас неправильный обмен веществ.

— Помню. Еще как помню! Даже в блокнот записал, чтобы не забыть.

Я начал купаться. В то время как другие спали, как молодые телята в июле, я уже лез в холодную воду, с отчаянием следя, когда пройдут назначенные семь минут. Позже, не допив кофе, я уже лез в море с настойчивостью престарелого тюленя. Я возненавидел воду до мигрени. Толстый взрослый человек, у которого немало жизненных забот и неприятностей, барахтающийся в зеленом купальном костюме около берега под назойливые насмешки прибрежных мальчишек, — печальное, незабываемое зрелище...

— Доктор, — взмолился я, — я уже весь сырой, как подвальная квартира. Я насквозь просолен: меня, наверное, можно подавать в качестве закуски в пивной... Выньте меня, пожалуйста, из воды — не могу...

Доктор вынул меня, но тут же спохватился и отдал распоряжение:

— А теперь гулять... Гулять, гулять...

— Пешком? — с ужасом в глазах переспросил я. — Долго?

— А вы как думали?

— Думал, только до вокзала. А там на поезд и обратно в Москву.

— Помните, что...

— Знаю, помню: обмен веществ. Неправильный. Куда прикажете лезть: на гору, в гору, в долину, в песок, в болото? Говорите, доктор,— я все вытерплю. Пользуйтесь!

Две недели я вел себя, как сумасшедший козел. Я скачивался с каких-то гор на острые камни и отдыхающих курортников. С «Известиями» в руках я прыгал на выступы, мучительно стараясь походить на серну. Я влезал куда-то наверх в тридцатиградусную жару, оглашая стонами и нехорошими словами мирные окрестности, наполненные комарами и молодыми людьми.

— Доктор,— в изнеможении заявил я через две недели,— во мне уже нет ничего человеческого. Меня примет любой зоопарк или, в худшем случае, лучший ботанический сад: я черный извне, соленый изнутри, я могу прыгать с кустов на деревья, я могу скатываться, как скала...

— А как обмен веществ? — полюбопытствовал он с видом человека, рассматривающего перекрашенные брюки.

— Вам виднее, доктор, но мне кажется, что обмен, быть может, и есть, и, может быть, даже исключительно правильный, но самих веществ уже нет... От такой жизни и из слона все вещества выйдут, а я только скромный беспомощный литератор... Доктор, пустите меня в Москву, у меня жена, дочь, книги... Я буду бегать там по издательствам, сидеть по семи минут в соленом растворе и глотать какую угодно опасную жидкость, вплоть до нефти, только пустите...

Через два дня я сидел в поезде. Железная дорога — удивительно целебное средство, медицина этого случайно еще не заметила. Я ел на каждой станции, спал на верхней полке, читал еженедельники и чувствовал, как поправляюсь на каждом полустанке.

В Москве, добравшись до своей комнаты, я заперся на полторы недели и лежал, как удав на солнце. Два примуса, выбиваясь из сил с утра, жарили для меня большие куски черного мяса. Медленно, но верно я поправлялся.

— На вас прекрасно подействовал курорт! — с завистью говорили мне.

— Курорт? — бледнея, переспрашивал я. — О да, курортная жизнь изумительна... Но только переменим тему разговора: мне еще опасно волноваться...

1928



НЕОСТОРОЖНЫЙ БИМБАЕВ

Трудно даже было представить, что в таком маленьком рыжем человечке, с непростительной щедростью осыпанным веснушками, могло накопиться столько капитальных знаний. И Бимбаев орудовал ими, как орудует кайлом терпеливый и деловой рудокоп, пробивая мощные пласты твердых пород.

Его с большой опаской звали в гости, потому что при появлении на столе простого кахетинского вина Бимбаев говорил мягко и вскользь:

— Лучшее вино производится на склонах Арагон, в городке Тумбезе. В тысяча восемьсот девяносто четвертом году местный виноградарь Курсо дал образцы, не уступающие малаге. Умер Курсо бездетным.

И все понимали, что человека такой высокой культуры надо угощать только портвейном не дешевле шестнадцати рублей за бутылку.

На службе Бимбаев ограждал себя знаниями, как частоколом, от всех попыток заставить его работать.

— Славяне не умеют работать, — снисходительно говорил он, отодвигая от себя грудку срочных бумаг. — Труд, рассчитанный на неподвижность и искривление позвоночника, уже осужден в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году голландским физиологом ван Браменом. Возьмите австрийских фермеров. Легкий завтрак, белая одежда, винтовка Манлихера образца тысяча восемьсот девяносто второго года и вечерний воздух — вот что закаляет человека и делает его восприимчивым. Он быстро загорает, и память его может удерживать целые главы из Библии. Это метко определил профессор Висбур в книжке «Верхом за зебрами».

После этого Бимбаев уходил в красный уголок играть в шахматы, а сослуживцы сконфуженно чувствовали себя славянами и распределяли между собой срочные бумаги с бимбаевского стола.

Он возвращался отдохнувший и, избегая вопросов, почему у него обеденный перерыв затянулся до конца работы, говорил авторитетно и с некоторой грустью, складывая чистую бумагу в портфель:

— Лето в полном разгаре. Самое жаркое лето бывает во Флориде. Там даже собаки умирают от солнечного удара на руках у своих хозяев. Последняя собака, умершая таким способом, была Топси, принадлежавшая в тысяча восемьсот восемьдесят шестом — тысяча восемьсот восемьдесят девятом годах королю клея Дранку. Впоследствии Дранк торговал козьими шкурами и покровительствовал речной гребле. Портреты его были помещены в иллюстрированных изданиях.

После этого он облегченно вздыхал, освободившись от некоторой доли мучившего его научного груза, и уходил со службы первым.

Но особенно подавлял своими знаниями Бимбаев в тех случаях, когда внезапно начинал носить полотняные воротнички, лихорадочно бриться и водить в кино на дешевые места какое-нибудь неопытное существо в сиреневой блузке. Таких существ у Бимбаева было много. В тридцать семь лет человек уже имеет право настоятельно тянуться к личному счастью. Бимбаев просто еще не знал, на каком идеале женщины ему остановиться. Должна ли это быть голубоглазая Гретхен с двумя иностранными языками и папой-спецом на всякий случай или порывистая и пылкая Кармен, уже переехавшая в собственную квартиру в новый дом. Он еще был на распутье. Но к каждой он подходил одинаково, подавляя ее бурлящими в нем знаниями.

— Нет, Катя, — грустно шептал он в кино, ерзая на покатам стуле. — Это не жизнь. Я не люблю Юг на экране. Температура меня не радует. Я люблю северные широты. Возьмите Норвегию. Льды. Прессовка льдов была впервые введена в половине прошлого столетия. Шведские предприниматели первые поняли это и рассылали прессованный лед в Данию, где им пользовались для сохранения молока.

— Неужели молока? — ласково и встревоженно спрашивала Катя, уже начинавшая гордиться своим собеседником.

— Именно молока, Катя, как это ни странно, — задумчиво подтверждал Бимбаев, подсаживаясь ближе. — Молоко пьют везде. Только на Цейлоне¹ после массовых отравлений молоком в тысяча восемьсот семьдесят третьем году его заменили в законодательном порядке соком кокосовых орехов. Кокосовые орехи есть и на острове Борнео², где они составляют тридцать девять процентов экспорта. А может быть, и больше.

— Безусловно, больше, — соглашалась Катя и тактично отвечала на легкое бимбаевское пожатие.

В дальнейшем, если научный подход и не давал особенно осязательных результатов, все равно Катя и другие Кати — звали ли их Сонями или Валями — уже скептически смотрели на других собеседников.

— Это вам не Бимбаев... Ну, обидели человека веснушками, ну, допустим, что он на данном отрезке времени рыжий и маленький, но зато какие слова... Посидишь с ним — и точно вечернюю газету прочитаешь...

Так шли дни и дела Бимбаева. И росла его популярность среди друзей и знакомых. И, как всегда бывало в истории с загадочными счастливыми, карьеру его разбила женщина.

Звали ее Наталия Петровна. Кроме этого лаской звучащего имени, были у нее серые глаза, грудной голос и умение терпеливо и внимательно слушать. Неизвестно в силу какого из этих качеств, но Бимбаев так неожиданно и с такой экспрессией влюбился в Наталию Петровну, что мог около нее только молчать и потеть от волнения. Для того чтобы быть любимым, этого, конечно, мало. И Бимбаев долго готовился к той решительной минуте, когда он сможет раскрыть перед Наталией Петровой все глубины своего культурного багажа и заставить ее почувствовать обычное в этих случаях смутное восхищение.

И счастливая минута настала. Вернее, это была даже не скромная минута, а солидные два часа, в течение которых они сидели на бульварной скамейке, молчали и не без некоторой лирики прислушивались к далеким паровозным гудкам и протяжной ругани пьяных за оградой поблизости.

Привычным движением Бимбаев взял Наталию Петровну за руку и подтянул к себе. Не менее привычным движением она положила к нему на плечо голову, используя этот старый классический прием.

— Вот мы сидим, Наташа,— оптимистически начал Бимбаев, успокоенный податливостью любимой девушки,— и сидим. Мы, так сказать, неподвижны. А как развивается движение! Волосы становятся дыбом! Экспресс между Чикаго и Вашингтоном проходит восемьдесят километров в час!

— Сто девяносто,— ласково уронила Наталия Петровна.— Иногда даже больше.

Бимбаев несколько настороженно, но, чувствуя щеко-чущие ухо волосы Наташи, взволнованно добавил:

— Юг! Какое слово! Всех оно тянет к себе. Как цветок мимоза. Путешественник Ливингстон в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году двинулся на юг Африки и прошел пешком от Замбези до Луанды. Подумайте, Наташа, вот мы сидим здесь, а на африканском юге уже открыто озеро Моето и Бадвелло.

Наташа осторожно подняла голову, поправила волосы и суховато заметила:

— Теперь там уже автобусное движение. Два отеля для путешественников.

Бимбаев испуганно посмотрел на собеседницу и робко произнес:

— Я люблю путешествовать. Особенно, если есть время, на океанских пароходах. Океанский пароход, делающий рейсы между Гамбургом и Нью-Йорком, вмещает тысячу сто пассажиров, располагает одиннадцатью буфетами, залами для карт и кегельбаном.

— Три тысячи пассажиров,— холодно сказала Наталия Петровна, резко отодвинувшись,— площадка для тенниса и для футбола, а также собственный театр и газета. Пойдемте домой, Бимбаев.

— Посидим еще,— с жалобной тревогой промямлил Бимбаев,— здесь так хорошо. Зелень. Звезды. А сколько их! Еще недавно живущий во Франции французский астролог Фламарийон...

— Умер,— уже почти враждебно перебила его Наталия Петровна и поднялась,— похоронили в Париже. Последние открытия в области астрономии принадлежат американским ученым. Вам куда? Мне налево.

— Разрешите, я провожу вас...

Дорогой Бимбаев убито молчал. Наконец он не выдержал и тонким голосом спросил:

— Наталия Петровна... Я человек не молодой, у меня

веснушки и вообще все рыжее, но я хочу любви и ласки... Что мне делать?

Она тоже немного помолчала и ответила:

— Переходите с энциклопедического словаря «Брокгауза и Эфрона» издания тысяча восемьсот девяносто девятого года на «Большую советскую». Это помогает. Кстати, я работаю корректором в типографии, где она печатается. Хотите, могу достать несколько томов?

Бимбаев снял шляпу, поклонился и ушел. С этого вечера его слава как посетителя тайн науки и знания померкла.

1934



КАК Я ПИСАЛ ДЛЯ ЭСТРАДЫ

Обычно, когда какого-нибудь автора просят написать что-нибудь для эстрады, его извиняющимся голосом предупреждают:

— Только уж как-нибудь без этого... без литературщины... Без этих, знаете, тонкостей... Сами понимаете: эстрада...

Последняя фраза обыкновенно произносится с тем скорбным выражением, с каким шофер перевернувшегося такси, вылезая из-под машины, объясняет подбежавшим пешеходам:

— Сами понимаете: мостовая.

Поэтому у меня к эстрадным заказам всегда немного тревожное отношение. Несколько раз я пытался самостоятельно засесть за эстрадный репертуар и хорошо помню, какое гнетущее впечатление это производило на окружающих. Даже скромная и почтительная домашняя работница глухо ворчала перед невидимым для меня собеседником:

— Тише, черт... Не бубни... Хозяин острить сел. С жиру бесится... Лучше уж запил бы — всем спокойнее было бы...

Но однажды все же я засел писать по специальному заказу. Нужно было одному приятелю-эстраднику дать две

веселые сценки для чтения. Я написал ему легкий разговор на свежие литературные новости и игривый диалог на иностранные темы. По-моему, я написал очень хорошо. К сожалению, это было чисто личное впечатление. Утром оно в значительной степени изгладилось, когда я принес приятелю обе вещицы.

— Послушай,— грустно сказал он, прочтя их и окинув меня сожалеюще-безнадежным взглядом,— это же «Война и мир».

— Мне кажется,— тихо возразил я,— это значительно короче и с несколько другим уклоном.

— Ну, «Обрыв»,— уступил он и с чисто дружеской любезностью добавил:— Ну, «Отцы и дети», если хочешь, не говоря уже о «Портрете Дориана Грея»...³

— Что же тебе здесь не нравится?— несколько обиженно спросил я.

— Все,— деловито подтвердил он,— начиная от той строки, которую принято считать первой, и кончая той, которую мы условились считать последней... Ты знаешь,— вдохновенно говорил он, смотря на мою рукопись, как намышь, попавшую за рукав,— если бы я стал читать эту вещь, в публике началось бы редкое и любопытное соревнование: какой из рядов окажется наиболее сноупорным.

— Разве так нелитературно?

— Чудовищно литературно. Это похоже на труд молодого профессора по семинарию Достоевского. Исправь. Проще, ударнее, примитивнее.

Меня самого это заинтересовало. Я ушел домой и стал выправлять. Все мое остроумие я направил применительно к психологии стандартного конференсье, еще не прошедшего через комиссию по ликвидации неграмотности. Герои моих сценок острили так, что их выкинули бы из буфета небольшого вокзала подъездной железной дороги. Если бы я напечатал несколько таких вещей в журналах, мне бы пришлось через некоторое время переменить свою профессию литератора на не менее почетную, но в другом стиле, профессию смазчика вагонов.

На другое утро я снова был у приятеля.

— Это уже лучше,— одобрительно сказал он, пробежав рукопись,— это уже на что-то похоже. Такую вещь смело можно было бы прочесть на торжественном выпускном акте любого епархиального училища прошлого столетия. Исправь. Нужно попроще, примитивнее, понятнее... Помни — это эстрада.

— Ну, знаешь, — возмутился я, — больше уж я не могу... Нельзя же так, например, острить: «Умеете ли вы говорить по-французски? Нет? Ну, тогда дайте мне займы три рубля».

— Как ты сказал? — удивился он, быстро доставая бумагу и карандаш. — А ну-ка, повтори...

— Я говорю, — уже возмущенно кричал я, — что нельзя писать таких острот... Ты еще выйди на эстраду и заяви: «А я, знаете, лучше всякого авиатора — без пропеллера могу со службы вылетать...»

— погоди, погоди... Как, как? — И рука его быстро бегала по бумаге.

Возмущенный его тупостью и чувствуя себя оскорбленным как автор, я осыпал его теми седобородыми остротами примитивного характера, за которые не подадут руки даже и в самых захолустных городах.

Он блаженно улыбался и записывал...

— Надеюсь, что ты все-таки придешь на мое выступление завтра, — уже заискивающе попросил он, когда я взялся за шляпу.

В глазах его я заметил какое-то странное выражение почтительности и удивления.

— Хорошо, — проворчал я, — зайду.

Я действительно пошел. Мой приятель выступал четвертым номером. Он вышел, напудренный и эффектный. Зал замер выжидаяще.

— Встречаются, — начал он, — два гражданина. Один из них спрашивает: «Говорите ли вы по-французски?» — «Нет», — отвечает другой. «Ну и великолепно, тогда дайте мне три рубля займы...»

В зрительном зале наступила тяжелая пауза. Кто-то порывисто крикнул и зашелестел газетой.

— А вот, — уже более робко продолжал приятель, — встречаются два человека. Один грек говорит другому греку: «А как вылетишь без аэроплана?» А другой грек говорит...

Вторая пауза оказалась еще более тяжелой. Зрители стали конфузливо переглядываться. Я осторожно вышел. Через полчаса я встретил приятеля около вешалки. Он сердито надевал калоши. Увидев меня, он развел руками и обиженно сказал:

— Не приняли. Не понимаю, что случилось с публикой.

— Поумнела, — сочувственно вздохнул я, — ничего не поделаешь. Не тебе одному трудно.

Он растерянно посмотрел по сторонам, махнул рукой и ушел.

С этих пор я никогда не пишу для приятелей эстрадного репертуара.

1934



ЭПОХА И СТИЛЬ

Каждой эпохе соответствует свой стиль.

Из шестерых, собравшихся в комнате у режиссера Емзина, эта истина еще не дошла лишь до Жени Минтусова, расстроенного всем вообще и отсутствием у хозяина папирос и пива в частности.

— Нет, вы только посмотрите, — волновался он, разыскивая окурки в пепельнице, — разве это язык? А? Как пишут наши писатели! Как пишут наши поэты! Разве это язык? А? Где же он, где, вы скажите, наш настоящий, добрый, старый, могучий русский язык? А?

Последнюю фразу он произнес с таким надрывом, как будто бы у него только что вытащили добрый (старый, могучий и т. д.) русский язык из кармана и он требует немедленного составления протокола тут же, на месте.

Молча возившийся до сих пор с засоренной трубкой актер Плеонтов дунул в это непослушное орудие наслаждения и тихо сказал:

— Ты дурак, Женя. Средний, нередко встречающийся в нашей области тип дурака. Пробовал ли ты хоть раз разговаривать с окружающими на языке другой эпохи?

— Подумаешь, — легкомысленно отпарировал Минтусов, выловив малодержанный окурочек.

— Не думай, Женя. Не затрудняй себя непосильной работой, несвойственной твоему организму, — ласково произнес Плеонтов. — Для тебя, как для существа малоразвитого, наглядные впечатления значительно полезнее, чем головные выводы. Хочешь, я тебе опытным путем покажу, что такое язык, несозвучный эпохе?

— Покажи,— упрямо принял вызов Минтусов.
— Охотно. Это свитер твой?
— С голубыми полосками, который на мне?
— Именно с полосками и именно на тебе. Ставишь его против моей настольной лампы, которая тебе так нравится, если я тебе докажу, что в понимании стиля ты отстал, как престарелая извозчицья лошадь от электрического пылесоса? Идет? Емзин, разними руки.

Когда Плеонтов и Минтусов вошли в трамвай, Женя вытянул из кармана двугривенный и протянул его кондуктору.

— Это семнадцатый номер? За двоих.

Плеонтов быстро схватил его за руку и вынул из нее двугривенный.

— Женечка,— укоризненно зашептал он на ухо Минтусову,— прямо не узнаю тебя... Разговаривать с кондуктором трамвая, да еще семнадцатого номера, на таком сухом, прозаическом, ничего не говорящем языке!.. Ты ведешь себя, как частник на именинах... Где же настоящий, сочный, полнозвучный язык нашей древней матушки-Москвы, язык степенных бояр и добрых молодцев, белолицых красавиц, которые...

— погоди, что ты хочешь делать?— встревоженно посмотрел на него Минтусов.

— А ничего особенного,— небрежно кинул Плеонтов и, низко поклонившись в пояс изумленному кондуктору, заговорил мягким, проникновенным голосом:

— Ах ты гой еси добрый молодец, ты кондуктор-свет, чернобровый мой, ты возьми, орел, наш двугривенный в свои рученьки во могучие, оторви ты нам по билету, поклонюсь тебе в крепки ноженьки, лобызну тебя в очи ясные...

— Пьяным ездить не разрешается,— неожиданно и сухо оборвал его кондуктор и дернул за ремень, вызвав этим явное сочувствие пассажиров.— Попрошу слазить.

— Я не пил, орел, зелена вина, я не капал в рот брагой пенистой,— заливался Плеонтов, ухватив за рукав бросившегося к выходу Минтусова.— Ты за что, почто угоняешь нас, ты, кондуктор наш, родный батюшка?..

Выпрыгнули Плеонтов и Минтусов, не дожидаясь остановки и не без помощи разъяренного кондуктора и двух пассажиров.



На углу сидел молодой чистильщик сапог и думал о том, что если ему удастся купить двухрядную гармошку, жизнь сделается значительно полновочнее и красивее. Два хорошо одетых человека подошли к нему. Один из них, оглядываясь на другого, неохотно поставил ногу на деревянную скамеечку, а тот, с приятной улыбкой на добром лице и слегка изогнув талию, начал мечтательно и внятно:

— Отрок, судьбой обреченный на игрище с щеткой сапожной! В нежные пальцы свои взяв гуталин благовонный, бархатной тряпкой пройдишь ты по носку гражданина, ярко сверкающий глянец, подобный прекрасному солнцу, ты наведешь и, погладив его осторожно, ты...

— Оставь,— хмуро проворчал Минтусов, снимая ногу.

Чистильщик осторожно поднялся с земли, сунул желтую мазь в карман и тоном, не предназначенным для дискуссий, сурово объявил:

— С таких деньги вперед полагаются. Клади или чисть сам.

— А ведь какой прекрасный гекзаметр, какие стихи! — искоса посмотрев на Минтусова, произнес Плеонтов. — Пойдем. Разве это не стиль? Ведь на таком языке древние римляне мир завоевали. Осторожнее — споткнешься...



— Оставь, пожалуйста, эти шутки,— сердито сказал Минтусов, когда они вошли в кафе.— Ты бы еще язык древних египтян выкопал и на нем ветчину покупать стал...

— Значит, ты находишь,— внимательно выслушал его Плеонтов,— что более современный стиль, ну, допустим, фривольный язык Франции шестидесятых годов, более доходчив в нашу кипучую эпоху?

— Ничего я не нахожу. Я хочу выпить чашку кофе. Оставь меня в покое.

— А это мы сейчас сделаем.

Плеонтов поманил пальцем — и около стола выросла курносая девица в передничке и с мелкими завитушками.

— Вам что, гражданин?

— Пташка,— заискивающе начал Плеонтов,— забудьте на время того Жана, который щекочет вашу шейку

непокорными усиками, забудьте последний вздох его в садовой беседке и...

— Меня никто не щекочет по беседкам! — вспыхнула курносая девица. — А если вы, гражданин, нахал, так и в милицию можно...

— Рассерженный зайчик! — в восхищении вскрикнул Плеонтов, взмахнув руками. — Какие розы заалели на ее щечках, соперничая с лепестками азалий! Кто сорвет поцелуй с этих алых губок, кого...

Милиционер оказался поблизости. Он терпеливо выслушал девицу с завитушками и спросил:

— На что жалуетесь?

— Нахальничают словами, — бойко ответила девица.

— Руками не лапали? — деловито осведомился милиционер.

— Руками не лапали, — так же бойко подтвердила девица.

— Как было? — повернулся милиционер к Минтусову.

— Видите ли, — робко начал тот, — сидели мы у стола, а вот этот, — он с ненавистью взглянул на Плеонтова, — говорит ей...

— Оставь, Минтусов, — мягко перебил его Плеонтов. — Каким языком ты объясняешься!.. Какая сухая проза!.. А где у тебя сочный, подлинный язык девяностых годов, на котором писали лучшие представители родной литературы?.. Эх, Минтусов!.. — И, положив руку на плечо милиционера, Плеонтов заговорил, устремив проникновенный взгляд на последний этаж строящегося дома: — Было так. Голубая даль пропадала там, где грани света боролись с наступающими сумерками. Тихая, подошла она к нашему столу. Тихая, и казалось, что не она подошла к столу, а стол...

— Платите, гражданин, три рубля, — вздохнув, сказал милиционер, снимая с плеча плеонтовскую руку.

— Мы же не прыгали с трамвая! — горько вмешался Минтусов.

— Такие и не прыгая нахальничают, — вступилась довольная девица. — Платите...



Когда пришли домой и разделись, Плеонтов закурил папиросу и осторожно спросил:

— Ну, какого ты мнения, Минтусов, относительно стиля? Соответствует ли каждой эпохе ее стиль, или...

Минтусов снял пиджак и, быстро сдернув через голову свитер с голубыми полосками, протянул его Плеонтову:

— На! Давись!..

1934



СЛУЧАЙ В «ТЕАТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Кстати, о формализме в театральном искусстве...

Молодой режиссер Сенокосов ставил в провинциальном «Театре возможностей» новую пьесу.

Пьеса была обычная, из расчета на сорок два действующих лица — одиннадцать положительных, а остальные ходили бодрой полуротой по сцене и произносили вслух цитаты или валялись по полу под надрывавшийся за кулисами баян. Два специальных чревоушастых лакали за сценой собакой, изображая степное безлюдье, а стажировавшийся помощник режиссера в тех же целях и в специальном гриме имитировал в фойе волчью стаю.

Особых затруднений с постановкой не предвиделось, так как «Театр возможностей» был оборудован и приспособлен для самых разнообразных изысков в сценическом искусстве. Сцена была на галерке. Зрители сидели разбросанные по всему помещению, откинувшись назад, как в зубоврачебных креслах, чтобы увидеть изредка мелькавшие то там, то здесь ступни и икры героев и второстепенных персонажей. Чтобы не рассеивать общего впечатления, билетеры ходили босиком, а вместо традиционного гонга начало и конец действия возвещал специально законтрактованный вместе с бубном безработный шаман.

Особых затруднений с постановкой...

Впрочем, мы об этом уже говорили. Затруднение произошло, и совершенно неожиданно.

Героиня пьесы Аглая по ходу действия должна была отвергать любовь некоего Никодима. Авторская ремарка говорила об этом скромно и конкретно: «Отталкивает».

По замыслу режиссера Сенокосова сцена отталкивания имела реалистический и актуальный характер. Аглая упиралась Никодиму в живот, скрипки подхватывали ее жест буйным аккордом. Никодим делал в воздухе двойное сальто и падал около ошеломленных зрителей в проходе. Шаман ударял в бубен, босые капельдинеры зажигали свет, и на этой эффектной точке кончался акт.

На одной из репетиций скрипки взяли аккорд несвоевременно, Аглая уперлась в Никодима не с той стороны и сломала ему ногу. Никодима, ныне просто А. П. Репкина, перенесли в оркестр, где он и остался на истекающий сезон в качестве солиста на треугольнике.

Роль освободилась. Надо было искать заместителя. Воспользовавшись этой заминкой, автор успел переделать положительного Никодима в отрицательного Никиту, лишил его слов и сделал рыжим для усиления комического элемента в пьесе.

Через два дня помощник режиссера таинственно прошептал на репетиции режиссеру Сенокосову:

— Нашел. За вторую собаку лаять буду я, а исполнитель собаки может сыграть Никиту. Вот он.

Перед Сенокосовым с радостной улыбкой на краснощеком лице стоял молодой человек, буйно горевший пламенем искусства.

— Вы?

— Я,— упоенно ответил молодой человек.— Давно добивался поиграть. Очень хочется.

— Старо,— строго остановил его Сенокосов.— Сцена — это прошлое. Оно рухнуло. Актер должен быть вне сцены. Он в публике. Он наверху и под. Понятно?

— Хорошо,— быстро согласился молодой человек,— я буду вне. Если надо и под. Пожалуйста.

— Можете стоять на одной руке?

— Не больше двадцати минут. Потом устану.

— На шесте раскачиваетесь?

— Извиняюсь, как кошка.

— Приступим. Ваш первый выход — с дерева. Во втором акте вы, как отрицательное явление, сидите на дереве и игнорируете жизнь. Потом вы замечаете любимую женщину и начинаете ползти по канату. Дальше под флейту вы прыгаете через своего соперника и стараетесь оскорбить его ухом... Понятно?

— Почти,— несколько неуверенно ответил молодой человек и почему-то вздохнул.— Моя фамилия Пифоев. Начнем.

Уже после первых трех репетиций Сенокосов деловито сказал директору:

— Прибавьте ему жалованья. Клад.

Пифоев проделывал все, на что только даже отдаленно намекал режиссер Сенокосов. На любую лестницу он поднимался только на руках. В сцене с Аглаей он, не дожидаясь ее толчка, проделывал в воздухе тройное сальто и уходил со сцены на голове, подкидывая ногой шляпу. Даже в сцене похорон дяди Пифоев ходил колесом, придерживая в зубах, как символ мещанского счастья, поднос с недорогим сервизом.

Единственно, что огорчало Сенокосова, это скорбное выражение на лице Пифоева, которое становилось все рельефнее и рельефнее с каждой репетицией.

— Смотрите веселее,— бодро говорил ему Сенокосов,— в вашем лице «Театр возможностей» приобрел настоящего актера. Зачем эта традиционная ходьба по сцене и говорение слов. Старо! Отжило! Человек в реальной жизни говорит слова, но хочет стоять на голове. Он ложится спать, но мечтает о том, чтобы сделать двойное сальто на глазах у общественности. Человек пьет лимонад, но мысленно ходит колесом. На сцене надо обнажать внутренние позывы человека. Канат, плюс музыкальное оформление, минус сцена — вот подлинное искусство, и «Театр возможностей» умело подметил это. Работайте, Пифоев. Из вас выйдет блестящий актер. На премьере старайтесь ходить на голове около самых зрителей. Зритель должен уйти из театра взволнованный.

Пифоев мрачно кивал головой в знак согласия и худел на глазах у действующих лиц и босых капельдинеров.

На последних репетициях он играл свою роль так вяло и с таким безнадежным видом, что Сенокосов даже прикрикнул:

— Не имитируйте утопленника! Веселее!

— Не могу я,— страдальчески уронил Пифоев,— не лезет.

— Как?

— А, да что говорить,— безнадежно махнул он рукой и безучастно встал на голову, изображая уход от действительности.

На спектакль Пифоев не пришел.

После поломки ноги бывшего Никодима это был первый серьезный удар по премьере.

— Приведите мне этого человека живым или мертвым, — метался Сенокосов, — я не дам без него второго звонка. Без него зритель не уйдет взволнованный!

Пифоева нигде не было. Зрители ели в буфете сухое печенье и стучали ногами. Наскоро надев ботинки, билетеры бегали по всему городу за Пифоевым.

В половине одиннадцатого один из них подал Сенокосову коричневый конвертик с запиской, на которой незнакомым размашистым почерком было бегло написано синим карандашом:

«Я в цирке. Вернулся на прежнюю работу. Уже за-
гримирован. Сейчас мой выход. Здесь — тоже без слов,
тоже на голове и тоже под скрипку, но только пред-
ставление раньше кончается и можно поспеть на трамвай.
Прощайте. *Пифоев*».

Сенокосов быстро изорвал записку и пугливо осмотрелся по сторонам.

— Никто не читал записки? — шепотом спросил он у билетера.

— Никто, товарищ Сенокосов.

— Так... Ваша фамилия Пигусов? На руках стоять можете? Да? А с декорации прыгать можете? Да? Идите, гримируйтесь. Только бородку какую-нибудь для настроения нацепите...

Премьера в «Театре возможностей» была спасена.
1935



НЮАНСЫ И ОТЗВУКИ

— Искусство не любит торопливости, — директивно сказал режиссер Казбеков, возвращаясь после трехмесячной творческой командировки на подмосковной даче. — Возьмите хотя бы античную древность. Сколько времени

ставили пьесу ассиро-вавилоняне? А финикияне? Типичный финикийский фарс ставился не меньше века. Зато какой успех у публики! Никаких скороспелок!

И спокойно приступил к творческой работе. Театр уже полтора года репетировал чеховскую «Свадьбу».

Первые два месяца «Свадьбу» читали актерам в интимной обстановке театрального фойе. Сначала читали полным голосом, потом зловещим шепотом, чтобы актеры почувствовали веяние чеховской эпохи. В последний раз ее целиком пропел труппе специально приглашенный гуслир под аккомпанемент гуслей, пастушьих дудок и двух пар кастаньет.

— Теперь пора вскрыть текст, — заявил режиссер Казбеков. — Перейдем к нюансам и отзвукам.

Исполнителя роли телеграфиста Ятя начали приучать к работе на аппарате Морзе. Та артистка, которой доверили играть акушерку Змеюкину, обязалась присутствовать на четырех преждевременных родах, чтобы усвоить в голосе профессиональный тембр. Репетиции временно приостановили.

Несколько сложнее было с образом Харлампия Спиридоновича Дымбы, грека-кондитера.

— Вас надо пропитать Древней Элладой, — сурово сказал актеру, игравшему Дымбу, Казбеков. — Вы должны почувствовать Афины. В вас должен проступать Балканский полуостров. Помните, что вы

а) кондитер и, главное,

б) грек.

Специально приглашенный профессор-эллинист прочитал труппе цикл лекций о состоянии кондитерского ремесла на заре европейской истории. Труппа записывала мелким почерком года, выражения и наименования лакомых блюд, существовавших до нашей эры на юге Европы. В порядке творческой помощи Дымбе три декады все разговаривали между собой с греческим акцентом.

Незаметно проходил год.

— Скоро приступим к выявлению характера спектакля, — предупредил Казбеков, — у меня в памятке три плана постановки: или в порядке феерии, с введением балета и бенгальского огня; или бытовой, с перенесением его на отмели Камы; или в древнетатарском стиле, с выездом на неоседланных лошадях. Я полагаю, что через год спектакль вчерне может быть готов. Я не люблю скороспелок.

А в театре шел пока что единственный спектакль «Буржуйка» — пьеса в 8 действиях, с выстрелами и гармошкой, постановки 1919 года. В зрительном зале сидели отдаленные родственники билетеров, приезжие, оставшиеся без номеров, и незанятая часть труппы. Сидели и жмурились от едкого дыма, густо валившего из черных труб, проведенных к печке-буржуйке на сцене: реализм!

— Сегодня недурной сбор, — с тоскливым урчаньем в голосе говорил главный администратор. — Всего минус четыреста восемьдесят. Вчера было хуже: минус девятьсот тридцать. Хоть бы одну новую пьесу!..

— В будущем сезоне, — успокаивал его Казбеков, — уже намечен к постановке Фукидид. Древний автор. С морем, превращениями героев в статуи и обратно, с провалами в люк и струнной музыкой. Летом поеду осваивать отливы и приливы на Средиземное море. А также дышать древностью. Я не люблю скороспелок.

После 1073-го спектакля «Буржуйка», когда в зрительном зале оказался один оставшийся со вчерашнего дня посетитель, а в холодной кассе ела простоквашу и беззвучно плакала кассирша, труппа потребовала новой пьесы. Труппа стучала ногами, цитировала вечерние и утренние газеты, рвала на себе крахмальное белье и наконец победила: Казбеков сдался.

— Подчиняюсь насилию, — глухо сказал он, — зовите авторов!

Авторы пришли с утра. Некоторые даже еще не пили чаю и на ходу грызли баранки. Один предлагал готовую комедию из жизни акцизных чиновников конца восьмидесятых годов с куплетами и разоблачительным текстом. Другой клялся переделать к концу месяца в злободневное обозрение послание от апостола Луки. Третий, высоко вздымая рукопись, убеждал помощника режиссера, что у него уже закончен первый акт пьесы из жизни поэта Баркова⁴. И, как это всегда бывает, неожиданно заявил четвертый:

— Могу предложить свою. Три акта. Восемь действующих лиц. Действие в одной комнате. Пропущено Главреперткомом.

Пьесу прочли труппе. Читал сам автор голосом, похожим на гуденье мелкой пилы на лесопильном заводе. Он путал страницы, залил рукопись водой из графина, грустно смотрел на Казбекова — и все-таки пьеса оказалась хорошей.

Автору долго пожимали руки, а он извинялся:

— Я как-то сгоряча... Не подумал, знаете, что и как...

— Будем ставить! — авторитетно сказал Казбеков. — К концу будущего сезона ваша пьеса будет усвоена. Я не люблю скороспелок.

Труппа глухо зарычала.

— Эгон Карпович! — взмолился премьер. — Да ведь восемь же действующих лиц же... Ведь всего же одна декорация... Эгон Карпович... Зачем же будущий год?

Казбеков презрительно улыбнулся и вышел.

Через полторы декады директор театра вполголоса разговаривал с труппой у себя в кабинете. Глаза у него были потухшие и к левой губе безнадежно приклеилась папираса.

— Уважаемый Эгон Карпович уже выработал схему будущего спектакля... Весной — цикл лекций по земляным работам: в пьесе домработница Степанида — дочь землекопа. К лету будем проходить массовое пребывание под дождем: по ходу пьесы во втором акте за сценой дождь. В третьем — лай собаки. Придется съездить в собачий питомник — освоить. Поедете вы, Семен Семенович, и вы, Глафира Андреевна. Вспомогательный состав останется на месте изучать городской автотранспорт: в первом акте герой говорит о шинах. Остальные до конца будущего сезона пока свободны...

Прилипшая папироска упала с директорской губы на ковер.

Труппа молча расходилась. Пора было уже гримироваться: в 1847-й раз шла «Буржуйка». Одиноким зритель ходил по фойе и тайком курил.

А Казбеков сидел у приятеля, кинорежиссера Шпинка, и обиженно говорил хозяину:

— В три месяца пьесу ставить! Видал ты что-нибудь подобное? Нет, господа, нет! Искусство и темпы — это несовместимо. Да-с!

И Шпинк сочувственно успокоил Казбекова:

— Я тоже не люблю скороспелок! Я и сам последний мой фильм делал два с половиной года!

1935



ОБИДА

В соседней комнате был накрыт стол. Из полуоткрытой двери погореловского кабинета была видна только часть стола с большим холодным гусем на блюде и пестрым винегретом в высокой хрустальной вазе.

Толстый инженер Бызин, грузно сидевший в английском кожаном кресле, воровато поглядывал одним глазом на гуся и мечтал о лапе, покрытой толстой кожей: он сегодня не обедал.

Поэт Вася, примостившийся около окна, рядом с Нюточкой, думал о том, как он пойдет провожать ее домой, и робко пытался прикоснуться щекой к ее волосам, пахнущим нежным и ласковым запахом скромных духов.

Остальные гости разместились на диване и по сторонам с той тихой и деликатной покорностью, с какой дожидаются в подъезде, пока пройдет дождь.

Погорелов вынул из стола прошитую черными нитками рукопись, сипловато откашлялся и, потерев бородку, заранее обиженно спросил:

— Может, не стоит читать, а?

— Читайте, читайте, — деревянным тоном ободрил толстый инженер.

— Читай, Аким Петрович, — грустно уронил тихий старичок с дивана, все время шевеливший губами. — Читайте.

Погорелов начал читать. Поэт Вася успел уже подобраться к Нюточкиной руке и убедиться, что у нее нежнейший мизинец в мире. Толстый инженер еще раз обежал холодного гуся алчным взглядом и успокоил себя, что ужин все-таки будет. Тихий старичок на диване закрыл глаза и активнее зажевал губами.

Погореловская повесть зареяла в воздухе.

«Свежевали барана, — гудел авторский несдержанный баритон. — Сначала выпустили кишки. Были они холодные, скользкие и пахли швейцарским сыром. И навстречу утреннему солнцу выглянули из распоротого живота остальные многоцветные бараньи внутренности».

Толстый инженер испуганно посмотрел на холодного гуся и пестрый виногра́т, и его слегка замутило. Он нервно ткнул дверь ногой и, когда она закрылась, подумал: «Кажется, ничего не ел, а тошнит... С чего бы это?..»

Погорелов перевернул страницу.

«Крепкая, как обгорелый кирпич, Авдотья приблизилась к Пятаку. В ней торжествовало женское. От нее пахло потом степных кобылиц, в волосах гордо гнездились репья и соломинки, а угреватая кожа на лице напоминала седло кочевника. Пальцы были в кизяке и торфе...»

Поэт Вася быстро отодвинулся от Нюточки, заметив, что у нее большие уши, ноздреватая кожа на шее, ему стало жалко себя, и домой он решил идти один.

«Строили дом,— читал через страницу Погорелов.— Сначала привезли доски. Доски были двухдюймовые и трехдюймовые. Потом привезли гвозди. Гвозди были короткие и длинные. Зычными шагами загуляли плотники. Некоторые были с пилами, некоторые — без пил. Некоторые пилили, а некоторые строга́ли. Утром они вставали, а вечером ложились спать...»

— Ваш ход,— бойким голосом сказал тихий старичок на диване, внезапно проснувшись, сконфуженно умолк, но потом деликатно спросил: — А он что?

— Кто что? — сердито посмотрел на него Погорелов. — Герой?

— Герой,— согласился старичок.

— Я, знаете, враг этих самых фабул и сюжетов,— сухо заметил Погорелов. — Надо брать жизнь как таковую. В дальнейшем герой крепнет, покупает гармошку, и на этом я обрываю первую часть. Во второй он, по моему замыслу, гонит смолу в основном.

Наступило скорбное молчание.

— Предлагаю поужинать,— горько и враждебно предложил хозяин.

Гости робко поднимались с мест.

Толстый инженер вспомнил о цветных бараньих внутренностях и вздохнул.

— А не хочется, Аким Петрович. Спать надо с легким желудком.

— А вы, Нюточка? Вася вас проводит потом...

Поэт Вася вспомнил об Авдотье, которая пахла степными кобылицами; уныло констатировал, что Нюточка тоже женщина, виновато посмотрел на нее и уклончиво сказал:

— Не по пути нам, Аким Петрович... До трамвая, конечно, другое дело...

Тихий старичок посмотрел на развернутую рукопись и подумал: «А вдруг после ужина еще дочитывать будет?.. Может, у него эту самую гармошку на тридцати страницах покупают...» — и быстро засеменял к выходу.

Когда гости разошлись, Погорелов разделся и подошел к этажерке, на которой лежал только что полученный толстый журнал. Он кисло перелистал неразрезанные страницы, зевнул, бросил журнал на кучу газет, пылившихся в углу, и, влезая под одеяло, прошептал обиженно, сердито:

— Тоска... И зачем только печатают всю эту муру? Даже почитать нечего...

1936



ИВАН СТЕПАНЧ

Ежевечерне в толпе, штурмующей ворота, можно было видеть неизвестного человека, прижатого спиной к желтому плакату, изображавшему роскошных атлетов в перчатках, похожих на головы монсов.

Четыре гигантских экрана обслуживали северный, южный, восточный и западный секторы города. Через каждые пять минут они сообщали имена победителей и результаты фантастических пари.

Восемнадцать аэропланов летало над бронированным куполом цирка, сбрасывая на цилиндры опоздавших груды летучек с правилами бокса и списками фаворитов.

Две тысячи американцев и столько же американок, не считая негров и детей, ежевечерне заполняли громадную кубатуру Спортинг-Паласа.

Неизвестный явно выделялся в громадной толпе совершенно одинаковых рогланов и джимперсов. На нем было рыжее пальто.

Билеты на матчи стоили баснословных денег. Самые дешевые — десять долларов, самые дорогие...

Откуда этот человек взялся, чем занимается и где ночует — было неизвестно. Может быть, об этом знал полисмен 794-го участка, совершающий ночной обход в туманном районе доков Реджинальд-Симпля, или хозяин подозрительного бара, где неизвестный иногда пил сода-виски, внимательно изучая русско-английский словарь.

Однако поглощенные боксом рогланы и джимперсы батальонами ломились в ворота, не обращая на него ни малейшего внимания.

Он выжидал.

Молодой любознательный негр, повернувшись, чтобы взглянуть на экран, где появился новый бюллетень, толкнул плечом не менее молодого американца, вынимавшего из перчатки билет. Цилиндр качнулся на голове мистера, а билет упал. Негр растерянно оскалил свои коровьи зубы. Мистер взорвался. Неизвестный быстро нагнулся, схватил билет и ринулся в ворота, подальше от дерущихся. Начинался суд Линча.

Бронированные стены цирка еще содрогались от бешеного топота красных башмаков, стука палок, свистков, аплодисментов и криков. Джаз-банд играл негритянский туш. Победитель раскланивался и снимал перчатки. Победленного растирали мохнатым полотенцем. На арену летели апельсины и сигары. Директор торжествовал.

Вдруг произошло замешательство. Головы двух тысяч американцев и стольких же американок, не считая детей и негров, повернулись в одну сторону. Сверху, из-под самого купола, по рогланам и джимперсам, по цилиндрам и лысым энергично катился неизвестный, наскоро извиняясь за беспокойство и лихорадочно перелистывая словарь.

Через минуту он уже стоял на арене, возле судейского столика. Наступила тишина. Тогда неизвестный иронически улыбнулся, бросил презрительный взгляд на дюжину гологоловых чемпионов, высунувшихся из-под портьер, справился со словарем и, выставив вперед ногу в свиной краге, очень старательно сказал:

— Меня зовут Иван Степанч, и я обязуюсь победить по очереди всех многоуважаемых чемпионов, состояющихся здесь.

Жюри с энтузиазмом удалилось в директорский кабинет. Публика неистовствовала. Чемпионы были подавлены. Иван Степанч загадочно улыбнулся.

Затем на арену выступил роскошный директор (фрак, цилиндр, сигара):

— От лица чемпионата принимаю вызов многоуважаемого, но, к сожалению, неизвестного борца Иван Степанча. Прошу его сообщить свои условия.

Иван Степанч перелистал словарь и тщательно сообщил:

— Две недели тренировки, сто тысяч призов, один фунт ростбифа и полпинты пива, один завтрак, обед и ужин ежедневно и сигары.

Условия были приняты. Джаз-банд играл негритянский туш.

— Ставлю один против ста, что этот негодяй раздавит всех этих бездельников, как клопов! — воскликнул нитроглицериновый король, потрясая чековой книжкой.

Немедленно четыре гигантских плаката сообщили четырём секторам города о появлении на горизонте таинственного незнакомца Иван Степанч, обладающего оглушительным секретом бокса и обещавшего победить всех чемпионов. Вес столько-то, объём столько-то, бицепсы столько-то. Первый матч тогда-то.



Роскошный кабинет директора цирка, заклеенный мужественной конструкцией афиш. Директор — откинувшись в кресле. Иван Степанч — выставив ногу в свиной краге. Директор — предвкушая небывалые барыши. Иван Степанч — добросовестно листающий словарь. Остальное пространство завалено грудями репортеров. Чековая книжка директора, как голубь, вылетает из бокового кармана, охотно теряя перья. Вспыхивает магний. Щелкают затворы репортерских кодаков.

Две тысячи американцев и столько же американок, не считая негров и детей, спешно заключали пари, общая цифра которых доходила до 8000, на сумму не менее 16 000 000 долларов.

Иван Степанч занял лучший номер в фешенебельном отеле на Гардинг-стрит.

Спортивные журналы подняли тираж втрое. Автомобили с трудом продвигались среди гор летучек с портретом Иван Степанча, тысячами тонн сбрасываемых с аэропланов. На бирже начиналась паника. Иван Степанч с апетитом завтракал.

Двадцать четыре американки, среди которых было пять высококвалифицированных старух, восемь девочек, десять вдов и остальные — дочери миллиардеров, ломались в номер Иван Степанча...

Иван Степанч сидел в номере, рассеянно обедал и в промежутках играл на гитаре.

Между тем подавленные чемпионы, предчувствуя близкое посрамление, не зевали. Они решили во что бы то ни

стало узнать секрет. Двенадцать человек, стол, шесть бутылок коньяку, негодяй хозяин и недорогой наемный убийца явились великолепным материалом для уголовных построений. На эстраде танцевали фокстрот.

Директор цирка подозревал. Роняя пепел на лацкан фрака, он схватил трубку настольного телефона.

Вежливый Гарри Пиль, гениальный сыщик Скотленд-ярда, иронически повесил трубку и не торопясь приклеил себе рыжую бороду.

Иван Степанч грустно ужинал. В дверь ломились американки, заключая между собой пари и лихорадочно подкупая хитрых лакеев.

Недорогой наемный убийца решительно надвинул кепи на порочные глаза. Чемпионы потирали руки. Время состязания грозно приближалось.

Ежедневно Иван Степанч приезжал на автомобиле в Спортинг-Палас на тренировку. Он быстро выходил из лимузина, отбиваясь от двадцати четырех американок, обстреливавших его бананами, туберозами и чековыми книжками.

Дабы ни один нескромный глаз не мог проникнуть в мировую тайну Иван Степанча, ко времени его приезда тренерский зал освобождался от недовольных чемпионов.

Иван Степанч вышел в зал, и директор, затянувшись гаваной, бдительно развалился в кресле против захлопнувшейся двери.

— А теперь надо действовать. Кажется, он уже там, — пробормотал наемный убийца, загримированный водосточной трубой.

Он висел вдоль наружной стены тренерского зала, на высоте десяти футов от уровня моря. Небольшой карманный лом и цепкие пальцы сделали свое дело. Негодяй осторожно вынул один из кирпичей и заглянул в тренерский зал. Иван Степанч стоял перед контрольным мячом и задумчиво перелистывал словарь.

Убийца затаил дыхание. Сейчас он узнает азиатскую тайну Иван Степанча...

А в это время Гарри Пиль с ловкостью молодой змеи полез по ребру соседнего небоскреба.

Ничего не подозревавший Иван Степанч перелистывал словарь, изредка поднимая глаза к потолку и старательно выговаривая:

— Будьте добры, мистер, дайте мне один билет на очень скорый поезд в Сан-Франциско.

— Тысяча чертей, хороший прием!— буркнул негодай с легкой завистью.— Этот парень мне начинает нра...

Но он не окончил фразы. Тяжелая рука Гарри Пилы легла на его плечо.

— Ни с места, негодай! Именем закона вы арестованы!

Приближались полисмены.

Не зная того, что он был на волосок от смерти, Иван Степанч особенно ласково улыбнулся директору и сел в автомобиль.

— Пожалуйста, на вокзал,— сказал он шоферу.

Мотор помчался. Но следом за ним помчались два других мотора. Один, легковой,— с Гарри Пилем, другой, грузовой,— с двадцатью четыремя американками.

Они настигли Иван Степанча у самого вокзала.

Гарри Пиль ловко прыгнул из своей машины прямо в машину Иван Степанча и спешно надел на бедного шофера наручники, затем, повернув к расстроенному чемпиону добродушное лицо, гениальный сыщик приподнял котелок.

— Мистер, негодаи хотели вас похитить как раз накануне состязания. Вас везли на вокзал. Но, к счастью, я подоспел как раз вовремя.

Двадцать четыре американки торжествовали.

— Да здравствует Иван Степанч!— кричала восторженная толпа.

Иван Степанч перелистал словарь и старательно сказал, раскланиваясь:

— Напрасно вы беспокоитесь, я не боюсь негодаев.

В день состязания директор потирал руки. Иван Степанч грустно натягивал на свои тощие, но очень волосатые ноги красивое трико.

Десятки сыщиков во главе с Гарри Пилем шныряли в коридорах цирка, охраняя Иван Степанча от злостных покушений.

Чемпионы волновались в ожидании страшного жребия.

Спортинг-Палас содрогался, как лейденская банка. Джаз-банд играл туш. Двадцать четыре американки рыдали от нетерпения.

Наконец на арене появился директор:

— Мистеры, состязание начинается. Сейчас будет брошен жребий.

Двенадцать чемпионов всех цветов интернациональной радуги выступили в зыбкую полосу ослепительных прожекторов. Вслед за ними вышел тощий Иван Степанч. Цирк задрожал от аплодисментов. Иван Степанч слабо раскланивался.

Двенадцать жребиев было брошено в цилиндр директора, и двенадцать чемпионов, обливаясь холодным потом, опустили в него двенадцать мускулистых рук.

Жребий достался чемпиону среднего веса, голландцу ван Гутену. Голландец побледнел, спешно начал письмо в Амстердам, своей престарелой матушке.

Иван Степанч, загадочно улыбаясь, положил на ковер словарь.

Ван Гутен передал письмо директору цирка, в последний раз пожал одиннадцать рук товарищей-чемпионов и вышел в круг, надевая перчатки.

Раздался свисток. «Будь что будет», — подумал несчастный голландец, не смея отвести своих честных глаз от ядовитых глаз Иван Степанча.

С отчаянием обреченного кинулся к неумолимому Иван Степанчу и дал ему в морду.

Кожаная голова мопса закрыла на секунду всю узкую голову Иван Степанча.

Вентиляторы жужжали в мертвой тишине, как аэропланы, разбрасывая сильные электрические искры.

Иван Степанч пошатнулся и упал. Судьи схватились за часы, считая секунды.

Голландец вдавил голову в богатырские плечи и ждал гибели. Он не сомневался, что ближайшие три секунды принесут ему гибель.

По правилам бокса, борец, пролежавший более десяти секунд, считается побежденным.

Прошла одна секунда, две и три.

Вентиляторы жужжали. Иван Степанч лежал.

Четыре, пять, шесть, семь.

Иван Степанч лежал.

Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать.

Гробовое молчание.

Прошло еще две минуты, после чего на арену вышли четверо очень красивых лакеев в простых фраках, взяли Иван Степанча за руки и за ноги и унесли.

Публика неистовствовала.

— Что это значит, негодяй? — заревел директор.

Иван Степанч с трудом раздвинул левым глазом вздутую, разноцветную щеку, перелистал словарь и старательно выплюнул на ковер четыре передних зуба.

Толпа громила Спортинг-Палас.

1923



ТОВАРИЩ ПРОБКИН

Я тяжело вздохнул:

— Так-то, брат Саша! Засосала коммунистов мелкобуржуазная мещанская стихия. Канарейки. Пеленки. Суп с лапшой, голубцы и клюквенный кисель, одним словом... Такие-то дела.

— Не скажи. Я знаю многих, которые... Одним словом, пойдем. Я тебе покажу удивительного человека — Пробкина, коммуниста, вернее кандидата, его недавно в кандидаты перевели. А за что? За то, что в условиях нэпа, в самый, так сказать, разгар мелкобуржуазной стихии, умудрился сохранить всю свою коммунистическую чистоту. Можешь себе представить — он живет по принципам девятнадцатого года, кристальная душа, а его в кандидаты на испытание, как нерабочий элемент... Одним словом, идем...



Нам открыл дверь швейцар.

— Что, товарищ Пробкин, секретарь коммуны имени Октябрьской революции, дома?

— Так точно-с. У себя в библиотеке-читальне-с. Как прикажете доложить?

— Доложи, братец, что экскурсия пришла. Обозреть коммуны.

— Слушаю-с.

Я удивленно открыл рот, но Саша ущипнул меня за локоть.

— Молчи, дурак, удивляться будешь потом, — прошептал он.

Мы поднялись по мраморной лестнице в бельэтаж. На массивной дубовой двери была прибита ослепительная медная табличка: «Николай Николаевич Пробкин. Директор треста „Красноватый шик“». Немного пониже была табличка: «Образцовая коммуна имени Октябрьской революции» и «Без доклада не входить».

Дверь растворилась, и перед нами предстал удивительный Пробкин. На нем была грубая, засаленная блуза, из-под раскрытого ворота которой выглядывало хорошее белье и полосатый галстук бабочкой.

— Гляди,— сказал Саша,— это и есть замечательный Пробкин.

Пробкин скромно опустил глаза.

— Ну уж, и замечательный! Я что, я ничего. Живу себе помаленьку... Коммунально, коллективно, так сказать, на основе точного учета и кооперации. Ничего личного. Все общественное. Очень просто. Прошу убедиться. Например, общественное питание. Пожалуйста, госп...

На дверях столовой красовалась надпись: «Общественная столовая». Массивный дубовый стол, покрытый крахмальной скатертью, был со вкусом сервирован на четыре персоны. На стенах висели деревянные зайцы и фрукты, перемежаясь с лозунгами: «Общественное питание — залог коммунизма» и «Не трудящийся да не ест» и т. д. В углу на мраморном столике стоял блестящий самовар с надписями: «Кипятильник» и «Не пейте сырой воды».

Пробкин самодовольно снял пенсне и повел нас дальше.

— Пожалуйста. Клуб имени Октябрьской революции. Прошу убедиться. Пианино. Видите надпись: «Музыкальная секция». Затем небольшая марксистская библиотечка. Станюкович, Метерлинк, Мамин-Сибиряк, Надсон и все такое. Исключительно издания Маркса¹. Попугай в клетке. Аквариум с золотыми рыбками — зоологическая секция. На столе журналы... хе-хе! Все как полагается. Здесь члены коммуны могут проводить свое время в приятном и полезном отдыхе...

— Эт-то удивительно! — воскликнул экспансивный Саша.

Пробкин скромно улыбнулся.

— Пожалуйста дальше. Детский дом и ясли. Видите — детишки. Так сказать, цветы жизни. Это старший — Коля, а это маленький — Ванюша. Коля, шаркни дяде ножкой. Все в папашу. Вот думаю переименовать старшего в Крокодила, а младшего в Секретаря. Дети получают

прекрасный уход, чистое белье и отличную пищу. Детским домом заведует моя жена. Симочка, поди-ка сюда! Тут экскурсанты пришли. Она же и кормилица... хе-хе! По совместительству, так сказать. Ну, да ничего не поделаешь. Коммуна, знаете ли, маленькая, штат не особенно увеличишь.

Мы пошли дальше.

— Вот, пожалуйста! Обращаю ваше внимание: коммунальная кухня. А вот и секретарь ячейки нарпита. Здравствуй, Степан!

Монументальный повар в белом фартуке и колпаке степенно поклонился товарищу Пробкину.

— А что у нас, братец, сегодня на второе?

— Осетрина Макдональд и котлеты а-ля Коминтерн.

— Дальше, господа, ледник, кладовая, погреб, продовольственный склад и т. д. Это не так интересно. Затем еще есть местная ячейка женотдела. Опять же моя жена в ней орудует. Потом общая спальня для административного персонала. Ванная и так далее.

— А ты не верил, — шепнул мне Саша.

— А теперь, товарищи экскурсанты, не желаете ли закусить чем бог послал? Даша, поставьте два лишних коллективных прибора.

Пробкин торжественно подвел нас к закусочному столу.

— Рекомендую перед обедом. По рюмочке. У нас, знаете ли, вообще этого не полагается, но для дорогих гостей...

После сытного коммунального обеда, прощаясь с секретарем коммуны имени Октябрьской революции, я спросил:

— Скажите, товарищ, а много у вас в коммуне членов?

— О, сущие пустяки! Я, жена и двое детей, не считая швейцара и ячейки нарпита.

— Гм! А ячейки РКИ у вас, товарищ, нету?

— Хи-хи! Помилуйте! Для чего нам эта ячейка? У нас, знаете ли, главным образом детишки...

— Ага! Ну, в таком случае, конечно.

— Милости просим в следующий раз. Чем бог послал...

— Спасибо, спасибо! Товарищ Пробкин, мы очарованы вашим учреждением. Даю вам слово, что по возвращении домой я непременно сделаю подробный доклад о посещении вашей удивительной коммуны.

— Вы мне льстите,— застенчиво сказал Пробкин.— Где же вы будете делать доклад?

— В Центральной Контрольной Комиссии,— общительно подмигнул Саша.



Через неделю великолепный Пробкин предстал перед председателем Контрольной Комиссии.

— Садитесь,— учтиво сказал Пробкину человек в потертой гимнастерке, подымая утомленное лицо от бумаг.

И товарищ Пробкин сел.

На два года.

1924



СЛУЧАЙ С БАБУШКИНОЙ

Только очутившись в жестком вагоне курортного «ускоренного», заведующая методической секцией клубного подотдела товарищ Бабушкина вздохнула полной грудью.

— Ну-с, теперь можно и от работы отдохнуть,— общительно сообщила она соседям, укладывая на верхнюю полку свой тощий баульчик, обшитый парусиной.— В моем полном распоряжении целых две недели. Теперь на целых две недели я, так сказать, вольный казак. Что хочу, то и делаю. Могу «Эрфуртскую программу» перечитать, а могу и план клубной работы на второе полугодие детально проработать. А впрочем, могу и второй том «Капитала» в памяти освежить. Все могу...

Сама удивляясь своей неограниченной свободе и феерическим горизонтам, распахнувшимся перед ней, товарищ Бабушкина сняла с седой головы черную шляпку, поправила на добродушном носу пенсне и аккуратно присела на лавку.

— Хо-хо!— раздалось с верхней полки.— Ай да тетка, в масло села! Па-а-те-ха!

— В какое масло?— смертельно побледнела Бабушкина.

— Обыкновенно в какое. В сливочное,— любезно пояс-

нил голос с верхней полки. И вслед за тем из мрака появилось лицо обладателя вышеупомянутого голоса. Скучающее, веснушчатое, скуластое лицо молодого, но вполне законченного хулигана.

— Что вы говорите?!— ужаснулась Бабушкина, вскакивая как ужаленная с лавки.

— Гы,— снисходительно сказал хулиган, сплевывая,— я пошутил!

— Разве так можно шутить, товарищ?— пробормотала Бабушкина.— Ведь юбка. Почти новая. Шевиотовая. Единственная. А вы вдруг — масло! Что вы!

— Ладно,— тоскливо сплюнул хулиган и вдруг, стремительно вывалившись в окно, оглушительно, с грохотом и свистом, чихнул:— Апч-ххи-и-и-и-их!

Проходившая мимо вагона нянька с легким воплем шарахнулась в сторону, сбивая с ног нагруженного чемоданами носильщика.

— Ах, пардон, не заметил!— с восхищением воскликнул хулиган.— Будьте здоровы, дамочка. Эй, ребеночка обронили! Пате-ха-а!

Он обвел вспыхнувшими глазами публику и, чувствуя себя душой общества и неизменным весельчаком, прибавил, подмигивая:

— Гы-гы!

Через минуту его глаза погасли, и хулиган впал в мрачную меланхолию. Он высунул в проход большие пыльные башмаки и развлекался тем, что сбивал с проходивших по коридору шляпы. Но это занятие не доставляло ему никакого эстетического наслаждения.

Раздался второй звонок. Мимо окон пробежало несколько взволнованных пассажиров, отыскивающих свой вагон.

— Псс, гражданин!— деловито крикнул хулиган в окно.— На минуточку!

Толстяк с двумя чемоданами недоуменно остановился у окна.

Хулиган конспиративно поманил его пальцем.

— В чем дело?— пробормотал толстяк, бледнея.— Честное слово...

Хулиган засуетился, соскочил с полки и побежал по вагону, не без огонька имитируя зловещее совещание, и возвратился к окну.

— На минуточку, на минуточку!— грозно поманил он пальцем.

— Ей-богу... Честное слово... — залепетал толстяк.

Раздался третий звонок.

Хулиган сощурил глаза и, подозрительно всматриваясь в похолодевшего толстяка, приговаривал:

— Пожалте-ка, пожалте-ка, гражданин...

— Так я же... на поезд... опоздаю... — плачущим голосом сказал толстяк. — Ей-же-бо...

Паровоз свистнул.

— Извините, гражданин, — широко и радушно улыбнулся хулиган, — пардон, обознался. Хи-хи!

С воплями и ругательствами толстяк кинулся за тронувшимся поездом, а хулиган, свесившись из окна, уже кричал какой-то стремительно мчавшейся по перрону даме:

— Мадам, сумочку обронили! Мадам, билет выпал!.. Ах, пардон, ошибся! Сыпьте дальше!

Мимо окон бежали поля, столбы и станции. Хулиган развлекался. Он приклеил на двери уборной билетик с надписью: «По случаю ремонта уборная закрыта» — и корчился у себя на полке от приступа здорового и жизнерадостного веселья, смотря, как унылые пассажиры тоскливо мыкались в коридоре возле уборной.

Белые облака неслись мимо окон в голубом небе, и, глядя на них сквозь пенсне, товарищ Бабушкина грустно думала:

«На каком низком уровне развития, однако, стоит наша беспартийная советская молодежь! А почему? А потому, что культработа поставлена плохо. Клубный подотдел хромает. Отсюда и хулиганство! Эх, вот я сейчас, так сказать, еду в отпуск на две недели. Вольный казак. Хочу — „Эрфуртскую программу“ читаю, хочу — второй том „Капитала“ прорабатываю... А нет того чтобы пропагандой среди беспартийной молодежи заняться. А почему бы, например, не вовлечь в строительство этого лодыря? В самом деле — вот возьму и вовлеку! Только это дело деликатное и тонкое. Сначала надо проработать план. Установить, так сказать, степень развития, затем заронить в молодую душу семена любознательности. Гм... Затем можно в кратких чертах обрисовать историю классовой борьбы. Ну, там коснуться Маркса... И отпуск полезно, и хорошее дело сделаю...»

Сказано — сделано.

Двое суток добросовестная Бабушкина по строго проработанной программе вовлекала несознательного мо-

лодого человека в культурно-просветительскую работу. Чтобы заслужить полное доверие, она угощала его на станциях чаем, покупала ему папиросы и осторожно бросала семена сознания в его черствую и загрубевшую душу.

Несознательный молодой человек туповато слушал воодушевленную Бабушкину, а в промежутках игриво развлекался: невинно плевал ей на ботинки, по ночам грозным басом требовал от имени ГПУ у перепуганных пассажи́ров предъявлять свидетельства об оспопрививании, а днем лениво мазал лавки чем попало. Но в общем и целом культработа шла успешно. И когда на третьи сутки впереди блеснуло яркой синевой в высшей степени курортное море, Бабушкина нашла, что почва проработана достаточно хорошо.

— Смотрю я на вас, — сказала она нашему молодому человеку, — и думаю: такой, в сущности, хороший молодой человек. Даже, я бы сказала, замечательный молодой человек! И погибает от собственной несознательности. А почему такое? А потому, что оторван от здоровой культурной почвы. От комсомола оторван.

И, вложивши в свой голос как можно больше материнской мягкости и убедительности, самоотверженная Бабушкина сказала:

— В комсомол вам надо записаться. Вот что.

— Уже. Был. В комсомоле, — глухо прошептал молодой человек. — Выкинули, мамаша...

И, заметив, что поезд подходит к перрону, закричал в окно диким голосом:

— Эй, гражданин, бумажник потерял! Товарищи, пожар в поезде! Горим! Выпрыгивай! Гы! Гы!

1925



МОЙ ДРУГ НИАГАРОВ

1. Ниагаров и рабочий кредит

Мой приятель, небезызвестный Ниагаров, осмотрел меня с ног до головы уничтожающим взглядом и сказал:

— Брюки длиннее, чем полагается, на пол-аршина, чего нельзя сказать о рукавах, которые короче на три чет-

верти. Хи-хи! И потом — что это за набрюшник?.. Ах, не набрюшник, говоришь? А что же это такое?.. Ах, жилет! Виноват, ви-но-ват! Спорить не буду. Конечно, может быть, это у вас называется жилет, только не так я себе представляю эту часть туалета. Что, специально в Конотоп ездил заказывать костюмчик? Сознайся, плутишка! В Конотоп?

Я застенчиво опустил глаза.

— В Мосшвею. Ездил. Специально. Заказывать. На Петровку.

— На Петровку? Ми-лый, да на Петровке я тебе оденусь, как молодой принц!

— Ну, брат, на рабочий кредит не очень оденешься.

— А что такое?

— А то. Приказчики не уважают. «Забирай, говорит, что дают. Много вас тут, разных-всяких, с талончиками шляется». Я не успел и глазом моргнуть... Раз-два... На все деньги, и вот видишь...

Ниагаров уничтожающе сверкнул глазами:

— Деревня! Шляпа! Одевайся, идем.

Через полчаса мы с Ниагаровым входили в магазин Мосшвеи на Петровке. Ниагаров засунул руки в карманы и, крутя папиросу в небрежно стиснутых зубах, подошел к приказчику.

— Будьте любезны. Костюм. Самый лучший. И шляпу. Самую лучшую. Полдюжины рубаш. Самых лучших. Живо.

— В рабочий кредит? — подозрительно осведомился осторожный приказчик.

Ниагаров сдвинул брови:

— Бол-ван! Не видишь, с кем разговариваешь!

— Виноват, вашсиясь... Простите... не признал... Васька, стульчик господину! Митька, сними с господина галоши! Колька, принеси господину стакан воды. Разрешите-с снять-с мерочку-с...

Ниагаров вертелся перед зеркалом и, презрительно искривив губы, цедил:

— Черт знает что! Под мышками жмет. Воротник лезет на затылок. Брюки коротки. Не годится. Другой!

— Сей минут, вашсиясь... Пожалте ножку. Так. Согните ручку. Так. Красота. Как вылитый.

— Матерьял дрянь! Не годится. Другой...

Через два часа, одетый с пог до головы, как молодой принц, Ниагаров небрежно подошел к кассе.

— Получите. Талон. Моя фамилия Ниагаров. Мне еще тут остается кредиту на два червонца. Отметьте. Мальчик, отвори дверь. До свидания!

С неподражаемой грацией поскрипывая новыми башмаками, Ниагаров прошел мимо обалделого приказчика и вышел на улицу. Вот тебе и рабочий кредит!

— Видал-миндал? Де-рев-ня! А теперь разрешите вас чествовать обедом в «Праге». Тут у меня еще два червонца от кредита осталось.

— Жаль ведь...

— Младенец! При известном умении кредитом можно воспользоваться с большой помпой. Учись, юноша! Извозчик, в «Прагу»!

2. Лекция Ниагарова

Громадная аудитория Политехнического музея была переполнена учащейся молодежью и профессорами. Деловитые рабфаковцы нетерпеливо ерзали на скамьях. Свердловки нервно теребили клеенчатые тетрадки. Строгие очки профессоров, френчи инженеров и буденовки генштабистов говорили о важности и серьезности предстоящей лекции.

Я мечтательно облокотился на барьер и думал: «О, милая, отзывчивая советская молодежь, которая так трогательно тянется к солнцу знания, преодолевая на своем пути житейские невзгоды, холод и даже голод! О, седые, умудренные наукой ученые, которые, подобно своим ученикам, пришли сюда для того, чтобы обогатиться новыми положительными знаниями из области прикладной техники! О, серьезные генштабисты, еще так недавно переносившие все опасности гражданской войны, которые урвали из своего скромного бюджета львиную долю для того, чтобы купить билет на эту исключительную лекцию! Они все пришли сюда для того, чтобы услышать (как об этом гласили тезисы на афише) о потрясающих завоеваниях человеческого гения в области междупланетных сообщений. И ни одного режущего пятна. Ни одного толстого нэпмановского лица. Ни одного кричащего туале...»

Я запнулся и окаменел. Изящно раздвигая толпу и рассыпая направо и налево «пардон, пардон», с красивым желтым портфелем под мышкой, прямо на меня шел Ниагаров. Его галстук был непередаваемо роскошен, и астроно-

сые малиновые туфли стоили не менее восьми червонцев. Он снисходительно улыбался и благоухал.

— Ниагаров!— воскликнул я в изумлении.— Как ты сюда попал? По имеющимся у меня достоверным сведениям, здесь не предвидится ни хореографических эскизов Голейзовского, ни игривого кабаре с участием Хенкина, ни даже маленькой семейной партии в баккара. Тебя, очевидно, ввели в заблуждение. Или, может быть, ты, плутишка, бросил шумный и рассеянный образ жизни и начал на старости лет интересоваться проблемами междупланетного сообщения... хи-хи...

— Мой друг,— строго остановил меня Ниагаров,— проблема междупланетного сообщения интересовала меня с детства.

— Но...

Ниагаров кисло поморщился и сказал с ударением:

— Проблема междупланетного сообщения ин-те-ре-со-ва-ла меня с детства, и сегодня я наконец решил выступить с публичной лекцией по этому интересному вопросу.

— Что?! Ты?! Читать?! О междупланетном сообщении?! Лекцию?! А ты себе температуру мерил?

— На нас смотрят,— прошипел Ниагаров.— Пойдем. Ты меня провалишь...

— Сиди здесь, дурак,— сказал Ниагаров, кинув меня на диван, когда мы пришли в артистическую.— Сиди и молчи.

К Ниагарову подошел молодой человек. Ниагаров отвел его в сторону.

— Сколько?

— Пятьдесят червонцев. Ни одного билета.

— Гм! Извозчик стоит?

— Стоит.

— Мгм... Ну, в таком случае, Бузя, давайте третий звонок.

Я кинулся к Ниагарову:

— Ниагаров, ты этого не сделаешь!

— Вот еще глупости. Посиди здесь, я сейчас приду.

С этими словами Ниагаров открыл дверь и, величественно улыбаясь, вышел на эстраду. Раздались аплодисменты. Я приоткрыл дверь.

— Милостивые государи, милостивые государыни, товарищи, я бы сказал, граждане,— начал Ниагаров баритонном, небрежно играя автоматической ручкой.— Как вы, ве-

роятно, догадались, предметом нашего сегодняшнего собеседования будет проблема междупланетного сообщения.

Профессор поправил очки. Свердловки начали записывать, рабфаковцы одобрительно улыбнулись.

— В сущности, господа, что такое междупланетное сообщение? Как и показывает самое название, междупланетное сообщение есть, я бы сказал, воздушное сообщение между различными планетами, кометами и звездами. То есть безвоздушное. В чем же, господа, разница между воздушным сообщением и сообщением безвоздушным? Воздушное сообщение — это такое сообщение, когда общаются непосредственно через воздух. Безвоздушное сообщение — это такое сообщение, когда общаются без всякого воздуха. Приведем пример. Аэроплан. Что такое аэроплан? И чем он отличается, скажем, от автомобиля? И здесь и там мотор. И здесь и там бензин. И здесь и там колеса. На первый взгляд как будто никакой разницы и нет. Но, господа!.. Виноват, вы, кажется, что-то сказали?.. Вот здесь, в шестом ряду... Ничего? Простите, пожалуйста! Итак, пойдем дальше. Значит, автомобиль... Виноват? Вы хотите, чтобы я перешел непосредственно к проблеме междупланетных сообщений? Пожалуйста! Как вам известно, господа, поверхность земного шара покрыта толстым слоем воздуха, что не может не повлиять на движение нашей планеты в плоскости своей эклектики...

— Эклиптики,— поправили Ниагарова из четвертого ряда.

— Простите, эклептики. Совершенно верно. Ошибся, так сказать, этажом ошибся. Знаете, есть такой анекдот, что пьяный муж пришел домой и видит, что его жена целуется с каким-то неизвестным молодым человеком...

Ниагаров сделал паузу и общительно подмигнул первым рядам.

Публика зашумела.

— Позвольте,— слышались голоса,— мы сюда пришли, чтобы слушать о междупланетном сообщении, а не о пьяном молодом человеке!!

— Да в том-то и дело,— весело воскликнул Ниагаров,— что молодой человек был трезвый, а муж был пьян как сапожник!

— Довольно! Довольно! — слышались голоса.— Деньги назад!

— Господа! — выкрикнул Ниагаров. — Если вы не понимаете шуток, то я буду говорить о междупланетном сообщении. Междупланетное сообщение...

На эстраду вышел человек в очках и сердито стукнул графином по столу. Я закрыл глаза.

— Довольно! Вы мне баки автомобилями не забивайте. Что вы порете чушь про междупланетное сообщение между кометами? Да вы знаете, что такое комета?

— Что это, экзамен?

— Я вас спрашиваю по-человечески: вы знаете, что такое комета?

— А вы знаете? — цинично спросил Ниагаров, играя автоматической ручкой.

Публика с ревом ринулась на эстраду, ломая скамьи.

— Бузя! Тушите свет! — крикнул Ниагаров, пролетая мимо меня как вихрь. — Грузите кассу на извозчика!..

— Можно подумать, что проблема междупланетных сообщений более опасна, чем проблема японского землетрясения или проблема аборта, — сказал мне на следующий день Ниагаров, меняя компресс. — Ерунда! Лишь бы кассир был свой парень и извозчик не подвел. Послезавтра у меня лекция о проблеме омоложения.

— Безумец! И ты будешь читать? — ужаснулся я.

— Если хватит морды, — весело улыбнулся Ниагаров, — как говорится в одном старом еврейском анекдоте.

3. Знаток

Роскошный и шумный Ниагаров схватил меня за руку и воскликнул:

— Как! Ты еще не на выставке! Жалкий провинциал! Пойдем. Я буду твоим гидом. Я, брат, специалист в этой области. Я, брат, можно сказать, всю эту самую выставку собственными руками выстроил. Подойди к любому мальчишке-папироснику и спроси: «Мальчик-папиросник, кто выстроил Всероссийскую сельскохозяйственную выставку?» — и мальчик-папиросник тебе скажет: «Ее выстроил Ниагаров». Ну?

— Хорошо, поедем! — сказал я.

Ниагаров засиял:

— Вот умница! Сейчас мы это устроим в два счета, это тут, рядом. Эй, извозчик! На Сельскохозяйственную выставку — полтинник.

— Что вы, вашсиясь! Два рублика! Конец-то какой — не иначе как десять верст.

Ниагаров смутился:

— Ну уж и десять! Я-то отлично знаю, где эта самая выставка помещается. Верст семь, не больше. Полтора, одним словом.

Мы поехали.

— Вот, смотри и удивляйся! — правоучительно сказал Ниагаров, когда мы после долгих поисков главного входа попали на территорию выставки. — Удивляйся и учись. Это тебе, брат, не твоя Балта. Выставка, брат! Все-россий-ска-я! Одна только ее площадь занимает девяносто пять квадратных верст. Специально для нее Крымский мост выстроен. Я строил. Ну, дружище, пойдем. Вот, видишь павильон?

— Вижу, — застенчиво сознался я.

— Так знай же, о юноша, что этот павильон не что иное, как точная копия Байдарских ворот. Только моря не хватает. Не успели. Я строил.

— А почему он такой маленький?

— Младенец! А что ж, по-твоему, Байдарские ворота больше? Уж будьте уверены! Три недели строил, до последнего сантиметра все вымерял.

— А почему он деревянный? И почему возле него хвост стоит? И потом...

— Эх, провинция-матушка! Это туристы очереди дожидаются. Точная копия. Хочешь, подыдемся?

Мы подошли.

Один из туристов колотил кулаками в дверь Байдарских ворот и орал:

— Гражданин! Вы уже три часа уборную занимаете! Нельзя же так! Ведь люди ждут!

— Пойдем отсюда, — развязно сказал Ниагаров. — Это не так интересно. Сейчас ты упадешь в обморок от изумления. Я покажу тебе... гм... Я покажу тебе настоящую швейцарскую корову...

— Не может быть!

— Молчи, несчастный! Здесь все может быть. Гляди! Чудесный экземпляр! Ты только посмотри. Какой хвост, какая чудесная шоколадная шерсть, а глаза-то, глаза! Прямо как у лошади, умные.

— Ниагаров, — укоризненно сказал я, — как тебе не стыдно! Во-первых, швейцарские экспонаты на выставке не принимаются по случаю бойкота, а во-вторых, это

не корова, а лошадь. И не экспонат, а она запряжена в телегу.

Но Ниагаров не унывал.

— Вздор! Это не важно! Пойдем! Ты сейчас упадешь в обморок. Живых бухарцев видел? Нет? Эх, глушь, глушь! Гляди! Видишь, какие полосатые, просто прелесты! Брови у них, по обычаям ислама, насурьмлены, а ноги выкрашены. Можешь потрогать руками, если хочешь. Это можно.

Один из бухарцев оглянулся и оказался хорошенькой женщиной.

— Нахал! Вы не смеете приставать к порядочной женщине!

— Смотри-ка! — воскликнул Ниагаров. — Английская территориальная пехота! Видишь, дуся, какая у них красивая форма?

Английский пехотинец подошел к Ниагарову и сказал:

— Гражданин, если будете приставать к женщинам, отправлю в район.

— Ладно, — сказал опечаленный Ниагаров. — В таком случае сейчас я вам покажу нечто исключительное. Голову потеряете. Пивная-с. Настоящая пивная «Новая Бавария».

На этот раз он оказался прав. Пивная была «Новая Бавария». И через час я потерял голову.

4. Птичка божия

Ниагаров ворвался в кабинет редактора:

— Здравствуйте, товарищ редактор! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Работаете?

— Работаю.

— Работайте, работайте! Кто не работает, тот не ест, как говорится. Правильно. И вообще — мир хижинам, война дворцам! Принес тебе стишки. Лирика. Незаменимо для октябрьского номера. Пятьдесят за строчку — деньги на бочку. А, как тебе это нравится? Видал-миндал? Это, брат, тебе не фунт изюму. Слушай:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.
В долгу ночь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет...

И так далее! А? Каково? Сознайся, плутишка, что ты не ожидал такой прыти от старика Ниагарова. Я, брат, профессионал! Буржуазный поэт! Ха-ха! Гони монету...

Редактор покрутил отяжелевшей головой:

— Это нам, товарищ, не подходит.

— Почему же оно вам не подходит? — обидчиво заинтересовался Ниагаров.

— Потому что несовременное.

— Несовременное? А красное солнце, которое взойдет, — это тебе что? Прямой намек на социальную революцию! Определенно!

— Не подходит. Потому — что у вас «птичка божия» и «гласу бога»... Принесите что-нибудь пролетарское. И без бога. Тогда пойдет.

Ровно через год Ниагаров стоял против редактора:

— Пей мою кровь. Без бога. Пролетарское. Слушай:

Птичка наша уж не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.
В долгу ночь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет...

Обрати внимание: *«Солнце красное взойдет»!*

Птичка гласу Маркса внимлет,
Встрепенется и поет...

— Не пойдет. Нет идеологии. Нет современности. И потом — что это за птичка, которая не знает ни забот, ни труда? В концлагере место такой птичке, а не на страницах советской печати. О Колчаке что-нибудь лучше написали бы!

Ниагаров увял.

— Жалко. А если я с идеологией, и с современностью, и с Колчаком напишу?

— Тогда пойдет. До свидания! Закрывайте за собой дверь!

Через год Ниагаров возбужденно сказал:

— Вот. С идеологией. Современное, и про Колчака есть.

Птичка наша уже знает
И заботы и труды,
Хлопотливо выкидает
Колчака она в пруды...

В долгу ночь на ветке дремлет...
Солнце красное взойдет!
Птичка нас...

— Не пойдет, — перебил редактор. — Несовременно.
Ниагаров сардонически захохотал.

— А Колчак — это тебе не современное?

— В прошлом году было современно, а теперь несовременно. Теперь надо про польскую войну писать. Не пойдет.

Год спустя Ниагаров посмотрел в упор на редактора и процедил сквозь зубы:

Птичка польская не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не...

— Не пойдет!

— Позвольте. Там дальше...

— Знаю, знаю! И «солнце» не пойдет, и «красное» не пойдет, и «взойдет» тоже не пойдет. Ничего не пойдет. Несовременно.

— А Польша?

— Устарело. О нэпе теперь писать надо. Закрывайте за собой дверь!

— Здравствуйте!

Птичка божия не знает ни заботы, ни труда,
Нэп для птички не свива...

— Не пойдет.

— Почему?

— Потому что нет идеологии.

— А солнце красное, которое взойдет, — это вам не идеология?

— Использовано. Кроме того, у вас там сказано, что птичка встрепенется и поет. А что она поет — неизвестно. Может быть, что-нибудь контрреволюционное? До свидания. Закрывайте за со...

За дверью послышался печальный голос Ниагарова:

— Обратите внимание:

Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внимлет,

Встрепенется и поет:
«Это есть наш пос-лед-ний
И ре-ши-тель-ный бой...»

5. Ниагаров-журналист

В первом этаже редактор сказал Ниагарову:

— Товарищ Ниагаров! Вы не человек, а вихрь. В двух словах — гоните сочный, выпуклый, яркий и незабываемый очерк из жизни моряков. Наша газета «Лево на борт» щедро заплатит вам. Можете? Когда будет готово?

— Через десять...

— Ну, это долго.

— Через пять.

— Ниагаров, пять дней — это слишком долго!

— Чудак, вы говорите — дней, а я говорю — минут. Хе-хе! Где у вас тут ближайшая машинистка? Вот эта блондинка? Благодарю вас. Мадемуазель, вы свободны? Заняты? Ерунда! Ведомости подождут. Пишите...

Через пять минут Ниагаров загнал редактора в правый угол.

— Ну-с! Прошу убедиться. Слушай: «Митька стоял на вахте. Вахта была в общем паршивенькая, однако, выкрашенная свежей масляной краской, она производила приятное впечатление. Мертвая зыбь свистела в снастях среднего компаса. Большой красивый румб блистал на солнце медными частями. Митька, этот старый морской волк, поковырял бушпритом в зубах и весело крикнул: „Кубрик!“ Это звонкое и колоритное морское восклицание как нельзя больше соответствовало переживаемому моменту. Дело в том, что жалованья не платили третий месяц, а райкомвод спал. Ау, райкомвод, проснись! Не мешало бы райкомводу завязать себе на память несколько морских узлов в час!» Все.

Редактор лежал без чувств.

Ниагаров сунул ему рукопись в карман.

— Вот чудак! Не выдержал выпуклости старого пирата Ниагарова. Плачешь, старик? В море захотелось? Ну, плачь, плачь. За деньгами приду позже. У меня еще вагон дел.

Во втором этаже Ниагаров сказал редактору:

— Что у вас тут? Газета «Рабочий химик»? Ладно. Я знаю, что тебе надо. Тебе надо, чтобы было ярко, выпукло, сочно и из быта химиков. Через пять минут. Где у вас

тут машинистки? Что? Ведомости пишут?.. Пишите, мадам!.. Вот, готово. Ну-с, старина, слушай: «Старый химический волк Митя закурил коротенькую реторту и, подбросив в камин немного нитроглицерину, сказал: „Так что, ребята, дело — азот“.— „Известно, форменные спирохеты,— подтвердили ребята, вытирая честные, изъеденные суперфосфатом руки о спецодежду, которую завком обещал выдать еще в августе, а теперь декабрь... и тянут.— Не мешало бы кое-кому и всыпать нафталину“.— Ну как тебе это нравится? Что, даже слезы на глаза навернулись? То-то! Ниагаров, брат, знает, как и что. Ну, приди в себя, за деньгами загляну позже. У меня еще уйма работы, побегу к железнодорожникам.

— Где у вас тут машинистка? Здравствуйте, барышня... Гстово? Мерси... Ну, слушай: «Старый железнодорожный волк открыл семафор и вошел в тендер, где ютилась его честная, несмотря на ее многочисленность, семья. Посреди комнатки, оклеенной портретами вождей железнодорожного пролетариата, весело потрескивая, горела букса. „Умаялся я, Октябрина“,— сказал Митрий жене. „И то, Май Петрович, и как не умаяться! Чай, до сих пор спецодежды не выдали?“— „Не выдали, Октябрина, ох, не выдали. А я, глядь, свои буфера сносил совсем“. Где-то далеко за водокачкой грустно гудел шлагбаум. По шпалам шел местный П-42».

Вдалеке в голову Ниагарова били склянки. Этажей было пять, а Ниагаров летел с самого верхнего. А вы говорите — профессиональная печать!

6. Ниагаров-производственник

Небезызвестный Ниагаров, потомственный и почетный спец, помощник директора мебельной фабрики «Даешь стулья», сделал эффектную паузу и продолжал бархатным баритоном:

— Итак, милостивые государи, милостивые государины, граждане и, я бы сказал, товарищи! Обрисовав в ярких красках основные задачи нашего сегодняшнего производственного совещания, я хотел бы остановиться на вопросах, непосредственно связанных с самим производством стульев, столов, гарнитуров и прочих предметов, являющихся основным и перманентным элементом нашей, так сказать, альма-матер.

— Вот так здорово завинтил! — раздался робкий возглас из задних рядов.

Ниагаров строго постучал автоматической ручкой по столу и продолжал:

— Именно-с, альма-матер... И нечего хихикать! Каждый образованный человек должен знать, что это значит. А если вы, товарищ из седьмого ряда, мало интеллигентны и интеллектуально консервативны, можете покинуть аудиторию. Да-с! Итак, господа, поменьше слов, побольше дела. Перед нами стоит сложная и ответственная задача — удешевить свое производство и вытеснить с рынка частную мебель, но, прежде чем подойти к вопросу вплотную, мы должны бросить ретроспективный взгляд на все этапы, пройденные мебельным производством за последние двести — триста лет. Гм... В своем поступательном движении эволюция мебельного производства эпохи Ренессанса была тесно связана с живописными школами того времени. Это может показаться парадоксальным, но си нон э вэро, э бэн травато, как говорили великие знатоки мебели, древние римляне...

Среди рабочих начался шум. Раздались голоса:

— Да ты нам баки не забивай древними римлянами!

— Ближе к делу!

— Ты лучше скажи, как лучше стулья делать — на шпильках или на гвоздях?

Ниагаров обиделся.

— Господа, попрошу не шуметь! Разрешите мне, как незаменимому спецу, осветить мебельный вопрос в широком масштабе, в аспекте мировой истории, при ярком свете беспощадного анализа фактов, которые по своей эквивалентно...

— Довольно!

— Заткни фонтан!

— Что ты нам тычешь в глаза аспектом да эквивалентом? Ты нам лучше про мебель говори. Как ее подешевле да получше сделать?

Ниагаров слегка побледнел.

— Вы хотите, чтобы я говорил непосредственно про мебель? Хорошо. Я буду говорить про мебель. Возьмем, например, господа, стул. Из чего состоит стул? Стул состоит из четырех ног, спинки и сиденья... Гм.. да... Гм... На первый взгляд — просто. Но, господа, то есть товарищи... Возьмем простой стул и бросим на него ретроспек-

тивный взгляд в ракурсе конкретизированного и перманентного производства...

Аудитория, ломая на своем пути скамьи, с воем ринулась на Ниагарова. Ниагаров ловко увернулся от летящей в него галоши и юркнул в боковую дверь.

— Беда с этими спецами! — со вздохом говорили рабочие. — Ты ему про стулья, а он тебе про ретроспективный!

На другой день Ниагаров уже выступал на другом производственном совещании.

Полузакрыв глаза и изящно помахивая автоматической ручкой, он вдохновенно говорил о производстве автомобиля под углом перманентно изменяющейся ситуации исторических событий, с точки зрения ретроспективного анализа мирового империализма.

7. Похождения Ниагарова в деревне

Небезызвестный Ниагаров выкинут из пятнадцати учреждений: из пяти за взятки, из пяти за пьянство, из пяти по сокращению. Вот Ниагаров, а вот его орудия увеселения: граммофон, гитара и кошка.



— А между прочим, жрать хочется. Ба, идея! Поеду в деревню. Там, говорят, шефов любят. А ну-ка, где мои большие очки и мой красивый портфель?

— Однозвучно гремит колокольчик. Гай-да тройка! Ямщик, погоняй лошадей! Знай, кого везешь: Ниагарова везешь! Ка-к-каналья!

— Кто едет?

— Ниагаров едет. Из центра. Не иначе как шеф.

— Ты председатель сельсовета? Каналья! Почему без колокольного звона меня встречаешь? Не потерплю! Веди меня в красный угол. Пироги чтоб! И прочее чтоб!

— Я, братец ты мой, с самим Ваней Калининым на дружеской ноге!

— Какой же он Ваня, ежели его Михаилом Ивановичем звать!

— Деревенщина. Для кого Михаил Иванович, а для кого и просто Ваня. Ведь мы с ним друзья детства. Учились вместе. В кадетском корпусе.

— А ты, баба, не пищи! Я с тобой по-хорошему... Шефскую работу среди женщин, можно сказать, веду не покладая рук, а ты упираешься! Нехорошо, баба! Нельзя от смычки уклоняться, баба!

— А это-та что? Кооператив? Очень приятно. Отнеси, братец, этот мешочек мучицы в мою бричку. Да сахарку прихвати. Так сказать, от подшефной волости дорогому шефу на добрую память. Хи-хи!

— Плохая у вас изба-читальня, ребята! Самоучителя танцев нету. Смотреть противно. Тьфу!

— А это что? Касса взаимопомощи? А ну-ка, проверим, как она у вас работает. Дай-ка мне, братец кассир, до среды червячка два-три. Мерси. Старайся, кассир! Я тебя не забуду, кассир! Прощай, кассир!

— Прокатный пункт. Всякие там молотилки для удобения. Ерунда! И-и... Су-пер-фос-фат.

— Ты мне лучше, председатель, покажи самогонный завод. Желаю искоренять пьянство!

— Очень хороший завод. Вот это я понимаю. Ведер пять в день, чай, добываете?.. Больше? Ого!! Молодец! Старайся. Я тебя не забуду. Ик!

— Черт возьми, крепкий спиртяга! Ик! Где это я? Здравствуй, свинья. Дай я тебя поцелую, детка. Люблю. Ик! Жив... жив... жив... жи-вотно-водство. Я тебя не забуду, свинья. Спокойной ночи, свинка!

— Кто едет?

— Настоящий шеф едет. А тот оказался липой!

— Предъявите, гражданин, ваши документы. Посмотрим, какой вы есть шеф.

— П... п... пожалуйста! Удостоверение о досрочном освобождении из тюрьмы, квитанция за электричество, повестка от народного следова...

8. Ниагаров-радиолюбитель

Ниагаров деловито ворвался в мою комнату и отрывисто бросил:

— Работает хорошо?

— Ч-чего... работает?

— Радио, говорю, хорошо работает?

— Совсем не работает, — застенчиво сознался я.

— А что такое? — встревожился Ниагаров. — Антенны пошаливают? Или, может, землю плохую для заземления покупали?

Мне было совестно обманывать этого чистосердечного добряка.

— У меня вообще... нет радио... — глухо прошептал я.

Ниагаров схватился за голову:

— Как?.. У вас?.. Вообще?.. Нет?.. Радио?.. Да вы с ума сошли! Да в таком случае я должен вам немедленно его устроить... Не-мед-лен-но.

— Зачем же... немедленно? — бледно улынулся я.

— Никаких возражений, именно немедленно! Никаких отказов! Ни-ни! Тем более что это так просто... Домашними средствами. Без особых затрат и дорогостоящих приспособлений. В два счета. Раз-раз — и готово. Клянусь, что через каких-нибудь полчаса вы будете, не сходя с места, наслаждаться большим академическим балетом. Впрочем, к делу. Не такой человек Ниагаров, чтобы зря языком болтать. Где у вас тут ближайший чердак?

У меня потемнело в глазах.

— Это что?

— Т-трубка телефонная.

— Телефонная? Это хорошо. А вот мы ее сейчас. Чик-чик — и готово. Была телефонная трубка — и нету, так сказать, телефонной трубки! Да вы не волнуйтесь! Чудак человек, нельзя же, чтоб радио — и было вдруг без трубки. А это что?

— З-з-звонок электрический.

— Оч-чень хорошо! Отличная антенна! Где ножницы? Спокойно! Чик-чик. Готово. Мерси! А это что такое?

— Ф-ф-форточка.

— Гениально! А вот мы ее сейчас. Чик-чик. Дзынь — и ваших нет... Чудак человек — опять плачет. Чего, спрашивается? Ведь нужно же куда-нибудь заземление всунуть?.. Холодно? Ерунда! Говорят, на днях опять потеплеет. А это что у вас такое из бокового кармана торчит?

— Ч-ч-ч-часы-ы...

— Замечательно! А ну-ка, давайте их сюда. Да не бойтесь, ничего ужасного не будет. Чик-чик — и готово. Я только маленькую пружинку из них вытащил, а остальное можете носить себе на здоровье. Чудак человек, не может же быть радио без детектора. А это что?

— Г-г-г-граммофон. Только, товарищ, он очень... дорогой...

— Дорогой? Тем лучше... Виноват, одну минутку. Где у вас молоток? Мерси. Чик-чик — и гото...

Через два часа я стоял на обломках своего семейного очага и, грозно потрясая над головой остатками дорогой пишущей машины, кричал Ниагарову:

— Негодяй! Ты ввел меня в заблуждение обманчивыми перспективами дешевого радио. Ты разорил меня и мою семью. Впереди мрак и нищета... Но я готов простить тебя, подлый Ниагаров, если услышу по твоему паршивому радио хоть один самый малюсенький звук. Хоть одно самое микроскопическое слово. Ну? Где же твоя радиопередача? Говори, гадина!

Ниагаров обидчиво заморгал глазами:

— Честное слово... вы меня прямо удивляете! Вы же понимаете, что я сделал все от меня зависящее. Как же можно что-нибудь услышать, если заземление плохое! Я же не виноват, что земля у вас под домом ни к черту...

Ниагаров не окончил своих гнусных оправданий.

Я искалечил его.

9. Романтические скакуны гражданина Ниагарова

— Алла верды! — закричал роскошный и шумный Ниагаров, с грохотом врываясь в мой номер. — Селям алей-кум!..

Я лежал на кровати, меланхолически ловя за задние ноги больших и урюмых владикавказских клопов.

На Ниагарове была новенькая черкеска с патронами на груди, большой серебряный кинжал, пара добрых кремневых пистолетов с насечками, карабин в косматом чехле и бутылка-термос.

— Что с тобой случилось, Ниагаров? — вяло заинтересовался я. — Можно подумать, что тебя сократили с места службы и, лишившись своего честного пятнадцатого разряда, в припадке вполне понятного острого отчаяния, ты

решил открыть небольшой кавказский ресторанчик с подачей напареули и шашлыка на вертеле?

— Ишак и баран! — сердито сказал Ниагаров. — В тебе нет никакой романтики... По Военно-Грузинской дороге ездил?

— Не ездил, — сознался я.

— Безумец! Он!! Не ездил!! По! Военно!! Грузинской!! Дороге?!?! В таком случае немедленно одевайся и едем. В седле держаться умеешь? Не умеешь? Тем лучше. Я тебя быстро научу. Главное — держись все время на шенкелях, хорошенько подтяни подпругу. Если будешь падать в Дарьяльское ущелье, не хватай коня за уши — карабахские жеребцы этого терпеть не могут.

— Я не хочу ехать по Военно-Грузинской дороге, — бледно запротестовал я.

— Ни-ни! — твердо сказал Ниагаров. — Никаких возражений! Иначе ты меня кровно оскорбишь, и я буду вынужден тебя немножко зарезать вот этим найшаурским клинком, доставшимся мне по последствию от самого Шамиля. Ну? По рукам? Едем?

— По рукам, — вздохнул я. — Едем.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Ниагаров. — Сейчас я закажу у швейцара карабахских скакунов, и не пройдет какого-нибудь часа, как мы уже будем мчаться на головокружительной высоте, обгоняя встречных орлов и пугая горных газелей.

Я с дрожью вздохнул.

— Алла верды, — сказал Ниагаров швейцару, — селям алейкюм... Слушай, кацо! Тыфлыс знаешь? Военно-Грузинская дорога знаешь? Так вот, я и мой кунак — ми желаем проехать по Военно-Грузинской дороге на Тыфлыс...

— Понимаю, — сказал швейцар.

— Два карабахских скакуна имеешь?

— Чего-с?

— Скакунов, говорю, карабахских имеешь? — внушительно отчеканил Ниагаров. — Потому я и мой кацо, который кунак, мы оба-два желаем на Тыфлыс верхом ехать.

— Помилте-с... Верховых-с лошадок-с не держим-с! А которые граждане интересуются по Военно-Грузинской дороге проехать, обнаковенно на автобусах ездют. Прикажете два билетика-с?

— Эх, вы! Мещане! — бодро сказал Ниагаров. — Никакой в вас романтики нету! Ну да уж все равно. Раз нет

карабахских скакунов, ваяя два билета на автобус. Только чтоб задние места были...

— Ну, дружище, теперь держись! Смотри и удивляйся! — сказал Ниагаров, когда стосильный новенький открытый автобус марки «фиат», наполненный экскурсантами, по удобному шоссе въехал в небольшие горы. — Сейчас ты увидишь Кавказ во всей его величественной красе, полной пленительной романтики и дикой прелести. Сейчас ты увидишь потрясающее Дарьяльское ущелье, где дикий Терек с воем и грохотом, играя, несет по своему кипящему руслу валуны и обломки скал... Ты увидишь сейчас развалины замка на вершине недоступной скалы, где, по преданиям, жила легендарная царица Тамара... Ты увидишь бешеные водопады, ты прочтешь на угрюмых скалах, повисших над пропастью, неизвестно кем выбитые цитаты из знаменитой поэмы легендарного грузинского поэта Шота Руставели. Ты увидишь бродячего певца, пробирающегося по легендарной неприступной горной тропе, который сжимает в смуглых руках потрясающую зурну, с тем чтобы в непосредственной близости к дикому небу воспеть дикую красоту знаменитых девушек Кайшаурской долины... Ты увидишь дикого орла, который, с недоступной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне... Ты, наконец, будешь свидетелем дикого нападения легендарных чеченцев, которые с высоты неприступных скал ринутся вниз, на наш потрясающий караван, кото...

Многие из экскурсантов рыдали.

— Товарищи, — торжественно провозгласил Ниагаров. — Внимание! Сейчас мы въезжаем в упомянутое мною Дарьяльское ущелье. Как видите, слева легендарный непроходимый Терек, а справа, на неприступной скале, знаменитый замок потрясающей царицы Тамары. Прошу снять головные уборы!

Я с жадностью прижал к глазам бинокль и навел его на стены знаменитого и неприступного замка Тамары.

— Ну, дружище, что ты на это скажешь, жалкий филистер и пошлый отрицатель романтики?

— Потрясающее зрелище, — сознался я, содрогаясь и ликуя.

Но в это время машина остановилась, и шофер, закатав штаны, деловито перешел Терек, направляясь к замку Тамары.

— Эй! Кацо! — закричал Ниагаров, бледнея. — Алла верды! Остановись, безумец! Что ты хочешь делать?

— Папирос купить, — флегматично ответил шофер, сплевывая через легендарный Терек. — Тут, в замке Тамары, единственный приличный кооператив, а во всех остальных замках Тамары пока что частники засели, так что, пожалуй, до самой Кайшаурской долины доброкачественной продукции нигде и не достанешь...

— Ну-с, — деловито заметил Ниагаров после напряженного получасового молчания, — ну-с, дружище... Сейчас мы будем проезжать мимо легендарных скал, повисших над пропастью, где выбиты знаменитые цитаты из непревзойденного творения феноменального поэта Шота Руставели. Ба! Вот и цитаты! Хватай бинокль и читай, пользуйся случаем. Не правда ли, незабываемые строфы? Это как раз из первой части легендарной поэмы «Носящий барсову шкуру»². Читай же, читай!..

Я приложил к глазам бинокль, не без труда отыскал среди грязных камней легендарную цитату и прочел ее вслух:

СПЕШИ, ТОВАРИЩ, В СБЕРКАССУ —
ПОЛУЧИШЬ УДОВОЛЬСТВИЙ МАССУ!

Немного повыше было написано красной краской:

ВСЕ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Два часа ехали молча. Вдруг Ниагаров очнулся.

— Н-нута-с! — с деланной бодростью воскликнул он. — Нута-с... Теперь, мой скептический друг, держись. Из-за этого страшного поворота на незащищенных путешественников всегда нападают легендарные разбойники, чеченцы-джигиты, которые...

И действительно, из-за поворота вдруг выскочило несколько туземцев. С громкими криками они бросились к машине.

— Граждане! Приготовьте оружие! — фальцетом закричал Ниагаров, дико вращая торжествующими глазами и пытаясь извлечь из ножен кинжал. — Предлагаю биться до последней капли крови. Алла верды!

— Чего кричишь? — сухо заметил шофер, замедляя машину. — Режут тебя, что ли? Не видишь — люди газетку московскую просят. Матчем между Капабланкой и Алейным очень интересуются. Спрячь ножик...

— Товарищи! — через два с половиной часа встрепенулся Ниагаров. — Смотрите и умиляйтесь! Видите в отдалении черную точку? Это не что иное, как фигура легендарного бродячего певца, местного трубадура, который, пробираясь по неприступной горной тропинке, в непосредственной близости к дикому небу, играет на своей старинной зурне, воспевая в мелодичных стихах дикую красоту популярных красавиц легендарной Кайшаурской долины... Внимание, сейчас мы поравняемся с ним. Шофер, будьте любезны, остановите машину, для того чтобы мы все могли услышать упоительную мелодию и непревзойденные слова, которые...

Машина остановилась. На дороге стоял молодой туземец. В руках он действительно держал туземный музыкальный инструмент и действительно, перебирая струны вышеупомянутого инструмента, пел нечто туземное и элегическое...

— Ага! Что я говорил! — с торжеством воскликнул Ниагаров. — А ты еще, скептик несчастный, не верил в существование высокой романтики!

В эту минуту молодой туземец с силой ударил по струнам инструмента и запел резвым голосом:

Это очень некрасиво —
Нет у нас кооператива.
Кооператива нет, —
Куда смотрит сельсовет?

Разве это не позор,
Что доселе среди гор
Частный прячется хозяйчик,
Бедняков грызет, как зайчик?

— Местный селькор, — пояснил шофер.

— Псевдоним «Красный Шакал», — любезно добавил молодой туземец, с новой силой ударяя по струнам.

— Товарищи! Граждане! Внимание! — хрипло крикнул Ниагаров. — Смотрите, орел летит! Я же вам говорил, а вы не верили! Смотрите, смотрите! Живой, настоящий орел, с отдаленной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне...

Над шоссе с шумом пронесся аэроплан.

Через два часа Ниагаров очнулся от обморока и, поднявшись со дна автобуса, обвел окрестности мутными глазами. Вдруг лицо его оживилось.

— Товарищи! Внимание! — пискнул он. — Шедевр романтической красоты! Слияние Арагвы с Курою. Средневековый легендарный монастырь. Мцыри. Лермонтов... Дикая красота... Мрачный пейзаж... Обратите внимание...

Из-за внезапного поворота в темноте вдруг блеснуло море электрического света. Необыкновенно полновесные, плавные, широкие и солидные воды шумели в шлюзах новой, мощной электростанции. Было светло как днем. И над плотиной возвышалась фигура Ленина.

— ЗАГЭС³, — коротко сказал шофер.

По приезде в Тифлис я выгрузил из автобуса безжизненное тело Ниагарова и на извозчике отвез его в местное отделение Исторического музея, где он в состоянии полного оцепенения находится, вероятно, и посейчас, являясь редким экземпляром вымирающей породы русских романтиков.

1923 — 1927



ВЕЩИ

Жоржик и Шурка вступили в законный брак по страстной взаимной любви в мае месяце. Погода была прекрасная. Торопливо выслушав не слишком длинную поздравительную речь заведующего столом браков, молодые вышли из загса на улицу.

— Теперь куда ж? — спросил долговязый, узкогрудый и смиренный Жоржик, искоса взглянув на Шурку.

Она прижалась к нему, большая, красивая, горячая как печь, щекотнула его ухо веточкой черемухи, вставленной в жидкие волосы, и, страстно раздув нос, шепнула:

— На Сухаревку. Вещи покупать. Куда ж?

— Обзаводиться, стало быть, — глупо улыбаясь, сказал он, поправил на макушке люстриновую кепку с пуговкой, и они пошли.

На Сухаревке гулял пыльный ветер. Прозрачные шарфы тошнотворных анилиновых цветов струились над ларьками в сухом, шелковом воздухе. В музыкальном

ряду, перебивая друг друга, порнографическими голосами кричали граммофоны. Кривое солнце ртутно покачивалось в колеблющемся от ветра зеркале. Зловещие ткани и ди-кой красоты вещи окружили молодых.

На щеках у Шурки выступил разливной румянец. Лоб отсырел. Черемуха выпала из растрепавшихся волос. Глаза стали круглые и пегие. Она схватила Жоржика пылающей рукой за локоть и, закусив толстые потрескавшиеся губы, потащила по рынку.

— Сперва одеяла... — сказала она, задыхаясь, — одеяла сперва...

Оглушенные воплями продавцов, они быстро купили два стеганых, страшно тяжелых, толстых, квадратных одеяла, слишком широких, но недостаточно длинных. Одно — пронзительно-кирпичное, другое — погребально-лиловое.

— Калоши теперь, — пробормотала она, обдавая мужа горячим дыханием. — На красной подкладке... С буквами... Чтобы не сперли...

Они купили калоши. Две пары. На малиновой подкладке. Мужские и дамские. С буквами.

Шуркины глаза подернулись сизой пленкой.

— Полотенце теперь... с петухами... — почти просто-нала она, кладя голову на плечо мужа.

Кроме полотенца с петухами, были куплены также четыре пододеяльника, будильник, отрез бумазеи, волнистое зеркало, коврик с тигром, два красивых стула, сплошь утыканных гвоздями с медными шляпками, и несколько мотков шерсти.

Хотели еще купить железную кровать с шарами и кое-что другое, но не хватило денег.

Они пришли домой, нагруженные вещами. Жоржик нес стулья, подбородком поддерживая скатанные одеяла. Мокрый чуб налип на побелевший лоб. Испарина покрывала разрисованные тонким румянцем щеки. Под глазами лежали фиолетовые тени. Полуоткрытый рот обнажал нездоровые зубы.

Придя в холодную комнату, он блаженно скинул кепку и трудно закашлялся. Она бросила вещи на его холостую постель, оглядела комнату и, в припадке девичьей стыдливости, легонько хлопнула его своей большой, грубой ладонью меж лопаток.

— Ну, ты, не очень тут у меня кашляй, — притворно сердито крикнула она, — а то, гляди, я из тебя живо

чахотку выколочу!.. Определенный факт! — и потерлась тугой щекой об его костлявое плечо.

Вечером пришли гости и был свадебный пир. Гости с уважением осмотрели и потрогали новые вещи, похвалили, чинно выпили две бутылки водки, закусили пирогами, потанцевали под гармонику и вскоре разошлись. Все честь по чести. Даже соседи удивлялись на такую вполне приличную свадьбу, без поножовщины.

По уходе гостей Шурка и Жоржик еще раз полюбовались вещами, затем она аккуратно прикрыла новые стулья газетами, прочее, в том числе и одеяла, уложила в сундук, сверху устроила, буквами вверх, калоши и замкнула на замок.

Среди ночи Шурка проснулась и, мучимая тайными желаниями, разбудила мужа.

— Слышишь, Жоржик... Ну, Жоржик-жа!.. — зашептала она, жарко дыша ему в ключицу. — Проснись! Зря, знаешь, канареечное одеяло не взяли. Канареечное куда интереснее было. Определенный факт. Канареечное надо было брать. И калоши тоже не на той подкладке взяли. Не угадали... На серой подкладке надо было брать. Куда интереснее, как на красной. И кровать с шарами бы... Не рассчитали...

Утром, снарядив и отправив мужа на работу, Шурка, дрожа от нетерпения, побежала на кухню делиться своими брачными впечатлениями с домашними хозяйками. Поговорив для приличия минут пять о слабом здоровье своего супруга, Шурка повела домашних хозяек к себе в комнату, открыла сундук и показала вещи. Вынув одеяла, она со свистом вздохнула:

— Зря все же канареечное не взяли... Не угадали канареечное купить. Эх!.. Не сообразили... И часы с боем... Не сообразили.

И глаза ее стали круглые и пегие.

Все хозяйки очень хвалили вещи, а жена профессора, сердобольная старушка, кроме того, прибавила:

— Все это прекрасно, но только супруг у вас, Шура, весьма нехорошо кашляет. Нам через стену все слышно. Вы бы на это обратили внимание. А то, знаете...

— Ничего, не подохнет, — нарочито грубо огрызнулась Шурка. — А коли подохнет, туда ему и дорога. Нового сыщу.

Но сердце ее вдруг пронизал острый холод.

— Кормить буду. Каклетами. Пускай жрет! — тихо сказала она и страшно надулась.

Супруги насилу дождались следующей полочки. Не теряя времени, они отправились на Сухаревку и купили канареечное одеяло. Кроме канареечного одеяла, были приобретены многие другие необходимые в хозяйстве прекрасные вещи: часы с боем, два отреза бобрика, скрипучая тумбочка в стиле модерн для цветов, мужские и дамские калоши на серой подкладке, шесть метров ватина, непревзойденной красоты большая гипсовая собака-копилка, испещренная черными и золотыми кляксами, байковый платок и кованый сундук лягушачьей расцветки с музыкальным замком.

Придя домой, Шурка аккуратно уложила новые вещи в новый сундук. Музыкальный замок сыграл хроматическую гамму.

Ночью она проснулась и, положив жаркую щеку на потный, холодный лоб мужа, тихонько сказала:

— Жоржик! Ты спишь? Перестань дрыхнуть! Жоржик-жа! Слышишь?.. Там было одно голубенькое. Зря не взяли. Интересное одеяло, безусловно. Вроде атласное.

— Не сообразили, — тревожно прошептал Жоржик спросонья.

Как-то в середине лета Шурка пришла на кухню чрезвычайно веселая.

— Мой-то, — сказала она, разжигая примус, — в отпуск уходит. Всем дали по две недели, а ему — как слабогрудому — полтора месяца, не сойти мне с этого места! С компенсацией. Железную кровать с шарами сейчас пойдем покупать. Определенно.

— Я бы вам посоветовала поместить его лучше в хороший санаторий, — многозначительно заметила профессорская старушка, подставляя под кран решето с дымящейся картошкой. — А то, знаете, поздно будет.

— Ровно ничего с ним не произойдет! — нарочито грубо крикнула Шурка, тыкая в стороны булкообразными локтями. — Я ему тут устрою лучше всякой санатории. Нажарю каклет — пускай жрет, сколько хочет!

Но в душе у нее опять похолодело.

К вечеру они привезли с Сухаревой тачку, нагруженную вещами. Шурка шла за тачкой и, как зачарованная, рассматривала свое воспаленное лицо, круто отраженное в красивых никелевых шарах новой железной кровати. Жоржик, тяжело дыша, едва поспевал за

ней, острым подбородком прижимая к груди небесно-голубое одеяло. Изредка он кашлял. По вдавленному его виску ползла темная капля пота.

Ночью она проснулась. Ей не давали спать разные мысли.

— Жоржик, Жоржик-жа,— быстро зашептала она,— там еще одно осталось, бурдовое... Слышь... зря не взяли... Ох, до чего же оно было интересное!.. Все бурдовое-бурдовое, а подкладка не бурдовая, а в розочку. Интересное одеяло...

В последний раз Жоржика видели утром в будний день поздней осенью. Он косолапо шел по нашему переулку, уткнув длинный, прозрачный, как бы парафиновый нос в наставленный воротник потертой кожаной куртки.

Острые колени его выдавались вперед, и широкий клеш мотался вокруг длинных и костлявых ног. Кепочка сидела на затылке. Чуб висел поперек лба, сырой и темный.

Он шел, покачиваясь, осторожно обходя лужу, боясь промочить худые ботинки, и на бледных его губах играла слабая, виноватая, счастливая и какая-то ужасно милая улыбка.

Затем он слег. Приходил участковый врач. Шурка бегала получать из страхкасы пособие. На Сухаревку пришлось идти одной. Она принесла бордовое одеяло и спрятала его в сундук.

Вскоре Жоржику стало хуже. Выпал первый снег, сырой ноябрьский снег. Воздух туманно посинел. Профессорша пошептала с мужем, и вскоре пришел знакомый доктор. Он осмотрел больного и вышел на кухню мыть руки сулемовым мылом. Шурка стояла заплаканная, вся в чаду, опухшая от слез и жарила на примусе большие черные котлеты с луком.

— Вы с ума сошли!— всплеснула руками профессорша.— Что вы делаете? Вы его убиваете. Разве ему можно есть котлеты, да еще с луком?

— Можно,— сказал доктор сухо, стряхивая в раковину воду с белых своих пальцев.

— Что ему от каклет сделается?— тревожно закричала Шурка, утирая рукавом лицо.— Вот и товарищ доктор подтверждает.

Вечером приходил санитар в ситцевом халате и дезинфицировал общую уборную. В коридоре зловеще запахло карболкой. Ночью Шурка проснулась. Неизъяснимая тоска сосала ей сердце.

— Жоржик! — сказала она нетерпеливым шепотом. — Жоржик! Ну, Жоржик-жа! Проснися! Проснися, я тебе говорю! Жоржик-жа-а-а!..

Жоржик не отвечал. Он был уже совсем холодный. Тогда она спрыгнула на пол и, топая босыми ногами, выбежала в коридор. Был третий час ночи, но в квартире никто не спал. Шурка подбежала к профессорской двери и упала.

— Готов! Готов! — кричала она, холодея от ужаса. — Готов! Истинный бог, готов! Кончился. Жо-о-ор-жы-ы-ык, ой, гражданочка!..

Она стала причитать. Из дверей выглядывали соседи.

Синие зимние звезды, ломаемые морозом, трещали и фосфорились за черными окнами.

Утром кот Мурзик подошел к открытой Шуркиной двери, остановился на пороге, заглянул в комнату, и вдруг вся шерсть его стала дыбом. Он зашипел и попятился назад. А Шурка сидела посреди кухни на прожженном, сальном табурете и, обливаясь слезами, злобно, по-детски обиженно говорила домашним хозяйкам:

— Говорила ему: на, жри каклеты! Не хотел. Вон их сколько осталось! Куды ж мне их теперь девать?.. И на кого же ты меня покинул, нехороший ты какой Жоржы-ы-ык! От меня ушел, и меня с собою не хотел взять, и каклет моих не хотел жрать... Жор-жы-ы-ык!

И она зарыдала.

Через три дня возле нашего дома остановилась площадка, запряженная серой лошадью в белой сетке.

Парадные двери открыли настежь. Всю квартиру прохватил ледяной, свежий сквозняк. Пахнуло острым духом сосны, и Жоржика унесли.

Когда по Жоржику справляли поминки, Шурка была потрясающе весела. Она, не закусывая, выпила полстакана хлебного вина, раскраснелась, слезы полились по ее упругим щекам, и она, притопнув ногой, закричала с надрывом:

— Эй, кто там! Входи веселиться, кто хошь. Всех пушу, только Жоржика одного не пушу! Не схотел он каклет моих жрать, не схотел...

И она ничком упала на кованный сундук лягушачьей раскраски и стала биться головой о музыкальный его замок.

Потом в квартире стало по-прежнему чинно и прилично. Шурка опять поступила в прислуги. Много мужчин

приходило к ней в течение зимы свататься, но она всем отказывала. Она ждала тихого и нежного, а эти все были нахальные и лстивые на большое приданое.

К концу зимы она сильно похудела, стала носить черное шерстяное платье и сделалась еще интереснее.

У нас во дворе работал в гараже один шофер — Ваня. Был он тих, нежен и задумчив. Он сох от любви к Шурке. В мае месяце она влюбилась в него тоже.

Погода была прекрасная. Терпеливо выслушав не слишком длинную поздравительную речь заведующего столом браков, молодые вышли из загса на улицу.

— Теперь куда ж? — застенчиво спросил долговязый и смиренный Ваня, искоса взглянув на Шурку.

Она прижалась к нему, щекотнула его ухо веточкой одуряющей черемухи, вставленной в жидкие волосы, и, раздув ноздри, шепнула:

— На Сухаревку. Вещи покупать. Куда ж?..

И глаза ее вдруг стали круглые и пегие.

1929



ДНЕВНИК ГОРЬКОГО ПЬЯНИЦЫ

Январь, 1935 1, вторник

Голова болит. Руки дрожат. Во рту такой вкус, будто вчера съел несвежую собаку. Абсолютно не в состоянии работать. Нет. Хватит. Довольно. Будет. Черт знает до чего я дошел: товарищам совестно в глаза смотреть. Типичный алкоголик. С моим мягким характером нельзя пить. Другие, бывает, пьют, но знают меру. А я не знаю меры. Не могу остановиться. Вчера, например. Встречали в одной компании Новый год. Все было так прилично. «С новым финансовым годом, с новым промышленным счастьем» и так далее. Выпили рюмку, выпили другую.

Включили радио. Потанцевали. В фанты, представьте себе, играли. Все веселились.

Один я как свинья надрался. От стола не могли оттащить. Конечно, ужасно наскандалил. А чего наскандалил, совершенно не помню. Может быть, дом поджег, может быть, кофточку чью-нибудь салатом оливье обляпал, может быть, в милиции был. Не помню. Нет! Это безобразие пора прекратить! Кончено. С сегодняшнего дня бросаю пить.

Окончательно и бесповоротно бросаю. Трудно будет на первых порах не пить, очень трудно. Особенно с моим мягким, разболтанным характером. Но я твердо надеюсь, что друзья и знакомые меня поддержат в моем трудном начинании. Не может быть, чтобы коллектив допустил, чтобы я погиб от пьянства.

Итак, решено. С верой и надеждой отдаю себя в руки общества. Оно чуткое. Оно внимательное к слабости живого человека. Оно не даст мне окончательно опуститься. Оно поддержит меня. Итак, с Новым годом, с новой трезвой жизнью!

Январь, 1935 7, понедельник

Опять. Это ужасно! Пять дней держался как скала. Капли во рту не было. И вдруг вчера... Нет, нет! Об этом даже страшно вспомнить. Об этом слишком больно писать... Но все равно. Надо иметь гражданское мужество. Пусть щеки мои заливают густая краска стыда. Пусть! Так мне и надо, безвольному, слабому дураку, тряпью, сосульке, шлюпику!.. Честно запишу, как все произошло.

Пошел вчера вечером в гости к Володиным. Маленькая вечеринка. Вхожу в комнату. Надышался свежим морозом. На щеках румянец. Голова светлая, трезвая. Настроение прекрасное. Мысли возвышенные.

За столом сидят друзья, приятели, товарищи.

— Здорово, ребята!

— А! Петруха! Ну, как живешь, старик? А и здорово же ты нализался под Новый год у Корнаковых! И смех и грех. Стул зубами сломал. На балкон без пальто вылазил. Хотел с парашютом прыгать с седьмого этажа, насили у тебя зонтик из рук вырвали. Помнишь?

— Ничего я, товарищи, не помню и вспоминать не

желаю, и не папоминайте, не заставляйте краснеть. Ну, что было, то было. Прошлого не воротишь. А уж на будущее время, будьте уверены, этого не повторится.

— Не повторится? Ну да, рассказывай! Знаем мы тебя, пьяницу!

— Товарищи, нет, теперь уж твердо. Больше ни капли. С того самого дня как отрезало. Бросил! Кончено! Будет! Хватит!

— Да что ты говоришь? С того самого дня ни капли?

— Ни капли.

— Хо-хо! Товарищи, Петруха пить бросил! Прямо анекдот какой-то.

— Так-таки с того самого дня и не пьешь?

— Не пью, товарищи!

— А почему у тебя нос красный?

— С морозу.

— Ха-ха-ха! Ребята! Вы слышите? У Петрухи с морозу нос красный. Сильный мороз, хе-хе, небось градусов сорок? А то и все пятьдесят шесть?

— Товарищи!.. Честное слово!..

— Э, будет врать! Будто мы тебя не знаем, пьяницу такого. Ты лучше, чем нам баки вкручивать, выпей баночку, тогда всякий мороз как рукой снимет.

— Честное слово, товарищи! Мне даже горько это слышать. Вместо того чтобы поддержать своего друга, помочь ему, укрепить его волю...

— Ну, ясно. Небось уже надрался где-нибудь в другом месте и болтаешь всякую чепуху. Людей бы постеснялся. А то ломает из себя святого: «не пью» да «не пью», а у самого изо рта, как из винной бочки... Пей, не разговаривай! Раз-раз — и готово!

Стакан чайный налили и хлопают в ладоши, галдят хором:

— Пей до дна, пей до дна, пей до дна!

Человек — не камень. Тем более обида такая. Никакого доверия. Ну, я конечно... Эх, да что там говорить! Вспомнить страшно. И вот теперь опять в голове такое делается... Ну, да ничего. Теперь я знаю, что мне надо делать. Не маленький. Перестану ходить в компании, где хоть капля алкоголя на столе. Буду ходить только в совершенно трезвые дома. Пойду, например, под выходной к Сержантовым. Приглашали. Хорошая семья. Культурная. Безалкогольная. В домино поиграем, чайку попьем. Авось и встану на ноги.

Январь, 1935 13, воскресенье

Ну его к черту! Голову поднять не в состоянии. Прихожу к Сержантовым. Сидят, пьют чай с вареньем и с пастилой. Колбаса, масло. Выпивки ни малейшей. Дочка Катя на пианино играет «Забыть тебя, забыть весь мир».

Только что вхожу, начинается паника. Зовут домработницу:

— Любка! Скорей! Петухов пришел. Сыпьте в «Гас-троном», понимаете?

— Как не понять? Понимаю. Литровку, что ли? Или полторы?

— Товарищи, говорю, в чем дело? Зачем паника? Любочка, можете снять платок и никуда не ходить. Я совершенно ничего не пью. Бросил.

— Нет, нет! Что вы? Как можно? Раз вы привыкли... мы, конечно, сами не пьем, у нас этого нету, но поскольку вы пьющий...

— Я не пьющий.

— Ой, уморил! Ой, не пьющий! А под прошлый выходной у Володиных, помните?

— Ничего я не помню. И не напоминайте. Что было, то было, а теперь — баста!

— Хе-хе!.. Чудак человек! Чего стесняетесь? Быль молодцу — не укор. Любка, скорее, а то закроют!

Приносит Любка водку, ставит передо мной на стол, и все смотрят на меня выжидающими глазами. Я сижу, чай прихлебываю и ни-ни.

— Выпейте, Петухов! Не мучьте себя! Ведь хочется, небось?

— Не хочется.

— Нет, хочется. По глазам видно. Небось, еще после вчерашнего не опохмелился?

— Я вчера ничего не пил.

— Да будет вам! Вы ж известный... любитель этого. Каждый день пьете. Втянулись уже.

— Я не пью. Я не втянулся. Я не любитель. Я хочу тихого, культурного, трезвого общества. И вот я пришел к вам. А вы меня спаиваете. Небось, сами не пьете?

— Чудак человек! Чего ж вы волнуетесь? Ну, мы, действительно, не пьем. Так что ж из этого. А вы пейте. Не смотрите на нас и пейте себе на здоровычко.

— Не буду пить.

— Ай, ай, ай! Мы для вас специально работницу

в лавку посылали, а вы не хотите выпить. Не хорошо! Тем более если бы вы были непьющий, а то ведь все знают, что пьющий... и даже очень... Смотрите, какая симпатичная бутылочка. Так на вас и глядит. Один стаканчик. Вот я вам наливаю. Видите, какая холодненькая. Ну, раз-раз, и огонь по телу.

— Вы настаиваете? — спрашиваю я мрачно.

— Господи! Конечно, — радостным хором восклицает трезвая семья Сержантовых. — Не только настаиваем, но даже, так сказать, умоляем. А то вы нас обидите.

А Катя перестает играть «Забыть тебя, забыть весь мир», смотрит на меня ангельскими голубыми глазками и говорит, надув губки, красные, как ягодки:

— Ведь вы не хотите меня обидеть, Петухов?

— Ах, так! Хорошо! В таком случае за ваше здоровье. Ура!

Ну уж, и надрался я у трезвых Сержантовых, будь они трижды прокляты! Что было, точно не помню, вероятно, нечто неопишное, безобразное, потому что сам Сержантов со мной не разговаривает, а Катя вернула мне письма и попросила выбросить из головы всякие фантазии насчет нашего взаимного счастья: «Я, говорит, ни за что не пойду за алкоголика».

Ох, как голова трещит! Как болит сердце! Но я не сдаюсь. Спорт! Только спорт спасет меня. Буду ходить на каток.

Январь, 1935 23, среда

Кончено. Не могу встать с постели. Что-то ужасное. Опять придется не идти на службу. Вероятно, меня скоро выгонят. Так мне и надо, пьянице!

Пошел вчера на каток. Какое упоение! Катаюсь я, правда, неважно. Но это не беда. Похожу месяц, другой — и научусь.

Покатался часа два, иду домой по улице. Впереди — две знакомые девушки с коньками в руках. Они меня не видят и разговаривают. Прислушиваюсь. Про меня.

— Видела на катке Петухова?

— Как же, как же! Пьян, как зюзя! Ноги скользят, каждую минуту падает, нос красный, щеки красные, уши красные. И смешно и жалко.

— Ничего не поделаешь. Наследственный алкоголизм. Куда смотрят, интересно, его близкие, друзья, товарищи. Хоть бы повлияли на него.

— Ну уж, на такого не очень повлияешь. Думаешь, не влияли? Неисправимый тип. Рюмки равнодушно не может видеть. Пропадающая душа.

Ах так?

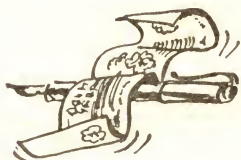
Я дошел до первой попавшейся пивной и... что было! Что было! И... дальше ничего не помню...

Ох, как мне гадко, как мне плохо!

Товарищи, друзья мои, добрые знакомые, общественность! Спасите меня, поддержите!

Ау-у-у-у!..

1935



КРИТИКА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

— Вы редактор?

— Я.

— Редактируете?

— Редактирую.

Посетитель присел к редакторскому столу, с благоговением положил локти на корректуру и долго смотрел на редактора детскими голубыми восторженными глазами.

Наконец он воскликнул:

— Прямо удивительно!!

— Что удивительно?

— Удивительно, до чего у вас это самое ловко получается. Другой редактирует, редактирует, а ни черта не выходит. А у вас — прямо-таки замечательный журнал.

— Ну уж, и замечательный, — застенчиво пробормотал редактор. — Журнал как журнал.

— Нет! Именно замечательный! — с жаром воскликнул посетитель. — Не отпирайтесь. Верите ли, это мое самое любимое чтение. У нас дома его все буквально запоем читают. И жена, и бабушка, и домашняя работница, и детишки.

— Ну что вы! Зачем же детишкам и бабушке читать запоем «Вестник кооперативной товаропроводящей сети»?

— А вот представьте себе! Культурная бабушка. Не по летам развитые малютки. Вы недооцениваете значения

вашего прекрасного органа. Мы его четвертый год выпи-сываем.

— Помилуйте, да он существует всего три месяца!

— Тем более. При столь высоком качестве каждый ме-сяц можно смело считать за год. Впрочем, не будем откло-няться. Мне нужно с вами поговорить. Я буду краток. Два слова.

Посетитель суетливо вскочил, глаза у него утомленно сверкнули, и он заговорил граммофонным голосом:

— Идя навстречу все более и более растущим потреб-ностям, наша организация, не щадя затрат, решила орга-низовать специальный институт для обработки обществен-ного мнения и создания прочных литературных репута-ций. Нет больше плохих журналов! Нет больше слабых писателей! Нет больше скучных романов! Если у вас на-блюдается острый упадок таланта, хроническое идейное заикание, стилистическое бессилие, вялый язык и полити-ческая близорукость, не впадайте в отчаяние. Вам стоит только позвонить по телефону пять — шестьдесят два — пятьдесят один (Москва, Пушечная улица, дом номер пять) в наш всемирно известный Критико-библиографиче-ский научно-исследовательский институт, и мы немедлен-но вышлем опытного агента для подписания договора на систематическое обслуживание вашего многоуважаемого журнала недорогой, снисходительной, изящной, авторитет-ной критикой, которая в течение нескольких месяцев вос-становит в глазах советской общественности вашу пошат-нувшуюся репутацию, создаст вам широкий круг поклон-ников и навсегда избавит от необходимости утомительной самокритики.

Институт может подвергнуть критическому анализу ваш журнал за все время его существования и даже за первый квартал текущего года.

Институт может на основе критического анализа дать сжатую статью и в течение тридцати дней опубликовать ее или по вашему указанию в руководящих органах печати, или в своем журнале «За большевистскую кри-тику».

Институт гарантирует вам свое участие во всех обще-ственных мероприятиях, связанных с оценкой журнала (докладчики, подбор рецензий и прочее).

Институт обязуется, если в печати появятся отзывы, не совпадающие с оценкой института, бесплатно подверг-нуть материал вторичному анализу.

Цены умеренные.

Один авторский лист журнала	20 рублей.
Два » » »	40 рублей.
Три » » »	60 рублей.

Энциклопедиям, многотомникам, крупным научным трудам и прочим оптовым покупателям скидка.

Институтом привлечен обширный штат опытных рецензентов как по общим, так и специальным вопросам литературы, науки, искусства и спорта.

Восторженные рецензии обеспечены. Масса благодарностей. Тайна гарантируется...

Посетитель вытер вспотевший лоб и положил на стол договор.

— Подписывайте — и репутация вашего журнала обеспечена. Ну?

— Знаете ли, — замялся редактор, — журнал у нас новый, денег мало... Мы не можем.

— Не можете? — злоеце спросил посетитель. — Хорошо-с. Увидим.

— Что же мы увидим? — ужаснулся редактор.

— Увидим, как ваш журнал погибнет в пучине общего молчания и равнодушия. Честь имею кланяться.

— Подождите! — крикнул надтреснутым голосом редактор. — Не уходите! Один вопрос. Вы, кажется, сказали, что вы можете за небольшое вознаграждение дать сжатую статейку в любой руководящий орган советской печати по нашему указанию?

— Можем. А что?

— В таком случае вот вам двадцать рублей, и будьте любезны, напечатайте в ближайшем номере газеты сжатую статейку о том, как работает ваш институт.

1935

КОММЕНТАРИИ¹

М. Горький

Горький Максим (настоящие имя и фамилия Алексей Максимович Пешков, 1868—1936) — основоположник литературы социалистического реализма, крупный общественный деятель, активный участник строительства социалистической культуры, организатор и председатель Первого всесоюзного съезда советских писателей. Родился в Нижнем Новгороде. Печататься начал с 1892 г. (рассказ «Макар Чудра»). Сатирический талант ярко проявился в фельетонах, публиковавшихся под псевдонимом «Иегудиил Хламида» в «Самарской газете» (1895—1896); «Заметках о мещанстве» (1905), «Афоризмах и максимах» (1905); аллегорических сказках 1905—1906 гг. «О сером», «Еще о черте», «Мудрец», «Собака», циклах памфлетов «Об Америке» (1906) и «Мои интервью» (1906); «Русских сказках» (1912—1917) и др.

Рассказы печатаются по изданию: Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1949—1956. Тт. 14, 15, 17. Первые публикации: Яшка — «Северное сияние». 1919 № 1—2. Янв.—февр. Енблема — «Огонек». 1926. № 35 (179) (центральный образ имел реальный прототип, о котором Горький 5 февраля 1928 г. писал С. Н. Сергееву-Ценскому: «Там, в книжке у меня есть рассказишко „Енблема“, — купец — тульский фабрикант самоваров Баташов. Сергей Николаевич, ей-богу, это блестящая идея: отправить богиню справедливости в сумасшедший дом». — Горький М. Собр. соч. Т. 15. С. 428—429). Факты — «Чудак». 1928. № 1 (под псевдонимом «Самокритик Слово-теков»).

¹ «...Херувимы с серафимами осанну поют...». Херувимы, серафимы — ангелы высших чинов в христианской небесной канцелярии. «Осанна» (др.-евр.) — хвалебный возглас в христианском и иудейском богослужении.

² «Варвара Великомученица пред Пантелеймоном Целителем кровавыми ранами хвастает, Екатерина Иоанну Воину о своих муках рассказывает...». Речь идет о христианских святых. Днем Варвары Великомученицы считается 4 декабря ст. ст., Пантелеймона Великомученика и Целителя — 27 июня ст. ст., Екатерины Великомученицы — 24 ноября ст. ст.

³ «...Звенят бандаж под ударами молотка...». Бандаж — металлическое кольцо или пояс, надеваемый на части машин или конструкции для увеличения их прочности.

⁴ «...Мне бы — термидорчик!». Термидорианский переворот — контрреволюционный переворот 27/28 июля 1794 г. во Франции, приведший к падению революционно-демократической якобинской диктатуры.

¹ В связи с отсутствием точных сведений о годе создания каждого из помещенных в сборнике произведений, под текстом и в комментариях указываются год создания (если это известно), год первой публикации или год издания, по которому печатается данное произведение.

Вяч. Шишков

Шишков Вячеслав Яковлевич (1873—1945) родился в г. Бежецке Тверской губернии в купеческой семье, окончил Вышневолоцкое училище кондукторов путей сообщения, с 1894 по 1915 г. исследовал реки и сухопутные дороги Сибири. Как писатель дебютировал в 1908 г. (символическая сказка «Кедр» в газете «Сибирская жизнь»). Автор повестей «Тайга» (1916), «Страшный кам» (1922), «Пейпус-озеро» (1925) и др., романов «Ватага» (1924), «Угрюм-река» (1933), «Емельян Пугачев» (1938—1945). Юмористические рассказы составляют сборники «Спектакль в селе Огрызове» (1924), «Торжество» (1924), «Шутейные рассказы» (1935) и др.

Рассказы печатаются по: Шишков В. Я. Полн. собр. соч.: В 12 т. М.; Л., 1926—1929. Тт. VII, VIII, IX, X. Первые публикации: *Спектакль в селе Огрызове* — «Красная новь». 1923. № 5. *Зубодерка* — «Дрезина». 1923. № 7. *В парикмахерской* — «Красный ворон». 1923. № 37. *Смерть Тарелкина* — «Прожектор». 1923. № 12. *Редактор* — «Бегемот». 1926. № 14 (под названием «Цензура»). *Режим экономии* — «Бегемот». 1926. № 24. *Усекновение* — в кн.: Шишков Вяч. Бисерная рожка. М.; Л., 1927 (Б-ка сатиры и юмора).

¹ *Ходынок* называли в народе катастрофу на Ходынском поле в Москве 30 мая 1896 г. во время народного гулянья в дни коронации Николая II, повлекшую большие человеческие жертвы.

² «...*Хожение преподобной Феодоры по мукам*» — фрагмент из жития, повествующего о пребывании св. Феодоры на том свете.

³ «...*Смерть Тарелкина*...», *пьесу-то, помнишь?*» Комедия «Смерть Тарелкина» (1869) А. В. Сухова-Кобылина (1817—1903) завершает его драматургическую трилогию (1-я пьеса — комедия «Свадьба Кречинского», 1855; 2-я — драма «Дело», 1856—1861).

⁴ *Гришка Распутин* — Григорий Ефимович Распутин (Новых) (1865—1916), фаворит императора Николая II и его жены Александры Федоровны, авантюрист.

М. Зощенко

Зощенко Михаил Михайлович (1894—1958) родился в Петербурге в семье художника-передвижника, в 1913 г. окончил гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1914 г. ушел добровольцем на войну, в 1918 г. вступил в Красную Армию. После демобилизации сменил множество профессий — работал агентом уголовного розыска, актером, сапожником, счетоводом и т. д. Публиковаться начал в 1921 г. Первая книга — «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова» (1922). В 20—30-е годы активно сотрудничал в сатирических журналах «Мухомор», «Бегемот», «Бузотер», «Крокодил», «Смехач» и др. Автор около 10 сборников юмористических рассказов («Разночтык», «Аристократка», «Обезьяний язык», «Над кем смеетесь?» и др.), цикла новелл «Голубая книга» (1934—1935), повестей «Мишель Синягин» (1930), «Возвращенная молодость» (1933), «Перед восходом солнца» (ч. 1, 1943; ч. 2

под названием «Повесть о разуме» опубликована в 1972 г.) и других произведений.

Рассказы печатаются по: Зощенко М. М. Собр. соч.: В 3 т. Л., 1986. Тт. 1, 2. Первые публикации: Аристократка — «Красный ворон». 1923. № 42 (печатался также под названием «Рассказ о том, как Семен Семенович в аристократку влюбился»). Собачий нюх — «Смехач». 1924. № 1 (печатался также под названием «Рассказ о собаке и собачьим нюхе»). Хозрасчет — «Дрезина». 1924. № 16 (1) (под названием «Жертва времени»). Случай в провинции — «Ленинград». 1924. № 21. Обезьяний язык — Зощенко М. Обезьяний язык: Юмористические рассказы. М., 1925 (Б-ка «Огонек». № 3). Баня — «Бегемот». 1925. № 10. Стакан — «Смехач». 1925. № 27. Муж — «Смехач». 1925. № 33 (публиковался также под названием «На семейном фронте»). Нервные люди — «Бегемот». 1925. № 47. Сильное средство — «Бегемот». 1925. № 48 (подпись: М. З.). Протекция — «Бегемот». 1926. № 21 (подпись: М. З.). Режим экономии — «Бегемот». 1926. № 22 (под названием «Худол»). Кинодрама — «Бегемот». 1926. № 24. Монтер — «Бегемот». 1926. № 43 (под названием «Сложный механизм», публиковался также под названием «Театральный механизм»). Мещанский уклон — «Смехач». 1926. № 46 (публиковался также под названием «Мещане»). Лимонад — «Бегемот». 1926. № 47. Гости — «Бегемот». 1927. № 1. Колпак — «Пушка». 1927. № 37. Закорючка — «Бегемот». 1927. № 48 (под названием «Легкая жизнь»). Терпеть можно — «Ревизор». 1929. № 5. Землетрясение — «Ревизор». 1929. № 28. История болезни — «Крокодил», 1936. № 28 (публиковался также под названием «История моей болезни»).

М. Булгаков

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940) родился в Киеве в семье профессора духовной академии. В 1916 г. окончил медицинский факультет Киевского университета, добровольно пошел на фронт, вскоре был направлен на врачебную работу. Литературную деятельность начал в 1920 г. В 1924—1926 гг. активно сотрудничал в московской газете «Гудок». В 1925 г. были опубликованы сборник сатирических рассказов «Дьяволиада» и роман «Белая гвардия» (частично). Созданная по мотивам романа пьеса «Дни Турбиных» поставлена во МХАТе в 1926 г. Автор пьес «Зойкина квартира» (1925), «Бег» (1926—1928), «Кабала святош» («Мольер», 1930—1936), «Последние дни» («Пушкин», 1934—1935) и др., романов «Театральный роман» (1936—1937), «Мастер и Маргарита» (1929—1940).

Рассказы «Торговый дом на колесах» (впервые — «Гудок». 1924. 15 июня) и «Тайна несгораемого шкафа» печатаются по: Булгаков М. Самоцветный быт. М. 1985. Рассказ «Похождения Чичикова», имеющий подзаголовок «Поэма в 2-х пунктах с прологом и эпилогом», — по: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1925.

¹ «...Около пятисот апельсинов капиталу». В начале 1920-х годов, до денежной реформы, установившей твер-

дый курс рубля, катастрофически обесценивавшиеся денежные знаки суммой в 1 млн называли в народе «лимонами», в 1 млрд — «апельсинами».

В. Лебедев-Кумач

Лебедев-Кумач (настоящая фамилия Лебедев) Василий Иванович (1898—1949) родился в Москве в семье сапожника. Публиковаться начал с 1916 г. В 1919—1921 гг., работая в Бюро печати управления Реввоенсовета, писал рассказы, фельетоны, частушки. Одновременно учился на историко-филологическом факультете Московского университета. С 1922 г. сотрудничал в московских газетах, позднее — в журнале «Крокодил». За 12 лет работы в этом журнале создал много фельетонов, юмористических рассказов, пародий, вошедших в сборники «Со всех волостей» (1926), «Людишки и делишки» (1927) и др. В 30-е годы написал тексты песен к кинокомедиям «Веселые ребята», «Цирк» и др. В годы Великой Отечественной войны служил в военно-морском флоте и создал много песен и стихов на патриотическую тему («Священная война», 1941; сборник «Споём, товарищи, споём!», 1941, и др.).

Рассказы «Защитный цвет», «Гражданский долг» и «Два друга» печатаются по: Лебедев (Кумач) Вас. Защитный цвет. Л., 1926. Рассказ «Слава и конец Паклина» — по: Лебедев (Кумач) Вас. Чаинки в блюде. М.; Л., 1926. Рассказы «Инкогнида», «Деликатная профессия», «Винтик», «Случай с изобретателем», «Стенгазета помогла», «Мученик идеи», «Деревенский рассказ» — по: Лебедев (Кумач) Вас. Печальные улыбки. М., 1927.

¹ «...Эррио французский». Э. Эррио (1872—1957) — французский политический и государственный деятель. В 1924 г. правительство Эррио установило дипломатические отношения с СССР.

² «...С разными Кир, Баш, Нем и Татреспубликами». Кир — вероятно, Киргизская АССР, входившая в состав РСФСР до 5 декабря 1936 г., когда она была преобразована в союзную республику. Баш и Тат — Башкирская АССР и Татарская АССР в составе РСФСР. Нем — преобразованная в АССР в 1924 г. Трудовая коммуна немцев Поволжья.

³ Эр-Ка-И (см. также Рабкрин, РКИ) — Рабоче-крестьянская инспекция, контрольный орган государственной власти. Создана в 1920 г., ликвидирована в 1934 г.

Л. Никулин

Никулин Лев Вениаминович (1891—1967) родился в Житомире в семье артиста, в 1911—1918 гг. (с перерывами) учился в Московском коммерческом институте и одновременно сотрудничал в газетах и сатирических журналах. Автор революционно-приключенческих романов «Никаких случайностей» (1924) и «Тайна сейфа» (1925), автобиографического романа «Время, пространство, движение» (кн. 1—2, 1931—1932), исторического полотна «Россия верные сыны» (1950), романов «Московские зори» (кн. 1—2, 1954—1958), «Трус

(1960), «С новым счастьем» (1961) и др., путевых очерков и других произведений.

Рассказы печатаются по: Никулин Л. Вторая Мещанская: Юмористические рассказы. М., 1925.

Б. Самсонов

Самсонов Борис Григорьевич (1888—1933) родился в Москве, участвовал в гражданской войне, коммунист с 1919 г. Начав в 1923 г. сотрудничать в журнале «Красный перец», выпустил в 20-е годы несколько сборников сатирико-юмористических рассказов: «Заметки беспокойного» (1925), «Записки товарища Баррикадова» (1927), «Мышинный писк» (1927), «В стоячей воде» (1927) и др.

Рассказы печатаются по: Самсонов Б. Критический слушай в Запуньске. М.; Л., 1928.

С. Заяицкий

Заяицкий Сергей Сергеевич (1893—1930) родился в Москве в семье врача, окончил философское отделение Московского университета. Печататься начал в 1914 г., опубликовав анонимный сборник «Стихотворения». Как прозаик дебютировал в 1922 г. рассказом «Деревянные домики». Является автором романа-пародии «Красавица с острова Люлю» (1926), нескольких пьес для детей («Робин Гуд — лесной работник», «Стрелок Телль» и др.), ряда приключенческих повестей и других произведений.

Рассказ «Любопытные сюжетцы» печатается по: Заяицкий С. Баклажаны. М., 1927.

М. Козырев

Козырев Михаил Яковлевич (1892—1942) родился в г. Лихославле Тверской губернии в крестьянской семье. Окончил Политехнический институт. В 1909 г. дебютировал стихами. Сменил множество профессий — работал бухгалтером, преподавателем, заведовал типографией и т. д. В начале 20-х годов становится профессиональным писателем, в поисках стиля тяготеет к приемам Гоголя, Щедрина, отчасти Гофмана. Автор романов «Неуловимый враг» (1923) и «Подземные воды» (1928), авантюрной повести «Мистер Бридж» (1925), сборника сатирико-юмористических рассказов «Муравейник» (1926) и др.

Рассказы печатаются по: Козырев М. Собр. соч. Т. III. М., 1928.

М. Волков

Волков Михаил Иванович (1886—1946) родился в селе Снятино Тверской губернии в крестьянской семье. Закончив сельскую школу, отправился в Москву, был певчим, мелким служащим, конторщиком. Первый рассказ — «Сказ о мушке Акиме» — появился в журнале «Гудки» (1919); в 1920—1922 гг. заведовал литературным отделом Московского пролеткульта. В 20-е годы вышло несколько сборников сатирико-юмористических рассказов на крестьянские темы: «За-

диристые рассказы» (1925), «Закавыка» (1925), «Дубье» (1925), «Байки Антропа из Лисьих гор» (кн. 1, 1926; кн. 2, 1927).

Рассказы печатаются по: Волков Мих. Задиристые рассказы. М.; Л., 1925.

¹ «...Филистимляне нечестивые...». Филистимляне — один из древних народов. Занимали южную часть приморского района Палестины.

² «Никола» — православный христианский праздник. Различались Никола зимний (6 октября ст. ст.) и Никола летний (9 мая ст. ст.).

³ «Фролов день, Егорьев день» — праздники православного церковного календаря. Фролов день приходится на 18 августа ст. ст.; Егорьев (или Юрьев) день — на 23 апреля ст. ст. (весенний Егорьев день) и 26 ноября ст. ст. (осенний Егорьев день).

⁴ «...А я руки „фертом“, ногу „людем“, бороду „глаголем“». Ферт, люди, глаголь — буквы церковнославянского алфавита.

П. Романов

Романов Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) родился в селе Петровском Тульской губернии в семье мелкого чиновника, после выхода в отставку купившего небольшой надел земли. Позднее писатель вспоминал об этих годах: «Жили очень бедно, отец сам часто пахал землю, пас коров, это же лет с десяти-одиннадцати делал и я» (Романов П. Детство. С. 3). Окончив гимназию в Туле, П. Романов поступил на юридический факультет Московского университета, но через полгода бросил занятия и вернулся в родные места, где служил в банке, работал в системе народного образования и т. д.; в 1918 г. уехал в Москву. Первый рассказ — «Отец Федор» — опубликован в «Русской мысли» в 1911 г. Сотрудничал в журналах «Красная новь», «Новый мир» и др. В 20—30-е годы увидели свет многие юмористические рассказы, автобиографическая повесть «Детство» (1924), роман «Русь» (ч. 1—5, 1922—1936).

Рассказы «Инструкция», «Крепкие первые», «Художники», «Хороший начальник», «Степа», «Машинка», «Паника» печатаются по: Романов П. Избранное. М., 1939. Рассказы «Кулаки», «Стихийное бедствие», «Экономия» — по: Романов П. Детство: Повесть и рассказы. Тула, 1986.

¹ «...Проезжавшему мимо сада прасолу...». Прасол — скупщик мяса и рыбы или гуртовщик, торговец скотом.

А. Зорич

Зорич (настоящие имя и фамилия Локоть Василий Тимофеевич, 1899—1937) родился в г. Борзне Черниговской губернии в семье преподавателя гимназии. В 1918 г. окончил гимназию, с 1919 г. начал печататься в черниговской газете «Красное знамя». Переехав в 1922 г. в Москву, до 1928 г. работал в бюро расследований газеты «Правда» под руководством М. И. Ульяновой, затем как фельетонист. В 1932—1937 гг. — ведущий фельетонист «Известий». Первые

сборники сатирических рассказов — «Глушь», «О зонтиках, рапирах и прочем», «О цветной капусте» — вышли в 1925 г. В 30-е годы опубликованы сборники «Русская душа» (1930), «Рассказы» (1933), «Простой случай» (1934), книги путевых очерков и другие произведения.

Рассказ «Вендетта» печатается по: Зорич А. Глушь. М.; Л., 1925. Рассказы «Пила», «Товарищ из центра» — по: Зорич А. Избранные рассказы. М., 1932.

¹ «В... молитве св. Власию...». Власий — покровитель животных, священномученик, его день отмечается 11 февраля ст. ст.

² «...Чтение „Русского паломника“ отца Иоанна Кронштадтского за 1884 год». Сергеев И. И. (Иоанн Кронштадтский, 1829—1908) — священник Кронштадтского собора, почетный член монархической, черносотенной организации «Союз русского народа», мракобес, имел репутацию провидца и предсказателя.

М. Кольцов

Кольцов (настоящая фамилия Фридлянд) Михаил Ефимович (1898—1940) родился в Киеве в семье ремесленника. Окончив реальное училище, в 1915 г. поступил в Психоневрологический институт в Петрограде. Летом 1920 г. переехал в Москву и начал работать в отделе печати Наркоминдела. С 1922 г. — постоянный сотрудник «Правды». В поисках материала для будущих фельетонов и очерков много ездил по Советскому Союзу и странам Европы. Автор книг очерков «Сотворение мира» (1928), «Хочу летать» (1931), «Испанская война» (1933), «Испанский дневник» (1938) и др., множества фельетонов, сатирического цикла «Иван Вадимович — человек на уровне» (1933). Был редактором журналов «Огонек», «Чудак» и «Крокодил», организатором Журнально-газетного издательства.

Фельетоны печатаются по: Кольцов М. Избр. произв.: В 3 т. М., 1957. Т. 1.

¹ «...Лесничий сообщил по куреням». Курень — соломенный шалаш, барак.

² РИК — районный исполнительный комитет.

³ ГОМЗ — Государственный оптико-механический завод.

⁴ ОГПУ (см. также ГПУ) — Органы государственного политического управления.

⁵ «Мы их халдеями называли». Халдеи — древние семитские скотоводческие племена, жившие в 1-м тыс. до н. э. на окраинах Вавилонии (на северо-западном берегу Персидского залива).

⁶ «...По катехизису всегда первым был... это... сочинение митрополита Филарета». Катехизис — краткое изложение христианского вероучения в вопросах и ответах, никакого отношения к митрополиту московскому (в 1825—1867 гг.) Филарету не имеет.

А. Платонов

Платонов (настоящая фамилия Климентьев) Андрей Платонович (1889—1951) родился в Воронеже в семье слесаря-железнодорожника. Окончил Воронежский политехнический

институт (1924), в 1923—1926 гг. работал инженером. В 1922 г. издал сборник стихов, затем опубликовал несколько научно-фантастических рассказов («Лунная бомба» и др.). В 1928—1929 гг. вышли сборники рассказов «Епифанские шлюзы», «Сокровенный человек», повесть «Происхождение мастера» и др. В 30-е годы создал повести «Котлован», «Ювенильное море», «Джан», «Река Потудань» и др.

Рассказ «Мусорный ветер» печатается по: Платонов А. Избранное. М., 1966.

¹ «...Она опасней Версальского договора». Версальский мирный договор 1919 г. — договор, официально завершивший первую мировую войну. В. И. Ленин указывал, что Версальский договор — «договор хищников и разбойников» (Полн. собр. соч. Т. 41. С. 352).

² «...Адольф Розенберг мыслит лишь бессмысленное...». Розенберг Альфред (1891—1946) — один из главных военных преступников фашистской Германии. Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге.

³ Штальгеймы — члены военизированной немецкой группировки «Стальной шлем».

И. Ильф, Е. Петров

Ильф Илья (настоящие имя и фамилия Илья Арнольдович Файнзильтберг, 1897—1937) родился в Одессе, в семье банковского служащего, в 1913 г. окончил техническую школу. В 1923 г. переехал в Москву, начал работать в газете «Гудок», печатался в юмористических журналах.

Петров Евгений (настоящие имя и фамилия Евгений Петрович Катаев, 1903—1942) родился в Одессе в семье учителя, в 1920 г. закончил классическую гимназию. Дебютировал как фельетонист в 1922 г. В 1923 г. переехал в Москву, сотрудничал в сатирическом журнале «Красный перец», печатал фельетоны в газетах «Комсомольская правда», «Гудок».

Встреча Ильфа и Петрова произошла в редакции «Гудка» в 1925 г. Первое совместное произведение — роман «Двенадцать стульев» — вышло в 1928 г. (журн. «30 дней», № 1—7), в этом же году опубликована повесть «Светлая личность». В 1931 г. увидел свет второй сатирический роман — «Золотой теленок». С 1932 г. Ильф и Петров постоянно сотрудничают в «Правде», печатаются в «Литературной газете», «Советском искусстве» и др. В 20—30-е годы писатели выпустили несколько сборников сатирико-юмористических рассказов: «1001 день, или Новая Шехерезада» (1929), «Как создавался Робинзон» (1935) и др.

Рассказы печатаются по: Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 3. Первые публикации: Бронированное место — «Крокодил». 1932. № 24 (подпись: Ф. Толстоевский). Литературный трамвай — «Литературная газета». 1932. 11 авг. (под рубрикой «Уголок изящной словесности», подпись: Холодный философ. Рассказ явился откликом на постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций»). Саванарыло — «Литературная газета». 1932. 23 окт. (под рубрикой «Уголок

изящной словесности», подпись: Холодный философ). Как создавался Робинзон — «Правда». 1932. 23 окт. (с подзаголовком «Рассказ»). Веселящаяся единица — «Правда». 1932. 12 нояб. КЛООП — «Правда». 1932. 9 дек. (По поводу фельетона в «Правду» в адрес Ильфа и Петрова поступали письма читателей с просьбой разъяснить его содержание. Критика отмечала: «Беда не только в том, что многие читатели не поняли фельетона. Ошибка авторов — ошибка литературного приема. Фельетон разработан так, что типическое исключение звучит как типическое правило». — Эрлих А. Разгром равнодушных // Худ. литература. 1933. № 5. С. 16). Директивный бантик — «Правда». 1934. 19 марта (фельетон дал название сборнику рассказов и фельетонов Ильфа и Петрова). Костяная нога — «Правда». 1934. 19 мая. Разговоры за чайным столом — «Правда». 1934. 21 мая (Рассказ явился откликом на постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. «О структуре начальной и средней школы в СССР», «О преподавании гражданской истории в школах СССР» и «О преподавании географии в начальной и средней школе СССР»). Дневная гостиница — «Правда». 1934. 21 окт. Собачий холод — «Правда». 1935. 9 янв. На купоросном фронте — «Правда». 1935. 17 янв. Широкий размах — «Правда». 1935. 12 апр. Колумб причаливает к берегу — «Крокодил». 1936. № 20 (Рассказ был создан во время путешествия по Америке. В письме к жене от 25 октября 1935 г. Ильф сообщал: «Написали фельетон для американского журнала, довольно смешной. Называется он „Колумб причаливает к берегу“». — Письмо хранится у М. Н. Ильфа). Журналист Ошейников — «Литературная газета». 1937. 10 мая.

¹ «...Вроде „Соти“... вроде „Мадам Бовари“». «Соть» (1930) — роман Л. М. Леонова. «Мадам Бовари» — роман Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1857).

² ГОМЭЦ — Государственный отдел московских эстрады и цирка.

³ ГИХЛ — Государственное издательство художественной литературы.

⁴ ЗРК — закрытый рабочий кооператив.

⁵ «...Лучшим другом эфиопского негуса Селассие...». Хайле Селассие I — император Эфиопии, коронован в ноябре 1930 г., низложен 12 сентября 1974 г. В мае 1974 г. упразднен пост монарха.

А. Бухов

Бухов Аркадий Сергеевич (1889—1944) родился в г. Уфе в семье железнодорожного служащего, учился на юридическом факультете Петербургского университета. С 1906 г. печатался в журналах «Солнце России», «Стрекоза», с 1908 г. вместе с Арк. Аверченко и Н. Тэффи — в «Сатириконе», позднее в «Новом Сатириконе». Первая книга — «Критические штрихи» (1909). В 1910-е годы опубликованы сборники «Пять миниатюр» (1914), «Жуки на булавках» (1915), «Точка зрения» (1916). В 20-е годы сотрудничал в журналах «Бегемот», «Бузотер», «Бич», «Смехач», с 1932 г. —

в журнале «Крокодил». Автор многочисленных сборников рассказов, сатирического романа «История трех святых и некоторых посторонних» (1930) и романа-хроники «Черное кольцо» (1931).

Рассказы «Как я писал для эстрады» и «Эпоха и стиль» впервые опубликованы в книге «Развязанные узелки. Юмористические рассказы» (М., 1935. Б-ка «Крокодила»). Рассказ «Нюансы и отзвуки» впервые появился в № 9 «Крокодила» за 1935 г., «Случай в „Театре возможностей“» — в журн. «Театральная жизнь» (1966. № 2).

Рассказ «Нюансы и отзвуки» печатается по: Бухов Арк. Рассказы. Памфлеты. Пародии. М., 1972. Остальные рассказы — по: Бухов А. Жуки на булавках. М., 1971.

¹ Цейлон — теперь государство Шри-Ланка.

² Борнео — ныне остров Калимантан.

³ «Портрет Дориана Грея» — роман О. Уайльда, созданный в 1891 г.

⁴ «...Первый акт пьесы из жизни поэта Баркова». И. С. Барков (ок. 1732—1768) — русский поэт и переводчик. Скабрезные стихи Баркова расходились в списках.

В. Катаев

Катаев Валентин Петрович (1897—1986) родился в Одессе в семье учителя. Еще в гимназии начал писать стихи (опубликованы в «Одесском вестнике», 1910 г.) и рассказы. Не закончив гимназии, в 1914 г. добровольцем ушел в армию. С 1920 г. работает в ЮгРОСТА. Переехав в 1922 г. в Москву, публикует в газете «Гудок», журналах «Красный перец» и «Крокодил» множество сатирико-юмористических рассказов и фельетонов. В 20-е годы создает также романы «Остров Эрендорф» (1924), «Повелитель железа» (1924), сатирическую повесть «Растратчики» (1926), водевиль «Квадратура круга» (1927) и др. Широко известен как автор тетралогии «Волны Черного моря» (ч. 1—4, 1936—1961); повестей «Сын полка» (1945), «Святой колодец» (1967), «Трава забвения» (1967), «Алмазный мой венец» (1978); художественно-публицистической повести о Ленине «Маленькая железная дверь в стене» (1964) и других произведений.

Рассказ «Дневник горького пьяницы» печатается по: Катаев В. Вещи. М., 1936. Остальные рассказы — по: Катаев В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1986. Т. 1, 10.

¹ «Исключительно издания Маркса». А. Ф. Маркс (1838—1904) — русский издатель.

² «...„Носящий барсову шкуру“». Поэма грузинского поэта XII в. Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре» (другое название «Витязь в тигровой шкуре»).

³ ЗАГЭС — Закавказская ГЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Ершов

«Увеличивающее стекло» 3

М. Горький

Яшка 23

Енблема 26

Факты. I 28

Вяч. Шишков

Спектакль в селе Огрызове 30

Зубодерка 45

В парикмахерской 48

Смерть Тарелкина 51

Редактор 60

Режим экономии 63

Усекновение 66

М. Зощенко

Аристократка 71

Собачий нюх 74

Хозрасчет 76

Случай в провинции 78

Обезьяний язык 83

Баня 85

Стакан 87

Муж 90

Нервные люди 92

Сильное средство 94

Протекция 95

Режим экономии 97

Кинодрама 98

Монтер 100

Мещанский уклон 102

Лимонад 104

Гости 105

Колпак 107

Закорючка 109

Терпеть можно 110

Землетрясение 112

История болезни 115

М. Булгаков

Торговый дом на колесах 120

Похождения Чичикова 123

Тайна несгораемого шкафа 135

В. Лебедев-Кумач

Защитный цвет 141

Гражданский долг 143

Два друга 146

Слава и конец Паклина 148

«Инкогнида» 151

Деликатная профессия 153

Винтик 156

Случай с изобретателем 160

Стенгазета помогла 163

Мученик идеи 166

Деревенский рассказ 168

Л. Никулин		Душа болит	276
Управдел Драдедамов	171	К вопросу о тупоумии	280
Щука и Пачкин	173	Иван Вадимович — человек на уровне	284
Б. Самсонов		А. Платонов	
Блестящее достижение	176	Мусорный ветер	300
Неврастеник	179	И. Ильф, Е. Петров	
Критический случай в Запупырске	181	Бронированное место	317
С. Заяицкий		Литературный трамвай	320
Любопытные сюжетцы	185	Саванарыло	324
М. Козырев		Как создавался Робинзон	327
Газета	190	Веселящаяся единица	331
Шеф	194	КЛООП	337
Отчет	197	Директивный бантик	343
Деловой парень	199	Костяная нога	350
М. Волков		Разговоры за чайным столом	355
Революция Васильевна	202	Дневная гостиница	359
Нечисть	207	Собачий холод	364
Садик	210	На купоросном фронте	368
П. Романов		Широкий размах	374
Инструкция	218	Колумб причаливает к берегу	378
Кулаки	222	Журналист Ошейников	385
Стихийное бедствие	226	Арк. Бухов	
Крепкие нервы	230	Человек и курорт	389
Художники	233	Неосторожный Бимбаев	392
Хороший начальник	237	Как я писал для эстрады	396
Стена	241	Эпоха и стиль	399
Машинка	244	Случай в «Театре возможностей»	403
Экономия	248	Нюансы и отзвуки	406
Паника	251	Обида	410
А. Зорич		В. Катаев	
Вендетта	256	Иван Степанч	413
Пила	259	Товарищ Пробкин	419
Товарищ из центра	262	Случай с Бабушкиной	422
М. Кольцов		Мой друг Ниагаров	425
Медвежьи услуги	266	Вещи	446
Если бы я был фельдшером	269	Дневник горького пьяницы	452
Скушная история	272	Критика за паличный расчет	457
		Комментарии	460

Художественная литература

**РУССКАЯ СОВЕТСКАЯ САТИРИКО-
ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА**

Рассказы и фельетоны 20—30-х годов

Редактор *В. М. Николаева*

Художественный редактор *С. В. Алексеев*

Художники *Л. И. Блинова, В. В. Пожидаев*

Технический редактор *Л. А. Топорина*

Корректор *Н. А. Синеникольская*

КБ—5—65—1988

Сдано в набор 27.06.88. Подписано в печать 28.10.88. М 36784. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 24,78. Усл. кр.-отт. 25,2. Уч.-изд. л. 25,79. Тираж 250 000 экз. (1 завод 1—100 000 экз.) Заказ 2183. Цена 3 р. 60 к. Издательство Ленинградского университета. 199034, Ленинград, Университетская наб., 7/9.

Республиканская ордена «Знак Почета» типография им. П. Ф. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 185630, Петрозаводск, ул. «Правды», 4.







БЪЛГАРСКО-ПОЛСКИ ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРОГРАМ